

ОКТАБРЬ

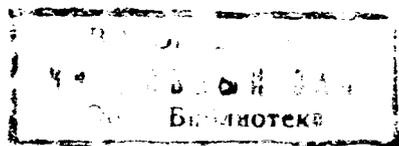
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

М 1721/5.

ЧЕТВЕРТАЯ
КНИГА

АПРЕЛЬ



ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

Два века в полвека

П о в е с т ь ¹

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — НА ПЕРЕПУТЫ

1

Не стало деревне сил дольше войну терпеть. Вздыхали все да охали, с часу на час ждали, когда война кончится. У матерей — сыновей, у жен — мужей, у детей — отцов в глазах нет. Как в песнях шло, что дома пустеют, матери стареют, жены вдовеют, дети сиротеют, — так и сбывалось.

У Игнатя Терентьевича Маркова сына Николая убили, невестка Матрена Егоровна вдовой осталась. Мой первый муж без вести пропал, так у того никого не осталось, некому было ни вздохнуть, ни плакать, ни печалиться. В Сопке Николая Ерепловича и ждать перестали мать, жена и четверо ребят. Перестали ждать и мы брата Константина. В Вилке у Якова Кирилловича сына Николая на войне убили. Приезжал Яков в Голубково к своей сестре Ульяне Кирилловне, оба навзрыд ревели. Невестка у Якова осталась с двумя ребятами. У сестры Ульяны Кирилловны — Ольги из Бедового — пал муж, Степан Трофимович. Ольга с четверыми детьми позорилась. Надобавок Ольгу тут же и второе горе хватило: дом сгорел. Осталась она с малыми детьми на широкой белой улице. С пожни прямо к потухлому уголью пришла: Бедовое об одну пору дважды горело, малые остатки от деревни уцелели. Поджег деревню кулак Михай Богданов. Выдывал Михай своедельные деньги, а когда разговоры пошли да обыски, он со злости красного петуха пустил. Судили Михея, да он деньгами откупился. Приехал домой и говорит:

— Тогда меня обсудят, когда ворон побелеет.

Раненых да контуженых всех не переберешь. Слез да вздохов всех не пересчитаешь. А только запомнила я, как пришла к сестре в Голубково Ольга Кирилловна перетолковаться. Ходила она, разведывала про мужа. Ульяна Кирилловна знала, что Степана убили: писал ей об этом с войны муж, Андрей Егорович. Слух по деревне ходил, а от Ольги тайли. А тут узнала Ольга и принялась убиваться, на всю деревню слышно:

И распроклята ты, война-злодейка,
И сокрушила ты, разорила,
И отняла ли ты, разделила,
И развела ли ты, разделила
Живу рыбу да со водою,
Милу ладу да ты со мною,
Ты со малыми со детьми,
Ты со древней да старой матерью.
И распроклята ты, война-злодейка,
Уж ты стала нам костью в горло,
Ты легла ли нам камнем на-грудь,
Ты стрелила да ретиво-сердце,
Помутила да кровь горячу
Ты великим да большим горем,
Ты печалью да воздыханьем,
Обварила да лицо бело
Горючима да ты слезами.

У мужа сын Прокопий тоже был ранен. Когда муж получил письмо, — прочерпел. Пасынок Федор читает, муж морщится.

— Хоть и пишут, что не душевередна рана, а худо верится: все равно правды не скажут.

Мужниного зятя, Александра Вокучева из Оксипо, ранили, другой зять, Александр Фролов из Дабожского, от какой-то хворости на войне помер.

¹ Продолжение. Часть первую см. «Октябрь» № 3, 1941 г.

Попам, за упокой поминать, люди в поминанья не влезали. По всем печорским деревням вой шел.

Задумались люди, над чем раньше и думы не было: откуда эта война взялась, кем она надумана, кому она нужна? И все на царя обижались. Я и то своим умом думала:

«И какого дешего они там делают? И без того нам доставалось и слез и вздохов, а тут еще горе души — не хощь, да вздыши».

И вспомню я своих братьев, Алексея да Константина.

— Где-то они там, несчастны головы, горе мыкают? В крови ли они бредят? В окопах ли они мерзнут? Голодуют ли, холодуют ли? Али пули певучие слушают? Али пушки гремучие? Вернутся ли они живыми да здоровыми? Скоро ли?

И ждала я вместе с соседями — скоро ли война кончится. А как царя свергли да солдаты к домам потянулись, все вздохнули:

— Ну, скоро войне конец.

В мирное время мы ничего про царя не знали да не слышали, а тут про самого прозвонили да и про его жонку слухи пропесли. Говорили, что спуталась она с Распутиным, с ним дело вела и совет держала, а царь на стороне стоял. И царя честить начали — и худой он, и слабый, и никуда не гожий.

А иным людям, которые горя не хватили, и не глянулось, что беднота да солдаты царя поносят. Мой муж тоже роптал:

— Новая ложка всегда красна бывает, а охлебается, так по подлавичью наваяется. Новая власть вам тоже не пухову шапку наденет, не красну рубаху сошьет.

Прежде красные рубахи были в почете у стариков!

И, верно, никаких больших перемен не вышло. Как при царе, приехали летом чердынцы. Как при царе, собирали рыбу за старые долги. Только вперед — ни муки, ни конопли, ни охотничьего припасу — нашим мужикам чердынцы уже не давали. Вот и определяли старики, что все обойдется и по-старому заживется.

А я сразу уверилась, что царю больше не бывать: мертвого с погоста не ворочают. Скажу этакое мужу, а он не одобряет:

— Ну, еще солдаты-то ходили да видели, а ты-то чего понимаешь?..

Поневоле станешь помалкивать. Вспомнишь пословицу: ты, язычок, смалкивай, я за тебя много бед плакивал. Вот и

знаю — да не знаю, молчу — да крихчу. Больно-то плохо не хотелось с мужем жить.

Слышим мы, что в Питере временное правительство поставилось. А из Москвы до нашего Голубково из конца в конец неблизок переезд. И никакие перемены на задела нашу деревню. Задело ее одним слухом, да и тот люди меж уши пускали: и верили ему и не верили. А больше — не верили.

— Не может быть, — говорили старики. — Без царя жить не будем. Миколай был не царь, да и Керенский — не осударь. Не было царей, да и это — не царь. Романовы три ста лет во царях царили, а Керенскому не ходить столько и во боярах. Вои у нас на низы ходят, — и тут хозяин нужен. Ручку у руля, небось, не доверят каждому, а кормщика ставят. А мать-Рассея лодка-то немалая, не Керенскому тут у руля стоять.

И у многих в избах все еще царские портреты не убраны были, то ли они на память, то ли на украшение. Старики смотрят на портреты и вздыхают:

— Куда-то теперь мать-Россию понесет? Под какой-то она ветер попадет? К какому-то она берегу пристанет?

И у мужа моего те же речи.

Все и перемены наши, что подушные подати мы перестали платить и никто их у нас не требовал. Ровню и забыли нас. Жили мы по-старому да и только.

Потом услышали, что Керенский сбегал. Муж-то и ахнул:

— Миколку спихнули, а этот сам набег убежал. Миколка худой был, а от дела все-таки не бегал.

А я ему в ответ:

— Худому дереву не много падо: от ветра падёт. А они оба па корню подрябли да погнили. Не два же века им жить.

Нелюбо мужику:

— Ты уж скажешь, так не от жалости.

— Чего, — говорю, — их жалеть: доброго от них я ничего не видала, хорошего — не слыхала. Дарами они меня не дарили, золотой венки на голову не надели, золотой гвоздь мне в гроб не припасли.

2

Так я с мужем и жила. Браниться мы с ним не бранились, а словом я его осекала. Чего ругаться, лучше кусаться. Укусишь словом, так и зубы знатко¹. Он

¹ Знатко — заметно.

и поймет, охватится. Слово мое не первый день по рукам секрет. Скажешь слово, муж на лавку так и сядет.

С детства мне пословицы за ласковое слово казались. На них я училась и говорить-то. У кого услышишь — как на удочку подхватываешь. Они, глядишь, и пригодятся, — то ли к подолу, то ли к вороту пришью, на долгую нитку да на большую иглу. А потом я и сводеальные пословицы сыпать стала. Вижу, что к случаю ловко слово применить можно, вот пословица сама на язык и вывертывается. Скажешь, — все, что нужно, свяжешь. Эти пословицы уже моими мыслями сдуманы и моими щеками сказаны, сворощены, своекормлены да своепоены.

Задумала я в ту пору: дутым ветром не набегаешься, чужим умом не наживешься, — свой надо копить. Мужним словам не доверилась, за свои хваталась. Неверного слова у меня за дорогие деньги не купишь: сердцу не хочется и щеки не воротятся¹. Говорю я то, что моим мыслям близко, а сердцу мило. Муж в пеню² да в вину правду не поставит. А и поставит — смолчит: у них, у стариков, есть своя пословица: жена — первый друг, жена — и первый враг. А мне что: любви — не любви, да почаще взглядывай.

А вот в хозяйском да и семейном деле он верх держал: кто едет, тот и правит. Тут уж гляди — не проглядывайся, говори — не проговаривайся, по одной половнице ходи — на другую не ступай, да еще порови ступить — не проступиться, ухватиться — не отпуститься. Тут уж я каждую минуту караулила его лицо и свое также. Ждала, пока он не только руками да щеками, но и глазами заговорит. Прозеваешь, так и каши не хлебаешь.

Через двор от нас мать жила: окна в окна. Пошла я как-то с небольшим дельцем да и долгоножь просидела. Пришла домой, муж темный ходит. Не бил он, не мучил, не бранил и не ругал, а только сказал:

— Уйдешь, так знай когда притти.

Тут уж я не отвечала, а смолчала. только вздохнула. Вздыхала-то я чаще, говорила-то реже. Да и к матери решила не по-частву ходить да не по-долгу сидеть. И с тех пор по месяцу да по два я к матери не хаживала. Мать ко мне не идет. и я к ней.

Посмотрит-посмотрит муж да и скажет:

¹ Не воротятся — не ворочаются.

² От слова «пеняться».

— Ты, добра дочь, хоть бы к матери заглянула.

— А я через окна заглядываю. Не умею ходить, так и дома сижу.

К соседям я по году не заглядывала. А к Семену Коротяеву, хотя его дом возле нашего стоял, — как-то через три года весной за делом зашла. И все удивилась.

— Какие тебя ветры запесели?

— Вешняя вода подняла, — говорю. — И хошь, да не уйдешь: по-д-ухом ревет, а по-д-боком поет.

Ответы короткие были. Это я на ребяташек своих да на мужа пеняла.

— Скажет, — говорит Семен, — так на что хошь разложь.

— Ну, — говорю, — мудрый догадывается, глупый — охватывается...

3

Кроме того, что Керепский сбежал, мы так ничего и не слышали. В нашу деревню никто посторонний не заглядывал. А птицы вестей не занесли. И ничего мы не знали, что делается на белом свете. В особенности я: жила, как в клетке, и уши у меня были заткнуты, и глаза замазаны, и пути-дороги не показаны.

И про революцию мы не слышали. Говорили только, что в Москве большевики да меньшевики друг с дружкой спорят да ссорятся. А из-за чего они спорят, что делают — я опять не знала. Газеты и в Оксине-то редко кому попадали, а в Голубково газета и никогда-то не бывала. Потом слух пошел, что верх взяли большевики и поставили над Россией ссыльного, Ульяновым звать.

Ну, а ссыльных-то в наших краях хорошо знали. Мужики, да и жонки попопнятливей, ценили их дороже себя.

— Как же это люди! Деловисты да головисты, обходительны да согласны. Между собой связаны — не разнимешь.

А я ссыльных лучше других знала. Когда жила я у ссыльного доктора в Оксине, только там и увидела, какие хорошие люди на свете есть.

На кулаков работала — пятнадцать целковых в год получала, а доктор мне по двенадцать рублей в месяц платил, да еще подарки на праздники дарил, по пятерке. Жена его, Любовь Яковлевна, то па кофту мне батисту купит, то из своего платья что-нибудь даст, то одеколону флакончик. Однажды на новый год выписала она мне из Петербурга фланель для зимнего платья. Родиной-то она оттуда.

так мать ей посылала. Посылка пришла, там фланель двойного сорта.

Любовь Яковлевна говорит мне:

— Выбери, Мариша.

Под новый год я вместе с ними и снарядами¹ ходила, им еще и платье ижемское под расписку у кулачки Федосьи Аристарховны достала: длиннющие да широчущие сарафаны, рукава, шелковые платки.

И ребята-то докторовы в праздник мне гостиницы несут: тот даст плитку шоколада, другой — конфет, третий — пряников. Любили они меня, как после родные дети любили.

А самое главное, доктор с докторшей по-человечески со мной жили. Когда и ругнуть бы стоило, а они все добренько да ладом оговаряются.

Поступила я к ним, не умела ни пекчи, ни варить; молодая деревенская девчонка, что я смыслила? Как-то пришлось мне пироги пекчи. Научила меня докторша, а я, видно, рановато утром встала, тесто не выисло, не выходило. Начала я стряпать да лепить. Высадила в печку, выпекла. Из печи-то вынула, перепугалась. Все пироги у меня запали, низкие: корочка на корочке и мягоньких нисколечко.

Сложила я всю свою пачкотню в шкаф, закрыла и реву:

— Чего я к чаю понесу? Чего мне скажут?

Чай подала, молчу. А докторша видит, что я вся заплакалась, и говорит:

— Как у тебя с тестом-то?

— Все, — говорю, — у меня испечено, только есть нечего.

Ушла да опять плачу. Вышла Любовь Яковлевна, спросила меня:

— Что с тобой, Мариша?

— Вот тесто, — говорю, — истравила.

Посмотрела она, взяла пироги, к доктору понесла. Хохочут они над моим печеньем. А потом и надо мной смеются. Посмеялись да меня же уговаривают:

— Это ведь дело небольшое: завтра опять можно испечь.

А бывалошная моя хозяйка, кулачка Варвара Андреевна, мне бы за это голову разломала.

Докторша же меня и выучила потом по псеварской книге пекчи и варить.

Другой раз несла я после обеда посуду, сронила и разбила. Пропали двенадцать тарелок — шесть глубоких да шесть мел-

ких, — все тарелки-то нездеиные, с золотыми поясками. Пропала фарфоровая миска, парная с тарелками, одного же фасона, и шесть хрустальных розеточек. Поднос, вилы, ложки — все полетело, — такой тут гром сочинился!

Я стою, как умерла. Думаю: мне-ка год надо за них работать.

Уж и жалко им, наверно, было, а не забранили, не разругали и на счет не поставили. Еще уговаривали да каплями и порошкам успокаивали.

И вспомнилась мне молочница, которую хозяйская девчонка выломала у колдуна Родича и за которую мне хозяйка из головы мозги достала. И заплакала я уже не от обиды, а от хорошего ласкового слова.

И никогда они мне той беды не вспомянули.

То ли все ссыльные в то время друг на дружку походили, как на одном бору красны-ягоды, то ли мне выпадали встречи с отборными людьми, а довелось мне узнать еще одного хорошего человека из ссыльных. Звали его Васильем Сергеевичем и работал он у доктора в лаборатории.

Он был смуглый, чернобровый и черноглазый. Взгляд у него — не грубый, но твердый, будто он все время какое-то большое дело обдумывает. А когда разговорится — глаза у него посветлеют, повеселеют: взглядом окинет, — как полтинники раскинет. Волосы курчавые, усы черные, как у цыгана.

Когда он приехал в ссылку, я уже жила у доктора. Встретила я его и сразу ему на глаза палась.

После обеда отвела я его на другую квартиру, к Кожевным.

Там он немного пожил, а потом переселился на вышку в поповский дом, где была лаборатория. Скоро он ко мне присвоился, в разговоры затягивал, советы советовал. А через месяц сказал он доктору, что я ему по-сердцу пришлась.

— Только, — говорит, — она такая робкая да молчаливая, трудно мне с ней говорить.

Доктор еще до приезда Василья Сергеевича очень хвалил его. А тут он меня ему начал расхваливать, мол, деревенская девчонка, а скромная да понятливая.

— Одна беда, — говорит, — неграмотна она. Ну да мы ее выучим. Любовь Яковлевна заодно с ребятами ее подучит, а потом уж вы сами доучивайте.

Вскоре же Василий Сергеевич заговорил, чтобы я вышла за него замуж. Люб

¹ Снарядами — ряжеными, масками.

он мне был, парень он хороший да душевный, а одно меня страшило: не хотел он венчаться.

— В бога,—говорит,— я не верю и дураком вокруг налож не пойду.

Это меня и остановило: не греха, а людей боялась, что осудят, и родных страшилась. А только много раз я потом кляла себя за этот страх. От деной и вечной печали, от тоскливых мыслей у меня в двадцать четыре года волосы поседел.

В то же время вышла моя крестовая сестра Марфа Сумарокова за другого ссыльного — Семена Терентьева, и жили они после этого в городах очень согласно, душа в душу.

И всю жизнь Василий Сергеевич стоял у меня в глазах. Сколько он со мной бесед перебеседовал, сколько вечеров вместе просидели, сколько он хороших мыслей мне в голову вложил! Кабы все люди такие были, не знала бы земля ни горького горя, ни горячих слез. Вот они какие, ссыльные-то, были!

И таких людей царь усылал в самые гиблые места, за двенадцать быстрых рек, за дальние моря, за дремучие леса, за дьбучие болота. Да и сами-то мы жили вроде каких-то ссыльных. За свои низовские деревни не могли ни выйти, ни выступить: где гриб вырос, тут и выгнил. Ровно нас дьявол на вихорю затащил в эти края да тут на умёт и бросил. Ровно приковал нас кто к своему месту, и ходим мы, как каторжники какие, цепь волочим, и не видим мы свету во своей темнице.

И понимала я уже в те поры, что ссыльные за нас радели и сердцем и кровью: хотели цепь расковать, широко двери открыть на все концы, из темницы вывести на солнышко и всех нас от гэрэ избавить.

И все мужики удивлялись, глядя на ссыльных, головами качали:

— Такие люди грамотные, все знают да понимают, а вот, победны головы, куда сосланы.

И вот, когда про ссыльного Ульянова мы услышали — не выдавши уверились, что он правильный человек. А я и вовсе самодушным человеком его сосчитала. Знаю, что он про всех нас, про всю нашу жизнь сто дум думает.

4

Весной мы с мужем поехали в Пустозерск. Надо было мне хлопотать в волостном правлении, чтобы в девичью фамилию

перевестись, снова Голубковой стать. Не хотелось мне расплодить фамилию изверга — моего первого мужа. Вот там мы и узнали, что сейчас уже не волостное правление называется, а исполком.

В вешноводье мы, как и всегда, поехали с мужем на низ.

Муж мой был лихой рыболов. Когда он уходил на низы, никогда с праздниками не считался. Если рыбное время подойдет, он едет ловить, на других не смотрит.

— Рыболова, — говорит, — одна тоня кормит, не надо десять забрасывать, коли во пору да во время.

Люди благовещенский день никогда в дороге не проводили, считали его несчастным днем. В благовещенье добрая птица гнезда не вьет, красна девица косы не плетет, добрая жена решета в руки не возьмет, добрый мужик топора не берет... Примёт к благовещенью много.

А Фома считал этот день счастливым. Люди празднуют, а мы едем.

— Рыбы не будет да ладеры ударят, тогда и спразднуем,—говаривал он.

И вот объездит Фома стоялые, необловленные тони, обловит их, возьмет заледную рыбу, а соседи только еще едут. Опоздают на неделю, а у Фомы полпромысла добыто.

— Все уж,—говорят,— Турпан облетал да склевал.

Его по огню Турпаном звали. Знал Фома, на какой тоне когда рыба подойдет.

Раньше всех уйдет он с низу, сено косить начнет. Люди с низу идут на летнюю работу, а у Фомы, видят, по кражу Голубковского шара стога — как деревня стоят.

— Вот, Фома нахватал уж зеленья,—удивляются люди.

Осенью поедет мы на низы, люди руками хлопают:

— Турпан свою пору знат, дак уж полетел опять.

И столько у него семейства было — от двух жен тридцать детенышев, — а жил он сытей людей. А ведь не чужими трудами пользовался: чужой труд ему за беду был, сам бы еще чье-нибудь дело сделал.

Той же весной пришел с войны брат моего мужа, Иван Федорович. Пришел он помой уж совсем старичком, седина в бороде.

Навалились на него и брат, и племянники, и все соседи. А он поговорить любит.

— Две войны я прошел,—говорил он и кулаком себя в грудь ударял.—Пять

лет на японской трубил, в офицерских собраниях вроде лакея прислуживал. Генерал Лебедев бахвалит: «Шапками японшек заметем». А я бахвальства не люблю. И верно, флот наш потопили и контрибуцию взяли. Беда как строго в армии нас держали, дрожь пробирала... В строю раз я шелохнулся, а мне взводный — в рыло. На ерманской четыре года пробыл. В бои ходил, кровь свою проливал. Николай Игнатьевич, наш сосед — царство ему небесное — да Иван Михайлович из Оксина — к земле головы присунули, а я все еще жив-здрав молодец был. Да вот в одном бою и мне пришлось свинцову закуску хватить. И чирикнула мне она, окаянная, прямо по причинному месту. Потом в плен попал, в Австрию увезли. Два года семь месяцев в плену отмыкал. Дважды в бегах был, — ловили. В тюрьмах и крепостях у австрияка сидел. В холодны казармы нас загонят, — стужа, жмемся, дрожим, голодны-холодны. По трое суток не приводилось есть. Не пивши, не евши на работу выгонят. А мы не про работу думаем, а на помойных ямах крохи да картофельну кожуру собираем, что в потраву выбросят.

Когда на другой день шоймали, спрашивает меня офицер:

— Ну что, вздумал бежать?

— Вздумал, — говорю.

— А еще побежишь?

— Можно будет, так как же не побегу. Всякому домой охота.

До утра мы прослушали, проговорили-просоветовали. Сказывал да рассказывал Иван, а нам новые вести слушать весело. Про Москву сказал:

— Приехал я в Москву — все там не по-старому. Городовых — ни одного по всей Москве не осталось. На каждом дому красные флаги виснут. На самых почетных улицах — кто хочешь ходи. Да беда, не пришлось рассматривать да разглядывать, взглянул на мимоходы, как птица крылом махнула. Весновал я в Архангельске. Кормили меня хорошо, домашнему. Деньги, спасибо вам, получил, а то бы пешком до дому итти пришлось...

Перед отъездом на низ сварили мы с мужем пивца. Иван Федорович подвыпил и запел свою любимую:

Запоем мы, запоем,

Как в армейюшке живем.

Как в армейюшке живали,

Ни об чем горя не знали.

Получали мы картечь —

Нам не для-чего беречь.

Начинай, наши ребята,
Прямо с правого крыла.

Наши начали палить,

Только дым столбом валит.

С жару голову не ломит,

С дымом слезы не текут.

С дымом слезы не текут,

Наши рубят и секут,

Каково есть красно солнышко —

Не видно во дыму.

Только видно по лесам —

Солнце едет по горам...

И сколько Иван Федорович ни пел — все про солдатство. Говорят: кузнец, так про кузницу и говорит. Любил он солдатские песни и про Платова-казака, и про горы Воробьевские, и про германскую и про турецкую войну. Чуть выпьет — запоет:

Поле, ты, мое поле,

Поле чистое, поле турецкое.

Когда тебя, поле, пройдем?

Когда, чистое, прокатимся?

За Дунай-реку переправимся?

Мы сойдемся с неприятелем,

Со такой ордой неверною,

Со турецким славным корпусом.

На турецкий большой праздничек

Турки пьяны напивались,

Во хмельюшке восхвалялися:

— Да мы Рассеюшку пасквозь

пройдем,

Да граф Паскевича в полон возьмем.

Граф Паскевич высказывал:

— Вы не бойтесь, ребятунки...

Иван — певун большой. Молча не ходит: не говорит, так поет. Голос у него, как труба: чистый, звонкий, певкой. А уж если не поет Иван, так опять говорит. И людей никого с ним нет, а он сам с собой разговаривает. Однажды иду я на прорубь белье полоскать, а Иван там коня поит. И слышу я, что он там с кем-то спорит, так ругается... Я думаю: «Иван Федорович с кем-то не поладил». Тороплюсь, думаю успокоить. Пришла, а он там один с конем. А то в лесу опять слышала. Идет один на лыжах и кого-то честит:

— Светожадник ты, завидны твои глаза. Сам-от пути не знаешь, дороги-то не видишь, так по чужим следам ходишь. Мало тебе места-то в лесу, что на мои места капканы ставишь? Вытоптать вот тебе капканы-то, так другой раз не подумаешь на чужо место зариться.

А это он с Семеном Коротавым считается в одиночку.

Осенью англичане завезли на Печору необычайную болезнь — «испанку». Во всех деревнях помногу людей мерло от той болезни.

Во время испанки все дома в крестах стояли. Считали мы, что если на двери смоляной крест намазать, испанка в дом не пойдет. Кроме того весь дом надо было прокурить дымом вереска да раушки. Раушка — это тушка горностая без шкурки. Раушку просушат, а потом, как болезнь придет, жгут. Дым от раушки противный. Когда у нас дома жгли ее, я всегда себе нос платком завязывала. Положат раушку на вереск, вереск подожгут, он вспыхнет, и раушка на нем курится.

В Пустозерске половина людей вымерла. Во многих деревнях целые семьи вымирали. У нас в Голубково у одного Семена Коротаева четверо померло: жена, два сына и дочь восемнадцати годов. Семья сегодня тому, назавтра другому гроб делал. А у нас, в голубковском роду, все двадцать восемь человек переболели, а ни один не помер, ни из малых, ни из старых. Мы с мужем тоже испанкой болели, а всю болезнь на ногах переходили. Я еще целый день за больными хожу, все хозяйство, обрядно веду, а ночь — самовары грею, больных горячим поить.

Зато я перед тем семь недель в тифу отлежала да с год грудью маялась. И без чувствия належалась, и в горячке с ума сходила, на стены лезла, и по улице бегала. Так мне первый год замужества не подладило, что чуть в могилу не сошла. Около недели я без речи лежала, три недели не двигалась. Муж мне и доски на гроб запас: вынул из лодки кёлдас¹.

Звали со мной водиться бабок — и одну и другую: шептали они, водой sprыскивали, заставляли пить по хлебальной чашке мыльной воды — ничего не помогало. Старухи говорили, что меня сглазили. Ездил муж в Оксину к ветеринарному фельдшеру. Давал тот тайно какие-то порошки, но в ту пору я уже самаправляться начала. Сколько ни лечили, а опружить² ничего не могло.

Выздоровела. После тифа голова гладкая стала — ни одного волоса, вся кровь под ногтями почернела, кожа к костям присохла. Мать говорит:

— Ты, Маремьяна, не жилец на этом свете.

Только я выздоровела, захворал мой брат по матери Калистрат. Читал он перед этим над одним покойником шестинедельный капун. Шесть недель они на три смены читали без перерыва рукописные кануны. Только кончил читать, пришел домой, отец послал его по сено. Поехал он, а по дороге и заснул: умаялся в почных-то сменах. Едет он и видит: подходит к саям какой-то старик. Подсел он к нему и шепчет:

— Ты, Калистрат, скоро помрешь.

Испугался он, без сена обратно вернулся. Забрался на печь, сидит, плачет. А вскоре и верно, заболел он тифом. Лечение у нас известно какое было. От того же ветеринарного фельдшера поцли его порошками, а потом он и помер, меня заменил. А какой этот парень умница был!

Той порой нашу Печору белые под себя подмяли.

И до Голубково дошел слух про белых. Затайно говорили, что вверх по Печоре белые людей убивают, в прорубях топят, расстреливают. В одной избушке в лесу двадцать красноармейцев сожгли.

Под селом Сизябским на Ижме¹ (там жила моя крестница Ульяна Елисеевна) белые устроили на реке длинную прорубь и спускали туда мужиков по нескольку раз. В Мохче какую-то старуху Лукерью семидесяти пяти годов, за то, что у нее двое сыновей партизанили, белые привязали к конскому хвосту, и конь всю ее растаскал: где рука, где нога, где голова. На Ухте² какой-то капитан Рочев хуже того над людьми изгилялся³: женок в лесу голыми раздевал, груди им резал и в снег метал, ребятишек на пеньки да на колья садил.

К этим кровожадникам у народа злоба росла. Для такого зверства всякая ругань будет мягка. Кроме вострого ножа, ничего они не заслужили. Вместо тех, кого они резали, их бы по мелким кускам вырезали — лютым зверям на съеденье, черным воронам на граенье, и то мало бы было.

А еще народ злобился, слышно было, что хотят белые всю Печору под английскую руку подвести.

На лесопильный завод англичане неожиданными гостями приехали. Стали му-

¹ И ж м а — приток Печоры.

² У х т а — приток Ижмы.

³ Из г и л я л с я — издевался.

¹ К ё л д а с — настил из досок.

² О п р у ж и т ь — опрокинуть.

жиков к себе подманывать да подговаривать. О ту пору хлеба по всей Печоре не было. А англичане навезли пароходы муки, да не простой, а белой сеянки, которой мы веком не видали.

По деревням начали ездить головки из волостного правления, английские прихлебатели да подлизы. Мы еще смеялись о ту пору:

— Марина ерша сварила. Пришел Антина — ерша стипал, пришел Елизар — все тарелки облизал.

В Оксино был такой Елизар, звали его Подлесный. Он ездил к заводу, там английский пароход пришел. Договорился, что за муку силу им выставит. Добыл он вместе с кулаками от англичан белую муку, рис, сахар, и после того стали писать мужиков: кто хочет в белые итти. Кто пойдет, тот две нормы всего добра получит. А кто не идет — по пять фунтов черной муки или зерна в месяц.

К белым писаться охотников не густо было. Из которых деревень побогаче люди, те и записались, а голытьба не хотела к ним итти: кому охота самим себя в железа заковать.

А в нашем Голубкове как есть ни одного кулака не было, все народ небогатый. Защищать у нас от красных нечего было, застоять за белых не с чего. И никто не сунулся за двойными нормами. Так на ржаной муке и прожили да и ту только летом видели по пять фунтов в месяц.

6

Маялся народ без хлеба. Заменяли его кто чем мог: кто мохом, кто сухими иучками — есть такая трава у нас, а кто — соломой. Да еще и соломой-то своей нет: из веков мы не сеивали. Так житную солому из Усть-Цильмы добывали за триста верст.

Приходилось налегать на рыбу. В те годы рыбы много было: в каждой луже, куда ни сунешься — везде ее полно. Озеринка безгожие и в тех рыбки дóверху натолкалось. Рыба сама в руки пихалась, по сухой горе ходила.

Ну, народ рыбой и жил. И парили, и жарили, и сушили, и мололи, и хлеба из ней пекли, — рыбки-то побольше, мучки-то поменьше. Колобки на рыбе мешали. А то насушим зельдей да с молоком и едим. Зельди жирные, рассыпные, а на вкус, как сметанные колобы.

Потом рыба приелась. Я с той поры и от рыбы отстала, хоть и настоящая рыболовка. И сейчас на рыбу у меня аппе-

титу нет. В те годы муж со всей семьей много рыбы брал. Да и я иногда пожадничая, тоже вместе с ними кинусь, ловлю. Рыбу сдадим, а на деньги купить нечего. Деньги белогвардейские разные, а цена им одна. Чайковки, как ленты долги, все еще их долгохвостыми звали. А потом моржовки вышли: на них вырисованы медведь и морж. Потом опять орлёные деньги, только без корон, пошли. Запутались мы в них.

А, главное дело, ничего на них не купишь. И деньги эти так прахом и пошли. За всю свою работу успела я только одну малицу купить. А потом деньги пали, не стали ходить, англичане с нашей рыбой уехали неотворотной дорогой, да столько мы их и видели. Только до этого было еще с ними канители.

В Виску, за пятьдесят верст от нас, пришли красные. Вот тут оксинское кулачье и забегало. Подлесный согнал со всех деревень кого мог. Посылали мужиков, как певольников каких, под оружьями. Кулаки две нормы ели, а мужиков попереди себя совали.

— А вы, — говорят, — и пять-то фунтов не получите.

Коли хочет кто-нибудь мясо добыть, надо опять на поклон итти, у кулаков запас-то всегда есть. А тут припасли они запасы не про нас, а для белых. Целыми арпшами да няпоями¹ везли мясо из Оксина на Индигу через Малую Землю да Тиманскую тундру. Свезли туда все, что было, ледокола ждали. Мясо лежало на низком носке Корга. А в то время пришла большая моряна, мясо все затопило да разнесло, песком да солью его замыло. Что спасли, — обратно привезли. Бросить-то им жалко, а съесть невозможно. Рады, что и мужики взяли.

А мужикам кормиться нечем, рыба в горлю не полезла, так они на рыбу и меняли. Муж тоже выменял оленью тушу, да только не могли мы то мясо есть. Пришлось вымачивать да засаливать, песок отпоясывать и, все равно, только от голоду ели: все-таки не «нет» пустой, не кошка да не собака. У иных свое есть, а не соньют да не съедят, а у нас и своего нет, так мы кушим да слушаем.

А самой бедноте, которой не на что выменивать, — и того не доставалось. Пошел как-то Василий Игнатьевич Марков из нашей деревни к оксинскому кулаку Петру Сумарокову. Нужда приведет, так поклониться и кошке в ножки.

¹ Оленьими обозами.

— Петр Федорович, отпусти нам мяска, сколько можешь,—попросил Василий.

— Откуда у нас мясо-то, не прежняя пора.

А Василий Игнатьевич и раз да и два поконался¹.

— Сделай милость, Петр Федорович, уступи. На рыбе жили, не можем больше смотреть на нее. Совсем отоцали. Нужно выть² сменить.

— Не сделаю я милости,—говорит кулак.— Я нонче немилостивый. Было время, поели нашего мяса. А нонче,—быйди на улицу, да хоть задавись ты перед моим окном,—не дам.

Пошел Василий с пустыми руками, голову повесил. Все его слова мимо уши пошли.

Это было зимой. А летом к осени совсем немоготу стало без мяса. И уговорились мы с Васильем забить по теленку, у нас такие полуторниками зовутся, по полтора года. А убить-то нельзя, белые узнают, отберут. Ну, да всего бояться — не укланяешься. И вот мы с Васильем тайком убили по бычку, мясо сразу засолили да горячее и запрятали под пол во хлеве. Ну, а горячее мясо нельзя солить: все оно закисло, затухло, испортилось. А все-таки оно не хуже, чем кулацкое, что с Индиги привезли...

7

Той порой у меня родился сын. Еще до родов я подумала: ребенка, если сын будет, назвать Володей. Так я его и звала. А крестить-то повезли в Оксину без меня. Стали имя нарекать — Владимир, а поп говорит:

— Нет, дадим имя Павел. Святы отцы носили тако имя, не стыдились.

Купнул да я назвал Павлом. Привезли мне сына. Я зову его Володей, а мне говорят:

— Какой тут Володя, он Павлом стал: поп переделал.

Мне не поглянулось:

— С ума, говорю, он сошел с пьяных-то глаз. У меня парня-то запоганил.

А мать ворчит:

— Сама-то с ума сошла. Мало, видно, редела да охала, уж все забыла, опять стала напротив говорить. Чего поп запо-

ганил? Не в поганой луже ведь купал, а в святой купели...

Пришлось мне вспомнить все прибайкивание, которым я раньше чужих детей тешила. Чужому-то ребенку иной час и немилую песню споешь, а своему-то я такие выбирала, что у нас, пожалуй, ни одна мать не певала таких-то: сама песенок напридумывала. Ногой зыбку качаешь, руками дело делаешь, щеками песню поешь:

Паша — сахар, Паша — мед.

Паша — от сердца кусок,

Паша — от сердца кусок

Да от ретивого щипок.

Уж я Пашеньку жалею,

Ни на что не променяю,

Ни на сахар, ни на мед,

Ни на бархат, ни на шелк.

Бархат с шелком изношу

Пашу на век выпрошшу.

Паша вырастет большой —

Будет рыбочку ловить,

Дорогого зверя бить,

Будет уточек стрелять,

Будет мамушку кормить,

Заставит уток теребить.

Уж я Пашеньку качаю,

Я качаю — величаю,

Я качаю величаю,

Я замену себе чаю.

Будет мягкое кормление,

Будет сладкое поение,

Будет умное,

Будет разумное,

Будет тихое,

Будет смиренное.

Никогда не согрубит,

Никогда не прогневит,

Будет жалостью жалеть,

Ласкотой будет ласкать,

Будет мамой называть,

Будет родимой величать.

Милый Пашенька-сынок,

Паша ясный сокол,

Тебе крылышки привью,

Во сине небо спущу,

Будешь поверху летать.

Будешь звездочки считать.

¹ Кона ть ся — добиваться, просить, кланяться.

² Выть — еда, пища.

Я дитё-то утешаю и себя-то взвеселю. Мысли-то в голове тяжело лежат, и на сердце не легче того, а как начнешь мысли шевелить, слова подбирать, и серд-

це взвеселится. Вот и сидишь, да поешь, да приговариваешь. Паша рос спокойно. И тешить-то его не надо, а уж я для любованья опеваю.

Когда поправилась я, стала ходить на пожню. Оставлю Пашу с мало-малё живым человеком, а он уж не побеспокоит. Из-под сонного пеленку вытянут, сухую подложат,— и все няньченье. Придешь,— он спит, а и не спит, так молчит да смотрит, только глазки чернеют.

Перед Пашей у меня был, да помер другой мальчик— Ваня. Старухи говорили, что его сглазили. И, верно, перед этим он был такой же спокойный, как теперь Паша. А пришла соседка Хюнья. Села рядом ко кровати, глядит на Ваню и говорит:

— Гляди, он лежит, как большой, спит, как тает, растянулся, как в питку.

«Тьфу, соли-бѣли на язык тебе»,— подумала я, как советовали старухи.

Вечером Ваня вдруг принялся реветь и реветь. Заболел он, около суток ревел. А мне нужно было па низ итти. Оставила я Ваню со старухой Опросеньей. Она меня успокаивает:

— Это он уркнулся¹. А я все прикосы вылечу.

Три недели она без меня его парила, шептала, лечила. Вернулась я с путины через три недели, а бабка Опросенья уже из Оксина пришла: схоронила она там моего Ванюшу. Хоть и крепилась я, чтобы не плакать, а не могла утерпеть. Повздышу-повздышу, выйду во хлев да там и заплачусь. А людям виду не казала.

8

Ровно через три года моего второго замужества с Печоры белые ушли. Ушли они тихо, неслышно, поджавши хвост, мышьями норами да лисьими тропами. Где кого могли, поймали, да схватили, да с собой увели. Печора-то долгая, так кто с конца, а кто с середины подались в сторону, на Архангельск. А кто и в тундре снасаяся. А местные так и в Оксине оставались, плохо их и знали. Подлесный, тот самый Елизар, который у англичан тарелки лизал, попался в Оксина. Из Андега кулака Харарова, из Оксина— двух-трех кулаков, из Пустозерска— кулаков Кожевинных потрясли,— тем в наших низовских деревнях все и спялось.

А мы в Голубково за всю революцию так выстрела и не слышали, ни одного красного, ни белого не видели.

Потом уж мы узнали, что по всей России в это время громы гремели, дым с копотью шел, реки крови проливались, а у нас была тишина да покой. А которые люди не понимали, так и эту-то тишину за беду считали, все еще хотели ко старому вернуться. А я все думала, что если чего будет новое, так уж я в новое носом сунусь, а не в старое.

Только до этого нового еще был не близок переход. Новое время все как-то обходило нашу деревню. Оно тихонько подтекало, нечутко проявлялось: не то оно есть, не то нет. Без бою да без драки время шло, исподтишка, так не разом его учуешь...

9

Мой Паша подрастал. Когда белые ушли от нас, ему исполнился год. За это время он дважды у смерти был, горячими привалами болел. Уж его и тешила-то я! Люди мне и то пеняли:

— Не по-сиротски Маремьяна, а по-господски детей ведет.

Пеленки, одеяльца, подушечки, намечены я норовила побелей сделать, почище да получше. Люди-то ведь в шубки да в юбки завергят, каждый платок в подгузки свернут, а после выстирают да на себя оденут. А я клеенку не могла найти, так резину под пеленку подкладывала. Ту резину у моря мужики находили, а я— у ненки купила. Пеленки ребятам я утром и вечером стирала: вечером денные, а утром ночные. Молоко есегда кипятילה. А уберечь от болезней все равно не могла.

Павлик еще ползучий был, а пришлось его первый раз постегать. Заполз он как-то под стол, нашел там молоко, опрокинул доильницу. Вот я шерстяной поясок отвязала и, благословясь, постегала.

Когда у нас первый раз младенца стегают, то приговаривают:

— Дай бог ума да памяти моему дятку, чтобы понимал да толковал, уём да заклик знал.

Однажды Павлик сунул ручонку в чашку с кипятком. Целые сутки я его носила. Унесла на берег. Фома складывает там поклажу, на другой день надо на низ отправляться. И пришлось мне пазавтра большого ребенка у чужих людей оставлять. Жалко— не жалко, оставила я его у жены Ивана Федоровича, а сама пошла на низ.

На низах в этот год было шумно. Съехались туда мужики из разных деревень.

¹ У р к н у л и — сглазили.

Разговоров было хоть отбавляй. Друг перед дружкой говорили они про пехватки да недостатки, про белых и красных, про советскую власть, про Ленина-Ульянова.

Ловили мы в Средней губе на Чуклинном горле. Жили под лодками. Землянок там не было. Соберемся в неловкий день все у одного места. Да еще с другой горки соседи придут. Были тут и те, что от себя ловили, и те, что кулаками подражены — работники. Заводил разговор чаще всего один парень рабочий-коми. Он в грамоте немпожко смыслил и все новые вести перехватывал. Вот и начнет он наших стариков подзадоривать:

— Ленин пишет, что если чужестранны государства на нас навалятся да уйти нас заставят, дак мы пойдем — крепко дверью хлопнем.

Старики ахают и руками машут. Муж ворчит:

— Ну, последни времена, значит, подешли... Хлопнем дверями — нас и закроет. И ни выходу, ни выезду не будет.

А я высовываться охоча была. Парню-то и говорю:

— Что и часто тебе Ленин-то пишет?

Старики хохочут:

— Вот, — говорят, — подключила.

А я и им загвоздку дала:

— Вы про двери-то судите, а не подумаля того — чьима дверями хлопать-то? Быват, вовсе и не нашима. Быват, хлопать-то чужима дверями начнем...

А мужу говорю:

— А что ты насчет выходу да выезду печалишься, дак ты подумай, много ли мы выходили да выезжали? Я дальше Виски не ходила, а ты дальше Усть-Цильмы не ездывал. Ленин-то из ссыльных, а ты среди ссыльных хоть кого худого видел? Ленин, небось, не об том думает, что для нас хуже, а об том — что лучше. Скорее, быват, куда ли выйдем да выедем, свет увидим да что ли доброе услышим.

Фома на меня огрызнулся:

— Ты все больше других знаешь да раньше других высунешься.

А я в ответ:

— Заговоритё, так и безгрешного в грех введетё. Сами в грех ввели, так не пеняйтесь.

Про что ни заговорят, а все придут на одно место. Заговорят про старое — прихватят и новое, заговорят про путину, приплетут и советскую власть. У кого что болит, тот о том и говорит.

— Вот, — говорит один старик, — прежде на низах рыбы наловишь. домой при-

едешь, под горкой стоят чердынцы, баржи — красота! Рыбу выкатывашь да вываливашь на баржу. Бочки взвешивают, расколачивают, рассматривают, любуются. А тебе рюмочку за рюмочкой. Хозяин с тобой чокнется, глядишь и выпили. Сдашь рыбу — и напьешься, уши по земле волокутся.

Росчету ждешь, — из двух недель неделю пьян. Хозяин нальет, своими добавишь, и опять нос до глаз. А япоче куда ее, рыбу, привезешь да кому отдашь? Волочи по фунтам да по пудам — весь неклянчаешься. На то поменяшь да на друго отдашь, да унеси леший время да и пору. Живи, как хошь.

Первое время на Печоре кооперации еще не было, местные кулаки помалу выменивали. Разве устьцильмцы придут да на ничто, — на картошку да на репу, — рыбу выменяют. Ничего этого у нас не было. Извеку наши печорцы рыбой жили.

Когда сыну Павлику два года подошло, попробовал он первый раз устьцильмской картошки. И так она ему поглянулась, что уедет отец на путину, а Павлик молится:

— Дай, осподи, таты картошки.

— Что ты, Павлик, — говорю, — ведь картошка на море не попадает. Моли рыбы, а тогда картошки наменяем...

Вот старики и пенялись, что чердынцы ездить перестали. А то забыли они, что у чердынцев из долгов не вылезали. А я уже и опять не вытерпела, подсказнула:

— От тебя видят, так и любят, от тебя чают, так и величают. Чаять не станут, так и величать перестанут. Девять услуг послужишь, а десятку не заслужишь. так и все пропадет: худой будешь.

А муж взглянет на меня, вздохнет да так ничего и не скажет. Не особенно легко ему было, когда жена не его умом живет. Да и мне хорошо-то не было, оттого. что муж не на то глядит. Никому я не могла свои мысли поведать: ни мужу верному, ни брату рѳдному, ни другу ближнему. Вот я загадками и загадывала. Хоть на старое-то я и смотрела, а все от него отодвигалась. Хоть и взадпят¹ шла, а все от него, от старого, а не к нему. А к новому-то, хоть и по куриному нагу, а все вперед подвигалась.

10

Когда я вышла замуж за Фому, было у него в дому шесть детей, седьмая невестка, два внука, а я — одиннадцатая.

¹ В а д п я т — пятками вперед.

Старший сын Прокопий служил на войне. Сыновья Федор, Александр, дочери Олимпиада, Трофена, Агриппина. Невестка Серафима, жена Прокопия, как куроптиха, таскала двух ребят — Описку да Сашку. Жили мы с ними все время дружно. И девки и ребята меня и мачехой не считали. Парней — Сашку на четырнадцатом году да Федьку на пятнадцатом — я и в баню водила, да по-ребячьи мыла.

И все бы шло в добре да в согласьи. А когда пришел с войны старший сын Прокопий, — с одного году со мной, начались раздоры. Замужние его сестры, Ольга из Лабожского и Анна из Оксина, писали ему на фронт:

«...Ты там кровь проливаешь, а отец у тебя здесь семью расплождат. Завел он подругу Маришку. Та от одного мужа отбилась, а хочет отец такой ведьмой владеть. Уж наша молодость прошла, а отцовою не начинаться...»

Показалось это Прокопию за беду. Он и холостой-то с отцом нехороший был, правный да злой. А тут пришел с войны, не успел через порог переступить, скандал завел. Поздоровался он с отцом, а ко мне подошел — я думаю, он будет здороваться — и ударил в косяцу¹.

— Чтобы на моих глазах тебя не было.

Они меня не женой считали: без венца, так какая жена.

Драться не будешь, я встала и ушла в кухню, пала на кровать, лежу. Фома пришел вслед за мной. Прокопий с женой, с братьями да сестрами чай пьет, а мы с мужем одни. Фома меня успокаивает.

— Не плачь, все обойдется. Паску проведем, отделию.

— Чего, — говорю, — делиться. Не хочу, чтобы из-за меня у вас разлад был. И у тебя не останусь: не хочу подзатыльники да подкосичники получать. Уйду.

На другой день утром поднялась я не поздно и ушла к соседке. К матери я жаловаться не пошла да и людям не сказывала, пока из дому, из большой семьи весть не вышла. Утром же пришел за мной муж, увел к своему брату и говорит:

— Поменьшай праздники, а потом отделим Прокопия.

В праздники Прокопий пришел меня в гости звать.

— Прости, — говорит, — меня, я неладно поступил, у меня характер такой. Пойдем к нам праздники справлять.

Не пошла я. Пришел Фома, тоже зовет. А я отвечаю:

— Чего я пойду? Я не буду столько чаю пить, сколько слез лить.

Все-таки вдвоем с Прокопием увели меня. И за столом я в середине между ними сижу, оба они меня за руки держат и с обеих сторон мне платками слезы утирают. Кому бы чужому в то время смотреть, — посмеялись бы.

Праздники согласно прошли и после жили дородно. За стол всей семьей садимся, пьем-едим в одной куче, и меня не различить между детьми мужа!

Весной поехали на низ. Знаю, что на работе нетрудно свирепо поступить, что опять может что-нибудь с Прокопием выйти. И не хотелось мне ехать. А и отступиться неохота. Люди будут говорить, что от первого мужа ушла, да и у второго не ужилась. Пришлось скрепя сердце ехать.

Ну, а на низах-то и вышел скандал, в крови ходили. Прокопий меня в зубы ударил, а меня захватили — не успела вкруте камнем в него залепить.

Вернулись с путины, муж раздел начал. Отнесла я в кучу свое добро, которое в дом к Фоме принесла, и говорю Прокопию:

— Зря меня попрекаешь. Не вашим житьем буду жить, у меня все свое есть. Тебя выделают, так, наверно, куча-то поменьше моей будет.

Побранился Прокопий при разделе, но драки большой не получилось.

До драки дело дошло через полтора года после первого раздела, когда уже белые ушли. Прокопий сбил братьев уйти от отца:

— Станете, — говорит, — робить да делать. Эта ведь барыня на низы больше не пойдет. Один парень на руках, другой руку подает. Будет сидеть, красуля, пол окном красоваться, а вы робьете да мотайтесь на них. Вздумала на готовое на все притти, пусть сама поскачет да поработает, да своих воровят поростят.

Прокопий моих-то детей считал воронятами, а своих соколятами.

Федор был тогда уже на девятнадцатом, Александр — на восемнадцатом году. Послушали они Прокопия, пошли прочь от отца. А Фоме-то и ладно было отлучить их прочь от себя. Говорит:

— Долго держи, коротко держи, а отпустить все равно придется, раз двойны

¹ К о с и ц а — висок.

дети пошли. Меньше конь, так меньше воз.

На ту пору Прокопий совсем ошалел. Ругает наверху меня словами поносными, сквозь потолок слышно. Я в обиду себя не даю: всякие долги платежом красны. А Прокопий еще больше ярится.

Хожу я как-то в хлеву, веники делаю. А Прокопий на повети¹ обруче на ушаты натягивает. Ругается он хуже прежнего:

— Сойду,— говорит,— вниз, растрясу тебя.

А я в ту пору Андрюшей беременна была. Взяла я топор да веников охапку, пошла из присеня на улиду комелье у веников обсекать. Выскочил Прокопий на звоз², все первым мужем корит.

— Отбилась,— говорит,— от него.

— Попробовал бы ты, говорю, так отбиваться.

— Я,— говорит,— и живу-то тебя не оставил бы.

Обида меня взяла на его пустословье. И назло, ему в подначку, говорю:

— И хошь, да выше утора³ не перельешь.

Тут он и вовсе одичал. Схватил нож. бежит на меня...

— Я,— говорит,— вот слущу тебе в бок, тут тебе утор, да тут и бочва будет.

И я тоже развернулась. В руках у меня тоже не худая уразина. Сжала топор, подняла над головой.

— Попробуй,— говорю,— у меня тоже рука не сбредет.

Номახались мы, постращали один другого, поскакал Прокопий около меня, да тем и снялся. А я вижу, ко мне шодмога идет. Фома взял с земли кол и бросился на сына. Тот повернулся — прочь пошел. А Фома тут же отомкнул амбар и начал раздел. Разложил все и говорит:

— Прибирайся, ребята, это будет ваше, а эти два пая мои с девкой.

Трофена в это время уж была замужем в деревне Бедовое. Дома оставалась последняя дочь, двенадцати лет, Агрипина, или, как мы ее звали,— Пина. Ребята поплакали, не рады уж, что и с Прокопием связались. Да заварили кашу, так и дохлебали.

Вечером пришли коровы. Я и говорю:

— Ну, ребята, выбирайте любых.

Отделили мы им по корове, которые получше, а себе оставили коровушку похуже, она болела, вытравилась и тремя титками донла. На дочь досталась нетель.

Вот и стали мы жить круглой семьей: муж да Пина, да я с Павликом. Ребята с Прокопьем скандалили, а с нами никакого греха у них не было. Я им и коров обряжу, и обошью, и обмою. Только хлеба разные ели, а совет да согласие вместе. Павлик мой всех нас снова сдружил. Сыновья Фомы жили над нами наверху. Павлик сначала к Федору ходил, все с ними возился. А потом и Прокопий начал им забавляться, уважать да похваливать. Глядишь, Павлик и с гостинцами от него придет. А ведь, говорят, кумушка дарит, так и отдарочки манит. И я прокопьевым ребятишкам гостинцы сую, а с Павликом и самому Прокопию отправляю.

— Прокопью брату,— говорю,— снеси.

Павлик принесет, а Прокопью глянется. А потом и гоститься начали. А с невесткой Серафимой мы и век не грешили. С мужем ейным я и не в согласьи была, а с ней мы жили хорошо. Потом как-то год от году обрыкался Прокопий, осмирел, и большой грех мы миновали.

11

Осенью я родила второго сына. Назвали его Андреем. Какое имя наметила, такое и привезли из церкви, поп больше не упрявился.

Подростал Андрюша ревучий. Как родился, месяца три я ночами головы на подушку не прикладывала. На кровать, а то и на пол сяду, ноги растяну, подушку на ноги положу, да его на той подушке и качаю. Чуть успокоится, я уже боюсь его с ног снимать — опять заревет. Голову к стенке приложу да и дремлю, не ложуся. Тут — все мое круго изголовье и весь мой сладкий сон.

От той ребячьей бессонницы я сама Андрюшу лечила. Как начнет потухать вечерняя заря, подымается светел-месяц, выплют часты-звезды, беру я Андрюшу, завертываю получше, чуть щелочку для глаз оставлю, и несую на улицу. Встану я лицом на восточную сторону, пригнусь лицом к его лицу и начитываю:

«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Заря-заряница, красная девица, возьми от раба божья Андрея всю бессонницу. Дай рабу божью Андрею крепкого сна,—денного, ночного и утреннего. Вечорня заря замыкается, раб божий Андрей засымает крепким сном. Падите.

¹ Поветь — сеновал.

² Звоз — въезд на поветь, где складывается сено.

³ Утор — верхний край бочки.

мои слова ключевы, крепче укладу и бутату».

А сама той порой вместе с ребенком потихоньку поворачиваюсь лицом от востока к западу, норовлю, чтобы последние слова про вечернюю зарю пали в ту минуту, когда заря замыкается, последние искорки дневного света потухают. Поклонюсь я заре-зарянице красной девице да еще начну читать. И так до трех раз читаю и кланяюсь, через плечи плюнешь и домой идешь, дорогой тоже плюнешь, да дуешь, да приговариваешь:

— Оставайся тут все зло и лихо. Пусть спит мое дитяtko от вечерней зари и до утренней.

На двенадцать зорь я выносила, не помогало. Потом бессонницу мела. Лежит Андриуша в зыбке, плачет. А я в печке помелом распашу золу, отряхну шомело и иду к нему. Прикрою ему ветошечкой лицо и по той ветошке начну пахать¹ помелом. Пашу это я да приговариваю, как старухи учат:

«Пашу, пашу с раба божья Андрея бессонницу, с белого лица, с ясных очей. Я напахиваю на раба божья Андрея, на белое лицо, на ясные очи крепкого сна: дневного, и почного, и утреннего. Падите, мои слова ключевы, крепче укладу и бутату. Ключ в море, замок в поле, печать у Христа в роте».

Падчерица Пина сидит на лавке. Научу я ее, она после каждого раза спрашивает меня:

— Чего пашешь?

А я отвечаю:

— Бессонницу.

А она и ответит:

— Паши, паши пушше, чтобы век не бывало, не отрыгивало.

И это не помогало. Заказывала я тогда мужу:

— Сделай-ко Андриуше лучок да стрелку. Бывает, не застрелит ли бессонницу.

Выстрогал Фома и лук и стрелу, а я на ночь, на потух-зари, кладу их Андриуше под подушку да твержу свое домашнее колдовство:

«Раб божий Андрей, бери тугой лук, калену стрелу, иди вон на белу-улицу, встань на большу-дорогу, на широку ро-стань, стреляй свою бессонницу от востока до запада, чтобы она век не бывала, не отрыгивала от потух-зари вечерней, по рассвет зари утренней».

Недаром говорят: никто так не научит, как малы дети, поклонись кошке в

пожжи, назовешь ступу матерью. Старухи советуют, у них придумано, так все переотведаешь. Девкам, тем прялочку да веретешко делают и под изголовье кладут. Старухи говорят, что бессонница тогда всю ночь пропридет и не успеет досадить ребенку.

Ничто не помогает, так за песню при-мешься, байкаешь Андриушу:

Байки, побайки,
Матери — китайки,
Отцу — кумачу,
Брату — ластовицу,
Сестре — ленточку
С позументочкой.

Придет соседка Ульяна Кирилловна, выменит меня да и начнет меня поддразнивать:

Бай-бай, бай,
Семерых, бог, дай,
Двойников да тройников,
Наголо мужиков,
Все промышленников,
Все наживальников...

Рассержусь я:

— На свои бы вам глаза да на свою бы голову.

Отниму у ней зыбку, сама начну при-певать:

Я Андрея спать валю,
Спать укладываю,
Приговариваю:
Уж ты, сон да дрема,
Накатитесь на глаза.
Уж как сон ходил по сеним.
Дрема по терему.
Уж как сон-от говорит:
— Нать¹ Андрея повалить.
А дрема-то говорит:
— Нать покрепче засыпнуть.
Уж ты спи, дитя, усни
Темпу почку папроход.

С этих пор я на низы больше не ходила. Муж сказал:

— Какая нам выгода на чужих людей дом-то оставлять? Ведь не даровы люди-то, да и сделают не так, как надо. Оставайся сама дома, на низ больше не пойдеши.

12

А лучше бы уж на низы ходить, чем спрятаться с домом да с жильем, со скотом да с ребятами. Да еще и рыбу около дома для себя промышляю. Рыба под бо-

¹ Па х а т ь — мести.

¹ Нат ь — нало.

ком. так неужели я рук не суну в воду? Иной раз и полный низовский пай в ближних висках добуду. Нетерпежка была. С ребятами мотаюся-мотаюся, чужую соседскую девчонку кликну, гостинец какой-нибудь суну ей в руки и оставляю со своими ребятами. А когда смогу — платочек припасу да подарю, платице сошью. От моей-то руки многие снарядны ходили. Вот девчонка водится, а я на позне верчусь кругом кустов. Лошади не было, так в лугах своя охатка за все отвечала. Охатку такую хватить, что и меня извод нее не видно.

Осенью, пока в лесу голо, снегу нет, по тонколедью да по голоснежью шобежу я в лес дрова сечь. В междувыть¹ волочугу² насекаешь — вроде и делом не считается. Лишь бы топор был, так дрова сами крошатся. Косить да секчи дрова — самая баская работа, лучше всякого рудоделья.

Дружила я в то время больше, чем с другими, со старухой Палагеей Марковой. Она старше моей матери была, а дружбу со мной великую имела. Полюбила она меня за ту же работу: где силу, а где и смысл имела, вот ей и глянулось. Отстрадаю я свое и к Марковым на поденщину пойду. Какая-то неволя заставляла людям помогать.

— Других созовешь, — говорит Палагея, — так много барышу не получишь, а Маремьяну позовешь — вынесет из неволи.

И невесткам своим пример показывает:

— Маремьяне той везде не лихо: рыбу ловить и сено косить, и ягоды от нее не уйдут, и дрова она не упустит, и дома все сделано да приправлено, и ребята обшиты-обмыты.

Кормила нас рыбой виска³, которая проходит недалеко от Голубкова, выпадает в Пустозерский шар. Владели мы ею погодно: год — одна половина деревни, а другой год — другая. Ловили мы не сеткой, а мережами. Мережа связана вроде большого мешка и ставится между двух кольев. Рыба в мережку зайти может, а из мережки не выйдет. С двух берегов вязку язом⁴ забьешь, а в середине оставишь ход, туда мережку и ставишь.

Иные пойдут, яз не укрепят, вода рас-

¹ Время между двумя едами.

² Волочуга — небольшой воз, полувозь.

³ Виска — проток.

⁴ Яз — перегородка из кольев, забитых в дно реки.

полощет все между кольями, а они и внимания не обращают. А то еще неправильно поставят мережу: нижнюю тетиву не загрузят, рыба нпзом и пройдет. А я знаю, что каждое дело доглядку любит. Ладом все догляжу, дерном заложу меж кольев, чтобы вода не пробежала — и без печали домой иду. На другой день Игнатий Марков — пелагени старик — поедет за рыбой и говорит:

— Маремьяна, — говорит, — наладит яз. так знай, что рыбы наедимся, а другие и готовую-то рыбу из рук упустят.

Любили Марковы меня, и я к ним привыкла. Сам Игнатий Терентьевич любил, да и сейчас любит, петь былины. Соберемся в гости, вышьет Игнатий с мужем рюмку-другую, да и запоет сначала песню про горы Воробьевские, а потом и до былин дойдет. Былины у нас на Печоре называют старинами. Вот Игнатий Терентьевич и поет:

Уж ты гой еси, дядюшка Микитушка,
Я задумал теперь, дядюшка, жениться,
Уж ты лива направляй, лива пьяного,
Бадейки направляй меду сладкого,
Сорок сороковок зелена вина.

Занлачу я те, сударь, деньги полные,
Деньги полные да сорок тысячей.

Приедут-то на свадьбу богатыри, —
Тридесять удалых добрых молодцев,
Да святорусских могучих богатырей:

Во первом-то было во десяточке
Набольшим казак да Илья Муромец,

Во втором-то было во десяточке
Набольшим Дунай да сын Иванович,

Во третьем-то было во десяточке
Набольшим Добрынюшка Никитич.

Сподоблялись-снаряжались добры молодцы,

Седлали-уздали коней добрых.
Не видели посадки молодецкойеи,

Не видели поездки богатырскойеи —
Только видели — в поле курева стоят,
Курева стоит да дым столбом валит.

Сколотили все пески-желты сышучие,
Не видно ходяча красна-солнышка.

Удрогнула матушка сыра-земля,
Сухое дубье поломалоса,

Сырое дубье расшаталоса,
Вершина с вершиною соплеталоса.

Долго ли ехали — коротко ли,
Разоставили шатры белополюгяныи,

Стали молодцы пировать-столовать.
Долго ли пили тут, коротко ли —

Прошло тому время трои сутокки.
На четверты-то сутки разбужаются.

Разбужается Иван сударь Годенович,
Умывается свежей водой ключевой,

Утирается он белым полотенышком.

Как садится Иван да на ренчат стул,
И писал он ярлык да скору-грамотку,
Ко тому ли царю Федору Черпиговску
На прекрасной Маремьянушке посва-
таться —

Он со всякими угрозами великпма:
«Нас тридцать удалых добрых молодцев.
Святорусских могучих богатырей.

Отдашь нам честью — возьмем с ра-
достью.

Не отдашь нам честью — возьмем пе-
честью,

Мы царство твое под меч выклоним,
А тебя, царя, во полон возьмем».

Отец Игнатия, Терентий Григорьевич,
тоже был большой старишки, и Игнатий
перенял у него былины еще в детстве.
А от Игнатия и сын Василий научился
петь былины про богатырей святорусских.

В каждой деревне у нас свои былин-
щики. У нас в Голубково — Марковы, в
деревне Бедовое — другой Марков, Афа-
насий Сидорович, в Нарыге — старик Ар-
тамон, в Пустозерске — Иван Иванович
Кожевнин да брат его Василий. Дочь это-
го Василья, моя невестка Лизавета. —
жена моего брата Алексея, — тоже знает
былины. В Лабожском у ненца Василья
Тайбарейского вся семья от стара до ма-
ла поет старины. С Васильем я ловила
рыбу на пизах. Начнут они рыбу по-
роть — Васильи затянет былицу, а сы-
новья подтягивают. В Смекаловке живет
былинщик Иван Кириллович Остаhev. На
гостьбах он везде первый певун. В Ви-
ске певуньей слыла старуха по прозвищу
Живописка. Она была красавица и на
словах речиста — живо писала, вот и
прозвали ее так. Всю жизнь свою она
пробатрачила, а под старость пришлось
ей и под окнами просить. В работницах
в Лабожском мы с ней у одних хозяев
жили. В Кусе знал былины Григорий Кар-
манов. Что ни деревня — то свой бы-
линщик.

Слушать былины я и слушала, а пе-
ренимать их не перенимала. Не к были-
нам у меня душа лежала, а к песням.
Былины казались мне стариковским де-
лом. А для себя я песни выбирала. Коли
печаль на душе лежит — беру прогос-
ную песню, та скорой слезы добывает.
Затянешь, слова унывные, голос — тоже,
сердце запоет, и слеза покатится. В ко-
торой песне горе поминается, ту я хва-
таешь:

С горы ноженьки меня не носят.

Очи на свет не глядят.

Понесите-ко меня, ноги рывзы,

По матушке меня по земле,
Поглядите-ко, мои очи ясны,
Вы па вольный белый свет.

Только слово то в песне было. а по
матушке-земле не больно далеко уй-
дешь — все па одном месте топчешься;
и глядеть немного доводилось: из-под ру-
ки на солнышко посмотришь — вот столь-
ко и свету видишь.

Запою это я песню, а сердце само за-
плачет. Ипой раз думаешь, что и от ра-
дости поешь, а посмотришь — и веселая
песня слезы добудет. Частушки, те —
веселее, живей человека делали. Музыки-
то немного у нас было, так заместо ее —
песни да частушки.

Частушки для любого часа найти мож-
но. Когда англичане на Печоре гостили.
мы частушку пустили:

Я на бочке сижу,
А под бочкой мышка,
Скоро красные придет,
Англичанам крышка.

Печаль-горе одолеет — старинную ча-
стушку вспомнишь:

— Горе, горе, где живешь? —

— В кабаке за бочкой.

— Чего, горе, кушаешь?

— Сухари с водичкой.

Я от горяшка бегом, —
Горе бежит передом,

Я от горя — в синее море, —
Горе в лодочке гребет.

Я от горя — в горницу, —
Горе сквозь окошницу.

Я от горя в темный лес, —
Горе в казуху залез.

Куда бы ни совалась, —
За все оно хваталось.

В веселый час и повеселей частуш-
ку выберешь, какие девкой пела:

Я сидела под окошком,
Шила фартучек горошком,
Семь оборочек подряд
Для молоденьких ребят.

Вы прощайте, поженки,
Да все пути-дороженьки,
Мне по вас не хаживать
Да травопьки не кашивать.

Говорила брату Катя:

— Ты не шей пальто на вате,

В кофточке пристойнее,
Во девушках спокойнее.

Попросила я у тятеньки
Резиновых калош,
Мне сказал родимый тятенька:
— Ременный кнут хорош.

Много-много износила
Голубого, алого,
Я довольна: полюбила
Белого, кудрявого.

Споешь такую и вспомнишь, что муж-
то у меня и кудрявый, и белый, да толь-
ко он от седости. Я так и не запомнила
его черного.

В Голубково я шести лет переехала из
Оксипо, а Фома уже седой был. Жизнь-
то у него тоже трудная. Десятилетии лет
он женился, все хозяйство и на себя и
на брата заводил, детей ораву вырастил,
жизньничко сколачивал. Свою жизнь он на
полвека раньше меня прожил, а меня к
нему идти тоже жизнь заставила. Ну, а
раз вышла, носи платье — не сметывай,
терпи горе — не сказывай. Любо не лю-
бо, а живи.

12

День — по дню да ночь — по ночи все
вперед идут. Андриюше год исполнился, я
снова забеременела. Месяца через три
подняла я как-то раз с невесткой Пала-
геей бочку рыбы, получился выкидыш.
Двоих ребят не доносила. Еще через год
родилась дочь. Назвала я ее Дуней. Хлю-
пот опять прибавилось. Какой родится
такой за стол садится. Дети копятся, а
муж все не моложе, а старей, да и у
самой здоровье портится. Сама себя на-
ругаешь и наплачешься. Не слезы дети
жмут, а кровь бежит из глаз. Заболает
это, так и плач составляю, ночью выплачу:

И нигде-то мне покою нету.
И на воде-то я не топу.
И на огне-то я не горю,
И в петле-то не давлюсь.
И пет моему ретиву-сердцу
Ни ляду ему, ни пропасти:
И нигде ему не будет вдоха.
И на воде-то оно не потонет.
И в огне-то оно не сгорит.
И пожом-то его не берет,
И топором-то его не секет.
Никака ко мне смерть не идет.
Ни худая и ни добрая.

Направлю глаза большие да слезы
крупные. тем и отойду, отпихну горе от
себя.

Только никто не видел моих слез, ни-
кто не слышал причитаний. Все носила
во своем уме да во своей душе. Пропла-
чешь во хлеве, а в избу заходишь, — по-
решившись, чтобы слезу люди не заметили.
И муж-то не заметит, не то что люди. На-
рочно уйдешь к ребятам, возишься с ни-
ми, торопишься, будто что-то делаешь,
так и обойдется. Сядешь к дупиной зыб-
ке, качаешь да поешь:

Дуня ходит по полу,
Кунья шуба до полу,
Русá-коса до пят,
Красна девица до гряд.

По косу-русу,
По невесту жених,
Невеста из-терема,
Жених из-города.

Уж ты, ягодка красна,
Земляничка хороша,
Ты на горочке росла,
Против солнышка цвела.

Ты у батюшки, у матушки
Единая дочь росла,
Сухарями-пряниками
Была вскормленная,

Да сытою, медовою
Водой, вспоенная,
Баско-щегольно Дуняша
Разряженная.

В праздник после обеда надо переодеть-
ся, а я с ребятами провожусь, всю пере-
одевку забуду. После обеда переоденусь,
а муж ворчит:

— Ну, это уж не для меня срядилась.
До обеда жена перед мужем срядается,
а после обеда — перед другом.

А я и скажу:

— По вечеру белá пастухова жена.
Когда переоболокусь, тогда и ладно.

Вздохнет муж и скажет:

— Господи, господи, убей того до смер-
ти, у кого денег много да жопка баска.

Так все шуткой и возьмется. Людям-то
кажется, что мы и ладно живем. Они
смотрят, что наверху видно, а в мыслях-
то никто не знает что есть. Все еще
завидничали, что мы хорошо живем с
мужем.

— Молодые, — говорят, — так не жи-
вут, как вы с Фомой: ни чутко, ни вид-
ко, ни голоско. Живешь у стара, да хоть
бы птица пела, не только людям гово-
рить про тебя: никакого пустословья нет.

У меня в мыслях-то и бродит:

Птицы-пташницы приумолкли,
Добры люди все приутихли,
Никто не охватит и не одернет,
Не обесчестит и не опозорит,—
Живу тиха я и скромна...

Мать и братья мои, чужие и свои горючили:

— Маринша выправилась. Из всех прорывов вышла.

И никто меня не осуждал больше. Брат Алексей говаривал:

— С одной стороны, мы тебя губили. А теперь ты сама себя в руки взяла, живешь не хуже людей: богу не на грех, людям не на смех. Тебе ладно, и нам хорошо.

Брат Константин, хоть и не многословный был, а и тому глянулось, что я сама собой ворочала. Он за годы войны больше других горя хватил, объездил чуть не весь свет. Из шести годов три года его где-то по чужим землям носило, а после революции занесло на Кавказ. Там он прожил три года и вернулся в Голубково позже других. Скажет что — его слушают. Фома — старик, а и то его слушал.

Под насху в девятьсот двадцать пятом году родилась у меня дочь. Муж поехал в Оксину крестить. Велела я ему Иринею девочку назвать. А он поехал, забыл мой наказ и вместе с попом назвал Александрой. Домой приехал и говорит:

— Александрой назвали.

— Ты с ума сошел, — говорю. — Ведь у нас Александра-то была уж.

— Как, — говорит, — была? Я не помню. Где всех упомянешь!

И верно, не мало детенышев у него было — где тут всех упомянешь.

— У покойной жены, — говорит, — я тоже перепутал: две Агрипины получились...

Вдохнула я: второму ребенку нарекли имя не по моему сердцу.

14

В ту пору кулаки опять в силу пошли, снова ожили. Год по-году они себя свободней и проще пачали чувствовать. И рыбу опять скупать стали, и пушнину. Снова ижемские купцы в Оксину свою торговлю открыли. Никифор и Петр Самароковы тоже покупать да продавать стали. Муж и рыбу им сдавал и песцов сбывал.

Песцов у нас и в капканы добывали, и на ружье в тундре брали, и загоны устраивали, и норы откапывали. Фома каждый год норы копал. Отыщет их в тундре, в какой-нибудь сонке. Собака скажет ему, есть ли там песцовое гнездо, и начинает он копать. Докопается до самого гнезда, а там щенки песцовые забьются, а иногда и взрослые попадутся.

Однажды и я набрела на целый выводок песцов. Иду по берегу от лодки и вижу: в старой траве шевелятся щенки. Я подумала, что это собака здесь ошенилась. А они ползают под травой. Я схватила одного щенка и побежала к лодке:

— Фома, — кричу мужу, — я какую красивую собачку принесла.

А тот разоспался в лодке.

— Иди, — говорит, — никаких мне собачек не надо. Неси обратно.

А я упрашиваю:

— Да они красивенькие. Я хоть одного-то с собой возьму.

Протер муж глаза, посмотрел.

— Глухая ты, — говорит. — Ведь это не собака.

Пошли мы, и все другие за нами. Начали траву раздвигать — четырнадцать живых щенят нашли, а пятнадцатого растоптали. Принесли ушат, сложили их туда, так и довели до становья. На наш пай четыре щенка досталось. Вырастили мы их и кулаку Полпнарьчу продали.

Дома муж растил песцов в конюшне. В зиме они вырастут, побелеют. На день мы выводим их на цепочках и перед окошком держим. А осенью пойдет муж на пугину — с собой их берет: там и сохраннее, и кормить есть чем, и на свежем воздухе им легче.

Муж смекалистый был, знал, в какое время и у какого места песцы бывают, и никто веснами столько песцов в норы не добывал, сколько он.

— Уж ты, Фома, — говорят ему люди, — все прознашь да достанешь, из-под земли зверя добудешь. Только что живых птиц не имашь.

Муж и расмеется.

На кулаков глядя, захотелось порасширяться кое-кому из наших мужиков. Сосед Иван Коротяев еще после революции приехал из Усть-Цильмы и поговаривал, что там у белых он чехауз¹ порастряс. Неможко кое-чего и домой привез: одеяла, френчики английские и спирт. И с того спирту потянуло его на самогонку.

¹ Ч е х а у з — цейггауз.

Водки тогда у нас не было, так он и придумал эту науку.

Приходит однажды Павлик и говорит: — Мама, мне сегодня Федя что показал. У них на чердаке стоит печка сложенная, чугуи в нее вмазан, а из чугуна оружейное дуло. А это дуло идет через дольницу¹ со снегом, а из дула водичка каплет. Попробовал я — така горька, дух нескусной. И Федя сказыват, что эту водичку самогонкой зовут.

И верно, Иван стал подвыпивать. А потом плотников нанял, дом стал строить. Потом пьяный хвастался:

— Не умеют люди жить. Я вон один мешок муки истравил, а дом выстроил. Угостишь мастеров — недорого и возьмут.

Потом у Ивана и работники появились. Сам он всю жизнь в людях, что и мы, ходил, а тут вдруг самого на чужие руки потянуло.

Слышим как-то, что он и ненцев самогонкой стал подпаивать. Продаст, да ненцу еще чужую фамилию скажет. Однажды заехал к нему ненец Мика. Кабы богатой был, его бы и Никифором звали, а он ненец да нужной², так и — Мика. Взял он у Ивана самогонки и спросил:

— Как тебя, хозяин, величают-то?

— Зовут-то Олексеем, — говорит Иван, — а фамилия Пашков.

Вот как-то Алексей Пашков и поехал в Оксину к кулаку Никифору Сумарокову. А у того Мика оленей пас. Никифору и не поглянулось, что его задатчика да пастуха самогонкой спивают.

— Неладно, Олексей, — говорит, — ты делаешь. Таким делом не тебе заниматься.

— Каким?

— Да вот люди говорят — самогонку гонишь, да людей спиваешь.

Божится и крестится Алексей, а Никифор не верит. Привел и спрашивает:

— У этого человека ты самогонку брал?

— Нет, — говорит, — я Пашкова Алексея знаю, не такой оп.

Расспросили тогда у него про дом и про обличье, тот рассказал, и дознались, что это дело Ивана Коротаяева.

Приезжает как-то к нам из Виски начальник милиции Крессин. Это оп второй раз за все время к нам в Голубково заглянул. Остановился он у нас. Мужа дома не было, он и спрашивает меня:

¹ Дольница — деревянная посуда для молока, бадейка.

² Нужной — бедный.

— Здесь кто-то самогонку гонит.

Ну и рассказала я ему, как Павлика Коротаяевский Федя на чердак водил. Только просила мужу не сказывать. Начальник хитрый был. В тот же вечер оп уехал в Оксину, а на другой день и нагрянул. Сразу с саней да и к Коротаяеву. На теплую самогонку и набрел. Оштрафовали тогда Ивана. Бумагу и гуцу вон на улицу вылили, а Федя с Павликом в той гуще все валенки упачкали.

15

Повезло мне с коровами. Корова как-то два года подряд двойнями отеллась. Телка еще маленькая, годовая растелилась. Люди говорят:

— У Маремьяны скоро быки будут телиться.

Вот и ростила я двух коров да двух телят. Около них и кормились с ребятами.

А ребят прибывало. Одного вытрясаю, а другого запасаю. Какой родится, такой и за стол садится. Кабы все жили, так полдеревни бы прибавилось.

Родился у меня сын Коля. Дело было против зимнего Николы. Отмыла я полы, обрядила коров, растворила квашню и стала рожать. Сама с квашней больше не замогла возиться. Вот муж с ней и стряпается: от меня да к квашне, от квашни да ко мне. И тесто опустить жалко, оно доброе выходило, и меня еще жалчей. Отбавил он теста из квашни сначала в чашку. А потом смотрит — и из чашки тесто прет и из квашни опять идет. В другую чашку отбавил — опять не помогает. Весь он умазался в тесте, руки о себя вытирает, ругается.

Взял он потом и квашню и чашки, запихал под лавку в холодное место. Глядит, и под лавкой тесто плывет.

— На улицу, говорит, вынесу. Пускай замерзнет...

Через полторы сутки родила я. В тот день наверху мужские сыновья плясали и пели, а у меня свои песни. Ребенок родился, а они, как будто знали, как раз поют:

Спородила молода девчина
Хорошего сына.

В этот же день пришел из наволока Прокопий и принес черного псаца.

— У Маремьяны, — говорят люди, — счастливой парень родился.

А я только того счастья и ждала, чтобы не пришлось детям по миру ходить да

в чужих людях, как я, работу ломать, да безграмотными остаться.

А на ту пору открылся в нашей деревне ликпункт. Прежде-то парод в наших краях темный был, против нынешних людей чудоватый, неграмотный. Понадобится кому-нибудь прошение подать, так в волостное правление к писарию ехать надо. На моей памяти первый в волости школа при церкви в Оксине открылась. Только в ней ничего похожего на школу не было. Приходил туда дьячишко худящий. Зув по прозванию, завсегда пьяный. Да не столько учил ребятнишек, сколько за уши да за волосы драл. Домнишко под школу худой, крестьянский отвели — не школа, а одна насмешка.

А богатым пужко было грамоту сыновьям добыть. Оксипский купец Сумароков Александр Никифорович на свои средства школу построил, учителей достал, а потом с мужиков деньги собирал за помещенье, за отопленье, за освещенье и учителям на жалованье. Кто платить не может, если не так зажиточный, так и дома ребятнишек оставляет. Оттого парод и оставался у нас неграмотным.

Как появился у нас ликпункт, все обрадовались. Все повели туда ребят, — по двое, по трое. И я задумала Павлика отдать. Да он и слезами просится. Веду его в ликпункт, муж — ни слова, ни брани. И я стала понемногу волю забирать. Вижу, туда ведут и постарше ребят: иных — годов по шестнадцати, а на одну скамью с Павликом садятся, хоть ему и восемь годов еще не исполнилось.

Учитель попал некорыстный и за эти ползими ничему ребят не выучил: буквы и те ладом не знали ребята. В пятидневку раз придет учитель, да и то на один вечер. Однажды учитель пошел вместо Оксина по Ведовской дороге, заблудился и чуть не замерз.

На другую зиму путного учителя прислали, по фамилии Садовник. У него ребята по-настоящему грамоту поняли, читать-писать выучились. Я даже сама заходила во время уроков слушать — как учится Павлик. Учился он неплохо. Ребята прозвали его Большеголовым. Когда копчилась учеба, он и на испытаниях не подкачал. Садовник мне спасибо дал и наказал:

— Не упускай Павла. учи. Из твоего парня выйдет человек.

Той порой у меня еще двое ребят прибавилось: сначала сын Степа, а потом дочь Сусанья. Лишний человек и то лишняя забота, а тут двое новых, да прежним

счет потеряла. Вот и вожусь с ними: где пихну, где качну, да где зареву. Паше загадки загадываю, как мать мне когда-то загадывала:

— У туши уши, а головы нет?

— Шла свинья из Питера, вся гвоздем истыкана?

— Вышел кот из-под печки, выпес шар на веревке, все люди боятся, ему кланяются?

И ничего он отгадать не может, хоть и востёр: ни ушата, ни паперстка, ни пона с кадиллом. А пона-то он, к слову сказать, и не видел: ни один из моих ребят от самого рождения в церкви и не бывал. Степу с Сусаньей так не в церкви и крестили. Жил у нас в Голубково какой-то заблудящий поп, он и ополоснул их в большой двоеухой доньянице, вместо купели. У меня муж тянулся к этому делу, а мне и все равно: я сама с тех пор как Павлик родился, по-настоящему в церкви не бывала.

Паше загадки загадываешь, а Андрюша за подел теревит:

— Мама, песню спой.

Ну, а я безотказна, пою:

Скочил козел в огород,

Ай люди, в огород,

Стоптал луку-чесноку.

Шла девица из сада,

Брала козла за рога:

«Сведу козла на базар

Променяю на товар:

На белила белые,

На румяна алые.

Набелюсь я до-белá,

Нарумяюсь до-ала.

Спросит милой-от меня:

— Ты, сударыня моя,

Отчего же столь бела?

— Сударь, мучку сеяла,

Копотица насела.

Спросит милой-от меня:

— Ты, сударыня моя,

Отчего же столь ала?

— Сударь, лечку топила.

Жаром лицо затекло.

Спросит милой-от меня:

— Ты, сударыня моя,

Отчего же бровь черна?

— Сударь, сажу пахала,

Очи-ляко задела.

Дуне надо куклу спить, Коле — сказку рассказать. Степе — деревянную побра-кушку из шести дошечек сделать, Сусанье соску в рот сунуть.

Один раз все мои ребята да и я сама чуть без-веку ноги не протянули. По-

шла я в баню, а дома падчерица Пина истопляла печку, закрыла трубу, оставила ребят одних и ушла на улицу. Пришла я из бани, ребята все повалком лежат. Того хвачу, другого хвачу — все как мертвые. Того лью водой, другую мочу, третьего кличу — голоса не подают. Коля первый квакать да дрыгать начал. Дуню волочу — ничего не понимает. Андрей едва шевелится. До того довозилась — у самой ноги подрезывать стало. Павлик с улицы пришел, послала я его за матерью. Мать пришла, голос подала, а я встать не могу. Пока мать с нами отваживалась — и сама угорела. И мать легла. Ну, а двери-то открытые, так потом полегче стало, продышались. Муж приехал веселоватый, залег на пол прямо в малице и спит. Ребята на полу отлежались, а мне па койке еще тяжелей. Сволокалась я кое-как с койки, доползла до матери ползунком по полу.

— Тошно мне, — говорю.

Муж вскочил, спрашивает, в чем дело.

— Все мы сегодня мертвы, — говорит мать. — Угорели до пропасти.

Тогда хмель-то у него и ободрало. Разделся, начал с нами отваживаться, горячим поить, нашатырный спирт под нос совать, укусом голову мочить. Отходил. Только одна Дуня сутки полторы без памяти лежала.

Это было уже в новом доме. Мы недавно туда перешли, сырость еще не вывелась, и нередко угорали. Новый дом мы строили с большими трудами. В первый год мы подрядили Ивана Кирилловича Осташева приплавить нам четыре дерева. А доставать их надо чуть не из-под самой Усть-Цильмы. Под боком-то у нас тундра, настоящие деревья не растут, один безрезник да дровяные елки. А Иван Кириллович родом из устьцильмских краев, он и взялся. Денег у нас не было, так за эти четыре дерева мы ему веревку рыболовную отдали сажен на сорок.

Весной муж на низ ушел, а я начала кирпич припасать для нового дома. Нашла под угором глину, носу ее мешками да корзинами к дому да в стае и стряпаюсь. Дала сама себе задание по сотне кирпичей в день делать и выполняла, не жалела себя. Наделала кирпича больше тысячи. Каждый кирпичик надо сколько раз с боку па бок переверотить да пересушить. Вечером в дом заносишь, чтобы роса не напала или под дождем не рассырели, а утром снова на солнышко выносишь.

Осташев бревна приплавил, а из четырех бревен дома не выстроишь. Муж

занял лес у сыновей, а взамен заказал устьцильмцам за рыбу весеннего улова приплавить лесу сколько нужно. Устьцильмцам рыба была нужнее, чем деньги: они от моря далеко и рыбой скудальсь¹.

Плотники свои, деревенские — тоже па рыбу строили. Да кроме того к тому времени кооперативы пошли, на рыбу муку стали давать. Однажды муж враз десять мешков из кооператива привез. А у кого промысла много, так еще и премии давали.

Хлев перенесли старый: завели скотинку, так надо заводить и хлевинку. А после того и перешли в новый дом. Стоял он на пустыне, в полуверсте от деревни. Место там хорошее, луговое, а сухое, водой не топит. Стоит он на укатинке, вода весной разольется, а мы па веретье, как на горбу стоим. Летом выйду я из огорода, через жердь шагну и траву кошу. Козарно на улице, так я в избу забегу, косу вылопачу да опять косить. Сено убираем, все мое семейство выйдет — от старшего до младшего. Кто щеноткой, а кто и охачкой тащат сено в огород. Все дело на ходу да па ладу.

Перебираться в новый дом так, как старик учили, — непростая штука. Скота во хлев заводишь, — домового просишь:

«Дедушко-соседушко, прймай моего скота, хозяйшикого, чистого скота, колото копыто, двоешерстных коров, пой да корми, гладь да люби, плоди да расти, как и раньше поил да кормил, гладил да любил, плодил да растил, из чужих дворов сено да воду носи. Пусть они будут такие же мягки да гладки, скакучи да на ногах бегучи, ко двору домовиты, к молоку дойны, к хозяйке ласковы, как и на старом месте».

Так и я припросилась к «дедушке», завела скот, а сами мы еще целый месяц не переселялись.

Когда сами пошли, сосмекали, — па ночь или па день выходить. Если ночь в прибыль идет, любое новое дело надо па ночь на полу-неделе делать, а если день в прибыль идет — па день, тоже в четверг. Муж поровил уйти, чтобы никто не знал: по старым приметам так лучше. Двери заложили, все закрыли, присели. встали, богу помолились и пошли.

Впереди всего другого песли kota и поганое корыто. Когда зашли в дом, сунула я в кухню попереди себя kota. По старинной примете, если кот пробежит в передний угол — к житью, а вон пойдет —

¹ Скудальсь — чувствовали нужду.

не к житью. Кот заскочил на переднюю лавку и сел под окошко.

Стали мы тогда с мужем спорить — кому первому в избу войти. По примете, — кто в новый дом вперед зайдет, тот вперед помрет. Мне все хотелось помереть, вот я и рвалась, а муж не пускает, хочет, чтобы я жила. Все же он пересилил, вперед меня зашел.

И хоть все приметы сулили мне счастье, а только я еще долгонько его не увидела. Да и верить-то в это счастье я не верила. Думаю: в молодости не жить, — в старости не помереть. Видно, не на час горе навязалось. Худому дереву нет излома, худому человеку нет извода. Смерть-то бы в ту пору пришла, так я ее ухватила бы, все равно как в жаркий день студену воду выпила. Моего горя чорт не считает, а богу дела нет. Одни стоны да боли. Не будь я такой крепкой, так куда бы к лешему столько боли влезло. Чувствовала я, что кровь моя замерла в каждой жиле, заросла, как хрящами. И не знала я, когда она оживет.

16

Весной того же года в Голубково организован рыболовный коллектив. Великим постом приехал к нам учитель Колосов и созвал мужиков и баб на собрание к Михайлу Шевелеву. Собрались. Мы с мужем оба пошли. Собрания у нас не часто бывали. До этого я на собрания никогда и не хаживала, некогда было. Да и муж считал, что мне незачем отходить от шестка и ребячьей зыбки.

А тут собралось людно. Женки и те послушать пришли. Всем хотелось знать — какой такой коллектив есть.

Колосов объяснил нам про него. Говорил он, что в других деревнях мужики вступили в коллективы и ловят рыбу все вместе. Что не худо бы и у нас в Голубково также объединиться, рыбу ловить вместе, сдавать кооперативу тоже вместе, а выручку делить по паям.

Сначала мужики пошумели.

— Какое уж тут сослаться, когда будешь не хозяин своих сеток.

Евгений Шевелев спрашивает:

— А вот как, товарищ Колосов, к примеру, я буду жить? У меня ребятишки мал-мала меньше, а у Прокопья вон — все подростки. Прокопий пойдет двоима да троица, а я один пойду. Никакой уж мне прибавки против их не будет?

— Не будет, — говорит Колосов. — Что большому, то и меньшому.

Покричали-покричали мужики, а потом выступил брат Константин.

— Вот что, мужики, — говорит. — Кто из вас на низу один ловит? Никто. Собираетесь вы ехать, так уж всегда договариваетесь один невод с другим. Да и то еще мало. Чтобы спокойней ловить, друга друга не гонять, ведь вы из-веков заединкой ловите. Съезжаются два-три невода и ловят в одну кучу, и каждый хочет в эту кучу побольше принести. А потом делите по паям. Так чем же вам коллектив плох? Ведь это одно и то же.

— Нет, — говорят, — не одно и то же. Тот же Савка, да не на тех санках. У нас невода-то у каждого на руках, а тут общий невод надо составлять. А потом, заединкой-то мы ловим, так каждый невод на какой хочешь тоне лови, только рыбу вместе свози. А тут одним-то неводом и хотел бы на другу тону выехать, да не uskочпшь: везде-то одним неводом не захватить.

— Общий невод, — говорит Константин, — нам не в диковинку. В безрыбной год мы что делаем? Рыба от берегов отходит, а с субоя ее малым неводом не возьмешь. Так разве мы не делали большого невода? Вон Фома, — он рыбак не последний, — сшивался с Солдатом большима неводами, — сто двадцать сеток вместе вбухают, зато с самого дальнего субоя рыбу достанут. Тут прямая выгода. На том неводу их двадцать четыре человека вместе ловят, да разве их совет не брал? Ведь они не один год так ходят. И две тони за сутки вытянут, зато с рыбой в любой год.

Колосов к тому же объяснил, что коллективу не надо печалиться — как поредню¹ заводить: коноплю, мочало, веревки. Государство коллективу все даже в кредит может отпустить.

Константин первым записался.

— Сколько, — говорит, — нас наберется, а работать коллективно будем: общий горшок гуще кипит. Пример подадим, а там люди сами увидят пользу и к нам же придут. Начни — дела половина.

За Константином тут же записался Иван Коротаяев — член МОПРа, за ним брат Алексей, за Алексеем — сын мужа Прокопий. На них глядя потянулись в коллектив и однородцы Шевелевы — сыновья моего старого свата Егора — Евгений и Михайло да внуки его — Онаний, Яков и Ефим. Сам Егор жил со старухой отдельно от сыновей и не записался.

¹ Поредня — сети.

В этот вечер запись на том и кончилась. Кто вступил — сказал, сколько у них будет паев. У кого сколько в семье работников, столько и паев. Тут же стали намечать — кого ставить председателем, кого хозяйственным, по-теперешнему — завхозом, поредню составлять. В председатели поставили Константина. Он перед этим ездил на курсы счетных работников да и кроме того был главной заводпловкой во всем этом деле.

Когда кончилось собрание, Колосов подошел к мужу. Говорит:

— Чего это, Фома, тебя колдуном считают? Когда-то говорили, что ты вороном летал, прилетел, на дом сел, да еще и покуркал.

А Фома смеется:

— Не ладно ты говоришь-то. Пошто я вороном-то полечу? Ведь я соколом летаю...

Уходя с собрания, люди судачили:

— Ну, этот коллектив долго не устоит. Собрался — одни с борку, другой с веретийки, характеры разные. Совет на многолюди не заберет. Не приведет что-нибудь, и все прахом пойдет.

А я говорю:

— Я и вступила бы в коллектив, да уши выше головы не бывают. Больше мужа не станешь. А вот у меня столько ребят, так я их вырашу да свой коллектив сделаю...

На тех же днях коллективщики съездили в Оксипю и привезли оттуда два воза добра: конопля, пеньок, мочала, смолы. Поредню вязали уже коллективно, по паям, кому сколько положили. Приглашали работать и других. Тогда у нас по большим праздникам и первые субботники пошли. Константин беседу соберет, объяснит и тут же записывает всех, кто хочет помочь коллективу. На другой день и соберутся. Первый субботник был в самую пасху. Приглашал Константин и меня. Я было и обзадорилась. А муж бога боится, ворчит:

— В пасху христову пойдешь вязать да прясть. Мало еще хворашь да охашь, дак еще хочешь божье наказание накликасть.

— Ну, — говорю, — а если на пасху не пойду работать, так разве не буду хворать да охать? Бывает, и ребят больше носить не буду? Бог, все равно, мне зыбку-то ни разу не качнул.

Днем-то все же не утерпела. Думаю, хощь посмотрю схожу, за посмотренья меня бог не убьет. Да и бабы зовут:

— Пойдем, Маремьяна, хоть песен нам попоешь.

Пошла. Песни-то и пела, да и без дела не сидела: на иглы нитки мотала. Поработала, меня и на угощение пригласили. Константин нам и чай и обед придумал. И время весело провели и дело сделали. Вечером и пляску девки устроили. Только я уж тогда домой ушла, чтобы муж не пенялся.

Весна пришла, коллективщики и поредню, и лодки смоят. Тут к ним и другие кое-кто потянулись. Мужики все вступили в коллектив, кроме Семена Коротаева, Ивана Федоровича, Егора Шевелева, Тюшина и моего мужа.

— Каки мы коллективщики, — говорил муж. — Молодым-то, тем, бывает, и нужно, а уж мы, старики, как жили, так и доживать будем.

А я только пукала да дакала. Ко своим коровам когда итти надо, так и то ждала мужа, пока с улицы придет да отпустит. Да и с ребятами замучилась.

Андрюша как-то ногу вывернул. Дело было в праздник, в Изосимов день. Я посмотрела на праздник, пошла в луга кошению грести. Да и мужа-то уволокла.

— Сейчас, — говорю, — праздники празднуете, а потом уйдете на низы, а я здесь с сеном мотайся. Праздники часты, а руки одиноки, так уж дело сделать надо. Одна пора страда.

А когда вернулись с пожни да узнали, что Андрюша покалечился, муж и набросился на меня:

— Вот напротив-то бога идешь, он тебя и наказал.

— Сделала, — говорю, — грех, так бог не забыл, наказал. А пить да есть мы каждый день хотим, так он, небось, не помнит. Наказать-то он горазд, а накормить-напоить, небось, не скоро схватится.

Про бога-то я смело рассуждала. И некогда-то я с ним большой дружбы не имела: он меня не знал, так и я его не особенно признавала. Как-то, помню, за обедом свалилась с божницы икона, меня по голове задела, да на столе ложку и переломила. Я схватила икону да и говорю:

— Вот, черномазая, у меня и ложку-то выломала.

Черномазой-то я ее назвала потому, что икона эта была давнишняя, когда-то еще у нас в черной избе стояла и там вся прокоптела. Там какая-то богородица была вырисована, а от сажки и лика не знатко.

— Ты носишь али пет крест-от на вороту? — спрашивают меня люди.

— А уж на редкость, — говорю, — одеваю.

И верно, я почти всегда без креста ходила. У меня от готяна¹ шея болела.

И над верующими я частенько зубы скалила. Однажды на путине в неловчий день, когда мы невод сушили, пошла я на соседнюю тошу к отчиму (его люди все Солдатом звали). Увидала меня одна жонка с этого невода — Серафима. Удивилась она:

— Вы сегодня чего, не ловите?

— Так ведь сегодня праздник.

Серафима глаза выдучила:

— Какой праздник?

— А ты што, не знаешь разве?

— Нет,— говорит,— не знаю.

— Праздник, праздник,— говорю,— да и большой.

— Да какой?

— Какой, известно. Защемление Главы.— говорю.

— Да разве есть такой? Я еще не слышала.

— Как,— говорю,— не слышала. Дванадцатый праздник. Посмотри в календаре, против этого праздника в полном кругу крестик стоит. В Оксипо еще крестным ходом в этот день ходят.

— Вот беда-то, жонка,— хлопает Серафима руками.— Ведь я сегодня на грех еще и стирнулась.

А в ту пору мужики с этого невода собирались ловить. Вот побежала к ним Серафима.

— Мужики.— говорит,— куда вы? Сегодня ведь, Маремьяна говорит, праздник.

— Какому еще там преподобному Лентяю праздник?— спрашивает Солдат.

— Праздник да и большой праздник. Ущемление Главы. В Оксипо еще крестным ходом ходят.

И хотали же тут мужики.

— Ну уж, говорят. Маремьяна отольет плулю. так отольет...

17

Замаяли меня ребята. Заболеют, по двое та по трое лежкой лежат. Вот и возишься с ними. Того поднимешь, да другого опустишь, да за третьего возьмешься. Да и со здоровыми-то и дела, и работы, и всякой заботы доволно. Обмыть да обшить, обусть да одеть, разуть да раздеть, напоить да накормить, да спать уложить — все надо.

В вешневодье коллективщики пошли на свою первую путину. Мой муж ушел на

¹ Готян — шнурок, на котором висел крест на шее у верующего.

низы еще раньше. Я за хлопотами не успела братьев проводить, вышла на берег, жду, когда мимо поедут. Вот и едут они. На передней лодке на носу флаг поставлен. Константин помахал мне шалкой, и уехали. В тот день я второй раз за всю свою жизнь красный флаг увидела.

Первый раз мы с красным флагом ходили, когда ликпункт у нас открывали. Я с пустыни увидела, что по деревне флаг краснеет, а вечером и спрашиваю мужа:

— Чего-йно сегодня с красным флагом ходили?

— А ребяташек, — говорит, — ведут учить, так радуются. Старуха Тюшиха передом идет, поет да приплясывает. На старости-то лет последнего ума лишилась...

Летом коллективщики вернулись довольные. Жили они на низу как следует, не ругались, не спорили. Добычу привезли хорошую. Ловили они там на два невода, как раньше заединкой, так и теперь дело шло. Только теперь у них кроме кормщиков еще главный был — председатель коллектива, мой брат Константин.

Муж с низу вернулся, недоволен:

— Нынче, видно, не нашему брату ловить. Все хорошие тови коллектив занял. И все Константин передом. Везде он суется.

Пришли коллективщики да и снова за работу. Недалеко от Голубково стали они семгу плавать теми же неводами, с которыми на низ ездили. Мужу стало не с кем ловить, а один не поедешь, ну и занялся он сенокосом. Ахал муж:

— Вот беда! Глаза глядят, а собаки живот едят. Люди промышляют, а ты смотри.

— А ты.— говорю,— не смотри, а лови вместе с ними.

— Нет уж. С добрым и потеряжу потерять хорошо, а с худым и найдущку найти плохо. Пусть уж Костя семгу ест.

— Костя.— говорю,— и тебя не унимает есть-то. Костя тихонько глядит, да далеко видит. Раз время идет такое, что нужный с нужным¹, богатый с богатым заединкой работают, так и тебе от нужных сторониться не надо.

— Городи уж ты со своим Костей.

Стемнеет муж, хлопнет дверью и уйдет. А я и вздышу. И вижу, и знаю, да воля не своя: руки связаны. И знаю-то хорошо, не хуже других. Когда я ловила заединкой, мне это ладно глянулось. На

¹ Нужный с нужным — бедняк с бедняком.

большом народе веселее, работа идет дружнее, меньше устанешь, а больше добудешь. И, глядя на коллективщиков, завидовала я им.

На тех днях пришел на побывку из Красной Армии сын мужа Федор. Одет щегольно, во всем военном, в хромовых сапогах и с наганом. Смотрят на него люди и говорят:

— Приумыла молодца петроградская вода.

Федор рассказал отцу, что за три года в армии он выучился в фельдшерской школе и что теперь работает фельдшером на границе в Карелии. Тут же он всем нам здоровье проверил, всех моих ребят пересмотрел. Вечером Федор с отцом да с братьями подгостили. И начал он отца умудраму учить.

— Ты что это, палаша, от людей-то отстаешь? Тебя ведь там через силу никто не заставит работать. По твоей старости подыщут тебе работу по силе.

— Да ведь еще только нынче начинается, успею еще, — отговаривается Фома.

А Федор свое ведет:

— Ты не только о себе думай, а и о ребятах. Ребята вон у тебя растут. Да и Маремьяне жить еще надо, она молодая. В случае чего, — останется она без внимания. Потом, как-нибудь ребят учить надо. Торопитесь. В наше время без грамоты куда они поделутся? У меня воп, хопь и худенька грамота, а и то большая подмога в армии. А теперь видите, до какого дела добился.

Сначала-то мы, как увидим вооруженного, так боялись. В Оксине приедем, да если милиционер встречу попадет, так как мураши по за кожей-то забегают. Все чего-то боялись, как раньше урядника. А тут, видим, у нас у самих такой же гость гостит. Знаем, что свой да родной. С той поры мы и перестали бояться вооруженных. Хоть милиционер встретится, хоть сам начальник милиции, а мы знаем, что он из такой же семьи, как и наш Федор...

На зиму на озерах наших завелся другой порядок. Раньше мы на две половины деревни погодно озерами владели. А тут, раз в коллективе почти вся деревня, взяли они себе озера и стали ловить коллективом. Единичникам достались озеринка потаковей, похуже, а которые и вовсе бросовые. Фома из кожи вылезал. Прежде выбирал места получше, а теперь — и знает, что озеро безгожее, а приходится ловить. Из себя выходит Фома:

— Вот что делают. Добрая лужи не дают — топлю вытянуть. Какой-то Костя всей деревней ворочат. Не перво, видно, время живем, а последнее.

Вот и сойдутся как-нибудь приятели, вот и сунет чорт встретиться зятя с нурином. Где сойдутся, тут и соймутся. С кулаками друг на дружку ходят. Пешней друг дружку сколоть грозятся. Я потом про это узнаю и говорю мужу:

— Вы, два диких, сойдетесь да тут же и деретесь.

— Не лезь не в свое дело, жопка! — кричит Фома.

— Да как, — говорю, — не лезь. Вы там пешнями друг дружку страшаете, а я молчи.

Да еще я прибавлю:

— Ну да ладно, помиритесь. Которая собака гарчит¹, так та скорей не укусит.

Тут меня Фома первый и последний раз по уху ударил. Видно уж до сердца дошло, что я братову руку держу.

Потом Фома меня уговаривал:

— С диким, — говорит, — не надо ввязаться.

Муж с женой на кровати мирятся. Помрились и мы. Только ухо у меня долго болело.

Этот год Павлик полную зиму учился. Ползими он ходил на ликпункт, а потом его перевели в подростки и велели учиться в Оксине в четвертом классе. Пошел учиться и Андрюша. Ему бы и рановато еще, да уж он вырвел. Он и до этого в ликпункт за Пашей волочился, больно уж ему интересно казалось. Да и все-то ребята обрадели ученья-то. У Хлюньи дочь на шестом году ходила. У Тюшпных девочка — тоже.

Осенью пошла я в Оксину посмотреть, как живет да кормится Павлик в интернате. Поместили их в доме кулачки Лизаветы Сумароковой, у которой я когда-то батрачила. Дом большой, устроенный, комнаты светлые, чистые. Павлик встретил меня веселый:

— Мама, вот моя койка, это моя тумбочка для книг. Кормят нас хорошо. Омудлей нажарят али мяса паварят, на второе — рисовая каша с маслом, на третье — компот али кисель.

Я довольна: за парня печалиться нечего, у места он успокоен. Оглядела стены — лозупги навешаны, карты, портреты. И вдруг сердце встрепенулось.

¹ Гарчит — урчит.

— Паша,— говорю,— кто это?

Со стены на меня смотрел человек.

Твердые, хорошие глаза, лицо смуглое. А главное дело — взгляд. Видно, что думает он о чем-то большом-большом, о таком, что нам и в голову не поместится.

— Кто это, Паша? — показываю на портрет.

— Это Сталин, мама,— говорит.

Про Сталина мы были много слышаны. После революции, когда люди разобрались что к чему, начали у нас поговаривать:

— Ленин-то заединкой со своим товарищем, Сталиным, все дело решают.

Знали мы еще, что после Ленина все дело ведет Сталин. Ленин ему из рук в руки все управление передал. И еще говорили, что Сталин тоже из ссыльных. Он в царское время в наших северных краях ссылку отбывал. А раз они одного роду-племени, одного гнезда орлиного, наш печорский народ одинаково и доверял им, ценил их и жаловал.

— Так вот он какой Сталин-то,— говорю я сама себе,— с верным взором, с большой, твердой думой, с прямыми мыслями, с горячим ретивым сердцем.

И подумала я о нем, о Сталине, о жизни его, о заботах.

— Вот я,— думаю,— сердешная, вокруг шести детенышей всю жизнь кружусь. И сколько мной силы изложено? Сколько дум передумано? Сколько ночей недоспано?

А у Сталина семьяща несчетная, думы несметные, дела великие. Сколько же этому человеку ума надо иметь? Какую ему силу надо в себе носить? Какое же у него сердце, коли оно выдерживает заботу обо всем народе!

18

После нового года по нашим деревням взялись мужики за кулаков. В Пустозерске Кожевинных хватили, в Андеге — Хабаровых, в Устье — Павловых, в Никитце — Сафоновых, в Оксине — Сумароковых, а в Каменке — Поповых, моих прежних хозяев, раскулачили.

Беднота-то в этом деле верховодила, а чуть позажиточнее — ахали да вздыхали.

— Голодаи голову поднимают. Радуются чужому безвременью. Заскавши¹ рукава бегают, пятки в задницу влипают. Где-ка или-ели да тут и накастили². На которых кустах выросли да выкормились, те же и в навоз топчут. Недаром в писанин

¹ З а с к а в ш и — засучив.

² От слова «к а с т ь» — грязь.

сказано: «Не споя, не скормя ворога не увидишь».

Когда начали кулаков из всех деревень в Оксину свозить, наши мужики в Оксину боятся и показаться.

Распустили все себя, живут, как на один день. Муж у меня в еде-питье воздержный был, а тут ровно его прорвало.

Чай отопьет, говорит:

— Давай теперь обедать.

Отобедает да кряду опять:

— Грей самовар. Которо съем да съедим, то и наше будет.

— Не шалей ты,— говорю я ему.— В которые глаза пить да есть будем? Больше брюха не съешь! С которой стати пас-то тронут. Мы ничего не продавали, не торговали. Окол рук живем да в рот — чего у нас взять-то. Какая ли рубаха да перемиваха — только всего и добра.

Муж принес с чердака праздничную малицу:

— Носи,— говорит,— ее завсегда. Все равно немного на сем свете жить осталось.

— Давай,— говорю,— вовсе-то из маличонки, быват, никто не вытряхнет. Я ведь — вековечная трудница, не какая-нибудь богатая да дородная, почетная да породная. Кабы из работниц не вышла, семейством не обросла, так теперь тоже за кулаков взялась бы.

— У тебя,— говорит,— ума да совести хватило бы.

И верно. Будь я попржепему в работницах, я теперь за кулаков покрепче да подоловей бы взялась. Меня бы кровь заставила так делать. У кулаков я на своем веку немало потерпела, много раз перевздохала. Который день не били да не бранили, тот день и хороши. Работные люди дню и ночью на кулаков ломили... Вспомнишь — мозги захлывают. А тут еще жалеют кулаков.

Моя бы воля, так я у них кругом кости мяса не оставила бы. Взяла бы их за вершиночку да вырвала бы до сама корня. Все ихние роды и подрошки, корешки и отростели.

Но сколько мы слышали про Оксину да про другие деревни, столько и знали. А у нас в Голубково раскулачиванья так и не было: все пятнадцать дворов наперечет и — ни одного кулака: все из помирского куска выращены, все трудники, люди работные: сами себя кормили да еще у кулаков рабами да холопами ходили.

Одному только Ивану Коротаяеву вспомнили, что он хоть и из трудовых родов,

да занялся не тем делом: какой-то год не на ту дорогу ступил. Вот и выделили его из всех в верхушки¹. И забегал Иван. Ходит по деревне с листом, отбирает руки от мужиков, чтобы оправдаться. Пришел к нам печальный, как из гроба вышел. Знает, что если деревня заступится да оправдает, так его с верхушки и снимут, а не заступится — пропадет.

А народ разобрался и простил ему. Коротаяев тоже до нищего куска доходил. А что он год или два пожадничал, так ведь не век, как настоящие кулаки. Плюнули мужики, а все же подписали.

С той поры Иван Коротаяев и повернулся лицом в другую сторону.

Опять приутихло Голубково. Большой тревоги никакой не стало. Пошла я как-то в Оксню, купить сатину да ситцу в ненецком кооперативе. Вижу, в Оксню все еще суматоха. Кто куда идет, все один разговор ведут, — о колхозах да о кулаках. Меня спрашивают:

— У вас в Голубково чего там нового дается?

— Все, — говорю, — у нас по-старому, как мать поставила.

— А у нас, — говорят, — все с ног сблизилось. Как свету перемененье. То бегали — кулаков обирали, а теперь опять с собранья не выходим. Вам счастье — ни страсти, ни ужаси не видели, а у нас здесь страшное совершается.

— Я, — говорю, — не такие страсти видела. Я им, кулакам, полжизни отдала, самые молодые годы, еще не в настоящем возрасте. Мы на этих кулаков силу вкладывали, кровь портили, здоровье отдавали. Вам, жонки, тогда не страшно было?

Нас от веку кулаки людьми не считали, с сором смешивали, со своей собакой не сравнивали, не то что сама с собой. Я пришла к сыну здешней кулачки Карасихи, сниматься захотела. Так она взелась и на сына накинулась:

— Всяку наброду, — говорит, — каждую мусорину фотографировать!

Вам, жонки, небось, не страшно было! А я помертвела тогда, ровню мне в душу харкнули. Моя бы воля, так я за одну ту минуту раскулачила бы ее.

Нам кулаки, — хоть с голоду бы мы подошли, а они своей крохи не сунут. Еще ириди, прося, так и то не дадут. Вон наш Василий Марков ходил как-то к вам в

Оксню, к Петру Федоровичу, мяса просить. Что ему тот сказал?

— Хоть задавись, — говорит, — перед моими окнами, — не дам.

Не страшно вам тогда, жонки, было?

А тот же Петр, когда самого шелонник¹ хватил, к Василию же с бумажками пришел.

— Выкупите да выручите, закиньте добро слово.

Вам тогда и страшно стало?

Жонкам и крыть печем. А я еще на них накинулась:

— А вас-то, думаете, кулаки-то парато честили? Много вы от кулаков добра видели? Бывает, какую копейку али грош до двора-то поверят, — велика это вам ссуда да порука? После того они в три-столько с вас возьмут.

Разъярилась я, все выложила, что на сердце имела. Мужа близко нет, так моя воля была. И тот же язык, да не так заговорил. Я тогда первый раз не полуглазком глянула, а широко глаза открыла, кругом посмотрела: не полу-ротком, а во весь рот, в полный голос заговорила. Дома-то глаза вниз опустишь и молчишь. Муж думает, что у меня о старом болит сердце-то, а у меня оно давно о новом болит.

19

В Оксню, Пустозерске, Виске, Лабожском — везде колхозы завелись. А в Макарово да в Каменке решили коммуны сделать. В Каменке — двадцать верст от нас — соединили вместе все: дома, коров, кур, сетки, лодки, чашки-ложки, поварешки, мешки и горшки. Одежу и ту всю то рубашки в одну кучу стащили.

— Колхоз, дак уж колхоз, — говорили каменчане, — всем колхозам колхоз будет. Сначала записались семь хозяйств. Другие говорят:

— Подождем-посмотрим.

Посмотрели, видят, что хорошо. Ну и бросились туда на готовые харчи. За месяц в коммуны больше ста душ вошло. И кулака Петра Попова туда приняли — сына моего прежнего хозяина Василья Петровича, и белогвардейца Чупрова, и всех лодырей. Набросились они на готовое масло, на хлеб, на мясо, как воронье на падину, вынарядились в хорошую одежду всем деревням на зависть.

В Макаровской коммуне тоже роскошно зажили. Каждый день пошли вечеринки с

¹ Шелонник — юго-западный ветер, считается рыбаками недобрым ветром.

¹ Верхушки — зажиточные.

гармониями. Пиво варят, свадьбы справляют. Самый первый обновил коммуны свадьбой Гриша Слезкин. Он посватался к моей падчерице Агриппине.

Свадьбу проводили по-старинному. Свадьство проходило, как и меня когда-то сватали, только невеста не ревела, а по-сменвалась. Познакомились они еще в начале зимы на свадьбе в соседней деревне, и теперь Гриша сватался с согласия невесты. Первым делом жених объявил:

— Я теперь — коммунар и к попу ехать мне не к лицу. Венчаться не будем. Невестина родня забегала.

— Как это без венца можно идти? В нашем роду этого еще не бывало, да и во всей деревне не найдешь.

Пришли они ко мне советоваться. Все пасынки при большом деле иногда меня не обходили, все за советом шли. Идут-то и к отцу, а знают, что от отца слова не добьешься, на меня надеялись.

Пришли и спрашивают:

— Как там, Маремьяна, быть-то?

— Не знаю, — говорю. — Дело-то ваше, а спрашиваете, так скажу. Невеста сама к жениху припадает, так это лучше всякого совета. А что они в церкви не покружатся, так от этого большого лиха не должно быть. Меня, бывало, кружали, поп пел «Исайя, жидуй да больше с нами не толкуй», а большая ли радость получилась? Исайя-то, бывал, и ликовал, а мне не до ликованья потом было. Из церкви-то чуть не в гробу увезли, да и потом, глядя на жизнь, с пог падала. Венец мне радости не прибавлял да и любви не наделял.

А сейчас вот я живу и без венца, а в добром согласьи. Венец любви не заметит. И раз встает невеста на новую жизнь, так пусть встает — не оглядывается.

Так и порошили.

Все сдобное у нас свое: мясо, студени, язык, масло, сметана. Одних рыб не перечесть. Семга на нашей Печоре — самая лучшая рыба. Нельма да омуль мало от семги отстали: только цветом белые, а вкусом не поддаются семге. Сиги свежие — у каждого рыбака. А на закуску они — первое дело для мужиков. Эту рыбу хорошенько выморозят, чешую с ней обдерут да прямо сырую пожами и стружат. А другая рыба и была, да непочетной считалась. Вон, навагу у нас и рыбой-то не считают, не каждый ее и есть-то будет. Впна в то время не было, пиво сварили мало, и Фома сказал:

— Эх, — говорит, — не жаль иропою. а жаль недопою.

Девушки против воскресенья устроили. Раньше старухи, на это глядя, все бы прихалхались: против праздника плясать, скакать и петь грехом считалось. А тут они все глаза открыли да и сами плясать готовы. Девушки уселись за стол. Тут же сидели и коллективщицы Пина и Маруся — дочери Ульяпы Кирилловны. Тасья и Дуся Шевеловы. Вот девушки и запели:

Уж ты, свет наша обманщица,
Зла-велика подговорщица,
Говорила да все обманывала,
Что на сей год я взамуж не пойду,
А на будущий — не думаю —
Ни за князя-то боярина,
Ни за купца-то городского,
Ни за крестьянина богатого,
Ни за молодца-то тароватого.
Я пойду, млада, во келейку,
Запишусь, млада, в монахины,
Подобреюся во старицы.
Услыхали подруженьки,
Что на сем году взамуж пошла,
Что во этом надумала.
Вот пошла паша обманщица.
Зла-велика подговорщица
Агриппина Фомича-свет,
Не за князя, за боярина,
Не за купца-то городского,
Не за крестьянина богатого, —
За коммунара тароватого.
Ты на что, душа, прельстилася?
Ты на что же обзадорилась?
На колачики — на прянички?
На изюмы — сладки ягодки?
Ты на то, душа, прельстилася,
Ты на то обзадорилась —
На дородна добра молодца,
На Григорья Ивановича,
На его ли жудри русые,
На его ли брови черные.

Девки не могли утерпеть и в песню-то взвеличали Гришу коммунаром.

Свадьбу играли вроде и по-новому, а песни пели старые, — новых еще не было придумано. За столом сидели коллективщицы и жених-коммунар, а песни пели те же, какими и мою бабушку опедали:

Что на горочке деревцо,
Деревцо кипарисное,
Оно кумами приобрело,
Соболями притросцело.
Что под этим под деревцом,
Деревцом кипарисным
Тут крылась-хоронилася
Душа-красная девица,

Что невеста зарученная
Да княгиня первобрачная
Именем из-отчества
Агриппина Фомична-душа.
Она стоит — похваляется
Она речами похвальными,
Красотой своей девической:
— Никому меня не вывести
Из-за этого деревца,
Деревца кипарисного,
Что без та и без другого.
И без целой меня тысячи.
Приударили в колокол,
Зазвонили заутрею
Честну-ранню воскресенскую.
Что у той у заутрени
Выискался такой молодец
Именем из-отчества
Свет Григорий Иванович.
Он стоит — похваляется
Он речами похвальными,
Красотой молодецкою:
— Уж я сам тебя выведу
Из-за этого деревца,
Деревца кипарисного,
Я без та и без другого,
Без целые тысячи,—
Со единым я тысяцким,
С восприемным крестным батюшкой.
Со единой я сватьюшкой —
С восприемной крестной матушкой.
Со двумя дружками вежливыми.
С молодцами очестливыми.

Невеста и не хотела, и не умела пла-
кать. Не до слез ей было, а до смеху. Не
слезинки, а смешинки из глаз выпались.
Бабы-то и осуждают:

— И на невесту-то она непохожа: ни
печали, ни воздыханья, ни слезы, ни при-
читанья — ничего не дожدهшься. Камен-
ны глаза.

А невеста тут же смеется над бабами:
— Хотите, дак сами плачьте, а мне не
с чего: не волк дерет — мужик берет.

В тот же день был родительский обед.
Созвали всю родню. Из Оксина приехали
две сестры невесты — Марья да Анна, из
Бедового — сестра Трофена, да два брата
с невестками, да дядя с тетками, да даль-
няя родня — и полное застолье набралось.
Иной раз на свадьбах человек по пятьде-
сят бывает. Мы и довольны. Говорят: не
будь гостю припасен, а будь гостю рад.
А гостю рад, так до обеда пьян.

Подгостяли наши гости, разговорились.
Жених коммуны выхваляет:

— У нас в Макарове житье — не ва-
шему голубковскому чета. Все деревни —
Тельвиска, Екуша, завод лесопильной —

все па виду. У завода нонче город стро-
ят. А перво дело коммуна у нас. Все соб-
ча живем. И хлевины и скотинны — все
сообщили. Все добро нашего кровопивца,
Слезкппа Григория, к нам пошло. Я свой
дом тоже в коммуну отдаю. Нонче мы не
попрежнему живем. Пить-есть — не наде
заботиться, без нас припасут. Работой не
томят: хошь — иди на работу, не хошь —
кровать да печку боками дави. Потому —
коммуна. А потом — веселья много.

Не поглянулась мужикам така коммуна.
Один говорит:

— Чашки-ложки вместе стащи — чего
тут доброго будет? Выходит — не комму-
нары вы, а едоки. Ешь, пока не околешь,
а и околешь, так руками машин да все в
рот тащили.

Другой жениха подначивает:

— При деле да при месте и грош ска-
чет, а не при деле да не при месте и
рубль заплачет. Вы накинулись, думаете-
на всё про всё хватит, а вот, помяните
меня — концы с концами не сойдутся.
С маслица на хлебец переедете, а там и
хлеб переведется. А мало хлеба, так и у
мужа с женой раздел.

Не утерпел и Фома. Говорит:

— С умом была деревенька наживана,
а без ума проживана.

Не стерпел жених. Спорить не стал, а
ло кфы на квартиру к Тюшинным ушел.

Свадебщики посмеялись, еще выпили и
за песни принялись. Иван Федорович за-
певал, все мы подхватывали:

Уж вы, горы ли, горы Воробьевские,
Ничего-то вы, горы, да не спородили.
Вы ни травоньки, горы, ни муравоньки,—
Спородили вы, горы, да сер-горюч камень.
Из-под камушка течет да речка быстрая,
Речка быстрая, тиха-заводистая,
Над рекой стоит да част-ракитов куст.
Что на том кусту спдел да млад-сизой
орел.

Во когтях-то он держал да чорна-ворона.
Он ведь бить его — не бьет, крепко вы-
спрашивает:

— Уж ты где, ворон, бывал да где по-
летьвал?

Уж ты что, ворон, визал да что сповнды-
вал?

— Я летал, черен-ворон, во дальних зем-
лях.

Во дальних землях да во диких степях.

На чистом поле я видел диво дивное,
Диво дивное да чудо чудное:

На чистом поле лежит тело белое,

Не простое это тело, а солдатское.

Прилетали к этому телу три кукушечки.

Уж как первая-то присела ко буйной
главы,

Как вторая-то присела к ретиву-сердцу,
А как третья-то присела ко резвым ногам.
Как первая кукушка плачет — как река
течет,

А втора кукушка плачет — как ручей
бежит,

А третья кукушка плачет — как роса
падет.

Родна матушка-то плачет — как река те-
чет,

Родна сестрица-то плачет, как ручей
бежит,

Молода жена-то плачет, — как роса падет.
Красно солнышко повыйдет — роса вы-
сохнет,

Как ручей-от, он бежит да он повывежит,
А быстра-река текет да та не вытекет.

Молода-то жена плачет до мила дружка,
Родна сестрица-то плачет — до замуженьца,
Родна матушка-то плачет — до гробной
доски.

Как до той гробной доски да до сырой
земли.

Наши песни долгие, проголосные. Есть
такые, что по часу петь надо. А редкий
человек песни не любит. Я песнями да
причитаньями всю жизнь себя утешала.
Когда сердце заболит, то ли бы я пела,
то ли бы я редела.

А есть люди — ни одной песни не зна-
ют. Такой был и на нашей свадьбе. Зо-
вут его Григорий Вокуев. Как только он
выпьет — петь захочет. А песен в голове
нет. Вот и придумал он самоскладницу:

Песня нова,
Песня стара,
Не убавлю,
Не прибавлю,
А до утра
Песни хватит.

И верно, он ее хоть до утра может
тянуть. Баран да овца да олять с конца.
Девки, те под свои песни пляску от-
крыли:

Уж ты, прятница-кюкоряца моя,
Скоро выброшу на улицу тебя.
Стану прясть да попрядывати,
По беседушкам похаживати.
На беседе есть весельце,
Моя мила не осердится.

Моя мила по дорожке шла,
Черноброва барабан пашла,
Она била-барабанила,
Из-за лесу дружка манила,
Из-за лесу, лесу теменького,
Из-за садика зелененького.

Близко близко перелесочки,
От милого нету весточки.

Расхороший Петрушенька,
Наведено лицо Васенька,
Щеголец Николаюшко.
Погуляем-ко Олешенька,
Пока я молодешенька,
Пока цветочки алешеньки.
Не тонка, так не подтянешься ремнем,
Нехороша — не подкупишься рублем,
Некрасива — не навяжешься,
Замуж выйдешь — не откажешься.

Не ходите, девки, к озеру-реке,
Не посите много колец на руке.
Я стояла среди озера,
Все колечки приморозила,
Часты дождички ударили,
Все колечки оттаяли.

Говорила Маша ротиком:
— Не ходи, милой, болотиком,
На болоте вода-грязь, вода-грязь,
Мой-от миленький с тальянкой угрыз,
Он угрыз-угрыз не очень глубоко,
Растянул гармонь-тальяшку широко.

Я стояла на угорочке,
Сарафан с косой оборочкой,
Сарафанчик раздувается,
Ко мне милой приближается.

Полно, любушка, взамуж не ходи,
Повезут меня в солдаты — спроводи.
Распахну я поле все, поле все,
Расскажу я горе все, горе все.

Из колодца воду черпала,
Уронила в воду зеркало.
Уронила — не расшиблоса,
Полюбила — не ошиблася.
Полюбила дролю не за красоту,
Полюбила за приятность хорошу.

Теперь пляшут — не живо ходят. Преж-
де, я пляшу — ходит каждая кость.

Вечером провели женихов стол, а па
утро невесту жених повез в макаровскую
коммуну.

На прощанье жениху с невестой бабы с
девками пропели, как велит обычай, по-
следнюю опевальную песню:

Не золото с золотом свивалось,
Не жемчуг с жемчугом сокатался.
Еще наше-то золото получше,
Еще наш-то жемчуг поскатнее.
Еще наша Агриппина получше,
Свет-Фомична у нас покрасивей.
Лицом белым она побелее,
Брови черны у ней почернее.

Еще ваши по нашим ходили,
Еще семь кумовьев притомили,
Еще всех добрых дружков замотали.
Еще семеры полозья приобрели,
Еще семеры подошвы истоптали,
Еще семеры пороги протерли.
Все-то нашу Агршину доступали,
Все-то нашу Фомичну домогали.

Это была первая свадьба без венца по всем низовским деревням. Вскоре и вторая девка без венца замуж пошла — моя подруга Нолинарья. Она давно гуляла с Ваней Дитяевым из Виски и однажды в Оксину села на пароход и уехала. Бабы мне и говорят:

— У тебя подружка-то Нолинарья взлегонула ногами. Ни чутко, ни голоско пошла, села на пароход отряхива-ногу, да и платком не махнула.

20

Вслед за падчерицыной свадьбой пасынок Александр пришел к мужу.

— Ну, отец! Я, — говорит, — на свадьбе зайвенье в коммуноу подал. Как ты, советуешь али нет?

Отец помолчал, а потом и посоветовал:

— Долго ли живи, коротко ли живи, а вступать надо будет. Коли не здесь, в Голубово, так в другом месте, а придется.

— Так вот, — говорит Александр, — уж если вступать, так не в наш. Пойду, так уж в крупно хозяйство. Там все же к готовому, а то у нас малой колхоз-то будет. Кулацкого-то добра у нас тоже нет. Что сами занесли, тем колхоз и содержать надо. А заноска у нас известно какая: на чай сенок да все тут.

Посоветовался он с отцом и всем житьем переехал в Макарово. Наш старый дом остался пустой: Прокопий и мы с мужем жили в новых домах; Александр зажил в макаровской коммуноу, Федор служил в Красной Армии.

Начали тут в Голубово почащать гости из Оксина. Кто придет — идет к Константину. И у всех — один разговор: надо колхоз делать. Константин говорит:

— Я колхозу давно рад. Да никак к народу подойти не могу. Говорят, у нас коллектив — не худа поддержка, чего еще в колхоз нихаться.

А те говорят, что за голубчанами все дело стало. всю сплошную коллективизацию портят.

Собрания пошли. Мужиков застрачивали по-всякому, а ладом не разьяснят. Подход тяжелый у них, народ пристать к

ним никак не может. А они одно напевают:

— Не станете колхозниками — ничего вам не дадим. На озеро ловить не выдете и на пожню с косой не выйдете.

Люди как настеганные ходили. Старики и речей не подпускали, не хотели даже слушать, чего им говорят. Да которые и хотели подходить к новому, и у тех мысли разбивались. Коллективникам ближе всего к колхозу было, а и они не могли решиться.

— Хорошо, — говорят, — вступить со своей простой душой да от своего желанья. А уж из-под пальки идти неохота.

В конце марта однажды опять зовут на собрание. Муж мой куда-то уехал, а я и рада, потянулась. В доме Михайла Шевелева и мужиков и жонок больше, чем всегда, собралась. Девки, и те все пришли. Слух по деревне пронесся, что будут статью Сталина про колхозы читать. Ну, а раз такую статью пообещали, мы уж и ждем.

Когда Сталин кликнул клнч, созывал народ биться-рататься с кулацким родом-племенем, нагота да босота — все до едного откликнулись. Слово Сталина всех расшевелило.

В моих думах Сталин ближе всякого ближнего человека стоял. Будто знала я его давным-давно, много с ним речей перемолвила.

У меня кровь заговорила, покою не давала, ключом кипела. Не зря я оксинских жонок словами одергивала, да и мужу иной час воперечку шла. Не раз мне муж говаривал:

— Ты сама-то чего дрожишь за костяны выдумки? Что, «они» тебя в масляну крынку посадят?

А я говорю:

— Чего мне в крынке-то сидеть? Я и у тебя за тринадцать лет довольно в клетке насиделась. Хочу ноги размять. А разве у тебя большие шаги размахнешь?

Статью Сталина мы не то что ушами, так и ротом слушали. Сталин писал ровно про наших оксинских работников. У них в головах ходуном ходило, шумом шумело, как квас в лагуне¹. Хотели они одной ложкой из одной чашки всех накормить: хощь — не хощь, а ешь.

В коммунах жили, как в бабки играли: кто проиграет, кто выиграет, а кон все равно рассыплется.

¹ Лагуна — деревянный боченок для кваса.

В каменской коммуне «Возрождение», да и в макаровской коммуне, сначала амбары ни для кого не закрывались. В Каменке бесплатно по тридцать кусков мануфактуры враз раздавали, и каждому — перовцу. Фонды и запасы на все стороны рвались — кто мог, тот и тащил.

А как до работы дело дошло, — на нее как на медведя глядели. Одному — неохота, у другого — бумажка от врача, третий — из годов вышел, четвертый — молодovat. Растащили все добро, как мыши по шорам, и говорят:

— Больше нет антиресу тут жить.

И коммуны рассыпались. И тут Сталин в самое время бросил семя.

Когда статью прочитали, все и стали переговаривать.

— Это, — говорят, — совсем не поздно. Теперь и в Каменке и в Оксине за ум схватятся.

После статьи Сталина мужики вздохнули: все стало понятней и легче. Раздумали наши мужики и противничают меньше: вроде, они ближе к колхозу подошли али колхоз к ним.

Весна в тот год пала холодная, протяжливая. Рыбакам и ждать тепло наскучило. А как корепное тепло началось, Печора прошла, вода по дугам разлилась, поехали наши рыбаки на путину. Коллективщики всем скопом поехали, двумя неводами на двадцать четыре человека. Четыре лодки отпавилось. На передней — красный флаг красуется.

Около той же поры поехал и Фома. Взял он с собой Павлика.

— Пока, — говорит, — сам хожу, свожу его, покажу, как ловят.

А Павлик и радешенек. Сшил ему отец бахилы новые, бродни. Одет Павлик, пойдет по деревне, покачивается с боку на бок, чтобы на мужика походить. Говорит по-большому начал. Встретит ребят, руки в карманы засунет и хвастается:

— Я сейгод с отцом тоже на низ пойду.

Завидно ребятам, не каждого ведь на море-то берут.

На низу он уж старался изо всех сил: и невод метал, и веревки с берегу в лодку собрал. Волны не боялся. Не в кого ему робким-то быть: и отец и мать — природные рыболовы. В свободное время побежит по берегу, увидит где хворостину али корень какой — все к огню волокет. Отцу и любо:

— Видно, — говорит, — робя с робетства, а теля с телетства. Худо и добро ко двору, а не ото двора тянет. Этот жить зауеет.

И еще Павлик был большой находчик яиц. Уточьи, чанчьи, куропаточьи, гусиные, зучьи — все розыщет. В шапку, и в рукавицы, и в карманы, всюду наложит. Принесет отцу, наварят да надытятся, да еще и в запас останется. Домой еще десятков пять привезли. Павлик из лодки — сразу ко мне, полное ведро яиц тащит. они там в соль положены. Схватила я его в охапку да чувствую, что не скоро утащишь, долгонький стал. Отдал он мне свои гостинцы, начал рассказывать. Домой пришел — рот не закрывается.

— Ездили, — говорит, — мы с отцом на Бочечное, там и стояли. Выезжали отсюда в Тимошиху, на Чуклино горло, к Роднику, в Собачьи щелья, почти до Пелемьих носов, весь берег обловили.

А отцу и любо, что сын всем тоням назваья упомянул. Да и пай на него немалый причитался: восемнадцать пудов рыбы сам на себя добыл. Одно только неладно мужу.

— Спиш, — говорит, — мы как-то под лодкой. А той порой макаровски коммунары на нашу тоню подьехали. Мы тоже соскочили. Коммунары заметили тоню, я тоже не стерпел. Тоня в тоню так и мечем. А за старшего у них — сын, Александр. Ну, думаю, не уважу я тебе, сынок. Вот мы и тягались.

Павлик мне потом сказывал, что у отца с Александром до драки дело доходило.

— Отец, — говорит, — совсем огневлялся. Мечут тоня в тоню, съедутся, друг у дружки ножами невода режут. Александр начал ругаться, как будто он чужой, не свой.

«Я, — говорит, — не посмотрю, что ты отец, в нух и в прах разобью». А отец ему: «Попробуй, — говорит. — Я от тебя пеплу не оставлю». Погрызлись, помахались да так и разъехались.

Фома головой качает.

— Вот и деточки. Недаром говорят: роди дитя да роди и ума. Умного жаль, а безумного — вдвое. И съест его нельзя и бросить жалко. И в кого он такой зародился. Осипа, дико дерево, без ветру шумит.

С низу пришли — за сенокос взялись. Коллективщики решили и сенокос заедничкой проводить. В ту пору в Оксине МТС появилась. Дала она коллективу косилку. До этого мы ее и в глаза не видали. У кулаков и то косилки не бывало, а тут

в нашу деревню привезли. Привезли, а мужики не знают, как и приступить к ней. Позвали тогда из Оксню работника МТС Корепанова. Приехал он, стал показывать па лугу. Сбежались тут и старые и малые смотреть. И я пошла. Затрещала косилка, — парод аяет. Научился косить старик Семен Кортаев. Он, хотя и не коллективщик был, а тут раззадорился.

— Под семьдесят лет, — говорит, — на косилку сел.

Человек он бывалый да видалый. Служил Семен во флоте семь годов и объездил чуть не весь свет: был в Англии, в Турции, в Японии, в Египте, в тридцати шести городах...

На собрании разделили пожни. Коллектив взял лучшие, ближние луга, па кряжу, которые под косилку гожи, и начал сепокос.

Этим летом в коллектив вступило много жонок. Косилкой-то легче косить, вот они и надумались. Да и добрые пожни глянулись. А мы с мужем по-старому робушами махали.

Коллективщики отстрадали, стали сено делить. Делили не с весу, а по возу, по стогам. А стог-то по-всякому сложить можно. Пепяли люди, что стога неровно наложены, а все же как-то разделили.

Наступила осень. Холода пали, мужики коллективно ловить па озера поехали. После того как коллектив обловит озеро, туда могли ехать и одиночники. Фома тут уже первым попадет. Иной раз полдесятка сеток бросит, целый мешок рыбы потрясет. А людям говорит:

— Налрасно и бросал, живой души пету...

Паше нужно было в пятый класс птти, а в Оксню в школе всего только четыре класса. А в Виске была ШКАЕМ¹. Я-то лажу посылать Пашу в Виску, а муж говорит:

— Довольно и той грамоты. Некуда нам с большим учеьем.

Я уперлась. Говорю:

— По край могилы ты живешь. Не тебе жить-то, а мне. Помрешь, а я куда с ними. Не путай мою и робячью жизнь.

И Фома не сдастся.

— Робята, — говорит, — не по той дороге идут, так не для чего им этим делом заниматься. Писарями им не быть, в учителя не гожи.

— Почему, — говорю, — не гожи? Выучить, так и гожи будут. А неуча и в поны не ставят.

— От дому ты ребят отгораживаешь. Отстудишь, не захотят дома жить, куда потом деваешься?

А я говорю:

— Выучатся, и я дома не буду жить, пойду к ребятам. Отступлюсь я от коня и воза, откажусь от жттья и дома, лишь бы были ребята грамотны. Мы веки людям в рот проглядели, слова чужого ждали, а выучатся ребята, так, бывает, кто-нибудь и им в рот поглядит.

А все-таки муж па своем настоял, пе пустил Павлика в Виску. Так я в середине зимы его в тот же четвертый класс отдала, чтобы старого не забыл. В Оксню в ту пору открылся педтехникум, я и наметила туда Пашу на будущий год отдать. Андрюша второй год ходил в сельскую школу в Оксню. Оба они жили в интернате на всем готовом. Даже мужу это поглянулось: все-таки не за одной грязнохвостой коровой всю ораву держать.

— Я, — говорит, — хоть и брапился, да знал, что ты неглупо делаешь. Прежде нас так не учили.

21

Той же зимой Копстантина выбрали председателем сельсовета в Оксню, а все дела в коллективе начал вести брат Алексей. Копстантин часто приезжал из сельсовета и все уговаривал мужиков перейти в колхоз. Про него и люди-то говорили:

— Матушка Софья все об одной сохнет.

А потом мужики согласились.

А те, которые не были в коллективе, поют:

— Приедет да всей деревней ворочат. Мало ему коллектива, дак он еще в колхоз тянет.

А сами заботятся, тоже думают вступать. Кроме коллективщиков вошли в колхоз Марковы три брата — Василий, Александр и Владимир, Тюшина Андрей с сыном. Голубковский мужик Николай Бабиков год назад вступил в оксненский колхоз «Безбожник». А тут Николай приехал обратно и вступил в свой колхоз.

Спросила я мужа:

— Мы-то когда пойдём в колхоз?

— Я, — говорит, — уж не колхозник. Пока жив, так колхозниками-то, пожалуй, не будем. У меня одна нога — в могиле. А другая — по край могилы. Помру, так тогда как хотите делайте.

А брат мужа, Иван Федорович, так тот из собраний все спорил:

¹ Школа крестьянской молодежи.

— Как мы будет жить? В колхозе жить, так надо от бога отказаться и от праздников отступиться. А мы еще хотим богу помолиться да попраздновать.

Константин ему и говорит:

— Ты молись, тебя никто не унижает.

— Да уж тут помолишься. В колхоз вступил, так и иконы обери, не знай ни будни, ни праздника, ни христова воскресенья.

А когда очень заершится, Константин его осаживал:

— Кто мешат, того воп ташшат. Не суйся на дороге, где дрова секут: дерево упадет и тебе попадет.

Колхоз организовался в день смерти Смидовича и поэтому его называли — колхоз имени Смидовича.

Сначала жонок мало было в колхозе: семьи на-двое раскололись, муж — колхозник, а жена — единоличница. Жена свое хозяйство правит, а муж в колхозе работает. У кого были лошади — всех объединили. Лошадей в колхоз сдали, а сеном своим кормили, в своей стае держали и сами ухаживали каждый за своей лошастью. Колхоз законтрактовал у своих же колхозников телок для общего стада. Да и у меня телку законтрактовали.

До колхоза молоко пропускали через местный общий сепаратор, а сливки отвозили в Оксню и там сбивали масло. А тут сепаратор стал колхозным, и устроили колхозники свой маслодельный завод.

Как-то на выходной день пришел из Оксню Андрияша и рассказывает:

— Там сегодня церковь описывают, закрывать хотят. Я зашел туда, а там иконы снимают да в кучу складывают. А красиво там, вся церковь в золоте, так и светит. Хотел я посмотреть, да меня выгнали.

А оп, как и все мои ребята, ни однажды в церкви не бывал. На-днях мы услышали, что церковь всю обрали, купола ладят снимать, а церковь под клуб отдавать. До этого клуб был только в одной Виске, тоже из церкви переделан.

В тот вечер я собиралась сходить на спектакль: приехали к нам из Оксню комсомольцы, а мы про комсомольцев-то все хотели побольше узнать. В Голубково только двое комсомольцев было — Яшка да Ташка Шевелевы, братан да сестреница. А как Андрияша пришел да рассказал про церковь-то, вижу — муж вздыхает тяжело, значит итти нельзя. А спектакль-то тоже против религии показывали: комсомольцы богов не любят.

— Что делают! — говорит муж. — Церкву Божию нарушают, дьявол вселиться туда хочет. И не отсохнут у них руки, не состоятся в этот час. Вот как подняли их на икону-то да кабы больше и онустить их не могли, так узнали бы. Да видно бог отступился, прочь лицом отворотился от них, охальных, сей свет па волю дал. Что хотят, то и творят.

Не любил Фома, когда бога трогали. Хотя и считали Фому колдуном, а он богомольный был и богобоязненный. В церковь он и не ездил, а дома помалкивался. Каждое воскресенье он перед образами кадил. В субботний день после бани лампадки затеплит, направит, накадит, помолится. Лампадку али две на всю ночь оставит теплиться. А с утра опять богомолье, да еще двойное. Встанет с постели, подолгу молится. Сходит на улицу, лошади сена даст да опять молиться придет. Это у него вроде за обедню сходило. Крестья у нас у всех вынет, обкадит их. И меня — есть время али нет — заставит молиться, и ребят.

Ребята меня поирежнему мучили. Паша с Андрияшей да с Дуней поднялись на поги, а седунов да ползунов в каждом углу по два да на середке три. Самы они ничего не принесут, не наживут да не добудут, мне надо думой печалиться. Утром рано встать, вечером поздно лечь, а белого дня мне все нехватало: все надо было темной ночью наставить. Ночью не удавалось доспать, а днем — доесть да допить: походя наешься да стоя выспишься. Одного надо лечить, другого на саночках волочить.

Из беды в беду меня ребята пихали. У Сусаны глаза заболели. Билась, билась я, в больницу обращалась, лечили там ее, а все же на обеих глазках бельма наворачнулись. Фельдшера говорят:

— Золотуха это в глаза бросилась. Золотуха пройдет, и глаза поправятся.

Коля заболел, целый год с ним провозилась. Коля поправился, Степа заболел. Была у него одна забава: любил он в грамотных играть. Попросит, сошью я ему из тряпок сумку, натолкает он туда бумаг да книжонок да так с сумкой и лежит. А потом достанет из сумки букварь со славянскими буквами и будто читает. И карандаши мы ему покупали, хоть писать он и не умел.

Дуня на седьмом году уже немного и выменять меня начала. Поиграет с ребятами, я куда-нибудь на ту минуту и сунусь. А то однажды я целое лето дома просидела, на пожию не хаживала. Ро-

дился у меня Клавдий, так я и коров запустить в хлев не могу оторваться, муж идет, стаю отворяет. Через полгода Сусанья померла, а у меня руки снова не развязаны.

Павлик о ту пору поступил в педтехникум на подготовительное отделение, а Андриша в третий класс пошел. Об этих у меня большой заботы не было, они на всем готовом учились: Павлику стипендию дали, а Андрей в интернате жил.

Ребята придут на воскресенье, в бане вымоются, начнут рассказывать — все какие ли вести принесут. Только мне много-то слушать не удавалось: все в работе крутилась.

Колхоз газеты выписал. Люди читают да про политику рассуждают, а я сама читать не умею, а людей слушать — время нет. Вздохишь да охнешь:

«Грамотна бы была, думаю, так не доспала бы да прочтала, не хуже бы людей знала да понимала, да сама бы людям рассказала. А тут, если где-нибудь ухом и игронешь, так и то половину прослушаешь да другую недопоймешь: не знаешь, что к чему, к городу али к селу».

Весной на путину по-смешному поехали: мужья от колхоза пошли, а жоны — за ними же, на одном неводе, единоличниками тянутся.

— Муж — бузнец, а жонка — барыня. — смеются мужики.

Летом жонки тоже не хотели с мужьями соединяться. На страду выделили из колхоза сколько-то человек, они и работали в лугах. А остальные ходили на полавь, как и раньше, семгу плавать. Тогда новых сетей еще не было, — ни рож, ни ставных неводов, так ловили поплавами, какими и деды наши. Осенью пришли с полавки, стали готовиться, на губу ехать, на подледный лов. Это в первый раз собрались. Раньше только дома на озерах подо льдом ловили.

Приезжал к нам в гости один хороший ненец — Иван Павлович Выгучейский. Он гостил у Егора Шевелева. Большой родни-то у них и не было, а знакомство хорошее вели они с Егором, дружились. И нас с мужем пригласили. Тогда я первый раз и увидела Выгучейского. Его отца я раньше еще знала, а самого Ивана Павловича не знала. А тут он мне очень понравился. Человек он умный. И разговаривал разумно. Он в то время по кооперации работал и все про кооперативы говорил. А потом и про колхозы сказал:

— По тундре теперь тоже колхозы пошли. Ненцы оленей вместе сводят. «Крас-

ный олень», «Красная лисица», «Харп» — значит «Северное сияние» — всех теперь не пересчитаешь.

И еще про Нарьян-Мар рассказал. На пустом месте город растет. «Большевики, — говорит, — еще не то сделают. Погодите лет десяток — Печору не узнаете». Старикам-то и поглянулось. То хорошо, что неплохо.

Подгостили мы, песенки поели. Иван Павлович любил такую песню:

По край реченьки, по край быстрой,
На крутой горе, на высокой
Тут хорош город испостроился.
Лучше Питера, краше Киева,
Краше матушки каменной Москвы,
Лучше каменного строеньица.
Не пыль в поле распыляется,
Не туман с моря подымается —
Еруслав-город загорается,
Стены каменные рассыпаются,
Одны лавицы остаются.
Тут ходил-гулял добрый молодец,
Добрый молодец — молодой купец,
Молодой купец вдоль по городу,
По тому ли да мосту каменну,
Он кричал-звучал громким голосом:
— Вы, купцы ли братцы-товарищи,
Все московские побывальщики,
Помогите-ко добру молодцу
При великом да большом горюшке,
При великой да большой скудости.
Отожните-ко мне-ка лавицы,
В этих лавицах дорогой товар,
Дорогой товар — ленты алые,
Перва ленточка — во сто рублей,
Втора ленточка — во тысячу,
А третьей-то и щепы нет.
Перва ленточка — молодой жене,
Втора ленточка — дорогой сестре,
Третья ленточка — полюбовнице.

Погостил у нас Иван Павлович дня три и поехал, а мы после этого часто его вспоминали. После мы услышали, что он стал большим человеком, главным во всем нашем Ненецком округе и ворочает большие дела.

22

На единоличников налоги стали побольше налагать: по сорок рублей на хозяйство. Жонки-единоличницы и побежали тогда к своим мужьям в колхоз.

А мы с мужем платили налог исправно, сроки не откладывали. Заплатим, и душа спокойна, без заботы.

Много я мученья с Клавдием приняла. Родился он веревонный. Мыла я в последние месяцы избу, вередла себе спину, и

ему досталось, позвоночник задело. Родился он вроде и спокойный, а потом, вижу, мечить надо. Понесла в больницу, там одним разом тоже не могли помочь. Фельдшер Липин велел ехать в больницу на лесопильный завод.

— Там,— говорит,— ему операцию делают.

Посадил нас муж в лодку, Павлика — править, сам в весла сед, и поехали. На заводе в это время никого из врачей не было: все ушли в отпуск и в Архангельск уехали.

Всю весну и все лето я промучилась с Клавдием. Целыми сутками ревет, рта не закрывает, и тянет он одно день и ночь:

— Аааа-а...

Иной раз сядем с мужем чай пить и не знаем, уастся ли стакан выпить: думаем, помрет. Да рады того, чтобы и помер-то. Ношу я его день и ночь. Сидя-то засну, а хожу, не так скоро сон придет. Ходишь-ходишь, разойдешься в печку и стоишь да спишь, не понимаешь, что ходить надо.

На ту пору разболелись у меня зубы, занухла вся, глаз не знатко. Горе на горе да горе сверх. Ребята говорят:

— Мама, ты как не наша, сама на себя не похожа.

Придет соседка Ульяна Кирилловна, посмотрит на мою маятку и заплачет.

— Ой, осподи, мученица, долго ли, нет ли будешь ты мотаться.

Мать придет и сразу уходит.

— Не могу,— говорит,— я у вас сидеть. На што ты живешь, лучше бы ты уж померла.

— Куда,— говорю,— к чорту денешься: в земле дыры нету, а на небо не полезешь. Видно, так и надо мучиться до первой смерти. Лихо споро, не избудешь скоро.

Долго мне мочалила шею худая жизнь. Каждый год все лыком шила, шелком не приводилось.

Тут еще с Андриюшей болезнь приключилась. Интернат, в котором жил Андриюша, помещался в бывшем кулацком доме. И ходили про этот дом слухи, что там «пугает». Однажды какой-то ученик упал и разбился. Пришел он в комнату, все лицо в крови. Взревел он, а Андриюша в то время спал. Вскочил, видит перед ним кто-то весь в крови ревет. И подумалось Андриюше, что его это пугает нечистой силой. Испугался он, упал в обморок, а потом его и затрясло. Побежали

за фельдшером, держат учительница с уборщицей за руки да за ноги, а его еще пуще родимчик бьет. Весь язык в кровь искусал.

Фельдшер пришел, как-то обошлось все, а только с тех пор часто с Андриюшей припадки случались. Когда дома припадок начнется, учили меня старухи, под поганое корыто Андриюшу класть. «Сядешь, говорят, на корыто, его там потрясет и после этого полегчает». Только я в ту пору старухам уже перестала верить, а все фельдшеров слушала. Потом у Андриюши все прошло.

Пашу я в том году в Нарьян-Мар отправила. Два года он проучился в Оксинно на подготовительном отделении педтехникума. А той порой выстроили в Нарьян-Маре большой дом, под техникум, и перевели ребят туда. Отнесла я в Оксинно пашины пожитки, а на другой день, когда пароход отправляться должен, побежала еще, отнесла ему на дорогу шанежек да колобков. Много студентов туда же ехало, смешался он с ними, найти не могу. А соседка Хюнья,— она тоже кого-то провожала,— толкает меня под руку и говорит:

— Да неужели ты не видишь? Вон он на палубе стоит. Издалека Фомой пахнет.

У Фомы была привычка, когда говорит, так нос пальцами подтапливает. И у Павлика тот же обычай. Пароход пошел, махнул он мне платком, да и другие ребята мне машут. Из-за него все будто свои стали. И уехал мой Павлик добывать науку, сердцу-то жалко, а умом-то рада, что вырастила, спровадила от своих рук да от своих коленей.

Приехал он в Нарьян-Мар, сразу же написал мне письмо. Пишет, что техникум пока еще не достроен, дверей нет, вместо дверей свои одеяла повесили. Спят — пальтишками закрываются. А что Нарьян-Мар — вовсе не город, а поселок. Домов и много, да еще не достроены. Зато весело, не то что в Голубково да в Оксинно. Есть куда сходить, завод близко, клубы есть, кино.

Так и стал он там учиться.

В начале тридцать третьего года колхоз за большую работу принялся. Скотный двор наладили, конюшню построили из тюшинского дома; купили у Тюшина дом, окна забили, кормушки для лошадей поставили и всех колхозных лошадей туда перевели — двадцать голов. Чистого

скота¹ — двенадцать скотин набралось: десять телок и две коровы.

С зимы в колхозе начали новые рюжи вязать, новые невода составлять. До того рюжи были только навагу промыслять, а тут на семгу готовят. Японских неводов раньше совсем не видали, а тут наш колхоз большущий невод завести решил.

Все иязовские колхозы распределили между собой рыболовные участки, чтобы весной притти, так знать каждому колхозу свое место. Весной наши голубчане с новыми сетями ловить пошли. У них тогда прибыло еще много новых колхозниц, часть осталась на сельское хозяйство работать, — с коровами, да на маслозаводе, а другие ушли на путину.

Фома подрядился итти на путину от Рыбкоопа. Скот в ту пору у нас на умаленье пошел, коровами мы обедняли: промучилась я лето с Клавдием, не ходила на пожню, пришлось коров разрушить. Сена не поставишь, так снегом кормить не будешь. Продали мы корову в Оксино, другую отдали падчерице в макарёвскую коммуны, одну корову убили, и остались мы об одной корове. А тут и последняя пала.

В эту весну, перед уходом Фомы на путину, я чуть сама не погибла. Пошла я в Оксино за мукой. После ледохода все виски растопило. Через виску Якуню мы на лодке перетягались. К ней веревки с двух берегов протянуты: кто идет, тот и тянет к себе. Вперед-то я с людьми шла, а обратно, с мукой, — уже поздно вечером, — одна. Подошла к берегу, зашла в лодку, потянулась. Перетягиваюсь, а веревку с другого берега задело и не дает лодке ходу. Я повернулась, хотела было вязку снять с лодки, лодка качнулась и зачерпнула бортом воды. Мука подмокла, я кинулась муку спасать, лодка с другой стороны качнулась, еще прибавила воды и перевернулась кверху дном.

Ухватила я за вязку, да кроме того в карманы мне попали ключины — не пускают меня на лодку. Быстерь вьет, под лодку тянет. Начала я рвать карман, всю псу у жакетки изодрала, ключины из кармана выручились, а лодку быстерью тут же отвернуло обратно. Осталась я на середине реки с веревкой в руке. Не на один раз лодка от меня отвергивалась да повергивалась, а я все с водой воюю.

Потом надумалась я реветь. Думаю:

— Лес не без чудей, в лесу не без людей, кто-нибудь услышит. Ночче весна, везде идут да едут.

Часов не было, а долго кричала. Из сил выбивалась, а все еще в уме была. Вязка на руку намотана. И видно из воды только руку да лицо. Вздохнула я:

— Ну, остались мои малы дети.

И вдруг человек на берегу проговорил:

— Подержись!

Собралась я с последними силами, за грюмку лодки пальцами зацепилась.

— Держусь я, — говорю, — крепко держусь.

И вот он меня за вязку и тянет. А с другого берега веревка лодку все еще держит. Я не понимаю — больно мне или не больно, лишь бы тащил. Уж, наверно, он здорово тащил: веревка с другого берега отцепилась от лодки и отпустила ее. Тут он меня и побыстрей потянул. Притянул к берегу. А берег лесной, достать меня через кусты не может. А я жить хотела, так силы все еще набиралась. Ухватила я за ивовый куст, поднялась, тут человек ухватил меня за руку и вытянул на берег.

Только на берег я ступила, зашибло меня без сознания. Ветер со снежной тучей, лютый и холодный дул. Обжал человек мне всю одёжу, а из бахил воду так и не вылил. В сознание привел, на ноги поставил, начал водить по берегу. И спрашивает он меня:

— Откуда будешь-то?

— Голубковска, — говорю. — А ты кто будешь?

— Учитель, — говорит, — Яншев Николай.

— А у нас ребята учились да и учатся. Павлика Голубкова, — говорю, — бывает, знашь. Так я мать ему буду.

Он и схватился:

— Павлика как не знать: мой ученик. Да и тебя знаю.

До Голубковки мне надо итти еще три километра. А время — часов десять, и силы мало. Да и учитель-то болел тогда цынгой, ноги опухли. Это он пошел на охоту, от цынги отбиваться. Если ему меня провезать до Голубковки, так надо еще обратно семь километров шагать. А не вернется к утру — самого искать будут.

Отправляет он меня, наказывает:

— Иди, сколько силы есть, не оставайся и не присаживайся.

Одёжа у меня вся замерзла, волосы к платку примерзли. Говорить не могу.

¹ Чистый скот — рогатый скот.

Пошла, пока еще в сознании. Иду, чувствую, что ноги-то тяжелые. Только взглянула на ноги,— голову кружит. Думаю:

«Выливать нельзя, пропаду. Как-нибудь выплестись из лесу-то на чистое место, если и паду, так реветь буду — кто-нибудь услышит».

Плелась, плелась да кое-как и доплелась. Дошла до материнного дому, подхожу к огороду¹. Под огород не могу согнуться. Стонать начала, сестра Лукья выбежала и жена Ивана Федоровича. Завели меня к матери. Раздевают и спрашивают:

— Где ты, чего ты, пошто ты?..

А я и ответить не могу.

В сухое одели, взяли под руки, водят по полу. А дома муж да дети все еще не знают, что я пропала. Одна Дуня вспомнила:

— Мама где-то долго не идет, бывает и утонула.

А муж думал, что я в Оксино до утра осталась.

Размяли, отогрели, чаем отпоили. У меня все еще из ушей вода текла. Под утро и домой отвели. И за все время я слезы не выронила. А пришла домой, расплакалась. И все я тут передумала.

— Как могла я силы набраться, ума не лишиться?

А потом и вспомнила:

— А вся-то моя жизнь какова? Тону я с самых малых лет. И утонуть-то не могу, и кликать никого не хочу. Все своей силой да храбростью надеялась справиться. Теперь вроде и до берега доцапалась, и ветром не дует, да и жарким солнцем не греет. Иду я как по лесу, на чистое-место хочу выплестись, а не знаю,—где оно. И кружу я между двумя дорогами, не знаю—вдоль ли их, поперек ли их. Никто меня не спросит и сказать мне некому. Муж да дети — и те не знают, где ходят да бродят мои мысли. И когда-то я доплечусь до чистого места, до ровной дороги, до родного дома, до сухой одежды, до теплой согревы, до ласкова слова?

24

В безветерье зашумела, без грома загремела наша мать-Печора. На низу Печоры шел деревянный гром: наехали плотники да работники, мастера да подмастерья, начали мастерить да рубить Красный город, по-ненецки Иарьян-Мар.

¹ О г о р о д — изгородь.

Звалось раньше то место Белошелье, стояло оно пустым напусто, ни двора на нем, ни хижин.

Мимо те берега не раз приходилось мне хаживать, бечевой лодку тягивать. Устанем тянуть — поветерь ждем, Севера. Против воды каждый пособного¹ ветра радеет.

Коли ветер таится, западывает, дразним Север, чтобы дул парчей². Начнем пошвыстывать: по примете, ветер сильней потянет. Коли не помогает, начнем к Северу придабриваться: мечем на воду хлеб с маслом, сахарок, сушку, а подвернется, так и какую ли худу запотину швырнем. Которое не мило, то и попу на кадило. А то мачту с северной стороны вымажем коровьим маслом да приговариваем:

— Север-батюшко, покушай да нас послушай, подуй попарчей, да поднеси поскорей.

А я насмех и ляпну:

— Север, ешь блинны да не обломай зубки.

Когда добро не помогает, начнем и худом поступать, пачнем Север честить, да кастить, да поругивать, да подразнивать:

— У Севера жена грязна ко полуночнику³ спать ушла, а Север с горя в море потонул.

Коли и тут Север не расшевелится, плюнем мы и пойдём на белошельский берег. А тут пески желтые, сыпучие, юлги вывертывают, дальше — тундра с мелкой ерой⁴, с багульником да вороничником — самое беспутное, бросовое место.

А тут, слышим, это самое место на всю Печору прославилось, городом покрылось.

То ли соседи съездят, то ли Паша на каникулы вернется,— говорят, что город вовсе не попрежнему строится: не с церквями да с колокольнями, не с кабаками да не с казенками, а с хорошими домами да строениями. И управлял всеми делами в округе наш знакомый ненец, Иван Павлович Выучейский.

Побольше поставить да построить спешили люди, дело за делом шло. Пришли в наши края экспедиции. В Голубково приехали землемеры, обмеривали землю по Печоре, ямы копали, по всем дорогам

¹ П о с о б н ы й — попутный, помогающий плыть.

² П а р ч е й — сильней.

³ П о л у н о ч н и к — ветер с полуночной стороны.

⁴ Е р а — тундровый кустарник.

версты на километры пересчитывали. Племянницын муж Ефим Андреевич ходил с другой экспедицией: вверх и вниз по Печоре все объездили, обмеряли, бурили землю: все искали да примечали, нет ли в земле чего-нибудь дельного да пригодного.

Потом слышим, что в Воркуте уголь, а на Ухте нефть нашли и большие работы там повели. Мы раньше из горячего там керосину ничего не знали. Ходили мы по своей земле и не думали, что там какой-то уголь да нефть есть, одну глину да песок видели. А тут, как стали выполнять пятилетку, так все узнали да достали: нашлись умелые люди и золотые руки.

На Ухту с Вычегды тракт провели, каждый день, — говорили, — полсотни машин там бегало. На наш Нарьян-Мар летчики прямолетную дорогу проложили: круглый год самолеты из Архангельска начали летать.

Морские пароходы заходили по Печоре, больше завозить стали для Нарьян-Мара для Воркуты, для Ухты. Баржа за баржой волоклись кверху Печоры, на Усть-Усу. А сверху плыли баржи с углем да нефтью. Печорский уголь да нефть люди тысячами тонн стали считать.

Рядом с нами тоже работа шла. От Каменки на Индигу через две тундры — Малую Землю и Тиманскую — задумали тракт прокладывать. До этого на Индигу только оленями ездили, а тут лошадьми лес повезли, телеграфные столбы ставили, избышки строили. От нашей деревни подвозить лес ездила моя племянница Анна.

Снова куроптей промыслять начали. Раньше урядники запрещали куроптей возить, а теперь везде по деревням план разметывали — какой сколько заготовить. От нашей деревни пошли промыслять, и мужики, и подростки, и жонки. Раньше жонки не умели силки да капканы ставить. редкая, вроде меня, это дело знала. Я-то все умела, сено косила и воду носила. Мне с силками счастье везло: в куропаточьи силки горностаи попадали. Если план выполнишь, еще и премировку дают. Ивана Федоровича и Онанья Шевелева не однажды премировали за куроптей и за пушину.

Зато если какой заготовитель плана не выполнил, доставался ему в премию заячий хвост. В Нарьян-Маре о ту пору выходила своя газета — «Красный тундровик». И придумала она особый орден. Назывался он «Орден Заячьего Хвоста». Нарисована в газете голова, ковыряет она пальцем у

себя в носу, а над головой, с двух сторон, два зайца стоят. А внизу на ленточке надпись:

«За отличную стрельбу».

Этим орденом награждали заготовителей, которые план не выполняют.

Помню, наградила газета этим орденом нашего оксинского мужика Никодима Александровича Головина. Он в Малой Земле агентом Союзпушнинны работал и план сорвал. А под орденом былина про Головина напечатана:

Уж ты гой еси, добрый молодец,
Головин ты, свет, Никодимушка!
От Мирной Лапты и до Андега
Про тебя разнеслась слава громкая,
Что тихоня ты, что бездельник ты,
Что коитишь ты зря тундровой простор.
Люди с бою берут промысловый план,
Где загонами, где калканами,
Только ты от всего в стороне стоишь.
Ждешь: пушнину тебе принесут-сдадут.
Не дождавшись, ты рассердишься,
Дескать, дело мое тут грошное,
Раз не ловят пушнину, так я-то причем?
Дескать, как же мне выполнить этакий
план?

Так прими же ты, Никодимушка,
Хоть ушканий хвост, весь задрипанный.

Никодиму со всех сторон письма шлют, поздравляют с награждением. Ребятишкам что смешно, то и потешно. Попала им в щеки былинка про Никодима, бегают за ним, распевают. А тому тошно. Тогда и схватился Никодимушко за дело.

— Это, — говорит, — не мука, а вперед наука...

Ненцы-оленоводы крепко да надежно на колхозные парты¹ сели, приглянулись им колхозы. В самом большом ненецком колхозе «Харп»² люди к оседлой жизни потянулись. В Коряговке кулака Терентьева дом к «Харпу» отошел. Амбары там выстроили, коров, лошадей завели. Яков Ледков из того колхоза за год больше семи тысяч рублей заработал.

Собрались оленоводы-ударники на первый свой слет в Нарьян-Маре, решили с ямальскими ненцами соревноваться. Иван Павлович Выучейский ездил в Обдорск договор заключать.

Председателя первого ненецкого колхоза, ненку Степаниду Апицыну, да молодого парня-ненца Николая Ледкова в Москву послали. Степанида потом рассказывала, как она в самом ЦИКе заседала.

¹ Парты — сани для оленьей упряжки.

² Харп — северное сиянье.

— У Кагановича,— говорит,— в гостях была. Хороший человек. Рассказала я ему, как мы в тундре живем. А он и говорит: «Оленей надо лучше выпасать, стадо растить. В колхозах,— говорит,— надо лучше работать».

В низовских колхозах дела тоже направились. Новые невода уловисты, сколько раньше ловили, так они в три-столько рыбы тянут. В Андегском колхозе, слышим, чуть не целое задание сверх задачи выполнили, рыбаки многие тысячи заработали.

Сталин про коммуны говорил, слова как в руку положил. Невдолге оправдались его слова. И макардовские коммуны, и каменские на колхоз перешли. В Каменке при коммуне кому-то корову дали, так было тут разговоров. А теперь, при колхозе, каждый по корове занял.

Во многие колхозы пробиралось кулацкое отродье, вредили там да пакостили. В Виске раскулаченный Петр Зотов попал в колхоз специалистом — рыбу солить да морозить. Так этот «специалист» рыбу в ящиках у печки оттаивал и затравлял ее. Лед вытечет, колхозники отправят рыбу в город по морозу, а приходит она туда порченная. Хотели мужики его на месте прикончить за такие проделки, да сельсовет уберег, в Нарьян-Мар судить отправил.

В тундре в оленсовхозы кулаки пастухами к оленям подбирались, волкам стада травили, до падежей доводили. Кое-кого и тут успели распознать и на свежую воду вывести...

Дети мои про комсомол заговорили. В коммунах, да и в колхозах многие мужики иконы выбросили да в печках сожгли, вот и мои ребятки про то же запоговаривали.

Дуня однажды при отце говорит:

— Я не буду в бога веровать.

Фома и прихватился:

— А в кого же ты, дурья голова, будешь веровать?

А та крутехонько ответила, не замешкалась:

— В Ленина да в комсомол.

— Видно мамкину дочь,— говорит Фома.

Не заругался он, не забранился, а сел на лавку, облокотился на стол и задумался.

25

Родился у меня еще один сын — Афоня. И хоть он седьмой из живых-то был, а любила я его не меньше других. Всего у

меня за семнадцать лет этого замужества пятнадцать ребят перебивало, а всего за жизнь — семнадцать. Только и заслуги у меня было в молодые лета: сыновья.

Афоня десятимесячный помер. Дуню унять отдала. Пришлось мне призятануть с ее учебой: ребята задерживали, возилась она с ними, меня выручала. А потом люди меня бранить начали, и учителя и сельсовет припевать стали. Константин в то время уж председателем нашего колхоза опять стал, он тоже советует, хоть и знает, что я не упрямлю, а поневоле призадержала Дуню. Ну и девяти лет отравила, и то хорошо.

Одна беда не ходит: одна идет, другую ведет. То сама чуть не утонула, то последняя коровенка пропала, а тут еще муж чуть не помер. Никогда с ним ничего худого не бывало. А тут пошли в баню, и он там как мертвый сделался. Немолодой уж стал, под семьдесят лет, так беды-то ему еще тяжелей, чем мне, доставались. Сердце-то, видно, и сдало. Обмер он, захрипел. Облила я его водой, а он и не шелохнется. Испугалась я, взревела, выскочила из бани.

Услышал брат Алексей, прибежал с невесткой, а я сама, как мертвая, в предбанье лежу да реву. Отводились с мужем, он говорит:

— Эта дика-то опять чего-то ревет?

— Будешь дикой,— говорит брат,— когда ей жизнь передышаться не дает. Третья беда на одной поре поймана.

Поправился муж, на путину пошел от Рыбкоопа. Знает, что я без коров неподважна жить, с такой семьей без молока пропадешь. Наказывает:

— Не жалея денег, где прознаешь — бери корову.

Без него я, пока коровы не купила, как глупая ходила. Утром встану — во хлев бежу. Двери открою, а там пусто. Посмотрю да только тогда пойду в избу, будто и обрядилась.

Купила я корову в Бедовом. Пока искала, иду я как-то из Сопки, на Бедовской берег, хочу перебраться за Печору. Шли мы с Павликом да с милиционером одним в попутчиках. Подходим к берегу, а там кулак Онаний Чуклин рыбу ловит. Он был уже раскулаченный и около рыбы кормился.

— Перевези,— говорю,— Онаний Тимофеевич.

— Лодка не несет,— говорит.

— А ты внарок перевези.

— Я,— говорит,— тебя внарок и за двадцать рублей не повезу.

— Когда-то,— говорю,— я у тебя, Онаный, за три рубля в год жила, а ты через Печору меня за двадцать рублей отвезти не хочешь.

— Не хочу,— говорит...

Корова из чужой деревни мой дом и домом не считала, все бегала во свою деревню. И убегала-то не той дорогой которой я ее привела, а напрямик, по диким местам, глинами да болотами, зыбучими берегами, где можно засесть да и погнуть. Вот и бегаю я за ней. Нигде на своей стороне найти не можем, а потом по следу выследили по зашарью, где она переплыла и поднималась на кряж. Ищем — везде трава; где корова прошла, там наклон травы знатко,— мы и идем. Целые сутки бродила я по лугам и водички за это время не выпила.

Находили мы следы и снова теряли. Домой пошли, видим по следам, что она в домашнюю сторону подалась. Она впереди нас переплыла к Голубово, там ее и схватили. Слышим мы,— голос по ветру наносит — ревут¹ нас. Побежала, я до того бежала, что вздохнуть не могу, сердце колет, в роту пересохло, в горле, как чадом режет. Не могу выбежать. Свету не вижу.

И пока домой не пришла, до тех пор не знала, что со мной Андрияша и брат Константин шли.

Дома совсем заболела. От перетуги я вся не своя сделалась, ослабла, каждое место стало болеть, ни пить, ни есть не замогла: в рот возьму — как песок все, вода и та горька.

В ту пору в колхозах ударники проявлялись. Из Оксieno Павла Тимофеевна Сумарокова за ударную работу в Архангельск гостить на съезд ездила. Глянулось мне это: доброе только дураку не глянется. А заговорить с мужем боялась. А он все поговаривает:

— От кузницы дале — копоти мене.

Так и пришлось мне жить меж раем и меж мукой. Шуба лежит, а кожа дрожит, колхоз есть, а вступить нельзя. Вот я и думаю:

«Работаю я не меньше людей, везде я перемоталась: на коне и под конем, в лодке и под лодкой, на сук и на пень металась, а ни почета, ни чести, ни заслуги, ни выслуги от людей иметь не буду».

Бодела у меня душа и тонули мысли. Раз дела мои — кряком да боком, то и

радость в голову не идет и в глаза не лезет.

Хоть я единоличницей была, а молоку на колхозный маслозавод носила. Жонки увидят, ропчут:

— В колхоз не хотят вступать, а молоко к нам же песут.

— Погодите,— говорю,— жонки, показывайте пример. А уж я в колхоз вступлю, так не буду пустяками заниматься, а сразу по-ударному займусь, чтобы в ударницы выйти да прямо в Москву ехать.

Зимой, когда троцкисты убили Сергея Мироновича Кирова, весть до нас о том дошла. Весть ребята принесли, а потом и газета пришла: мы в ту пору уже на дом газету выписывали. Паша читает, а я слушаю со слезами. Мужу и тому по-сердцу пошло.

А я сижу, слезами уливаюсь и говорю:

— Кому надо жить да быть, того от нас и отнимают да вырывают. Поднялись у океанных руки!

И прорвался у меня ночью плач:

Погасла свеча воску ярого,
Потухла звезда поднебесная,
Закатилось красно солнышко
Во холодно да сипе-облаю,
Во тучи да тучи темные,
За горы да за высокие,
Не проглянет да не осветит,
Не взойдет да не обогреет.
Он не скажет, не воспроломит,
Не вздумат он думу крепкую,
Он не даст совету верного
Дорогим своим товарищам.
Над твоей головой разумною
Злое коршунье всюду вилося,
Всюду вилося да кружилося,
Все ловили да добывали,
Час-минуту да дожидали.
Они дождали час-минуту,
Час несчастный да докатился,
Злая минута да подошла;
Они вырвали ретиво-сердце,
Они добыли кровь горячую,
Кровь горячую, неоцешную.
Отлились бы вам слезы горькие,
Отворотилась бы кровь горячая
На злодейны бы ваши головы
Да на черны бы ваши печени.
Вас бы жаром да охватило,
Вас огнем бы да опалило,
Вам в живых бы да не бывать,
Свету белого не видать,
Мать-сыра земля не взяла бы!..

Плакала я и не знала, что скоро приведется мне еще поплакать.

¹ Ревут — кричат.

Долго меня несчастье не искало, знало, где я есть, по готовой дороге ходило, часто гостило, подолгу жило. Дорога широкая у горя была ко мне проложена и тропы торная протоптана.

В том же месяце у меня умер муж. Второй приступ у него случился дома, когда он с путины пришел.

А на третий раз хватило,— и помер. Опять мылись мы в бане. Так же он вдруг упал, захрипел. Я лью на него водой да еще ворчу:

— Докуда будете меня пугать да с ума сводить?

Вода не помогает. Начала я его поднимать, а он и растянулся в нитку. Храпонул еще напоследок, да больше и все. Тут я опустила его да и забегала по улице, по снегу, не обута, не одета, без ниточки. В ином месте до колена по снегу бегу. К своему огороду подбежала, обвалилась на жердь да и думаю:

— Куда я побегу-то? Кто моему горю пособит? Кто мне-ка поможет? Дома одни дети малые сидят, зайду, так еще их-то с ума сведут.

Отбежу к другому огороду, к братнему, опять раздумаюсь:

— Как я зайду-то!..

Чувствую, что я голая, и еще стыд какой-то знала, в уме еще была. Раздумалась — заревела. Думаю, чем ходить, так на крик прибежат ко мне. Никто мне-ка голосу не подал. Побежала я обратно в баню, хотела одеться. Прибежала, а мне надо через покойника перешагивать, он у дверей лежит. Шагаю, да тут у меня ум-то вышибло, ноги подломились, я и пала через него поперек, грудью через спину.

Сколько я лежала — не помню. Только вдруг пришли брат Алексей, два чужих мужика, да невестка Лизавета. Подняли они меня, суют мне одеколону, а я голая меж ними хожу. Не боюсь и не стыжусь и одежки не примаю. Рвусь куда-то итти, и удержать не могут. Потом силой захватили, платьишко надернули да малицу и выволокли из бани.

Домой-то еще не смеют вести, чтобы ребят не перепугать. Я все еще в сознание не прихожу, реву. Вывели меня на увал¹, тут я и пала. Держал меня брат Алексей. За сыновьями в деревню сходили, те пришли. А я и реветь перестала, наконец² лежу. Пришла в себя, вижу, пурга

в лицо падает, месяц по небу бредет. Изпод снега его неясно видно. Вдохнула я, начала в рассудок приходиться. Стали люди меня покликать, а я спрашиваю:

— Где-ка я лежу-то? Ведите меня домой, бывает, у меня все ребята с ума сошли.

Невестка Лизавета сходила уже туда, уговаривала ребят, которые не спали:

— Мать,— говорит,— заведем, так вы уж не плачьте, виду не показывайте. а то она совсем заревется.

Привели меня в избу. Дала я родне байковое одеяло.

— Оберните,— говорю,— его да занесите в избу.

В которое время мыли Фому да одевали, Прокопий съездил в Оксину, привез от докторши Батмановой капли да порошки успокоительные, чтобы я заспала. А меня никакой сон не брал.

Принесли мужа в горницу. Не верю я, что он помер. Жду, что вот-вот пролежится, встанет и заговорит. Не хотелось верить, что осталась я одна с шестью детьми: пять сыновей, одна дочь, и самому старшему — пятнадцать годов. Все малмала меньше, как морошка неузрелая.

Оставил мне муж после себя сорок рублей денег — живи. Я их на похороны все выдержала, а что вперед будет, и не думала. Хоронила я мужа не по-церковному. Гроб пока делали да могилу копали, он сутки пролежал, а на другие его и похоронили. Павлику в Нарьян-Мар телеграмму подали и лошадь за ним послали. А все же за сорок верст он к самой могиле только поспел.

Я реву, так Павлик не к отцу, а ко мне бежит, думает утешить: привез он из Нарьян-Мара чай, знает, что мать чайная. Я свету белого не вижу и Павлика не вижу, слону-то худо стала в себя проглатывать, а Павлик сует мне четвертинку чая и что-то проговаривает.

Прирасплакалась я на свежей могиле, как вода вечная разлилась, всю свою жизнь выплакала:

Уж я, бедна-горька, несчастна,
Я во горе была спосеяна,
Во несчастья была спорожена,
По заюлочкам была выращена,
На мирском куске вскормлена,
На студеной воде вспоена
Во слезах горючих купана,
Во кручине воспеленана,
Горьким горюшком повивана,
Горемыкой была названа.

¹ Увал — сугроб.

² Наконец — навзничь.

Я шаталась, бедна-злосчастлива,
По чужим людям сиротинкой,
По рабам я да по холопам,
По кулацким да долгим срокам,
По тяжелым да по работам.

День и ночь, бедна, хошь работала,—
Чужим людям меня было не-жалко,
Чужие люди да не хранили,
Нашей младостью не дорожили,
Посылали да наряжали
На работы да на тяжелы,
Везде по бурям и по падерам,
По тяжким-темным заметелицам.

По зиме с меня снег не стаивал,
Мокрый дождь по лету не ссыхал.
Со здоровьем я распростилась,
Я с молодостью расступилась.

Не узревша я в поле ягодка,
Не расцветша в саду калинушка —
Не успела да я повырасти,
Не успела да я повыцвести
Я у роду да я у племени,
У родимой да своей матери —
Они вздумали думу крепкую
Молоду меня взамуж выдати.

Споневолила родна-маменька,
Посоветовал родной брателко,
Не постояли — не подорожили
Ни красотой ли моей девьей,
Ни молодостью молодою.

Они думали меня горя избавить,
Хотели выкупить меня, выручить
Из тяжелой ли меня работунки,
От чужих людей, от богатинных.
Не могли меня горя избавить,
Ни выкупить меня, ни выручить —
Еще больше мне горя прибавили,
Поспешили они, поторопили,
Кинули меня да они бросили
Из лихой беды да во кручинушку,
Из жарка-пламя да во палюч-огонь.

Мне-ка участь да бесталанна,
Мне судьба-то да горемычна.
Бил-терзал меня муж-каналья,
Не за дело, не за провинность,
Не за вину меня, не за проступки,—
Не от голоду, не от холоду —
От своей л. великой лютости,
От злости да проехидной.

Мне нигде-то да счастья не было,
Куды кинуся, куды брошуся?
Мне нигде бедной не укрыться,

Мне-ка не за кем ухраниться
Ни от ветру да мне-ка буйного,
Ни от грому да мне-ка грозного,
Ни от крупна ли дождя мокрого.

От буйна ветра — заутыльница,
От грозна грома — оборонушки,
От тучна-дождя — прикрываньница,
Нет приладу нигде, ни пристрою,
Обогреты нет ретиву сердцу.
Так вот молодость издержала,
Красоту с лица потеряла,
В стыд-бесчестье да приунала.

Призабравши тогда годами,
Призаживши да я летами,
Прикрепши да умом-разумом,
Взяла волюшку во свои руки,
Да и волюшка-то была невольна.

Я не жизнь жила — горе мыкала
Во чужих людях, во работунке.

Утром рано была разбужена,
Вечер поздно была уложена,
Среди ночи потревожена.
Уж я робила, бедна, моталася,
Моталася да позорилася,—
Не заслужила я, не заробила
Я ни слова да себе гладкого,
Я ни куса да себе сладкого,
Я ни места да себе мягкого.

Я раздумывала-разгадывала:
Как мне времячко проводить,
Молоды ли да годы жити?
Тяжелым-то мне тяжело,
И нелегким-то мне нелегко.

Я еще ли да в горе кинулася —
Укрыться да ухраниться
От той ли лихой работы,
От чужой ли да непосильной,
От воли да от невольной,
От стыда ли да от бесчестья —
На второй ли я раз замуж вышла
Не за ровню я, за старого,
Я за старого да за древнего.

Никого-то я не спросила,
Никому-то я не сказала,
Я сама ли да, бедна, вздумала,
Своей мыслью заповедала,
Все искала я горя выход.

Я жила тогда горе-злосчастлива,
Только все была недовольна
Я судьбой своей горе-горькой.
Пусть хоть сверху меня шуба грела,—
Сыспода мое сердце ныло

За свою ли да жизнь бесчастну,
За свою ли да бесталанну:
Добры дни стоят во моих глазах,
Только волюшка не в моих руках.

Тут еще меня горе достигло,
Зло велико да поимало:
От моего да мужа старого
Я осталась одна-одиношенька.
Пришла смерть ли да крутым-на-круто,
Она нечата была, не думана,
Столь ли скоро да неожиданна:
Не постоиал он, не поболел,
Не потревожил, не побеспокоил.

Я осталася, горе-злосчастлива,
Я со малыма да со детьми,
Со малыма да многостадными,
Со тучными¹ да со семьянными.

Уж я не знаю да как мне жить,
Я не ведаю, как мне быть.

Спроводила да схоронила,
В матерь-землю да положила,
Я желтым песком призарыла.
Пусть потянут да ветры буйны,
Призавеют твою могилу,
Пусть прогрянут да громы громки,
Пусть прольют ли да дожди мокры,
Пусть промочат твою могилушку,
Прорастет ли да мурава-трава,
Расцветут ли цветы лазурьевы,
Пропоют ли да птицы-пташицы
На сырой ли твоей могиле,
На приметном да твоём месте.
Я пойду когда ли, горе-бедна,
Я со малыми да со детьми,
Доведу им, да докажу —
Пусть попомнят да пусть узнают,
Где спровожен да где положен,
Где схоронен отец-родитель.

¹ Тучными — многочисленными; рожденными, как из тучи.

Увезли меня домой. Завели меня под
руки в избу. Ребята ревут в шесть голо-
сов. А я седьмым подголосничаю:

Вот пришла я, горе-злосчастлива,
Я к нетопленной, бедна, печке,
Ко потухлому, бедна, уголью,
Я ко малым да своим деточкам,
Собрала их да захватила
Во свое ли да гнездо вито,
Куковать стала, горевать.

— Как я буду да с вами жити?
Как я буду да горе мыкать?
Как я буду да всех вас растить? —

Мне все горюшко не оплакать,
Всю кручину не одолить,
Все тяжелы да свои мысли
Кинуть-бросить нать да одуматься.
Оглядеться да осмотреться
На людей ли да мне на добрых.

Мне-ка горюшко не поможет,
Мне-ка слезы да не пособят,
Люди горе да переносят,
Так же мне надо потерпеть,
Так же мне надо поотведати.
Мне печалью не пособити,
Так пришлось — так падо жити.

Песни-то я в ту пору не больно весе-
лые пела, да что поделаешь — и жизнь-
то меня не веселила. А какая жизнь, та-
кие и песни. После-то я не однажды ду-
мала: грудь-то бы мне разрезать, да сер-
це вынуть, да посмотреть — толсто ли там
наросло. А тогда я еще не знала, что я
проплакала свое последнее причитание.

Конец второй части

Записал и обработал
НИК. ЛЕОНТЬЕВ

(Продолжение следует)

Рассказы о летчиках

1. ПОДВИГ ЛЕТЧИКА ЛЕТУЧЕГО

Кто совершил этот подвиг? — спросил в телефонную трубку командующий. — Старший лейтенант Летучий, — ответили с дальнего аэродрома.

Командующий улыбнулся.

— Недаром у него такая летная фамилия!

Лейтенанта частенько спрашивали, не сам ли он ее выдумал?

— Нет, — отвечал Летучий, — беспризорики...

Во время гражданской войны он потерял родителей и по малолетству даже не запомнил их фамилии. Знал, что его зовут Израиль, отца — Яков, и все. Мальчишкой он был отчаянным, убежал из всех детских домов, как по воздуху уносился. Вот беспризорики и прозвали его: летучий. Прозвище прикилось и стало фамилией.

— А теперь мне самому нравится, — смеялся лейтенант, — знакомишься и говоришь: «Летчик Летучий!» — коротко и ясно.

И он оправдывал свою фамилию, замечательно владея самолетом. Командир эскадрильи капитан Топаллер даже дома за обедом рассказывал о нем с восторгом:

— Есть у меня летчик — Летучий, ну просто рожден летать! У него рука легкая, кого ни поднимет в воздух — все летают прекрасно. Он говорит: «Каждый может овладеть воздухом; дайте мне медведя, я и медведя летать научу!»

Жена Топаллера смеялась, а дочка Верочка переставала есть и смотрела на отца большими глазами.

Летчик Летучий казался ей героем из сказки.

Когда капитан Топаллер отправлялся на войну с белофиннами, девочка заметила тревогу матери, подошла и шепнула:

— Мама, ничего, не бойся, ведь с папой летчик Летучий!

Отец засмеялся, но девочка была права.

Лейтенант Летучий любил своего командира и зорко охранял его в боях. Они летали всегда вместе.

Умело и бесстрашно сражались за родину топаллеровцы.

Задолго до войны они овладели искусством слепых полетов.

Бывало, падет туман или зашумит метель над лесами, заскучают иные летчики, а топаллеровцы выходят на старт, потирая руки...

— Самая погодка! — усмехнутся, и в полет.

Боялись белофинны нашей авиации: в ясную погоду вся страна замирала. Дороги пустыли, поезда останавливались в туннелях. Солдаты отсиживались в лесах. А в нелетную погоду у них начиналась самая жизнь. Все дороги заполнялись войсками, обозами, пушками. Прифронтовые города оживали. Солдаты и офицеры вылезали из своих убежищ.

Вот тут неожиданно и появлялись топаллеровцы.

Особенно отличились они в рождественские дни. Мороз был такой, что птицы на лету мерзли. Думая, что нашим самолетам не взлететь, белофинны решили отпраздновать рождество. Начали жарить, парить... Все блиндажи и штабные дома у них были ловко замаскированы деревьями.

засыпаны снегом, невидимы с воздуха... А тут дым из труб поднялся.

Топаллеровцы в этот день утеплили моторы самолетов да на дымок и явились...

Налет был так удачен, что поздравить топаллеровцев прилетел сам командующий воздушными силами.

На аэродроме сопровождавший его адъютант засмеялся и воскликнул:

— Смотрите, у топаллеровцев самолеты закутаны, как бабушки...

— Это наши мотористы утеплили моторы, чтобы мороз не брал,— ответил Топаллер,— конечно, некрасиво...

— Некрасиво, но спасибо,— улыбнулся командующий,— вы сегодня несколько белофинских штабов уничтожили!

Отличились топаллеровцы и под новый год! Смотрят летчики соседних эскадрилий, что такое: оружейники вместо бомб к легким бомбардировщикам ветчину, колбасу тащат! Вешают на бомбодержатели и сами смеются... Под самолет Летучего подвесили целую свиную тушу, мордой вперед.

— Вот она какая, обтекаемая!

— Да это, может быть, бомба особой системы?

— Нет, настоящая свинья...

Топаллеровцы загадочно улыбались. Это был необыкновенный рейс. Лететь приходилось над вражеской территорией, низко над лесом, чтоб не раскрыть тайны.

Враги удивлялись. Вначале финские солдаты прятались, заслышав шум моторов, а потом выскакивали на поляны, задрав головы, посылая запоздавшие пули.

— Что рты разинули?— смеялся Летучий.— Ветчины захотели?

На этот раз топаллеровцы разыскивали своих. Отряд лыжников зашел глубоко в расположение противника, в тыл лесной крепости Лоймолы и затаился, чтобы в момент наступления выйти на дорогу и отрезать противнику пути отхода. У бойцов вышли продукты. И легкие бомбардировщики получили приказ накормить лыжников.

Штурманы сумели найти отряд, и в день нового года бойцы получили обильные подарки. Особенно их развеселил «новогодний поросенок», скакнувший с воздуха!

Лыжники радировали благодарность летчикам.

Эскадрилью капитана Топаллера узнала и полюбила вся наша армия.

Заметил ее и противник, стал выслеживать. И однажды финские зенитчики подкараулили и обстреляли эскадрилью не-

ожиданным шквальным огнем. Летучего подбросило взрывной волной. Снаряд разорвался рядом.

— Премазали! — усмехнулся Летучий, взглянул в сторону Топаллера и вздрогнул. Он увидел, что мотор командирского самолета задымил, из него выбило черное масло, пропеллер стал вращаться медленней, тише и остановился.

— Неужели подбили? — не поверил глазам Летучий, протер перчаткой запотевшие очки и увидел, что самолет командира пошел на посадку.

Летучий качнул крылом, призывая товарищей, и пошел за командиром. Внизу растлались леса, из них торчали скалы. И сесть негде! Но вот мелькнуло озеро. На него и спланировал Топаллер. Летучий взглянул на озеро, и лицу его стало жарко под меховой маской.

Хорошо сел Топаллер, но... прямо во вражеский лагерь!

Летучий сдернул с лица маску с очками и ясно разглядел многочисленные палатки по берегам озера. Белофинские лыжники выскакивали из них, бежали к самолету, радостно призывая других... Целые толпы солдат показались из-под деревьев... Было видно, как летчики выглянули из кабин и снова скрылись. Это Топаллер и его штурман Близинок припали к пулеметам.

— Конечно, они погибнут с честью... Дорого обойдутся финнам... Вот сейчас произойдет последняя схватка...— сердце Летучего рвалось к товарищам. Легче было погибнуть с ними вместе на холодном льду, чем видеть и переживать их смерть.

Стиснув зубы, смотрели советские летчики вниз... От напряжения на глазах выступили слезы... Хотелось рвануть рукоятку бомбосбрасывателей... Пусть взорвется все озеро... Пусть лес взлетит корнями вверх и обрушится скалы...

Неужели вот так и оставить товарищей в руках врагов...

Летучий вдруг резко развернулся.

— Что он делает? Неужели идет на посадку? Но ведь там же верная смерть! Это озеро — ловушка, каких много в Финляндии. С него не взлетишь, если сядешь, потому что под снегом у него вода...

Вот она проступила на лыжных следах Топаллера. Она сразу приморозит самолет, схватит лыжи ледяным капканом.

Товарищи хотели остановить Летучего. Да если бы сам Топаллер увидел, что к нему садится какой-то безумец, он бы приказал ему вернуться.

Летучий все знал... И ничего не боялся.

Он скользнул на озеро, подогнал свой самолет к подобному и, не останавливая пробежки, крикнул:

— Товарищи, влезайте на крылья!

Финны думали, что к ним свалился второй самолет. Обрадовались, зашумели, стали стрелять в воздух: «Сдавайтесь!»

А Топаллер и Близнюк, выскочив из кабин, погнались за самолетом Летучего.

Летучий сбавил скорость пробежки и рулил тихо, чтоб только не остановиться и не приморозить лыжи... Самолет словно полз по озеру, поднимая снежную пыль...

Топаллер и Близнюк подбежали, ухватились за расчалки и потянулись на плоскости...

Тут белофинны поняли, в чем дело. Они схватились за оружие... Многозарядные автоматы поднялись, чтобы изрешетить летчиков. Десятки солдат прицелились... Вдруг свинцовый вихрь обрушился на них сверху, смял передовых... Остальные бросились в лес...

Это вступили в схватку летчики, оставшиеся вверху. Они не зевали, увидев командира в беде и Летучего, рискнувшего за него своей жизнью,—пилоты заложили машины в крутой вираж, стали носиться по кругу над озером, а штурманы ударили по белофиннам из всех пулеметов. И светящиеся пули пронизали весь лес огненным дождем...

Паника охватила солдат, а Летучий, как птица, взмыл над озером, унося товарищей на крыльях.

Внизу остался только горящий, разбитый самолет да валялись убитые и раненные белофинны. Оставшиеся в живых долго не могли разобраться, что за страшное чудо случилось у них на озере Юлялова-ярва...

А Летучий, смеясь от счастья, мчался над лесом.

— Что, взяла? — кричал он, оглядываясь на врагов. — Не такие мы, чтоб отдавать вам командира!

Топаллер и Близнюк лежали на крыльях вниз лицом, ухватившись за расчалки. Встречный ветер свистел над ними, словно стараясь сорвать спасенных героев и сбросить в бездну. И вот Летучий увидел, что Топаллер держится за стальные тросы голыми руками. А мороз больше тридцати градусов... Руки побелели... Пальцы начинают разжиматься... А ветер делает свое дело, отдирает командира, подталкивает вниз. Топаллер медленно сползает с крыла.

— Держись, Анатолий, родной! Держись еще немного! — крикнул Летучий.

Он сбавил обороты мотора, чтобы встречный вихрь был тише... Самолет едва тянулся над лесом... Вот уже своя территория... Вот и аэродром скоро... А ноги командира уже свесились с крыла. Летучий закрыл глаза... Какая обидная смерть...

Но Топаллер не хотел умирать... Ему хотелось еще летать, сражаться за родину. Перчатки он сбросил там, на озере... Лицо у него обледенело и смерзлись ресницы... Его сковало морозом. Он уже не мог двигаться, но собрал последние силы и удержался на крыле, зажав локтями задние расчалки.

И в это время показался аэродром.

Не делая круга, Летучий стремительно спустился и подрулил к санитарной палатке. Мотористы и оружейники сразу подхватили товарищей. Топаллер упал с крыла прямо на руки подбежавших.

Скоро и его и Близнюка привели в чувство.

— Все пройдет,— говорил доктор,— теперь все в порядке.

...Летучий вышел из палатки. Вокруг взволнованной толпой стояли мотористы, оружейники, воентехники.

— Все в порядке,— сказал Летучий.— Топаллер будет летать!

Он стоял на ветру без шлема, стоял и улыбался, не замечал, что ледяной ветер перебирает его волосы. Затем попросил папиросу, хотя никогда в жизни не курил. Кто-то подал папиросу.

Все примолкли, как будто увидели Летучего впервые.

— Дайте огня,— сказал он, показывая незажженную папиросу.

Из толпы вышел большой, застенчивый моторист Топаллера — Кулибаба. Он стал чиркать спичку, но вдруг сломал спичку, бросил и, обняв старшего лейтенанта, крепко расцеловал его.

Весть о подвиге летчика Летучего облетела всю страну.

В Кремлевском дворце Михаил Иванович Калинин вручил ему орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза. И когда пожимал руку, вдруг пристально взглянул сквозь очки:

— Летучий? Интересная у вас фамилия... Что, сами выдумали? Ну, вы ее отлично оправдали...

2. «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО»

«Один из наших самолетов не возвратился на свой аэродром»,— сообщалось в военной сводке.

Я помню, как это было. Мы проводили в полет эскадрилью, как всегда, на рассвете. Как только над лесным озером ударила красная ракета,— лес загудел, затрясся, прибрежные елки упали, словно по волшебству, давая дорогу машинам, скрытым в чаще. Девятка короткокрылых самолетов стремительно вынеслась на старт и ушла на запад.

Наступила тишина. Бойцы наземной службы собрались погреться в утепленной палатке. Курили, играли в шашки, пытались шутить, но все без удовольствия. Мысли были там, с улетевшими.

Обычно, чем ближе подходил срок возвращения, тем чаще взглядывали мотористы на часы.

Пора бы уж вернуться. Вот бензину осталось лишь на двадцать минут... на десять... Не стовариваясь, все покидают палатку, расходятся по аэродрому в одиночку, кучками, стоят и смотрят на север, на восток, а больше всего на запад. И когда ожидание доходит до предела, раздается чей-то радостный крик:

— Летят! Летят!

И чья-то рука указывает в небо. Все сразу различают там чуть заметную точку. Она быстро превращается в черточку, в птичку и, наконец, в самолет. И стоило псказать одному, как за ним подтягиваются другие. И тут не успеваешь считать. Всегда кажется, что одного не достает.

Наконец кто-то уверенно кричит:

— Все дома!

Это действует как отбой. Мотористы бегут к заправщикам, оружейники к складам, у каждого находится дело, у всех отлегло от сердца.

Можно сказать — «земля» наша только и жила «небом».

Свой героический труд на зимнем полевом аэродроме мотористы не считали геройством. И собравшись в палатку погреться, все с припухшими пальцами, с обмороженными щеками, продрогшие до костей,— они только и разговаривали, что о подвигах своих летчиков.

Любимцем мотористов был лейтенант Горюнов. Ему, что называется, везло. Каждый день, как ни вылетит,— что-нибудь да есть: если «Бленхейм» не встретится, попадется «Фоккер», в край-

нем случае какой-нибудь разведчик, вроде «Туйску».

О Горюнове можно было рассказывать без конца.

Но его моторист Суханов не отличался красноречием. Покладистый, неповоротливый, он любил только слушать и довольно улыбался, когда хвалили его лейтенанта.

Свои чувства к летчику он выражал в ревностных заботах о его самолете. Машина Горюнова вела себя безукоризненно, мотор не чихнул ни разу за всю войну. Лейтенант летал смело и уверенно, зная, что самолет, приготовленный Сухановым, не подведет.

Как-то Суханов обмолвился:

— Мой летчик — моя душа...

С тех пор мотористы между собой стали звать Горюнова «душой», а Суханова «телом». И по этому поводу всегда шутили.

Когда Суханов, стоя на аэродроме и не замечая ничего вокруг, пристально глядел в мутноватую даль зимнего неба, а в уютном, уставленном свежими густыми елками гнезде не было самолета Горюнова, товарищи, указывая друг другу на одинокую фигуру, говорили:

— Разлучилась душа с телом!

Но сегодня никто не улыбался, не шутил. Все уже разошлось по самолетам, под елками сдержанно гудели моторы, звенел металл по металлу. Аэродром затихал, затягиваясь вечерней дымкой, а Суханов все стоял посреди взлетной площадки и смотрел на запад.

А по проводам передавалась в штаб короткая сводка:

«Один из наших самолетов не вернулся на свою базу».

Моторы самолетов затихли. Летчики разошлись на ужин. Разводящий расставил секреты, и сумерки перешли в ночь, а Суханов все стоял и глядел на медленно угасающую, бледную полоску зари.

Работая у машин, мотористы старались не смотреть на Суханова. И когда он пришел к дежурному и стал его упрашивать включить прожектор для ночного старта, всегда веселый Капитайкин сердито ответил:

— Не для чего, никто не прилетит!

Суханов ему не поверил и пошел к летчикам. Беспокоить их после ужина категорически запрещалось. Прячась между койками, Суханов шопотом расспрашивал

о Горюнове, и летчики не гнали его, также шоготом отвечая.

Суханов выяснил все подробности прошедшего и еще больше взволновался. Все видели, как мотор самолета задымил, как Горюнов пошел вниз, на лесные массивы, и среди них затерялся.

Всю ночь не сомкнул глаз Суханов, мысленно проверяя отправленную в последний полет машину. Он вспоминал, как ровно звучал мотор, вспоминал, как рука проверяла зазоры прерывателя магнето, как выглядел самолет перед взлетом, радуя сердце своей подобранностью и извивной, вспомнил, как улыбнулся Горюнов на прощанье... Нет, если кто и виноват в его гибели,—только вражеская пуля...

Рассвет застал Суханова на аэродроме. Он стоял и смотрел на запад, как будто и не уходил с поля.

Вдруг, словно порожденный его тоской и желаньем, на тропинке появился Горюнов. Он шел смущенный. Какой-то не такой, как прежде. Суханов не поверил своим глазам.

— Побожись, что это ты! — отступил он на шаг.

Горюнов улыбнулся и обнял своего моториста.

— А машина?

— Там,—махнул рукой Горюнов.— Меня на грузовике подвезли.

Товарищи застали их вдвоем. Они разговаривали, поедая горстями снег, как мальчишки. Летчики бросились обнимать Горюнова.

Лейтенант вышел из опасности невредимым, но ничто не радовало его, потому что вернулся он без самолета.

Подбитый истребитель остался далеко, на мрачной «ничьей» земле, изрытой воронками от снарядов, вблизи вражеских позиций. Неприятель мог разбить его вдребезги парой орудийных выстрелов, да и свои могли уничтожить из первой же противотанковой пушки. Противник не стрелял, считая самолет уже своей добычей. Но взять его не мог.

Когда финны пытались подобраться к самолету, наши открывали заградительный огонь. Если с нашей стороны замечалось движение, тогда финны осыпали открытую поляну шрапнелью.

Горюнов долго наблюдал за перестрелкой, лежа в глубоком снегу. И угораздило его сесть на такую канительную площадку. Но что делать, когда на сто верст вокруг никакой другой не было.

Когда пуля пробила трубку маслопровода, мотор задымил и масло брызнуло в

лицо, Горюнов выключил зажигание и, сохранив машину от пожара и порчи, стал планировать.

Внизу мелькнула поляна за возвышенностью, где он хорошо запомнил позиции своих батарей. Лейтенант перетянул лесистый гребень отчаянной горкой и ловко посадил подбитую машину. Но лыжи сразу утонули в рыхлом снегу, и самолет застрял, не дойдя до опушки леса.

Тут и началась. Сначала его хлестнула пулеметная очередь справа, затем слева. Горюнов выскочил и зарылся в снег, как куропатка. Потом пришлось долго ползти, спасая свою жизнь.

Вспоминая эти обидные подробности, лейтенант краснел от стыда.

— Яйора,—сказал он Суханову,—его надо увести!

— Увести? Точно! — воскликнул Суханов.— Верное дело.

Эта идея увлекла моториста. Мешковатый на вид, он развил такую кипучую деятельность, что в этот же день было получено разрешение на «риск» и набрана команда охотников.

В экспедиции приняли участие всентехники Першин и Палагин, мотористы Смирнов и Стоволосов и боец стартовой команды смешливый, голубоглазый белорусс Алексеенок.

Весело переглядываясь, подмигивая друг другу, как заговорщики, друзья уложили в грузовик свернутые в трубки белые брезенты, инструменты и даже два больших кухонных термоса, добытых у повара.

Грузовик удалось провести прямо к нашим передовым позициям. Порошил снег, низко нависли облака, видимость была плохая. Но все же, выглянув из-за густых деревьев, можно было различить самолет.

Немного покосившись на один бок, короткокрылый, с красным хвостовым оперением, он сидел посреди поляны, словно одинокий снегирь.

При виде брошенного друга сердце Горюнова забилось, но лейтенанта попросили немного потерпеть.

— Рожденный летать не должен ползать,—сказал Алексеенок, опускаясь в снег на четвереньки.

Суханов пополз первым. Все были в белых халатах. Разговаривали шоготом. Стоит врагу заметить движение — и вся группа будет сметена огнем. Надо было действовать осторожно и, главное, неожиданно.

Для отвлечения врага пехота затеяла поиски разведчиков в стороне.

Суханов полз, разгребая снег. У него хватало терпения продвигаться не более метра в минуту. Продвинувшись, он залегал и подтаскивал к себе на веревке брезентовый сверток, за ним так же полз Алексеенок, термосы с горячим маслом тащили остальные.

К вечеру Суханов уткнулся головой прямо в лыжу самолета. Он затаил дыхание и осторожно повернулся лицом вверх. Некоторое время все лежало недвижимо, слушая каждый шорох. Не подползает ли враг? Кажется скрипят промерзшие халаты? Шевельнулся снег или показалось? Может быть, со стороны врага нашлись люди, которые действуют так же? Алексеенок и Суханов осторожно приладили ручные пулеметы, остальные приготовили гранаты. Время тянулось невыносимо медленно. Казалось, ночь никогда не наступит.

Но вот сумерки стали гуще. Лес заволжало туманом, высота, занятая противником, нависла над поляной темной громадой. Снег стал серовато-белым, как брезент.

Пора действовать! Суханов приподнялся. Товарищи, затаив дыхание, следили, как он медленно вырастал из снега. Его белый халат сливался с сугробами... Неужели «там» заметят?

Горюнов сидел в снеговом окопчике, скрытом под густой елкой, и все смотрел на одинокий самолет, на след уползших мотористов. Теперь и ему пришлось испытать чувство томительного ожидания.

Что с товарищами? Вернутся ли? Лейтенант смотрел на безжизненное поле не отрываясь. Сначала самолет был хорошо виден. Горюнов различал даже винт, вставший восклицательным знаком, потом только общие контуры самолета, потом его тень, похожую на темный крест.

— Да, оригинально вы сели, чуть не в самую пасть,— развлекал лейтенанта пехотный командир,— в этой горе ведь скрывается целая крепость. Вся местность вокруг заранее пристрелена.

Горюнов не слушал. Его мысли были там, с товарищами. На какое дело заставлял он их пойти,—из-за того, что не дотянул вот до этой опушки...

У лейтенанта от напряжения слезились глаза. Он вытер их перчаткой, и когда снова взглянул в сумеречную даль, не увидел самолета.

— Товарищ капитан,— дернул он за рукав пехотинца,— вы самолет различаете?

— Нет, а вы? Сейчас мы в бинокль посмотрим... У меня чудесный Цейс.

Горюнов прильнул к биноклю.

— Не видно,— сказал он,— честное слово, не видно!

На месте самолета возвышался чуть приметный белый холмик.

Когда Суханов поднимался во весь рост, медленно расправляя брезент, он понимал, что это самая опасная минута. Алексеенок, закрепляя концы штупорами, слышал, как осыпался снег с халата, и хотел крикнуть: «Тише!» Ему казалось, что снег сыплется слишком громко.

Вот брезент приподнят. Все вскочили, подхватили его и в одно мгновение натянули на самолет. И сразу затаились под брезентом, слушая биение собственных сердец. Тишина. Неужели «там» ничего не заметили? Любопытный Алексеенок выглянул. Крепость, насупившись, молчала.

Подождали еще несколько минут. Ничего.

Окаменевшие лица мотористов стали оживать в лукавых улыбках:

— Обманули!

Наступила суматошная почь. Каждую минуту то справа, то слева поднималась бешеная стрельба. С противным дребезгом рвались минометные мины, стонали пролетающие над головами снаряды, той и другой стороны. Раздавались странные крики. Но мотористам было не до того.

Трое из них наощупь, чтобы не выдать себя светом, чинили маслопроводку, заменяя пробитые трубки. Двое других ползали взад и вперед по снегу, готовя широкие лыжни для взлета машины.

Время от времени друзья вспоминали, где они находятся. Иной раз по брезенту ударяли куски мерзлой земли, брошенные близко разорвавшимся снарядом, несколько раз прошивали брезент иальные пули, осколок нанес его полотнищу рваную рану и, зашипев, погас в снегу.

— И куда тебя несет? — отшвырнул его ногой Алексеенок.

К рассвету Палагин и Першин вели подавать горячее масло. Проводка готова. Стоволосов и Суханов стали заливать масло из термосов, а Алексеенка послали за Горюновым.

В восторге он не полз, а мчался на четвереньках. Представ перед Горюновым, отрапортовал:

— Пожалуйста в самолет! — и предложил лейтенанту лечь на две связанные лыжи, для сохранения сил.

— Не стесняйтесь, поехали!

Горюнов рассмеялся и пополз сам.

А под брезентом волновались. Рассвет могуче захватил полнеба. Стоит взойти солнцу — и брезент всех выдаст, бросив на сверкающий снег предательскую тень.

Надо действовать!

...Снег порозовел, порозовел иней на брезенте, сливаясь со снегом. С финской стороны посмотрели и... не увидели на поляне самолета.

С того места, где стояла машина, тянулась к опушке леса широкая лыжня... Значит, самолет утащили!

Досада охватила финнов: всю ночь они давали заградительный огонь и все-таки самолет исчез! Неожиданный залп обрушился на опушку леса... второй, третий. Забушевал злой вихрь, круша деревья, поднимая тучи еловых ветвей. Финские артиллеристы, думая, что самолет затащен в лес, с полчаса молотили по пустому месту.

А под этот шум мотористы заводили

мотор самолета, раскручивая тугой винт. Горюнов пробовал тросы управления, и самолет шевелил хвостом, закрылками, постепенно оживая.

И только утихла стрельба, как вдруг пад поляной поднялся снежный вихрь, и отчаянный истребитель выскочил из-под брезента, как заночевавший в снегу тетерев. Вздымая радужную пыль, сверкая хвостовым оперением, он взвился навстречу восходящему солнцу.

Маскировочный брезент упал и накрыл мотористов. Враг понял, как его обидно обманули, и открыл бешеную стрельбу по всей площади.

Как выбрались мотористы, что им пришлось пережить после взлета Горюнова, — неизвестно. Они не любили об этом рассказывать.

Главное было в том, что в этот день лишний самолет прилетел на свой аэродром.

Но об этом ни в каких сводках не сообщалось.

Окровавленная дождевая шляпа

На сером хребте Махуэй запылали кленовые листья,
Красные листья — как жаркая, свежая кровь.
Вызну, у подножья горы, где колышутся травы густые,
Лепится к склону беседка,
Восьмиугольная, алого цвета беседка —
Памятник славным бойцам,
Что погибли за дело отчизны.
По склону горы, за маленькой этой беседкой,
Растет изумрудно-зеленый бамбук,
А в тихой долине под нею
Струится ручей, напевая печальную песню.
Здесь, в этой беседке, последнем жилище героев,
Развешано то, что осталось от них на земле:
Воспная форма в пятнах запекшейся крови,
Солдатская книжка, косями исчерченная письменами,
А также мечи и винтовки, кровавой покрытые ржавью.
Средь этих останков войны
Висит на стене дождевая крестьянская шляпа,
Громадная шляпа, выдавшая виды,
Пронзенная пулями щедро, с изломанными краями.
«Кто подвиг при жизни свершил — бессмертен и после кончины».
О старая шляпа,
Хранящая память о подвиге дивном!
Каждый из тех, кто приходит сюда поклониться погибшим,
Долго глядит на нее,
И сердце его, отягченное болью,
Дрожит
И трепещет.
И день ото дня перед нею
Братья-бойцы молчаливо стоят и, благоговейно
Снявши фуражки солдатские, прошлого книгу листают.
И воскресает пред ними
Сказание, полное скорби и гордой отваги.
Приходят сюда и крестьяне и жгут благовоныя
В память о славном герое, чье имя для них незабвенно.
И говорят:
«Кто подвиг при жизни свершил — бессмертен и после кончины».
Под шляпой висит на стене полоска материи белой,
И надпись краткой на ней старинная стелется вязь:
«Это — последняя вещь Ван-Апи, героя четвертой роты»
Он был рядовым солдатом — маленьким и занятым,
Большие глаза его были отчеркнуты гущею бровей,
На правой щеке красовалась большущая родинка — с медный тунзыр¹,

¹ Т у н з ы р — медная монета.

И было лицо его смугло,
Как дикая яблоня, тронутая морозом,
И разговаривал он, слегка запинаясь, несмело.
Товарищи в шутку о нем говорили, что он
Родился на свет в маске актера,
Который играет на сцене «справедливую личность»,
И песню такую сложили о нем балагуры:
«Ван-Ани — потертая шляпа,
Родился на свет он с лицом справедливым,
Дожил старик до восьмого десятка
И все еще не женат».
А он, в широкую грудь себя кулаком ударяя,
В ответ произнес такие слова:
«Я — старый Ван,
На голой земле я родился, на голой земле я вырос,
Красною глиной питаюсь, большим я стал и сильным,
Не надо смеяться, о братья, над этой поломанной шляпой.
Сестра моя — Феникс Зари — сплела ее брату в подарок.
Взгляните, о братья, на шляпу, на этот цветочный узор:
Весь он пронизан любовью сестренки моей Цзин-Фын».
И тихую девичью песню задумчиво он затянул:
«На южной вершине бамбук я срывала,
На северном склоне я ветви срезала,
И брату в подарок я шляпу сплетала,
Чтоб он поскорее вернулся с победой».
Он радостно пел эту песню — такой довольный, счастливый,
И, песенку эту услышав, товарищи сильно смутились.

Всех метче стрелял Ван-Ани из верной своей винтовки:
Девять пуль из десятка он всаживал в сердце мишени,
И братья-бойцы любили вести с ним шутливо беседу, —
Так искренен был он всегда и великодушен притом.
Он часто друзьям говорил, что любит на свете три вещи:
«Во-первых, стрельбу из винтовки. Искусством стрельбы овладев,
Я буду без промаха бить проклятых восточных чертей.
Вторая любовь моя — дождевая крестьянская шляпа.
Не надо смеяться, о братья, ведь шляпа — моя невеста.
А в-третьих, люблю я бродить по узеньким горным тропам:
Чем выше уходишь в горы, тем тело сильнее и крепче».
Однажды, в бою под Цзюцзявом,
Шляпу его пробилась шальная японская пуля,
Оставив на левом виске солдата свой след —
Фиолетовый шрам.
И братья-бойцы опять над ним подтрунивать стали,
Старую песню о нем переделав на новый лад:
«Ван-Ани — потертая шляпа,
Родился на свет он с лицом справедливым,
Еще одну родинку он заработал.
Вернется домой, а невесты опять не найдет».
Не стал Ван-Ани отвечать им шутливою речью.
Сжав губы, от них отошел он,
И стало лицо его словно окаменевшая груша.

Ни в бурю, ни в дождь не снимал Ван-Ани с головы
Свою неизменную, нежно любимую шляпу.
Когда засыпал он, то клал ее рядом с собой,
И часто в расщелинах скал, меж камней,
Красивые дикие рвал он цветы
И шляпу свою украшал, как помадой и пудрой
Лицо украшает свое женщина молодая.

Однажды, когда Хуан Цайньшэн невзначай
На шляпу товарища выплеснул пищи остатки,
Разгневанный Ван на него с кулаками полез,
Крича, что перяха невесту его оскорбил.
И так как братья питали к нему уважение,
То стали они и шляпу его уважать.

На фронте
Сражение день ото дня становилось грознее.
При солнечном свете
Бойцы лежали в окопах, заросших травой,
Подобно жукам, что укрылись на зимнюю спячку.
Над ними кружились, рыча, самолеты врага
И низко спускались, касаясь верхушек деревьев,
И первым из братьев винтовку свою приподнял Ван-Ани
И выстрелил в низко летящую синюю птицу.
В бак с бензином попала солдатская меткая пуля,
И черного дыма струя рванулась из раны,
И синий дракон, как воздушный разорванный змей,
От боли и ярости корчась и содрогаясь,
В воздухе перевернулся и рухнул в ущелье.
И в сердце своем Ван-Ани почувствовал трепет победы,
Как в радостный день обильного урожая.
И тут же за доблесть его похвалил командир,
Бойцам приказавши получше укрыться в окопах.
Весь день продолжалось сражение, и к вечеру были
Окопы снарядами взрыты и сравнены с землей,
Но за ночь бойцы их отстроили снова.

За смерчем
Прячутся яростный гром и стремительный ливень.
Четвертая рота — на линии грозной Десин —
С врагами вступила в смертельный, решительный бой.
Из штаба она получила приказ: на востоке
Удерживать горный проход, не пропуская врага.
Красив и опасен был путь, проходящий над бездной.
Листья на кленах, кроваво-багровые листья,
Скрывают обрывы высоких утесов,
И горные пики сложили скалистые руки,
Как крабы клешни.
Взгляни вдоль тропишки, что вьется по склону крутому:
Синеющий мощный хребет опоясан зеленым лесом,
Деревья вплотную надвинулись на водяные поля,
И вдали уходящие ровные горные цепи
Роняют в долину клубящийся белый туман.
И здесь, в неприступности горных ущелий и скал,
Воздвигли бойцы укрепления надежные быстро.
И здесь Ван-Ани в стальной нарядился шлем,
А шляпу свою привязал у себя за спиною.
Бойцы срывали и ели дикие фрукты —
Сырые и липкие финики, кислые сливы и красные персиконы.
Швыряли друг в друга плодами, как связкой гранат, хохотали
И весело пели: «Бейте восточных чертей!»
И только Ани не участвовал в этих забавах,
Он долго сидел на скале и чистил винтовку,
И нежно шептал ей:
— «Винтовка моя, подруга моя — винтовка!
Хочу, чтоб имела ты глаз побольше
И насмерть сразила побольше восточных чертей».
Товарищам он наказал серьезно:

«Запомните, братья, коль в этом бою я погибну,
Прощу сохранить мою дождевую шляпу».
Когда средь ночного тумана забрезжил рассвет,
По склонам горы потянулись неясные тени,
И утренний ветер, бодрящий и острый,
От сна пробудил и траву, и леса, и долины,
А братья-солдаты лежали, в брезент завернувшись,
Мечтая о том, чтоб отраду во сне обрести,—
Откуда-то гулко ударили горные пушки,
И рев канонады потряс вековечные скалы.
Бойцы поднялись и поспешно открыли затворы винтовок,
И пламенные языки пулеметов
Метнулись на темные, быстро ползущие тени,
И грянули возгласы ярости: «Бей! Круши!»
То был решительный час — колебанье судьбы!
И встал Ван-Ани, и первую бросил гранату,
Осколки снаряда мелькнули сквозь брызги крови,
И люди упали беззвучно...
На короточках сидя, бойцы охраняли проход,
Швыряли гранаты, стреляли и громко кричали:
«Умрем за победу, умрем за победу, в борьбе!»

Здесь в книгу войны свою лучшую запись вписала отвага,
Был горный проход — словно узел жизни и смерти,
Убитых тела громоздились уже позади пулемета,
Стекала с утесов горячая крови река,
Сквозь грохот пальбы доносились предсмертные стоны.
Спросил командир: «Кто вызовется добровольцем
Спуститься в долину, доставить патроны и вызвать подмогу?»
И встал Ван-Ани, и откликнулся голосом хриплым,
И поднял свою закаленную, сильную руку.
Втроем с Чжан-Дабэнем они с вершины скатились,
Из огненной сети, меж скал пробираясь ползком.

Когда возвращались они со своей драгоценной пошей,
Внезапно упал Чжан-Дабэнь, пораженный ревущим снарядом.
Безмолвно взглянул Ван-Ани на тело погибшего брата,
И не было слез у него, чтобы храброго друга оплакать.
Он ящик с патронами поднял — свою непосильную ношу,
На плечи взвалил с трудом и, сгибаясь под тяжестью страшной,
Стал пробираться дальше, влекомый великой надеждой.
Когда он дополз к бойцам и предстал пред своим командиром,
Горячая яркая кровь его окрасила губы.
Он слабой рукой указал на свою дождевую шляпу
И умер на камне сыром — с улыбкой победы и счастья.
И смолкли недвижные горы, и замер лес затаенный,
Густая трава поникла в тоске головою,
И горе, великое горе сдавило горло бойцам.
И вышел вперед командир, и выхватил свой револьвер,
И в гневе и скорби вскричал он: «За мертвого мы отомстим!»
И братья-бойцы, собравши последнюю силу и кровь,
Отбили врага и отбросили вновь от прохода.
И маленький этот проход, оставшийся в наших руках,
Собою прикрыл и спас линию всей обороны.
А скоро со всех сторон, шумя, как прибой в океане,
Пришли подкрепления к нам — и враг отступил и бежал,
И это была победа на линии грозной Десин.

О братья-бойцы! Кто не любит товарища Ван-Ани?
О братья-бойцы! Кто не любит героя потертую шляпу?

Как листья на кленах, алеет его благородная кровь.
Как горные скалы, крепка его непреклонная воля.
Он — лучший и славный пример для китайских солдат!
И слава о нем не угаснет в народе вовеки.
Когда хоронили его на склоне высокой горы,
Полдневное солнце лучи золотые роняло,
Прощальную песнь безутешные пели птицы,
И братья в печали склонились пред свежей могилой,
И скорбь похоронных стихов носилась над нею.
Пришли и окрестные жители — женщины, старцы и дети,
И в жертву вино они принесли над гробом,
И главнокомандующий сам прибыл проститься с героем.
Прекрасный и скорбный венок он возложил на могилу
И тихо сказал: «Ван-Ани отважно исполнил свой долг,
Он был простой китаец, жила в нем народа душа».
И тысячи скорбных ушей услышали эти слова,
Пронзившие мощным раскатом безмолвные гор и лесов.
И тысячи скорбных очей смотрели на старую шляпу,
И старая шляпа вдруг приняла человеческий образ,
И все увидали лицо —
Лицо цвета яблони дикой, тронутой легким морозом,
А над ним — потертую шляпу с поломанными краями.

«Ван-Ани — потертая шляпа,
Родился на свет он с лицом справедливым,
Дожил старик до восьмого десятка —
И все еще не женат».
Шутливая песенка эта осталась в сердцах бойцов,
Как грустное воспоминанье о славном герое-солдате.
Течет по укромной долине задумчивый ручеек,
И тихо журчит меж кустами напев бессловесной печали,
И красные листья кленов,
Как алое знамя победы,
Пылают на склоне горы над маленькой тихой беседкой,
Где скромно висит на стене
Окровенная дождевая потертая шляпа.

Перевел с китайского
С. ЛЕВМАН

Река Цинь

О, Цинь-река!
Бежит, легка,
Течет века
Издалека,
Как боль народа
Глубока,
Как хижин мука
И тоска.

Огонь и смерть
Царят кругом.
Стал каждый дом
Большим костром.
Уходят люди
Кто куда,
Их гонят ужас
И беда.
У стариков
Печален взгляд —
Их слезы жемчугом
Блестят.
И гнев в глазах
У молодых —
Рукою смерть
Коснулась их.
Но Цинь-река

Издалека
Бежит, легка
И широка.
И солнца яркие
Лучи
Над ней играют,
Горячи.
И мчится вдаль
Поток лучей,
Меж горных круч,
Среди полей,
И льется он
В сердца людей
И люди,
Твердою рукой
Винтовку взяв,
Уходят в бой —
За жизнь и честь,
За край родной.

Диндан, диндан...
Издалека
Бежит и плещет
Цинь-река.

*Перевел с китайского
С. ЛЕВМАН*

Сигнал тревоги

Пронзительный гудок — в который раз!
Воздушная тревога началась.
Тебя я пынче снова услышал
И снова кровью пахнешь ты, сигнал!

Ревя, сигнал, вопзайся в высоту.
Пускай несешь ты ужас в каждый дом,

Но ты проводишь красную черту —
Границу между нами и врагом.

Тебя заслышав, тысячи людей
Плечом к плечу становятся тесней.
Их сплачивает общая борьба,
Одни порыв, единая судьба.

*Перевел с китайского
С. ЛЕВМАН*

Петербургская осень

П о в е с т ь

Душистые восковые свечи, связанные в пучок, горели с треском и дымом.

Пламя трепетало от дыхания и движения человека, державшего свечи в руке.

В комнате было сыро. За окном потел гнилой осенний вечер.

Девять свечей светили неслучайно, тускло. Рука художника дрожала. Чтоб расплавленный воск не обжигал ее, на свечах торчала плотная бумажная воронка. Рванный рукав чистой рубахи, мешая работать, сползал от локтя вниз, к ладони.

Мягкие тени округляли большую лысину, потемневшую от копоти. Огонь отливал золотом в светлых прищуренных глазах. Играл в зеркале, на тубах с красками, на зажатой в тисочки лакированной медной доске.

Художник терпеливо коптил загрунтованную для офорта красную медь. Следил, чтобы пламя касалось металла лишь подвижным языком, подалеже от фитилей. В мыслях витал далеко... Дышал тяжело. Может быть, от копоти и сырости. Может, от волнения... Ноздри широкого носа гневно раздувались. Закусывал седоватый ус и что-то шептал про себя.

Едва дождавшись, когда блестящая черная поверхность покрылась копотью, художник осторожно отложил доску и схватил тупой карандаш.

Писал на чем пришлось, на белой стене. Это было несколько слов из ненаписанного стихотворения, четыре строки на сырой штукатурке:

...Щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить
Та добре вигострить сокиру...¹

Отирая со лба пот, взволнованный какой-то мыслью, поэт сокрушенно взглянул на следы копоти, оставшиеся на белом рукаве. Потом, задумавшись, долго смотрел в темное окно...

1

Во вторник, четырнадцатого октября 1858 года, поздно вечером, на Неве, против Таврического дворца загорелись в тумане большие баржи с сеном, пришвартованные среди разного рода кораблей, которые со всех концов света собирались в столицу Российской империи.

Тарас Григорьевич,— поэт и художник, оставшийся рядовой Оренбургского линейного батальона,— возвращаясь пешком с торжественного и скучного ужина, устроенного в его честь землячкой, помещицей Ганной Гавриловной Борлакивской,— видел с берега, как начался этот страшный пожар.

Множество санных барж стояло на Неве. Багровое пламя взлетело над ними внезапно, взвыло и облизнуло небо, прогоняя ночь.

На лиловую палитру шеба ложились огненные мазки.

Тарас Григорьевич шел берегом. Искры с режя несло на землю. Подогретый осенний ветер взвихривался над Невой, рвал сюртук и серое пальто, жарко дышал в лицо, ворошил тяжело обвисшие усы поэта.

В пламени металась большая тень.

По пристани сновали люди, спасая от огня товары. Загремели стальные канаты, тяжелые швартовы плюхались в

¹ «Чтоб разбудить больную волю, надо миром собраться, обух закалить и нато-

чить острой секиру». (Перевод А. Колтоновского.)

воду. Несколько судов, зажигая зеленые и красные ходовые огни, двинулись прочь.

Пожара никто не гасил. Команда, быть может, только еще ехала от Лиговки, от главного бассейна, или тушила огонь в другом месте.

На берегу против Таврического дворца Тарас Григорьевич увидел толпу. Любопытство оживляло лица ночных прохожих; живые блики, красные и желтые, искажали черты. Люди рвались на помощь, но переправы близко не было. Старенький дьячок, покачивая грушевидной головой, объяснял, что это еще и не настоящий пожар, что лет тридцать тому назад сено загорелось возле Гагаринской пристани. Так вот тогда,—страшно сказать!—баржи пошли по Неве... против течения, увлекаемые тягой огня и легким ветром с моря.

— А поджигателей не ловят! На заводе давеча тысяча восемьсот пудов порогу не сами же взорвались?

— А солдаты,—говорила молодой паренек, одетый в длиннющую красную рубаху,—солдаты образцового полка тушили и грабили все, что попадалось под руку.

Дьячок сердито посмотрел на парня и продолжал:

— Бог наказывает: вокруг Питера все лето тучи дыма. Солнце и луна видны без лучей, как раскаленные шары. Горят торфяные болота, а от них—деревеньки, станции, леса. Бог наказывает. И опять же—комета!

Дьячка слушали бездомные и безработные каменотесы, ночевавшие на мокром берегу. Здесь же суетился кудрявый гостинодворский приказчик, сидел на деревянных ведрах уставший за день водонос. Подошел к толпе и молчаливый, быстроходный итальянец-шарманщик; обезьянка беспокойно шевелилась на его круглом плече.

У шарманки весь вечер неотступно болтались трое оборвышей, портняжих учеников.

Против обыкновения, Тарас, задумавшись, даже не заговорил с ребятами. Его всегда плешило пламя, но один пожар воспел поэта... И теперь, в огне, являлось ему чудесное виденье, мерещился склоненный профиль девушки, о которой поэт мечтал, как о желанной подруге, матери его белоголовых «серденят», хозяйке родного угла... Мечтал, даже не осмелившись попытать счастья—ни у нее, у Марины, ни у помещицы Борлакивской, которой принадлежала крепостная.

Тарас Григорьевич попробовал было представить себе удивление на величественном лице Ганны Гавриловны, когда узнает она о нелепом сватовстве «славного по всей Славянщине» земляка к ее воспитаннице и горничной, к ее девке! Барынька, конечно, просияет, поблагодарит за честь, искренне удивится и попытается превратить все в неуместную шутку. Все это будет именно так! И поэт закрыл глаза...

За спиной кто-то всхлинул. Тарас обернулся. Подле него стоял у самой воды паренек лет девятнадцати, коренастый, стриженный «под скобку», в длинной красной рубахе, похожий на господского колюха или кучера, тот самый, что рассказывал о грабителях-создатах. Поглядел Тарасу в лицо, чуть затемненное полями серой пуховой шляпы, в ясные глаза. Паренек восторженный, очевидно, хотел что-то спросить, но не решился побеспокоить важного господина...

— Барин, а барин?—все-таки отважился он.—А эголь... может броситься и дальше? Туда?—и паренек показал рукой вниз по Неве, к центру столицы, где пред величественным зданием Биржи собирались заморские корабли. Верхняя губа, по-детски оттопырившись, дрожала, открытая капелями пота, заблестевшими в отблесках пожара.

— А что там, голубе!—спросил Тарас.—Что там у тебя?

— Копи мои... На корабле.

— Твои?

В огне что-то взорвалось, заискрило, и эхо прошло над ровным берегом.

— Мои. Я их выходил, а барин—за море их... продал. И вот—пожар... А там Буян мой фыркает, в палубу бьет.

На ресницах заблестели слезы. Тронутый его горем, Тарас Григорьевич потянулся к мальчишке, но конюх испуганно отступил, не решаясь прикоснуться к барской руке.

— Ну? Как тебя зовут?

— Васькой, барин.

2

Оба остановились у переправы.

Толпа окружила толстяка-иностранца. Это был подвыпивший голландский шкипер, старик в клетчатой байковой рубахе. Борода у него росла на шее бахромой. В зубах дрожала погасшая трубка, на которую с подозрением взирал молодцеватый дворник: не дымится ли? Не от нее ли пожар? Питер, на две трети деревянный,

очень страдал от огня. Первым средством борьбы с пожаром было запрещенное курить табак на улицах столицы. Всякого пойманного с папиросой или сигарой в зубах ждала суровая кара.

Голландец тянулся к чьей-то прикованной шлюпке, о чем-то спрашивал зевак, указывая заскорузлой рукой на цветные огни в лесу корабельных мачт.

— На его клипере мои кони, — вдруг встрепенулся паренек.

Тарас тоже будто проснулся: он припомнил матросов того самого голландского судна, на котором лет шестнадцать, да, шестнадцать лет тому назад, в 1842 году, плыл из Швеции в Данию и дальше в Европу — посмотреть, как говорится, на свет божий, поучиться у заморских художников высокому мастерству.

Тарас подошел поближе: кто знает — не тот ли это шкипер? Много утекло воды. И от него самого, от Тараса, что осталось? От того курчавого юноши, «постороннего воспитанника» Императорской СПб академии художеств, который двинулся было в чужие края, да не выдержал морской качки, расхворался и, едва добравшись до Ревеля, сухопутьем вернулся домой, в Санкт-Петербург.

Вспомнив все это, Тарас даже крикнул от досады и уже хотел было обратиться к старому шкиперу, но в тот же миг двинулись с места несколько пылающих барж: перегорели магильские «концы», державшие их у причала. Ветер вырывал клочки горящего сена, бросал на соседние суда, нес над притихшим городом.

Голландец, внезапно трезвея, крикнул что-то и побежал вдоль берега. За ним помчался и Васька, паренек в красной рубахе.

Вскоре вспыхнуло множество барж. Теряя в огне якоря, они шли по течению к городу. Там, где-то в темноте, поспешно разводились мосты, дворцовые солдаты пропускали к морю пловучие факелы.

Тарас двинулся было дальше, но снова увидел шкипера и молодого конюха. Они возвращались бегом к прикованной у берега шлюпке.

В руках у Васьки был большой камень. Ударив по цепи, еще и еще раз, паренек столкнул старика в лодку. Не раздумывая, Тарас поспешил к ним, но поздно. Шкипер и конюх налегли на весла и отправились прямо в огонь. Красная рубаха конюха трепыхалась жар-птицей на темной волне.

Ветер свистел в вантах, и вдруг над пожаром полил дождь.

Ветер принес запах горячей смолы. Горели корабельные снасти.

3

Озираясь на зареве, вставшее над Петербургом, Николай Дмитриевич Старов вступил под тяжелые своды, ведущие в один из дворов Академии художеств.

Неровные шаги загудели под воротами, словно шел там не маленький сутулый, круглоголовый и суетливый человек, а какой-нибудь верзила.

Не заходя во двор, Николай Дмитриевич повернул в дверь под сводами.

По ступенькам взбежал без передышки и встал перед одностворчатой дверью. Здесь едва теплился законченный фонарь. Несло горелым маслом, стекавшим по стене.

Дерево и камень у входа в жилище поэта были густо исцарапаны гвоздями, мелом, карандашами. Всякий, подымаясь по ступеням, обращал внимание на дверь. Присмотревшись к надписям, можно было понять, что живет здесь человек, у которого друзей — быть может, искренних, а может, и лукавых, — как говорится, легион!

Надписи растекались по двери, краткие и выразительные. Не застав хозяина, гости записывали лучшие пожелания дому сему и отсутствующему поэту. Были там известные имена — Майков, Полонский, Щербина, Щепкин...

Дернув за щеколду, Старов заметил на двери совсем свежие, выведенные мелом буквы: «Ушел в гости. Буду поздно. Ключ у солдата. Тарас».

Николай Дмитриевич с досады закричал, привычным взмахом откинул с круглого лба непослушную тяжелую прядь волос и так же скоро сбежал вниз, хотя, собственно, спешить было уж некуда, то роился по привычке.

В каком коридоре живет старый Прохор, отставной солдат, служитель Академии, дядька, предоставленный Тарасу для мелких услуг, Старов знал хорошо. Но идти к старику не хотелось: солдат был человеком строгим и давать ключ не любил.

По темным и гулким коридорам Старов прошмыгнул почти бегом. Он боялся этих высоких сводов, боялся ходить вот здесь, мимо натуральных классов: там в самых живых и непринужденных позах стояли и лежали скелеты.

— Здравствуй, Аргусе наш, Прохор Михайлович, — торжественно приветствовал Старов солдата, появившегося на пороге каморки.

Старик стоял у двери, заспанный и сердитый. Вышел сразу же, после первого стука, но по-солдатскому обычаю уже успел накинуть старинный мундир с четырьмя крестами и медалями, заработанными за двадцать пять лет службы. Кроме военных отличий, на груди у старика болтались награды за помощь на воде и в огне, с надписями «За спасение человечества»... Никто никогда в Академии, даже в летнюю жару, не видел Прохора в рубашке, без мундира, без этих медалей, которые, по его разумению, позволяли не бояться ничего, кроме бога да царя. Своего нынешнего начальника вице-президента Академии художеств, графа Федора Петровича Толстого, Прохор, как и все прочие служители, не боялся, а просто любил, уважал и служил ему на совесть.

С многочисленными посетителями Академии старик не церемонился. Увидев, что теперь перед ним не Тарас Григорьевич, хохол, которого граф Толстой приказал уважать, как его самого,— солдат. вместо ответа, лишь буркнул что-то... Шатаются, мол, всякие тут... Потом долго искал в карманах ключ, смотрел на Старова, будто впервые видел, хоть ему даже нравился этот ясноглазый приятный человек, преподаватель Смольного института, домашний учитель словесности дочек графа Федора Петровича.

Когда уж мешкать больше нельзя было, старик вдруг всплеснул руками:

— Да это же вы? А я спросонок...

Старов улыбнулся, зная повадки строгого солдата; взяв ключ, спросил у старика о Тарасе.

— Да-а...— вздохнул Прохор.— Вот в первый раз вышел нынче. А то— все дома сидит. Из натурального класса и не выходит. Говорит, пока в солдатах был, людей писать разучился. А он-то, я вам скажу, он-то— настоящий художник, настоящий! Самому Карлу Павловичу Брюлову, царство ему небесное, подстать: ученик его! И все он грустит. Грустит и грустит, Николай Дмитриевич...

4

Когда Николай Дмитриевич возвратился с ключом, фонарь у двери уже погас, масло вытекло. Зажигая спичку за спичкой, Старов долго возился с замком.

В комнате Николай Дмитриевич открыл окно. Не зажигая свечей, сел отдохнуть: он делал за день столько лишних движений, столько бегал, волновался по всякому

поводу, что сердце часто напоминало о себе.

В знакомой обители Тараса, освещенной отблесками пожара, было что-то сказочное. Покрытый простыней мольберт был похож на театральное привидение, на провинциальной выделке тень короля, Гамлетова отца. Простыня шевелилась от ветра, врывавшегося в окно. Ветер копался в книгах, в эстампах. Разбросанные по столу тюбики с красками воображение Николая Дмитриевича превращало в оловянных солдатиков, павших на поле брани. Офортная доска тусклым озером блестела посредине стола; большие банки с едкими кислотами— для гравирования на меди— напоминали неприступные башни старого замка... Дул ветер, стрекотал сверчок, пахло чебрецом, степными травами, красками, кислотой...

Старов ждал друга, усталый и мрачный. Чтоб отвлечься от назойливых дум, давал волю фантазии.

Хотел было взойти на антресоли, в опочивальню поэта, но передумал,— лестница противно скрипела,— улегся в мастерской на диване и закурил дешевенькую сигару. Лежать на клеенке было холодно и Старов не мог согреться, пока не подстал пеструю шерстяную «плахту».

На исписанной карандашом стене выплывали из дыма гравюры, акварели, один из последних автопортретов Тараса. Старов потянулся всем телом к нему, чтоб разглядеть поближе.

В зареве Тарас глядел с портрета как живой. Старов даже заговорил с ним, с человеком, полюбившимся ему с первой же встречи,— вскоре на возвращении поэта из ссылки.

Выручал Тараса из неволи вице-президент Академии художеств, граф Федор Толстой, а Николай Дмитриевич, домашний учитель и друг его дочек, принимал близко к сердцу все дела графской семьи.

Графиня Анастасия Ивановна, не упоминая своего имени,— особа «вовсе неизвестная, но принимающая в вас самое живое и теплое участие»,— завязала переписку с поэтом.

Толстой просил молодого царя о помиловании бывшего воспитанника вверенной графу Академии. Но царь сам вычеркнул имя Шевченко из списков «политических преступников», которым он даровал высочайшую милость при своем восшествии на престол. Видно, был поэт новому царю страшнее, чем даже декабристы, помилованные манифестами еще в 1855 и 1856 годах.

Александра Второго уговаривали, просили. Но царь был неумолим.

— Этого хохла я не могу простить,— сказал он.— Нет! Он оскорбил мать мою. Не могу. И не прошу!

А оскорбление было и впрямь немалое. Августейшая мать государя, «палач в юбке», как называл ее Герцен, бывшая брусская принцесса Фридрика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, на всю жизнь запомнила строки, переведенные ей «с хохлацко»: «Царица небога, мов опенок засушений, тонка, довгонога, та ще й на лихо, сердешне, хита головою. Так оце то та богиня?! Лишенько з тобою! А я, дурний, не бачивши тебе, цяце, й разу, та й повірив тупорилим твоім виршомазам...»¹ Обида, быть может, и забылась бы, если бы не напоминал ю ней всякий раз их величества министр двора граф Адлерберг...

...Узнав еще об одной неудаче, друзья поэта опечалились. Дело казалось безнадежным. А легкомысленный Старов уже рвался безрассудно покинуть Петербург и ехать к обездоленному поэту в пустыню, чтобы там утешить его. Но никто, конечно, всерьез не принимал этих порывов.

Графиня Анастасия Ивановна советовалась, с кем могла, ездила на прием к сановникам, даже к самому Адлербергу, министру двора, и узнала все-таки, что можно будет подать еще одно прошение в дни коронации, и направила мужа к сестре царя — Марии Николаевне, высокой покровительнице искусств, официальному президенту Императорской академии художеств.

Великая княгиня, дама ветреная и непостоянная, конечно, уважала графа, своего заместителя, друга много раз обманутого ею покойного мужа, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, — но помочь в столь неделикатном деле отказалась.

— Ну, зачем вам этот хохол?

— Хохол? Я лично не знаю его. Меня занимает только несправедливо осужденный человек, ваше императорское высочество. А вас, августейшую покровительницу искусств, может заинтересовать, я полагаю, незаурядный художник-академист.

— Подумайте, граф! Подумайте только как же я буду просить о человеке, имя которого вычеркнул сам государь?

— Из жизни вычеркнул, что ли, ваше императорское высочество? — сердито буркнул Толстой, насунив растрепанные стариковские брови. Он в последнее время ворчал на всех, без разбора, и это выходило порой не совсем ладно.

— Фи, граф! Успокойтесь ради бога!

— Я от себя подам прошение. За правду я готов...

— Да успокойтесь, я, сестра царя, в то не смею этого сделать... А вы...

— А я подам!

— Да вы с ума сошли! — забывшая приличие, вскричала Мария Николаевна.

Но на следующий день граф посетил министра двора, старого Адлерберга, и все-таки подал свое отчаянное прошение.

Семья Толстых и все друзья, зная нрав нового царя, о котором все только и говорили, что он «сама доброта», ожидали большой грозы. Граф ходил раздраженный и злой. Накричал на своего старого лакея, чуть не избил его, сам испугался своего гнева и со слезами на глазах просил прощения.

Часто уходил из дому. Но однажды, поздним вечером, возвратился откуда-то с большой бумагой в руках. Легкие башмаки его были мокры; не дожидаясь кареты, Федор Петрович примчался домой пешком по непроходимым питерским лужам.

— Радость! Радость! — повторял старик. — Будите детей. Идемте в залу!

Граф от волнения еле держался на ногах, целовал детей. Подавши знак слуге, слушал, как вылетают пробки, жадно пил шампанское.

Анастасия Ивановна, призвав на помощь Старова, сразу же села писать письмо поэту, уже не скрывая своего имени... Ответ пришел нескоро и очень обрадовал всех. — длинное и сумбурное письмо. Николай Дмитриевич и его ученица, старшая дочь графа, четырнадцатилетняя Катенька, выучили это письмо на память и с восторгом читали всем своим друзьям:

«Новопетровское укрепление.

1857. Генваря 9.

...Друже мой благородный, лично неизвестный. Сестра моя, богу милая и никогда мною лично не виденная! Чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную тоскующую душу. Слезы! Слезы беспределной благодарности приношу в твое возвышенное благородное сердце. Радуйся,

¹ «Та царица, что опенок, тонка, длиннонога! И, бедняга, беспрестанно трясет головою. Так вот она, та богиня! Ох, беда с тобою! А я, глупый, не видевши тебя, куклу, сразу и поверил тупорылым твоим виршомазам...» (Перевод В. Цевелева.)

несравненная, благородная заступница моя! Радуйся, сестра моя сердечная, радуйся, как я теперь радуюсь, друже мой душевный.

...Как золото из огня, как младенец из купели, я выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать новый, благороднейший путь жизни...

Пока я мог взяться за перо, чтобы написать вам хоть что-нибудь непохожее на настоящую чепуху, я бродил несколько дней вокруг укрепления. И не с одним письмом вашим неоцененным, а с вами самими, сестра моя. И о чем я не говорил с вами!

Я до того дошел в своих предположениях, что вообразил себя на Васильевском острове, в какой-нибудь отдаленной линии, в скромной художнической келье об одном окне, работающим над медною доскою.

Я посвящаю свои будущие эстампы вашему драгоценному имени, как единственной моей радости...

От всего сердца моего целую графа Федора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог благородному сердцу вашему. До свидания»...

5

Зарево остывало, блекло.

Тарас не приходил.

За окном зашумел дождь. Потянуло с Потемкинской площади осенним сладким запахом преющих листьев.

Крупные капли шумно падали на железную обшивку подоконника. Старов не выносил дробного стука барабанной дроби. Словесник заучил по-французски одну из песен Беранже и упражнял знакомых музыкантов положить ее на ноты: «Барабан, барабан, барабан, барабан! День и ночь ты тираняешь меня, горлопан...»

Дождь барабанил по тонкому железу, и Старову хотелось кричать во весь голос, что-нибудь говорить под этот аккомпанемент, говорить, заглушая несносное тарахтение.

Он приподнялся на диване, размахивал рукой и говорил, говорил все громче и громче:

— Это же страшно, господа! Страшно — десять лет промаршировать за барабаном... Страшно! Но Шевченко все это перенес, прошел и вот — явился к нам. Несчастье его кончилось, а с тем вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей...

Старов кричал. Это было почти повторение его тоста, провозглашенного на званом

обеде у графини Толстой, данном еще двенадцатого апреля, по случаю возвращения Тараса Шевченко в Петербург...

— Мы скажем,— кричал Старов, заглушая шум дождя,— мы скажем, что нам отрадно видеть Шевченко, который среди убийственных обстоятельств, в мрачных стенах «казарми смердячої» не ослабел духом, не отдался отчаянию, но сохранил любовь к своей тяжелой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем современным нашим художникам и поэтам, и это уже достойно обессмертить Шевченко! Дозвольте же предложить тост за того, кто своими страданиями поддержал святое верование, что истинно нравственную природу человека не в силах подавить никакие обстоятельства...

Да, это была его блестящая речь на памятном обеде!

Старов замолк и снова лег. Грустно поджимая большие, красиво очерченные губы, с уголками, вздернутыми вверх — в неизменной улыбке,— горько размышляя обо всем сразу, об одном старом и уже всеми забытом друге своем, погибшем много лет назад, под звуки барабана, под шпигрутенами, на «зеленой улице», о Шевченко, счастливо избежавшем такого же конца, снова о речи своей, сказанной тогда в честь отставного солдата...

Сколько уж было таких речей! Старова слушали всегда с охотой, говорил Николай Дмитриевич увлекательно, интересно, хотя и не совсем ясно, пожалуй, даже туманно... Но разве не эта самая пылкость и неясность мысли придавали его речи неуловимую прелесть, привлекая к нему слушателей? Учитель видел в такие минуты возбужденные лица, блестящие глаза, и ему ничего больше не надо было.

И вот немало сказано фраз, но где же они, ощутимые результаты его кипучей деятельности? Где ее благотворный след?

Боже мой! Время идет, драгоценная пора уплывает бесследно, надвигается старость, а он, Николай, одинокий и смешной философ, слоняется по русской земле словно без всякого дела, потому что... собственно и сам не знает — чего хочет, чего ищет в людях и в искусстве.

Горькая гримаса смяла, состаряла лицо учителя, и только в приподнятых кончиках губ, тонких и бритых, еще оставалась кривая улыбка.

В такие минуты ему делалось страшно. Он боялся оставаться один.

Мельком взглянув в окно, за которым все еще не унимался дождь, Старов уви-

дал на подоконнике совсем уж нелепое кошмарное виденье: у раскрытой настезь рамы, почесывая за ухом, покачивалась на тонких ногах небольшая обезьянка.

Иллюзия была слишком отчетлива. Старов, зная по опыту, что это — лишь плод возбужденного воображения, отвернулся к стене, чтобы поскорее заснуть.

Накрыв подушкой голову, лежал на животе; рука свисала вниз. Сон уже витал над головой усталого чудака, но до сознания еще доходили еле слышные звуки: почудившаяся ему обезьяна нерешительно тепталась по столу у самого окна.

6

Тарас Григорьевич, свернув от реки, шел напрямик через город. Держа руки в карманах, в такт мыслям едва заметно покачивал опущенной на грудь головой; шаг его звучал четко и тяжело — сказывалась солдатская выправка; хоть и плохой был из него служивый, но все же десять лет мунтры и унижений оставили неизгладимый след.

Пожар угасал. Встретив знакомого репортера «Северной пчелы», Шевченко узнал, что некоторые борзоницы уже успели насчитать большие пятьсот тысяч пудов уничтоженного огнем сена, сотню барж и прочих мелких судов, два клипера. Сколько погибло крепостных матросов, дворовых слуг, ремесленников, конюхов, — не считал никто.

Тарас Григорьевич плелся домой. До Васильевского было далеко, а уже ныли ноги. Хорошо бы нанять «гитару»! ¹ Но извозчики, пожалуй, тоже все помчались газетъ на пожар.

Навстречу плелся согбенный фонарщик с рогожей и лестницей на плече, с кувшином масла в руках. Старик зажигал притухавшие фонаря. Желтоватый свет выкраивал из мрака лужи, торцы, гранит и чугунное кружево оград.

Сколько их в Петербурге, таких вот легких металлических узоров! Тарас Григорьевич часами мог простаивать, рассматривая ажурные воропихинские решетки у собора на Казанской площади, очаровательную фельтеновскую ограду Летнего сада, позолоченную, украшенную со стороны Невы, вместо капителей, вазами на гранитных столбах.

¹ Г и т а р а — извозничий тарантасик, узкий, без рессор, с крыльями. На гитару садились верхом.

Старый фонарщик, взбираясь по приставной лестнице, пел песню.

Позади у какого-то подъезда мелькнула неясная тень и словно растаяла, войдя в голую стену.

Тарасу показалось, что за ним снова кто-то идет. Он возвратился, но поблизости не было никого. Это очень неприятно, очень неприятно — всегда чувствовать за собою око неперемennого соглядатая. Ощущение чужого глаза не покидало поэта с того дня, когда узнал, что царь возвращает его в столицу «с тем, чтобы отставной рядовой Шевченко был подвергнут строгому полицейскому надзору и чтобы начальство Академии художеств имело за ним должное наблюдение, дабы он не обращал во зло своего таланта...» Придя домой, Тарас зажег масляную лампу, надел на нее белый матовый колпак и тогда только заметил, что на клеенчатом диване, неудобно свернувшись, спит Николай Дмитриевич Старов.

Прядь волос рассекала его открытый лоб. Большой рот застыл в скорбной улыбке.

Подле Николая, на скрипучем стуле, на смятом эстампе, пристроилась небольшая обезьянка.

Когда вспыхнул свет, зверек на мгновение поднял мордочку с блестящими желтыми бакенбардами, мигнул круглыми глазками и снова заснул.

— Вот те и джунгли! Где же это философ раздобыл такое диво? — пробормотал Тарас. Осторожно потрогал пальцем пушистую оливково-желтую спинку, еще влажную от дождя, и, прикрыв окно, направился с лампой на антресоли, в опочивальню. Заскрипела лесенка.

Через минуту он сошел вниз с пестрым пледом и стал укутывать сонного учителя словесности.

— Тарасенька? — вдруг приподнялся тот, растягивая большой рот в радостную улыбку. — Ты?

7

Утро после пожара было пасмурное.

Пантелеймон Александрович Кулиш, или как он сам себя величал по-украински. по-старинному, Панько Омелькович, красивый брнет, сидел в доме своего земляка, Григория Митрофановича Борлакивского, попивал после завтрака сливянку и сердито щипал себя за ус.

Он был разносторонне одаренным человеком, этот Панько Омелькович: настойчивый редактор, ловкий и талантливый

издатель, владелец типографии, выпускавшей множество полезных книг, универсальный переводчик, реформатор украинского правописания¹, историк и этнограф, драматург, поэт и популярный беллетрист — автор наивной идиллии под названием «Орыся», замечательного исторического романа «Черная рада» и многих других сочинений.

Кулиш был в то утро в дурном настроении. Рука его, сухая и узкая, время от времени поправляла галстук. Глаза, блестящие, мицдалевидные, щурились. Он почти не глядел на свою собеседницу, сидевшую с рукодельем подле него.

Это была хозяйка дома, Ганна Гавриловна, стареющая, но еще красивая и величественная дама.

О ее крутом характере по Питеру, между земляками, ходили не совсем приятные анекдоты. Рассказывали, например, о пощине, которую она залепила домашнему учителю Петреню, пожилому студенту, когда тот при детях, между прочим, упомянул было добрым словом гетмана Богдана Хмельницкого.

Пантелеймон Александрович, разумеется, слышал про пани Ганну еще и не такие сплетни, но это ничуть не омрачало их давнишней дружбы. Что же касается Богдана Хмельницкого, то оценка его роли в истории, как и отношение к живым людям, менялись у рассудительного Кулиша много раз, в зависимости от всяких обстоятельств...

День выдался хмурый, петербургский осенний день. Разговаривали друзья вяло, но каждая фраза словно приобретала какое-то скрытое значение, недоступное пониманию третьего собеседника, молчаливо сидевшего у стола. Это был хозяин дома, небольшой и плюгавый человечешко, с желтым и сморщенным, как волошский орех, лицом, с огромными черными усами.

Кулиш, ни на минуту не изменяя бесстрастного выражения на всегда неподвижном, бледном и красивом лице, рассказывал хозяевам о заграничной поездке, из которой он возвратился накануне в северную столицу.

Ездил Кулиш по чужим краям, выручив деньги на издании сочинений и переписки Гоголя, над которым он потрудился немало: пришлось по всему свету собирать письма и рукописи, надо было переписать весь текст от руки и держать бесконечные корректуры. Некоторые письма Го-

голя он даже успел заучить на память, и его вовсе не огорчали ни скука, ни фальшь и ханжество, ни лесть и тщеславие во множестве строк, адресованных начальству и светским дамам. Кулиш любил Гоголя, по-новому понял его и постарался выпустить все томы так аккуратно и добросовестно, что сын Александра Пушкина обратился было к нему с просьбой — издать и произведения великого поэта. Это, конечно, сулило верные барыши. Но работа показалась трудной и не столь для него интересной. Кулиш вынужден был, щадя свои силы, отказаться. Работал много. Ночи просиживал над своим новым романом. Жил среди книг, в беспорядочной гряде бумаг: на всех окопах, на стульях и полках, на шкафу и конторке — всюду промозделись брошюры и томы, влажные типографские гранки, рукописи и письма. Весь день у двери не умолкал колокольчик. Разогнавши с поручениями всех лакеев и горничных, Кулиш сам встречал у порога пришедших литераторов, почтальонов, посыльных, книготорговцев и негоциантов. Дни проходили в утомительной суете, в спорах, в коммерческих делах и заботах. Правда, от многих забот он успел отдохнуть в длительном путешествии.

В гостиной Борлакивских речь шла о чужестранных обычаях, и Кулиш бранил все, что пришлось увидеть. Хозяйка возражала. Подвыпивший хозяин изредка вставлял и свое веское слово, но, как и всегда, на него внимания не обращали, хоть, правда, для приличия, Кулиш делал вид, будто беседует не с хозяйкой, а именно с ним.

— Одним словом, Грицько Митрофанович, сами видите, не прилась мне эта самая Европа по душе, ну, никак... Да, да! Вот вам мое казацкое слово.

Панько Омелькович чуть заметно картавил, с интонациями удивительно однообразными. Казалось, человек не говорит, а читает.

— Скверные края!

— Но типографскую машину вы все-таки купили там? Немецкую?

— Я говорю о другом, — возразил Кулиш. — Темен моральный облик чужестранца! Другое дело — всякие мелочи, быт... Ну, вот, скажем, приехали мы с моей Шуручкой в Берлин. Остановились. А гостиница, как веночек! Что ни подадут, как с неба снято, чисто да любо.

Тонкие губы Кулиша раскрывались в ослепительно белозубой улыбке. Помолчав, он продолжал:

¹ Его орфографией, основами ее, пользуются на Украине и поныне.

— А стало нам с дороги холодно, пани Ганна, велели мы затопить. Ну! Принес парень дрова в корзине, мигом поджег и дверцу закрыл. Сторело все до тла, и печка нагрелась, как жар. А печь — кафельная. Он уж, Грицько Митрофанович, и не входил больше, потому что трубы там закрываются, словно краны. Хочешь поверни, а не хочешь, ему все равно! Он сделал свое дело без пота, без сопенья, не надоедая тебе возней. Все на нем чистое, как на барчуке. И, главное, говорю я, сделал все, не крихтя. Я-то терпеть не могу, когда возле меня потеет кто-нибудь над черной работой. Противно до тошноты! Я уважаю, разумеется, всякий труд, — для меня пахарь, гречкосей, до некоторой степени, — символ нашей Малоросси...

— Не люблю этого слова! — строго заметила Ганна Гавриловна, отводя взгляд от четкого профиля Кулиша. — Не люблю!

Кулиш хотел было снова возразить, но отворилась дверь и в комнату вошла с резвым подносом на руках невысокая, плотная, но довольно стройная девушка, с милым лицом, обильно усыпанным веснушками.

Эти привлекательные мелкие крапинки даже будто оживляли весь ее облик. Без них девушка, пожалуй, выглядела бы слишком красивой, а это вовсе не подобало ей в скромном положении горничной, дворовой девки.

«Сущая Геба», — сказал когда-то Шевченко, увидев ее впервые. Это сравнение с богиней юности, подносившей богам животворящий нектар, вырвалось у поэта как-то вдруг, но под укороженным взором пани Борлаквической Шевченко сразу же смутился и замолк. Смутился! Ему показалось, что пред ним та, кого он искал всю жизнь, желанная подруга, безупречный тип украинской девушки; он подумал: «Сам знаменитый Канова разбил бы вдребезги свою сахарную Психею, если бы увидел это божество...»

Когда горничная вошла, Кулиш, пораженный ее видом, умолк. Девушка долгое время болела, и он давно уже не видел ее. После недавнего выздоровления Марина словно стала еще краше, расцвела, чудом выдержав борьбу с непривычным гнилым климатом.

Кулиш, восхищенный, даже привстал ей навстречу, сдерживая внезапное желание прикоснуться рукой к монистам на высокой груди.

Марина, встав пред ним, поклонилась.

— Чи не зволите філіжанку кави, пане? — и протянула поднос с кофейником и всякими хуторскими лакомствами: «цуциками», «марципанами», «орешками».

— А-а... Сотвикивна? Давай давай.

Панько Озелькович иначе и не называл девушку, намекая на некоторое сходство ее с героиней его романической идилии «Орыся» — прекрасной дочерью сотника, своеобразной Навзикаей, внешность которой Кулиш описал так: «Поется в песне, что нет ничего прекрасней вечерней зореньки ясной. А кто видел дочь покойного сотника Таволги, Орысю, тот бы сказал, может, что она прекрасней и ясной зари в погожий вечер, прекрасней и полной луны в светлой ночи, прекрасней и самого солнца, веселящего и рыбу в море, и зверя в дубраве, и мак в огороде...»

Марину, обучив ее грамоте, много раз заставляли дома перечитывать эту самую «Орысю», но девушка все никак не могла раскусить, что хорошего в этой книжке.

— Прошу пана, — сказала Марина и поклонилась еще раз. Так ее учила Ганна Гавриловна.

Кулиш не без удовольствия поглядывал на стройный стан Марины, туго затянутый бархатной «керсеткой». Шелковая плахта расходилась углами спереди, открывая подол нарядно промерженной белоснежной запаски, испадавшей на маленькие красные сапожки. Хороша девка! Только руки, большие, заметно потрескавшиеся, выдавали, как говорил Кулиш, ее плебейское происхождение.

Нитей двадцать кораллов и монист отягчали коротковатую, но гибкую шею. Лепты закрывали на спине тяжелую бронзовую косу. Головку венчал барвишковый веноч. Все это было у девушки чем-то вроде униформы, надевавшейся специально для приема гостей.

Костюм хорошенькой горничной должен был ладить со всей обстановкой парадных комнат в квартире Борлаквических. Там всюду — над резными кленовыми косяками окон и дверей, украшенными бронзой, над старинного письма иконами свисали вышитые рушники. На искусно изукрашенном посудном шкафу и на полках вдоль кленовой панели играли расписными боками всякие цветные «глечики», жбаны да «сулеи». Угол гостиной загромождала большая печь, сложенная из блестящих зеленоватых изразцов, — с каризами, колонками, с гербами рода Таволг и Борлаквических, предков Ганны Гавриловны и ее сужруга.

В эту декоративную квартиру, словно в этнографический музей, приходили любопытные со всего Питера, а хозяйка хвасталась потом, что гостят у нее иногда, скажем, братья Жемчужниковы с поэтом Алексеем Константиновичем Толстым, Майков, профессор Костомаров или же сам знаменитый Иван Сергеевич Тургенев... Кулиш приходил сюда чаще других, в хуторской уголок, чтобы, не выезжая из столицы, отдохнуть душой, сосредоточиться, набраться сил.

— Ну, что, Сотникивна? — спросил он, ставя чашку на поднос. — Поправилась? А теперь красуешься? Как мак цветешь? — и бросил на поднос серебряную мелочь.

Девушка фыркнула, покраснела, точно и впрямь, по слову Кулиша, маков цвет вспыхнул на щеках, — покраснела не то от досады, не то от стыда, но молча поклонилась.

— Иди отсюда, — сердито приказала барыня.

Марина снова поклонилась и торопливо вышла.

Кулиш только крикнул:

— Ну и девка!

— Тарас засматривается на краю... — медленно и ехидно сказала Борлакивская, когда девушка закрыла за собою дверь.

Панько Олелькович живо взглянул на нее, хотел было спросить что-то, но тотчас же снова опустил глаза, скучный, с неподвижным лицом. Горячий и нетерпеливый в молодости, он теперь умел держать себя. Будто и не слышал ничего и продолжал дальше:

— Ну, вот, после Европы побывал я и у себя на хуторе. Вот там-то я понял цену европейской цивилизации. Я не видал в Европе деревни, а город всюду пошел! Следовало бы городам, господа, раздробиться на села, на мызы, на хутора, не заживаясь в человеческих скотищах, не разрывая добрососедских связей с поселянами, — тогда только бедность как-нибудь уравновесилась бы с богатством.

— Кто знает... — зевнула Ганна Гавриловна.

Где-то в кухне тихо бренчали струны бандуры. Это один из лакеев, по приказу барыни, учился играть. Ганна Гавриловна, сердито прислушиваясь к неуверенным аккордам, обдумывала детали обеда, заказанного повару.

Панько Олелькович думал о чем-то своем. И спросил будто невзначай, между прочим, спросил все-таки:

— А что, бишь, вы там такое говорили о Тарасе?

8

Ганна Гавриловна с ответом не спешила.

Потом, разложив по пестрому дивану рукоделье, переспросила, словно не слышала:

— Что говорите?

— Да про Тараса же!

— А-а... На мою девушку поглядывает.

— А вы?

— Да что же я? — вскипела вдруг Борлакивская. — Что же я? Он ведь еще не сватался, не заикался даже. Но я ведь тоже не слепая! То он ей узор для вышивания рисует, то глянет и глаз не сводит с ее поганых веснушек... Хорошо еще, что девка глупа, не видит.

— Ха! Ухажор! Волочиться за ней он почти и не решается, вокруг да около кружится... — густым и сочным басом неожиданно откликнулся Грицько Митрофанович. Странно было, как может из такого плюгавого тела вырваться необычайной силы голос. — Кружится, будто круль какой, а чтобы купить крепостную душу, как следует порядочному человеку, девушке себе купить, то у него же карбованцев чорт-ма!

Для псевдоохотливого и тихого человека это было удивительно длинной тирадой, и Кулиш, вместе с хозяйкой, изумленно обернулся к Грицьку.

— Чорт-ма! А тоже лезет, маштак, невдомек, что ему сие дело с нами и не укокобить! — Помещик всегда вворачивал несслыханные, странные словечки. — Не укокобить, говорю...

После басовых раскатов в квартире, казалось, наступила удивительная тишина.

А голос у Грицька Митрофановича был и впрямь замечательный. Хозяин становился заметным в собственном доме только по вечерам, когда непременно гости, опрокинув по шкадику, что-нибудь затыгивали хором. Вот тут-то уже был он первым! Во всех прочих случаях Борлакивский оставался человеком скромным, малозаметным и «показывал» себя только перед лакеями да среди крепостных в собственном «мазтку», где-то там, на прекрасной Полтавщине.

Правда, в свое время он обучался в Академии художеств вместе с Тарасом Григорьевичем, но не кончил и теперь способности свои упражнял на портретах гетманов — Полуботка, Мазепы или Выговского.

Жена держала пана-помещика в беспрекословном повиновении: он и после пятнадцати лет супружеской жизни был в нее влюблен без памяти. Каждый четверг, например, барынька приказывала мужу наряжаться в жупан и шаровары, в кучму, керею или кобеняк и посылала на прогулку по Невскому проспекту, на удивление всем франтам и франтихам столицы. Таких «землячков-малороссов» в те годы на Невском появлялось немало.

— Так вы говорите— у Тараса чорт-ма карбованцев? — прищурившись, переспросил Кулиш.— Да скоро же наш светлый царь прикажет отпускать людей без выкупа. Тарас, поди, ждет уже не дождется...

— То-то же он и на Марину засматривается,— пробасил Грицько...

— Забывается, старый бурлака,— продолжал Кулиш,— одиночество мучит. Я уже и говорю ему, и в письмах намекал, чтоб оставил он химерную мечту о собственном гнезде, о детках. Пройла уже его пора! Да я и так думаю, Грицько Митрофанович, что поэт такого таланта не должен иметь права ни на личное счастье, ни на собственный вкус. Это, может, нечеловечно, но нас с вами судьба призвала отвечать за его музу... Только ради нее мы терпим его вздорный нрав: великий он, господа, поэт, воистину величайший у нас, на всей Славянщине, втройне поэт— слова, кисти и песни,— но много еще в нем этого врожденного... мужичьего, цинизма даже, и мы с вами должны еще выше вознести его талант и славу, вмешиваться в его дела, требовать от него жертв, заставляя его иначе смотреть на свет божий! Горе! Лишь огарок таланта Шевченко! возратился к нам из Азиатчины, и на огарок набросились люди, которые только и умеют потворствовать заблуждениям его, которые стремятся только найти оправдание своим гайдамацким, бунтарским склонностям. Хоть и частенько захаживает он в наш курень, но еще не превозмогли мы вредного духа! Надо его перебороть, пани моя, милая моя, надо! Мы будем драгоценный алмаз шлифовать, в нужных местах исправлять писанья Тарасовы. Все это — для нашей Малороссии, для собирания вокруг нас с вами всех тех благородных деятелей, которые искренне интересуются судьбами украинской народности. История не забудет нам сего века! Я готов писать об этом, петь, кричать... кричать на весь свет!

Ганна Гавриловна будто и не слушала вовсе, поглощенная своими мыслями. И вдруг сказала грубо и резко:

— Вы лучше бы, лучше... посоветовали бы, как отвадить его от Марины.

— Подумаем,— ответил Пантелеймон Александрович.— Подумаем, пани моя милая да пригожая, солнце мое, подумаем. Дело-то важное, ой-ой!

И Кулиш легким движением снова поправил галстук, прищурил глаза и сидел неподвижно.

9

— Дружба с ним — горечь мой жизни,— Кулиш говорил пышно, как восточный поэт.

— Да старая-то дружба не угасает?

— Гаснет, пани Ганна. Тарас ее тушит!

Друг не испытанный, говорит пословица, что орех не расколотый. Бог знает, быть может, и пустой, может, истощенный...

Дружба Кулиша с Тарасом Шевченко испытывала не раз сокрушительные удары, но подобие дружбы, тень ее еще витала над ними.

Оба приятеля ждали чего-то лучшего, перемены; быть может, появления искренности, теплоты... Но дружба, она, говорят, как стекло, разобьешь — не сложишь.

Кулиш обвинял Тараса в нечуткости и неблагодарности, но сам принадлежал к тем давнишним друзьям, которых не злым тихим словом поминал поэт, очутившись в ссылке.

«Бывало,— писал он,— в собаку брось, а в друга попадешь, а как дошло дело до нужды, то святой их знает, куда они все девались! Не поумирали же, избави бог? Нет, здравствуют, только чураются бесталанного друга».

Когда Кулиша арестовали вместе с Тарасом, Костомаровым и другими, он отбывал свою краткосрочную ссылку в... Туле. Чтобы не повредить своему относительно благополучию, про Тараса Пантелеймон не вспоминал. Из Тулы Кулиш поспешил в Петербург, втерся в какую-то канцелярию — без всякого жалованья, лишь бы только получать чины. Правда, карьера почему-то не удавалась, и временная нужда вынудила его писать повести для «Современника». Писал даже по-русски. Нужда! Но из-за денежных расчетов Кулиш вскоре поссорился с редакторами, с Некрасовым и поцосил их, где только мог.

Так и не вспомнил Кулиш о друге Тарасе, пока тот оставался ссыльным солдатом. Когда Шевченко, возвращаясь из Азии, вынужден был надолго задержаться в Нижнем, откуда полиция не пускала его

в Питер, Пантелеймон, человек сложных и тонких расчетов, понял, наконец, что странное молчание пора нарушить. От приглашения приехать в Нижний он безоговорочно отказался, но с тех пор не оставлял Тараса со своими наставлениями. Уговаривал, чтоб ничего не печатал поэт без его, Кулиша, просмотра и исправления, чтоб не гневил нового государя...

«Твои «Неофиты», Тарасе, хорошая штука, да не для печати. Не стоит напоминать сыну об отце, ожидая от сына какого бы то ни было добра. Он же у нас теперь первый человек: кабы не он, и вздохнуть нам не дали бы. А освобождение крепостных — это его же дело. Самые близкие теперь к нему по душе люди — мы, писатели, а не пузатые чины. Он любит нас, он верит нам, и вера не посрамит его...»

Не давали покоя Кулишу и мастерски написанные повести Шевченко, написанные по-русски, «по-московски», еще в ссылке, тайком.

«Не спеши, брат, печатать московские повести. Ни денег, ни славы за них не добудешь. Были б у меня деньги, я бы у тебя купил их все сразу и сжег... Так-то вот, брат, для всякого дела нужна ссорка и особое уменье! Вот хорошо было бы, если бы нас господь вместе свел, да если бы мы пожили по-соседски хоть один год, поумнели бы... Что же, когда мы идем врозь...»

Это была сущая правда: их пути расходились! Не сошлись они и теперь, когда оба — Пантелеймон и Тарас — жили в одном городе, почти рядом.

— Эх, пани Ганна, — сокрушенно жаловался Кулиш, — сколько лет, пока Тарас был на чужбине, я, ложась спать, на ночь, после молитвы, читал наизусть Тарасовы вирши. Я самого себя оставляю в тени, сам перестал писать стихи, разнося славу великого поэта. А что я за это имею? Только и всего, что Тарас, пани Ганна, между нами говоря... становится опасным. Опасным, Ганна Гавриловна!

10

Грицька Митрофановича в комнате не стало. Исчез он так тихо да ловко, что ни гость, ни хозяйка не заметили.

Теперь можно было говорить еще откровеннее.

— Творится что-то неладное, голубка моя. Тарас будто повадился в «Современник», а вчера верные люди донесли, что обещал присоединиться к той оглашенной компании, которую затеял недавно Черны-

шевский и иже с ним против того паршивого журнальчика, против «Иллюстрации»...

— Что-то не слышала такого.

— В «Русском вестнике» должен появиться этот самый протест. Ну, а если в это дело ввяжется и Тарас, то — вот вам казацкое слово! — придется, по тактическим соображениям, придется влезть туда же и мне. Но, я думаю, вот тут-то нам и поможет Марина.

— Марина? Как поможет?

— Девка поможет прибрать его к рукам.

— Девка? Да ведь я же не хочу ее отдавать!

— И не надо. Не надо. Держи при себе. Очень тебя прошу! Пусть он только чаще ходит в ваш, пани, курень, пусть любитесь нашей кралей, пусть у него душа тоскует по собственному гнезду. А чтоб не вышло чего, Марину мы от него отвадим. Да! Можно ей сказать, что он вовсе не пара крепостной девке, и сибиряк — из тюрьмы вышел, и пьяница горький... Да разве мало что можно сказать?

— Это — о друге-то?

— Для его же блага.

Пантелеймон Александрович замолчал. Какая-то еще неясная мысль взволновала его. Издатель встал и спросил:

— А как он, кстати, теперь насчет чарки, а?

— Да почти никак.

— Да-а...

— Девка-то, Маришка, сама его пьяным не видала. Не поверит.

— Пусть увидит.

Ганна Гавриловна расширенными глазами глядела на бледное лицо Кулиша, покрывшееся красными пятнами.

— Ничего не понимаю! — говорила она. — Ничего не понимаю, о чем вы... А относительно Тараса — странная вещь, ума не приложу! Что за человек?! С бывшим холопом, с отставным солдатом мы обращаемся как ровня, не брезгуем, стихи его читаем, принимаем в лучших дворянских домах. Кажется, приходит ко мне, — вежливый и интересный человек, любезный кавалер, все как следует, — попросишь его почитать, как оно там у него «реве та стогне», а он вдруг начинает: «Я різав все, що паном звалось»... Допустим, что нет в этом ничего такого... но где же вежливость? Дрожит даже! Послушали бы вы, Пантелеймон, как в прошлую субботу...

Ганна Гавриловна не кончила. Вошел долговязый лакей.

— Прошу, пани! Там из магазина, от медной мамзели, девица.

Борлакивская, извинившись, хотела было на минутку покинуть гостя, но Панько стал прощаться. Проводив хозяйку до ее будуара, приложился к ручке и направился к выходу.

В прихожей было пусто.

За стеной, в соседней каморке, слышен был ровный голос Марины. Девушка монотонно, как читают молитвы, очевидно, без всякого интереса, может быть, в десятый раз, по приказу барыни читала наскучившие страницы:

«Приснился раз... приснился раз Орысе дивный сон. Показалось, пришла к ней с того света... с того света покойная матушка... встала над ней у изголовья да и говорит: «Дитя мое, Орыся! Не долго уж тебе гулять»...

Кулиш, склонив голову, молча слушал. Смотрелся в зеркало. Приятно было из уст пригожей девушки услышать свое любимое произведение, казавшееся ему таким далеким и прекрасным.

Заслушался и не заметил, что за дверью простучали тяжелые шаги. В передней внезапно появилась Ганна Гавриловна, уже без кринолина, в пестром домашнем халатике, который, кстати, был ей очень к лицу.

Увидев Кулиша, пани от смущения вскрикнула. А Кулиш, чтоб не подумали, будто подслушивал он, стал искать в углу свои калоши.

— Вы еще здесь? — воскликнула Борлакивская, пятаясь к двери, за которой слышен был голос Марины. — Сами одеваетесь? — и вдруг заверещала: — Маришка! Слышишь? Пальто подай! — и бросилась в каморку. Там барынька закричала еще громче, заглушая тупой звук затрещин.

Панько Омелькович смущенно топтался в прихожей, не решаясь уйти. Когда Ганна снова вышла к нему, он наклонился к самому ее ушку и, от волнения сильно картавя, сказал:

— Смотри! Чтобы Тарас не проведал ничего такого, а то и ноги его здесь не будет.

Пожав руку, поцеловал ее, взглянул в зеркало и еще раз нагнулся к ручке, чтобы укрыть от подруги свое обескураженное лицо.

— Смотри же, Ганна! Но, ах, Ганнуся, зачем все-таки... зачем так строго? Зачем?

А из соседней комнаты слышны были слезы и злость в дрожащем голосе девушки:

«Приснился раз Орысе... приснился раз Орысе дивный сон»...

11

Высокие потолки в коридорах Академии еще углубляли голубой полумрак.

Плиты пола звенели даже под легкой поступью, под каждым шагом четырнадцатилетней девочки.

Катенька не первый год жила в обширном доме Академии, но все же побаивалась гулких коридоров и старалась ступать проворнее и легче.

Девочка шла к обедне одна: маменька уехала в Гостиный двор. Отец с сестрицей Ольенькой был давно уже в домовый академической церкви.

Руки, плохо вытертые после умыванья, росинки на бровях и русых кудряшках, чуть припухшие розоватые веки... Да, да! Катенька проспала, недавно проснулась и еще не совсем пришла в себя.

У высоких полукруглых окон, попадая в полосу света, девочка щурила голубые глаза и совсем зажмурила их, открыв тяжелую дверь церкви.

Сладкий запах ладана ударил в нос. Пахло свечным нагаром, воском, краской от недавно расписанных стен. Перед алтарем кадил отец Илья Денисов, «косматый жрец», как называл его Тарас. Хор уже кончал «херувимскую».

Девочка прошла к окну и остановилась в отсвете цветных стекол, окрашивавшем облака кадильного дыма.

В углу, под окном, стоял старик Соколов, помощник полицмейстера при Академии. Зеленые пятна расцветивали ему седенькие бачки. Посматривая по сторонам, Соколов не забывал креститься, подтягивал певчим и успевал даже снимать нагар со свечей.

Обедня кончалась. Кабы не богослужение, многие уже подошли бы к девочке поздороваться, пожелать доброго утра, расспросить об успехах в музыке и науках. Катя была любимницей Академии.

Позади всех, у самой стены, на постоянном месте скромно стоял ее отец, граф Толстой.

С первого взгляда никто не сказал бы, что этому стройному и статному человеку перевалило уже за семьдесят пятую осень. Держался он подтянуто, не сутулясь, любовь к физическим упражнениям оставила благотворный след на всей его фигуре.

Отца своего Катерина любила и уважала. Она была похожа на него. Девочку поражало благородство линий в его

скульптурах, медалях и рисунках. Она знала, что многие люди очень ценят его ум, доброту и трудолюбие.

В прежние времена граф водил дружбу с Александром Пушкиным, который был моложе его лет на шестнадцать, с Орестом Кипренским, Крыловым, Рылеевым, Карамзиным и Жуковским, — и пережил их всех.

Карьера ничуть не испортила его: всю жизнь граф работал не покладая рук, днем и ночью. Он умел заботиться о знакомых и незнакомых, помогал ученикам и, на удивление многим господам, помнил в лицо даже самых мелких служащих Академии, встречаясь в коридорах, снимал шляпу перед каким-нибудь сторожем, натурщиком или истопником.

При дворе все это считалось чудачеством бесцеремонного старика.

Но в Академии, да и среди музыкантов, литераторов и ученых, графа очень любили и уважали. Прежде всего — за скромность, удивившую его даже в академической церкви, где он был первым человеком, в самый отдаленный уголок.

...Катя молилась за отца, за маму, за сестричку Олю, когда сзади кто-то шепнул ей на ухо одно лишь знакомое слово:

— Серденько.

Дядя Тарас Григорьевич стоял рядом с Катей, размахисто крестился. Граф Федор Петрович, взявши его на поруки, советовал — всем на показ почаше заходить в домовую церковь святой Екатерины. Вот она, долгожданная свобода!

— Серденько, пойдемте, может? — снова шепнул Шевченко.

Катя оглянулась на отца. Старик, прищурив добрые лукавые глаза, смотрел в другую сторону. Правда, он никогда не заставлял детей ходить в церковь, — это делалось по собственному желанию, — и все-таки неудобно было покидать обедню, пока он здесь.

Но дядя Тарас не унимался:

— Идите домой, одевайте шубку, берите альбом, карандаш, — и, не дожидаясь ответа, направился к притвору.

Катенька, не утерпев, оглянулась и на цыпочках двинулась за ним.

12

— Куда же мы идем, разрешите узнать? — спрашивала девочка, догоняя поэта в коридоре.

— Э-э-э... Куда? Да я тут, голубка моя, дерево открыл вчера, да какое —

картина! У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...

— Боже! Где ж это такое чудо?

— Недалеко. На Среднем проспекте. Идемте. Скорей!

Сегодня должен был состояться, так сказать, очередной урок из тех, которые, время от времени, преподавал Кате Шевченко. Любознательную девочку привлекал не только интерес к рисованию, но и возможность побродить с Тарасом по городу, — хоть и не в гранитные кварталы ее тянуло, а в сад и в лес. Катя была мечтательницей. И сейчас уже представляла себе дерево, открытое Тарасом.

Добравшись по коридорам домой, Катенька оставила приятеля в голубой гостиной, самой веселой комнате графской квартиры. Шевченко присел на ясное кресло с чуть откинутой назад спинкой, обитое бледноголубым штофом, и о чем-то думал, ощущывая выпуклый орнамент, инкрустацию красного дерева на полированном ясене: то были переплетенные ветви дуба и лавра. Мебель, да и вся утварь в квартире делались по рисункам самого графа.

На потолке дрожали отблески реки. Ставни у глубокой амбразуры, Тарас Григорьевич глядел на Неву, на проходящие мимо корабли. К морю шли серые волны. Углая шлюпка пересекла реку. Лодочку захлестывало, вертело, но она все-таки приближалась к окнам Академии, росла, теряя некоторую поэтичность, присущую на расстоянии даже предметам обыденным.

— Я готова! Дядя Тарас!

— А? Готовы? Ладно. А я вот немного задумался.

— А отчего это вы, дядя Тарас, пока разговариваете, будто веселы, а задумаетесь, погрустнеете вдруг?

— Такая уж у меня натура, серденько. Прячь, некоторые говорят, думку в пазушку, а в люди не носи. А я вот — не могу так... Идемте, Катенька.

Пока Шевченко, тяжело ступая, спускался по широком легкой архитектуры ступеням главного вестибюля, Катенька, торопясь, по детской привычке, съехала по широким перилам, мимо скульптур, расставленных на площадках, и, как маленькая, смеялась: в вестибюле-то не было никого, все еще доставляли обедню.

Тарас улыбнулся, зная, что таких вольностей девочка не разрешит уже себе даже при родном отце. И сказал ей строго:

— Шубку отряхните!

С набережной друзья не свернули ни к Третьей, ни к Четвертой линиям, по которым можно было ближайшим путем добраться до Среднего проспекта, к открытому Тарасом чудесному дереву. Пошли по скованному гранитом берегу реки.

Против большого входа в Академию, над спуском к воде, стояли два древних сфинкса.

От гранита несло холодом и запахом водорослей.

Шевченко задумался, рука его лежала на камне, пока не застывала. Он потерял ее о другую и сунул в карман.

Катя стояла рядом, присмирившая и серьезная.

Молчали. Потом пошли берегом к Стрелке, чтобы добраться до Среднего кругом, мимо Биржи и Тучковой набережной.

Внизу, подле пристани, под сфинксами, поскрипывала раскачиваемая порывами ветра, притянутая к берегу баржа.

Ее невысокая мачта качалась, размахивая оборванной снастью, как огромный черный кнут. Кнут, занесенный над городом...

Скрипели гафели.

13

Тарас Григорьевич и любил, и ненавидел Питер, город, в котором вырос и о котором мечтал в далекой пустыне, город, ставший теперь его новой тюрьмой: выезжать отсюда не разрешали под страхом еще более жестокой кары.

Поэт ненавидел и... любовался! По ту сторону Невы на высокой из финляндского камня скале — летел к реке медный всадник, левее маячило Адмиралтейство. Где-то, на другом острове, колот небо забранный для ремонта в леса шпиль Петропавловки.

По Университетской набережной лихо гарцовали молодчики-кавалеристы. Дымка тумана смягчала очертания... Принесло их и сюда! Снова где-нибудь, в университете, что ли, начинались «беспорядки». Взад и вперед сновали взмыленные рысаки, мелькали гербы на каретах, шумела толпа. Всюду были раздутые французские кринолины, но и коротенькими шубками «дюшес», и наши обычные шинуны, мурмолки и шляпы, цилиндр и чепцы с летящими по ветру лентами. Красавицы-полицейские стояли по углам.

И Катя, и Тарас, проходя по берегу, озирались вокруг, будто видели все впер-

вые. Картина Английской набережной менялась каждый день, каждый час.

Навигация в Петербурге кончалась, и все торопились поскорее закончить дела, чтоб отправиться в более теплые моря и реки.

Неподалеку от моста чернел старый корабль. Темные мачты его быстро одевались в грязные серые паруса с белыми свежими заплатами. Ярус за ярусом возникали треугольники и трапеции, и вот уже, прогревев якорями, корабль двинулся с попутным ветром. В толпе на берегу закричали, замахали вслед шляпами, платками.

Все это занимало. Тарас и Катерина смотрели, как дети, во все глаза... Счастливым путь!

Чем дальше уходило старое судно, тем белее и легче казались его паруса. Когда оно миновало Академию, девочке даже почудилось, что корабль постепенно взмывает кверху и мчится тяжелой птицей, еле касаясь воды.

Суда, с цветистыми иностранными флагами, еще в несколько рядов стояли вдоль берега; на гранитной набережной высились груды товаров; всюду шныряли чужестранцы, из контор слышны были разноголосые и ожесточенные крики маклеров. На корме итальянской фелюги, брошенной здесь на зимовку, пожилой матрос ткнул унылую мелодию «Санта-Мария», тоскливо поглядывая на прохожих, на берег острова.

Всюду уже чувствовалось томящее дыхание осени, но сквер, изогнувшийся подковой между зданием Биржи и университетом, кишел людьми. Среди товаров сновали матросы, грузчики, рыбаки, журналисты — в поисках сенсации, — контрабандисты, лакеи, ремесленники и мастеровые, охочие до новостей франты с Невского проспекта, коллекционеры и любители экзотики.

На самом краю сквера, у серой стены, перед громадными кучами пеньки светились яркие осенние пятна: груды заморских дынь, лимонов, диких вишневых груш; свежая солома шевелилась от ветра. В кадках росли апельсиновые деревья, украшенные спелыми плодами.

Желтоватые тона преобладали всюду. (Охра и кадмий! Торжественные липы и каштаны по всему скверу стояли, как странники, в капюшонах, закутанные на зиму в рыжие рогожи.

В сквере Тарас Григорьевич заметно оживился, охватывая все пытливым взглядом, в котором проявлялось и детское любопытство, и вдумчивость художника.

В глубине, под липами, стояли многоярусные ряды клеток. Всюду сидели взерошенные попугаши видов мастей. Тут же пощелкивал дрозд, насвистывал польку снегирь. Подле клеток стояли угрюмые марабу.

Сонный повар покупал на котлеты молодого казуара. Чуть дальше предлагали каких-то странных рыб, устриц, угрей, там же продавались всякие заморские дяковинки, раковины, коллекции испанских бабочек; в зарослях редкостных растений неодобрительно кричал гусь, отзываясь на свистки и злое шипенье пароходов.

У поворота дрожали от ветра шаткие стены балагана. Взор привлекала грубо намалеванная вывеска: «Здесь показывается удивительная палиорама, которая единственная!» У балагана верещала шарманка, наигрывая мотивы из «Аскольдовой могилы», первой русской оперы, и гарибальдийский гимн, завезенный на север совсем недавно. Ручку вертел немолодой итальянец, в широкополой куртке, в гарусном шарфе. На ящике шарманки сидела обезьяна, наряженная в гусарский мундир и тирольскую шляпу. У ног жался озябший пудель, который во время представлений служил штукмейстерше добрым конем.

Тараса Григорьевича всегда удивляли эти люди, шарманщики: он не мог постичь, какая страшная беда гнала сюда итальянцев из солнечной и теплой страны. Они приезжали каждую весну на острогрудых, грязных и душистых кораблях, привозивших пряности и мессинские апельсины. И бедствовали здесь, таская взятую у предпринимателя шарманку.

Вокруг шарманщика собиралась толпа: сапожный подмастерье с дратвой за ухом, лакей с чайником давно простывшего кипятку, два оборванных негра, по-детски державшихся за руки, краснолицые итальянские матросы и какой-то поваренок. Мальчишка остановился здесь отдохнуть: он тащил на голове огромную корзину, а в ней, пожалуй, полпуда мяса, несколько штук битой птицы, кочаны капусты, морковь, артишоки, спаржу и устриц.

Постояв подле итальянца, Шевченко пошел дальше и с досадой ворчал:

— Снова не тот. С маргышкой!

— Вы что-то сказали? — спросила Катя.

— И этот, говорю, с обезьяной.

— А что?

— Да я разве не рассказывал? Ко мне, вот уже три дня, как приبلудилась неизвестно чья маргышка.

— Ай-ай!

— Даже не знаю, что делать. Зверька накормить надо, может быть, и выкупать. А мне-то некогда! И солдат мой, Прохор Михайлович, не хочет. Вот я и гляжу, не встречу ли ее хозяйна — шарманщика без маргышки.

— А ведь это, пожалуй, Машка, обезьяна баропа Клюдта! — воскликнула Катя.

— Чья?! — переспросил Тарас.

— Петра Карловича, скульптора.

— Вот так-так!

— А Соколов, полицмейстер, ищет ее.

— Да вот и он сам, смотрите, — обернулся Тарас. — Вот там, между клетками, видите, оглядывается.

— Знаете что, — вдруг решительно схватила Катя друга за руку. — Идемте-ка от него подальше.

15

При выходе из сквера Шевченко снял серую пуховую шляпу и поклонился какому-то бедно одетому, но величественному в своей старости прохожему.

— Кто это? — спросила девочка.

— Не знаю, серденько.

— Вы же поздоровались?

Тарас Григорьевич ответил не сразу, подбирая слова, доступные девочке ее склада и воспитания.

— Да-а... Видите ли... мужик я. Простолудин. А мужики между собою — люди вежливые, Катруся. Вот так иногда в большом городе, даже не в поле, нет, — случится встретить простого старика, этакую почтенную бабушку, и рука невольно тянется к шапке. Эта привычка, сдается мне, серденько, укореняется с детства, хоть меня, кажется, и не воспитывал никто. Да вы знаете, Катя, я даже завидую, что есть у вас тетя, Катерина Ивановна, которая всегда найдет случай сказать: делай, дитя мое, сердце мое, счастье мое, вот так, а не этак...

От Тучкова моста свернули влево, на Малый проспект.

— Вы знаете, сердце мое, — говорил Тарас, — я и маменьке вашей завидую, графине моей, богу милой. Есть у нее две дочки, две япочки, а я, бродяга, только мечтаю, как буду, может, когда-нибудь воспитывать свою дочку-невеличку. Может, будет она... беленькая, сероглазая и...

может быть... с веснушками по всему личику. В неділю ляля в льолі білій...¹ как бы это вам перевести по-русски? — и замолчал и вдруг смутился.

На Среднем проспекте деревьев было во время немало. Тараса обворожила раскидистая липа с дуплом, уже без листьев, и он похаживал вокруг дерева, побрякивая от удовольствия, и никак не мог выбрать нужную точку.

— Вот не бывали вы еще на Украине, Катя! — вздыхал он. Опечалившись, рассказывал о незабываемой красоте деревьев, которые приводилось рисовать у себя дома. Или — о вековой вербе над Днепром, позолоченной вечерними отблесками солнца. — А на волнах — лодка-душегубка. И тишина, и все как замерло... Вот бы где нам с вами пожить, серденько!

Карандаши шуршали по шероховатой бумаге альбомов. Катенька рисовала с таким увлечением, будто стояла перед той самой вековой вербой на днепровском берегу.

Это был уже не первый выход «на натуру». Весной и летом, по приезде Тараса в Петербург, выезжали иногда на взморье, на берег Финского залива или куда-нибудь в поле, на луг. Дядя Тарас всегда забирался повыше, на склоны какого-нибудь рва, и, положив голову на руки, глядел вдаль.

Земля под солнцем дымилась, и небосклон казался неверным и шатким. Тарас глядел. Это было не случайное увлечение пейзажем. Он по целым часам мог просиживать у ручейка, у норки тарантула, прислушиваться к щебетанию птиц в прилегающем лесу.

Сестрички, Оля и Катя, заметив задумчивый взгляд, сидели тихонько, затем украдкой собирали цветы и украшали большую лысину Тараса. Цветы падали на плечи, к ногам. Тарас улыбался, осторожно глядя по головкам: иногда вдруг выхватывал кусок бумаги, записывал что-то и снова прятал в карман.

Оленька, гоняясь за бабочками, испачкает бывало туфельки, и дядя Тарас бумажкой или пучком травы вытирает их, зашивает разорванный чулочек и ворчит, будто на собственную дочку:

— До чего ж неопрятная. Вот уж терпеть не могу!

У Оленьки по щеке скатывалась слезка, но девушка скорее размазывала

ее, обнимала Тараса, уверяя, что не будет больше, если только в другой раз он снова возьмет их с собой.

...На этот раз Оленьку не взяли.

Карандаши шуршали по шершавой бумаге. Контуры дерева оживали.

Тарас Григорьевич, взявши в руки Катин альбом, подправлял рисунок, отмечал промахи, освещенные. Тарас обращал внимание совсем не на то, о чем иногда говорил своей дочке граф. Шевченко и Толстой, оба воспитанные на классических образцах художники, по-разному видели мир. Катя, стараясь вернуть обоим, терялась. И только забывая все наставления учителей, находила красоту даже в сломанной ветке, в дрожащем сухом листке, уже единственном среди оголенных ветвей.

— Чудо, не дерево! — вскрикивала Катенька. Встряхивала головой, не замечая развязавшихся на капоре лент.

Восхищение мешало работать.

16

— Чудо, не дерево! Чудо!

— А знаете, Катенька, таких чудес, настоящих деревьев, ну, обыкновенной липы, березы, дуба, не видал я в мертвой пустыне, богом проклятой, не видал много лет!.. «Доля — чоловіком, як шведъ шилом, куди втікне, туди й лізь»...¹ Я бывал даже в таких местах, где — ни кустика! Хоть бы какая былинка, ничего нет. Ни кузнечика, ни птичьего щебета! Даже ящерица не блеснет пред глазами; даже горы порядочной не увидишь, просто бог знает что! Смотришь, смотришь, и такая тебя тоска возьмет...

Тарас умолок, отирая клетчатый платком лоб.

— Затосковал! Но все же и там нашлась радость, у мертвого Каспия. С тоской жизнь не пройдешь, а я прошел! Еще, Катя, серденько, когда меня перегоняли из Орской крепости в Новопетровский форт, — а это было в октябре месяце, — в Гурьеве-городке поднял я на улице свежую вербовую палку, а добравшись до форта, воткнул ее в землю да и забыл. А весной, Катя, палка моя выросла. Начал я ее поливать. И стала она вскоре красавицей-вербой, даже под ка-

¹ «Дитя в воскресный день в рубашке белой...»

¹ Судьба — человеком, как сапожник — шилом, куда ткнет, туда и полезай. (Пословица.)

рандашом самого Калама¹ мог бы выйти из нее прекраснейший этюд.

Тарас Григорьевич снова сделал поправку в рисунке, передохнул и продолжал:

— Верба моя напоминает мне старинную легенду о покаявшемся разбойнике.

— Я слушаю, дядя Тарас!

— Вот такая, значит, легенда... В темном, дремучем лесу, Катенька, спасался когда-то праведный старец, и в том же лесу кровожадный завелся разбойник. И вот приходит однажды он со своей дубиной, железом окованной, к отшельнику и просит об исповеди: «Не то, говорит, убью!» Ну... делать нечего — кровь не вода, смерть не свой брат, праведник — хоть прожил он с локоть, а осталось ему с палец, — испугался, да и начал, с божьей помощью, исповедывать злодея. Но грехи, серденько, были так страшны, что пустынный не мог сразу положить на него эпитимию и попросил у грешника три дня срока для размышления и молитвы. Разбойник пошел в лес и на четвертый день вернулся. «Ну, что, — говорит, — старче божий, придумал?» — «Придумал», — ответил праведник и вывел его из лесу в поле, на высокую гору, вбил в землю его кованую дубину и велел грешнику из оврата носить ртом воду да поливать страшную палицу. «Тогда, — говорит, — отпустятся тебе грехи твои, когда из смертоносного орудия вырастет дерево и плод принесет»... — Сказавши это, праведник пошел в свою келью, а грешник взялся за работу... Так прошло много лет, и схимник, пожалуй, уже забыл о своем духовном сыне, забыл!.. Вы, дитя мое, обратите внимание на изгиб ветвей...

— А дальше?

— Дальше? До чего нетерпелива! Рисуйте!.. Ну... в один, значит, прекрасный день вышел старец из лесу прогуляться, побрел в поле и в раздумьи добрался до какой-то горы. Шел, шел и вдруг услышал чудный запах, от груши словно. Соблазнился праведник и пошел искать плодвое дерево, поднялся на самую гору, и что же он увидел? Грушу, отягченную зрелыми плодами! А под сенью дерева отдыхал старик, с длинной, ниже колен, бородой, как у святого Онуфрия. Схимник

¹ Александр Калама (1814—1867) — швейцарский художник-пейзажист, гравер, в свое время очень популярный в России. В 1845 году императорская Академия почтила его званием «почетного вольного общника».

узнал своего духовного сына и смиренно подошел к нему за благословением, потому что разбойник стал уже более праведным, чем он сам... Вот! И моя верба тоже выросла, и не раз в горячие дни укрывала меня от зноя, но отпущения грехов моих не было и не было... потому что, Катя, то был разбойник, а я, увы, сочинитель... Вот и все.

— А что же с вашим деревом теперь?

— Писал мне комендант форта, Усков, Ираклий Александрович, что мое дерево и весь мой сад растут! Кошунственной руке какого-нибудь пьяного офицерика не выкорчевать моих трудов! Там будет сад!

Тарас отвел от альбома руку и обернулся к Четвертой линии. Оттуда спешил запыхавшийся и, как всегда, чем-то взволнованный Николай Дмитриевич Старов.

— Вот вы где! — вскричал он, приближаясь. — Я так и думал. Так и думал!

— Здравствуйте, — протянул ему руку Тарас Григорьевич.

Старов, конечно, впопыхах забыл поздороваться! Спыхавшись, приветствовал Катю, назвавши зоренькой Ясной. Шутя, будто взрослой, чмокнул ручку и снова обратился к Шевченко:

— Новостей, новостей, Тарасенька!

— Расскажите, послушаем.

— Да с чего же начинать? Ага! — и Старов начал выкладывать все, что у него набралось за день. Было там и какое-то происшествие на прокладке кабеля атлантического телеграфа, и изобретение чудесного аппарата спектроскопа, и слухи о страшном голоде среди крестьян близлежащих уездов: люди даже после нового урожая питались полевыми мышами, мякиной...

Тарас приготовился было слушать странные подробности, но Старов опять возвратился к телеграфному кабелю, который прокладывался в те дни по дну океана:

— В журнальчике «Весельчак» читали? Кабель, мол, пригодится и самому беловолосому Нептуну — вместо веревки для сушки белья... А вы, Катенька, слышали? Известный в Париже фотограф Надар придумал на днях снимать пейзажи с аэростата и собирается для этого лететь в Африку! Каково? Да, кстати: в Питер приезжает какой-то африканский негр, Садриджа, что ли. Говорят, знаменитый трагик.

— И что же?

— Шекспира показывать будет. Шекспира!

— Наверное, какой-нибудь балаган,— заметил Шевченко. Шекспира он очень любил, многое знал на память, но в хорошем исполнении очень уж редко удавалось ему посмотреть «Гамлета» или «Отелло».

— Да нет же,— возразил Старов.— Рассказывают, будто арап сей с человеческими сердцами чудеса делает, слезы восхищения и радости реками текут, потрясаются души, пробуждаются лучшие чувства, обличается зло, рождается любовь к искусству и природе...

Говорил Николай Дмитриевич, как всегда, возвышенно и несколько туманно, порой даже непонятно, но все звучало с таким пылом, что можно было заслушаться. «Мысли у него кипят,— говорил шутя Тарас Григорьевич,— а в кипеньи всегда должна быть некоторая стихийность и отсутствие порядка...»

— Любовь к природе! Я вот задал вчера своим институткам тему для сочинения: «Восход солнца» — и думаю...

— Восход солнца? — воскликнул Тарас.— Но ваши девицы-то никогда его не видели. Спят они долго, никуда их не выпускают. Где уж им описывать, как «утра луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихой столицей»?

— Я довольно давно обучаю их,— с достоинством возразил Старов,— и у барышень этих уже развивается вкус. Их не коснулась еще печать грубого, сухого материализма. И как они меня слушают, Тарас, как слушают!

Начал накрапывать дождь.

Когда подбежали к строгим стенам Академии, Старов припомнил вдруг, чего ради он, собственно говоря, разыскивал Тараса:

— Соколов расспрашивал, куда вы девались. Полцимейстер. Очевидно, кто-то сказал ему, что у вас видели обезьяну.

— Придетесь все-таки сходить к барону! — недовольно крикнул Тарас.

— Отнесем?

— Да отнесем же, цур ему, пек! Ох, и не люблю ж я этого надутого немца! Жаль ему и мартынку отдавать. Ей-богу, жаль! А придется... Пойдете с нами, серделько?

17

Барон Клодт фон-Юргенбург, Петр Карлович, предполагаемый хозяин прибудившейся обезьянки, заслуженный профессор Академии, бывший артиллерийский офицер, был скульптором вонистину заме-

чательным. На Анничковом мосту стояли его кони, четыре скульптурные группы, завоевавшие Клодту всеобщее признание, славу и почет. Копии анничковских скульптур сам Николай Павлович подарил королям неаполитанскому и прусскому. За это барон получил от них по ордену и удостоился звания члена различных академий.

Тарас Григорьевич, по возвращении в столицу, много раз останавливался у Анничкова моста, на Невском, и любовался бронзой. На лошадиных крупах проступали и напряженные мускулы, и даже кровью налитые жилки, будто живые, горячие, трешетные.

Кони были замечательные! Но к ваятелю Шевченко относился, пожалуй, без особой приязни,— не мог простить барону его усердия в последней работе над памятником покойному государю Николаю Павловичу. Возвратившись в Петербург, Шевченко видел, как забивали на Марьинской площади сваи под фундамент этого памятника, как ставили круглый постамент, сделанный из красного финляндского гранита и серого сердобского. Теперь уже кончали мраморную часть пьедестала — из шоханского порфира, увенчанную белым итальянским мрамором. Знал Тарас, что ваятеля посетил в его мастерской сам царь Александр, чтобы взглянуть на работу над монументом. Заходил тогда же, весной, полюбоваться на него и Тарас. Молча осмотрел и ушел.

Не поправился Тарасу и клодтовский памятник Крылову, поставленный в Летнем саду.

— Смешной этот барон,— говаривал Шевченко.— Вместо величественного старца, посадил на пьедестал какого-то лакея в нанковом сюртуке, с азбукой и указкой в руках. Бедный барон без умысла обидел великого поэта.

Знакомые и друзья шнытались возражать, уверяя, что Тарас, потеряв десять лет в Азии, еще не привык к новым статуям, не убранным в античные тоги, без торжественной напряженности в позе.

— Нет, это очень плохо! — утверждал Шевченко. Его не привлекали даже замечательные барельефы по бокам пьедестала, изображающие зверей, героев крыловских басен.

Шевченко знал, что, работая над этими барельефами, Клодт завел у себя в доме «натуру», зверинец, из которого, надо полагать, и удрала прибудившаяся обезьяна.

Поднявшись по лестнице к поэтовой келье, друзья нашли на двери несколько свежих надписей мелом. В щекотке торчали записки. В одной из них было: «Не приедете ли вы к нам, дядько, в четверг вареники есть?» Другая приглашала куда-то на крестины. Было и письмо из художественного магазина Дациаро, извещавшее, что выставленные для продажи рисунки г-на Шевченко уже проданы и можно притти за деньгами, что фирмой получены новые листы гравюр Рембрандта. Была записка от Борлаквической, с просьбой навестить ее в субботу.

Пока поэт, извинившись, прочитывал письма, Катя искала обезьяну, осматривая каждый уголок.

Стараниями самого Тараса Григорьевича и солдата-слуги в мастерской было удивительно чисто, и только сероватые стены пестрели, исписанные карандашами да красками разных цветов.

У окна висели пейзажи Калама и комнатный «реомюр» в медной оправе. В круглом дубовом футляре замерли незаведенные парижские часы. За ними торчали перья ковыля. Да и по всем стенам, всюду, где только можно было за что-нибудь зацепиться, виднелись пучочки всяких трав — барвинка, душистых — руты, калужера, любистка, чебреца, которые, очевидно, должны были вдохновлять художника и поэта.

Из-за этого «зילה» даже возникали бурные ссоры между Тарасом Григорьевичем и старым солдатом. Прохор Михайлович не один раз выбрасывал вон это сено. Старый георгиевский кавалер понимал, в чем дело; его злило, что после всех ударов судьбы упрямый человек, тоже ведь бывший солдат, никак не может забыть те края, где имел несчастье родиться на свет.

Шевченко ничего с Прохором поделаться не мог, но к следующему приходу солдата на стенах снова появлялись душистые пучки. Так и оставалось тайной, откуда брал Тарас их здесь, в промозглом Питере, так далеко от родных степей и лесов. Далеко! Далеко!

Катя сорвала со степи сухой трехпалый листочек, темный, блестящий, точно лакированный, прикусила зубами сухую веточку барвинка. Зверька нигде не было.

— Не в антресолях ли? — спросил хозяин и пошел по скрипучей лесенке. Обезьяна сидела на столе, запустив лапу

в стеклянную банку. Большим пальцем вылавливала скользкий, весь в пупырышках огурец.

Учитель с опаской взял мартышку на руки и пошел вниз. Тарас глядел Старову под ноги, чтобы тот, чего доброго, не оступился. Разбирала досада! Обезьяна, ясное дело, мешала работать, портила вещи, рисунки, пролила кислоту. Но все-таки расставаться не хотелось.

Выйдя на Четвѳртую линию, друзья повернули направо, к Литейному двору Академии, к так называемому Портику, где жил и работал профессор скульптуры барон Клодт фон-Юргенбург.

Пройдя во двор, глухо постучали с черного хода в обитую драпкой и рогожей дверь. Ответа не было. Постучали еще раз. Немного обождав, Николай Дмитриевич ногой пнул рогожу и вошел в просторную мастерскую, освещенную двумя ярусами окон. Тарас и Катенька последовали за ним.

Очутившись в знакомом месте, обезьянка радостно запищала и стала рваться из рук.

19

Катенька остановилась у деревянной лестницы.

На ступеньках лежал волк.

Могло показаться, что это чучело, по зверь двинулся навстречу гостям, облизываясь, словно перед лакомой поживой.

Катенька схватила Тараса за рукав. Она была здесь не в первый раз, по встречаться с волком без барона ей не приходилось.

Поэт заслонил собою девочку, чуть замешкался, затем спокойно двинулся вперед. Волк, понимая, что его не боятся, притих, даже отвернулся и убрал с дороги стройные лапы. Заметив на руках у пришельцев обезьянку, совсем по-собачьи постучал о деревянные ступеньки хвостом и подошел еще ближе, не пряча, впрочем, клыков.

Гости только теперь осмотрелись вокруг.

Всюду были камень, бронза и глина. В углу, в горне, плавился металл. В другом углу блеяла большая овца, суетилась кума-лисица, скучал на соломе, у ног медвежьего чучела, меланхолический ослик. Над всем этим возвышалась до самого потолка двухэтажной мастерской глиняная статуя Николая Павловича.

То ли Катенька вскрикнула, увидевши волка, то ли затрещали расшатанные ступени, — наверху появился хозяин, стат-

яный усатый человек, с висячим носом на морщинистой физиономии, с умным и проницательным взглядом серых глаз.

Увидев мартышку, он проворно и шумно сбегал вниз, бросился к ней, схватил на руки, прижал к груди и лишь после всего этого обратился к гостям.

— Рад видеть, рад. Прошу наверх. Только уж, будьте любезны, умоляю — простите старику некоторую... так сказать, экзальтированность. Приятный сюрприз! Я-то думал уже, что Манька моя пропала, сбегала, проказница.

Тарас молча принимал изъявления благодарности. После бесчисленных житейских разочарований, он — и со старыми приятелями, и с новыми людьми — стал осторожен, недоверчив, осмотрителен. Ни бурная приветливость, ни даже слезы радости, проливаемые всякими «земляками» и благожелателями, не могли его теперь обмануть...

— Присядьте же, бога ради, присядьте, — суетился барон. Он был человек тяжелей, грузный, и эта суетливость к нему не шла.

Шевченко взял кресло, прогнавши от туда белую мышь. Огляделся.

Повсюду, где только было место, стояли и висели статуэтки, бюсты, барельефы. Больше всего было коней и всякого зверья.

Странная мысль вдруг пришла Тарасу в голову, вызвала усмешку, не задержавшуюся в устах: барон почему-то работал только над статуями зверей и... царей! Такое совмещение показалось очень странным и смешным. Но именно это было Клодтовой специальностью.

Заметив на суровом лице Тараса ироническую улыбку, Петр Карлович протянул к нему обе руки.

— Знаете, Тарас Григорьевич, я очень рад, рад случаю. Мне давно хотелось познакомиться ближе. Я столько, столько неугириг, как это... да, любознательного слышал про вас от нашего графа.

— А ваша слава, господин барон, дошла до меня и в далекие киргизские степи. Только, правду сказать, я полагал встретить настоящего немца, думал, что господин барон по-русски и слова не возьмет. А вы...

Клодт громко расхохотался.

— Да ведь обо мне говорят, что я истинный русский, русский, как это... хлебосол. Приходите вечером, будьте любезны, сами увидите, сколько здесь бы-

вает русских людей. Да и что же вы хотите? Как я могу оставаться немцем? Как? Всем, что есть у меня, всеми-то успехами своими я обязан русским государям. Вот как и вы, например: слышал, что даже из крепостного состояния вас выкупили на средства государя императора Нико...

— Слетяня!

Шевченко вскочил. Потянул себя за усы. Лицо налилось кровью.

— Брехня! — не помня себя, закричал Тарас. Следы цыготных пятен ярко выступили на его щеках. — Кто-то пустил по свету ложь, подлую выдумку про царский выкуп! Но, слово даю, не дешево мне это обошлось, не дешево, нет! До свиданья, барон!

Клодт смутился и схватил поэта за рукав.

— Куда же вы? Пообедаем вместе, будьте любезны. Очень вас прошу. А вы то меня замучит мысль, что ушли вы в обиду на мою... неосведомленность в ваших делах. Очень прошу!

— Меня, простите, работа ждет.

— Сегодня воскресенье, сударь! К тому же и обезьяна моя — не виновата ли пред вами. Надо проверить! — и, схватив мартышку на руки, барон вытер ладонь о свою серую безрукавку. Затем приступил к довольно странной операции: пощекотав зверьку щеку, он стал вытаскивать у него из защечных мешков всякую мелочь, спрятанную там про запас.

В руках у барона появилась монета, затем — резинка для стирания карандаша, огрызок пастели и ключик, без которого Тарас вот уже два дня не мог завести часы, столь необходимые в работе гравера-офортиста.

Шевченко не выдержал и расхохотался.

— Да вы фокусник!

— Прошу прощенья, — по-гаерски поклонился барон. — За этими пройдохам нужен глаз да глаз. Ключик, будьте любезны, возьмите сейчас, а все прочее я заменю: вскоре должен получить от Дачноро чудные английские резинки...

— У меня их большой запас.

— А какое сегодня прикажете меню? — учтиво осведомился барон.

— Я не голоден.

— Но все-таки? У нас сегодня пирог, дупеля, ростбиф. Может быть, разрешите что-нибудь малороссийское? По Гоголю! Как это у вас там называется... галушки-вареники? А?

— Может, взглянете на моих питомцев?

— Пожалуй, — согласился Старов, видя, что Тарас упорно молчит.

Роскошная конюшня, выстроенная между Партиком и академическим садом, была гордостью барона. Здесь он собирал лучшие модные породы, выписывая самых опытных английских конюхов. Сюда заезжали сановные любители и знатоки, даже сам царь. Частенько бывал здесь и граф Федор Петрович, все еще, несмотря на восьмой десяток, несравненный наездник и вольтижер.

Лошади были страстью барона. Некоторые шутники даже называли его конюхом в искусстве и художником в коневодстве...

Петр Карлович прикасался к лошадиным мордам, к ноздрям, будто к чему-то очень горячему, и пальцы его дрожали. Делал любимцев сахаром, объяснял гостям достоинства каждого коня. Неприятно было, что Шевченко ходит по конюшне угрюмый: руки в карманах, голова вниз, усы обвисли.

— Вы все еще сердитесь за некстати брошенное слово? Полно! Мы люди будто и хмурые, но чувство юмора не чуждо ни вам, ни мне. Я слышал, вы, даже вспоминая о своих невзгодах, причесаете горечь под покровом прощанья...

— Еге ж, — отозвался Тарас. — Я и точно такого характера человек. Земляки мои, а с ними и я, не могут иной раз и самую строгую матерю не проткнуть хотя бы деликатной шуткой. Земляк мой, знаете, иногда — невольник, конечно — даже и в потрясающий финал «Гамлета» или еще куда... вставит такое словечко, что и срывоз слезы улыбнешься.

— Вот-вот, и я таков же, сударь. Я тоже балагур! Да и усат, как и вы! А усы-то не в моде теперь! Не в моде, батенька мой, не в моде! Вот, представьте себе, встречаю недавно во дворце одного офицера из британской миссии. То да се, а потом, пахал, и шуточку опустил: дескать, счастье мое, что я уж человек не военный и не участвовал в Крымской кампании. — «А то, — говорит, — тюфяки у меня дома набиты усам неприятельских гусар, которым я срубил головы два-три года тому назад на последней русской войне». Хо-хо-хо! Но, представьте себе, — что я ему ответил?

Смеялся барон громко и хрипло, но так заразительно, что Старов расхохотался тоже, да и Тарас улыбнулся в усы.

— Что-то в этом роде, — сказал он, — я будто читал в каком-то журнальчике.

— Не может быть!

Тарасу становилось скучно. Он невольно ловил едва заметные дефекты в не совсем русском произношении барона. Правда, он слышал, что Клодт вывел в люди не одного художника и иногда не жалел денег, чтобы помочь даже вовсе незнакому человеку; барон слыл всюду шутником и затейником, хотя с первого взгляда и казался человеком угрюмым; Шевченко ценил и уважал его таланты, но все-таки чувство неприязни еще таилось в душе.

В стойле кивал головой арабский скакун. Шевелились короткие уши, вздрагивала крутая пятнистая шея. Шевченко заглядывая.

Когда Тарас снова прислушался к разговору, Старов излагал барону свои неясные и путаные соображения о реализме:

— Бронза! Бронза! Есть ли на свете металл краше нее? Я уважаю, Петр Карлович, всякое чистое проявление индивидуальности, но меня в трепет приводит сознание, что вы, ради художественной правды, изучаете красоты реального мира, не уходя от строгой действительности в область бесплодной фантазии, что вы, ради правды, возитесь даже с лошадей, со смешной марьяшикой, не гнушаетесь зайцем и козлом, которых так живо представил нам великий баснописец. Это — предел! Да, да, да, сударь, предел!

— Чему предел? — хотел было спросить Шевченко.

Но вошел пожилой лакей, не торопясь, поклонился и доложил:

— Кушать подано.

— Прошу, дорогие гости, к моей холостяцкой трапезе. Я одинок теперь... Люди люди вокруг, а я — один. Один. Вот как и вы, Тарас Григорьевич. Супруга умерла. Вы-то не звали ее?.. И один я теперь, как бирюк.

— Одинокой пчеле трудно и мед носить, — вздохнул Шевченко, поглядел на скульптора, заметил спотлившую слезинку в уголке глаза, и стало жаль этого, уже старого, надменного, прославленного всюду, богатого и в конце концов несчастного человека.

В столовой собирались домочадцы Клодта — тетюшки, бабушки, племянники и племянницы и еще какие-то родственники. Все они не умчались за большим столом. Их было столько, что обедать приходилось в два приема.

На почетном месте, рядом с Клодтовой дочерью Верой, важно сидел взъерошенный и молчаливый старик в кожаном фартуке. Это был мюнхенский литейщик, отливавший теперь последние детали Клодтова памятного государю.

21

Словами об одиночестве Клодт разбередил старую рану.

Заглушая тоску, Шевченко нередко работал до самой зари. Сложная техника гравюры — офорта в сочетании с аква-тинтой — давалась ему с большим трудом. Дело было новое: до Шевченко в России никто не комбинировал этих двух способов.

О граверном искусстве Тарас мечтал еще в ссылке, когда весть о возможном освобождении пробудила новые надежды.

— Быть хорошим гравером, — говорил он, — значит, быть распространителем прекрасного и поучительного в народе! Значит, быть полезным людям... Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, копилось бы в мрачных галереях без чудотворного резца? Божественное призвание гравера!

По возвращении в Петербург художник не изменил своей мечте. Зарабатывая деньги на покупку необходимых приспособлений. Познакомился в Эрмитаже с известным гравером Федором Иорданом, хранителем эстампов императорской галереи, и остановился, наконец, для первой пробы на эскизе Мурильо «Святое семейство».

Отточенные иглы и штихели лежали под рукой. Штопальная спица, вбитая в ручку от старой кисти, остро отточенная, ходила по медной доске. Тарас работал и шел. Рисовал по металлу украинскую девушку, грустную простолюдинку со свечой в руке; свет она прикрывала рукой; ее освещенное лицо выступало из мрака; она смотрела так, будто пред нею — близкий, любимый человек, которого она ждала, ждала, волнуясь за него, и вот, наконец, он пришел, девушка встречает, а во взгляде — и укоризна, и радость, и любовь. Гравюра удавалась, но... это не было, — как хотелось ему, — лицо Марины. Не получалось... Вот ее ушко с короткой мочкой, да — это оно; он смотрел на него в продолжение вечера. пока девушка сидя беком к нему, выливалась, говорил ей нежные слова, гладил по руке, читал стихи; взяв за руку, поглаживал ее и глаз не отрывал от спелого рта; и очи, и рот, и

розовое ушко — все он помнил, и на гравюре все получалось теперь, как надо, ее глаза, ее замечательные, тяжелые ресницы. И все же это не была Марина! Взор художника, чтобы схватить и запомнить очертания, должен быть холодным и трезвым.

Очертания рисунка возникали на лакированной и законченной доске красной меди. Нужна была верная и твердая рука. А Шевченко уж слишком волновался, делал обидные промахи.

Ошибки исправлял тут же, покрывая поврежденные места жидким лаком. Дышал на него. Лак от дыхания становился матовым. Это значило, что он высох, что доску можно опускать в кислоту, действующую в процарапанных местах на защищенный лаком металл. Контуры становились глубокими, как бы врезанными, и, смывши лак, Тарас забивал их масляной краской, затем покрывал доску влажной бумагой и делал оттиск, достигая замечательной сочности и выпуклости рисунка, своеобразной, неповторимой прелести и красоты.

Терпение испытывалось день ото дня. Иногда хотелось пойти побродить по городу, повидаться с приятелями, принять их у себя. Но время прогулок миновало, Тарас оставался дома. Комбинация офорта с аква-тинтой, мягко передающей полутона, усложняла работу пескостанно.

По ночам свистел ветер в ветвях оголенных деревьев, в корабельных снастях на замерзшей реке.

Усталость отуманивала взор. Положив голову на руки, художник глядел в окно. Проклятое одиночество! Где-то на недалекой церкви било три. Близилось пасмурное утро.

Осень! А в родных краях, пожалуй, еще не кончилось бабье лето. Ночью аромат прибитых морозом увядающих трав плыл над лугами. Последняя паутинка трепетала на почерпевших стеблях. Прибрежные травы оседали на дно, похрустывали первые льдинки...

Люди спали повсюду тревожным сном. Наступала тяжелая осень. Кто знает, был ли там — у его сестры-крепачки, у Ярины, у братьев, — кусок хлеба? Кто знает... Никем не получал давно.

Положив голову на тугие кулаки, художник глядел в темное окно... Так и засыпал.

22

— Тарас! Я хоть и пьян... совершенно пьян! а все-таки вижу, чарка твоя пуста!

ничто не играет в сосуде. Где ... влага?

— Выпита влага.

— Врешь! Брешешь!

— Вышита, Николай.

— Он, конечно, врет, господа? Врет?

— Вы-ли-га!

— Эй, трактирщик! Ты не пьян? Поди сюда. Ты здесь, пожалуй, единственный трезвый человек. Взгляни на этого лысого усатого господина. Ну! Вот на этого... с утиным носом. Посмотри внимательно!

— Как прикажете-с...

— Скажи: нос у него красный? Нет?

— Помилуйте...

— Ну, говори, говори! Видишь ли, этот лысый господин утверждает, что он уже пьян! Этот самый лысый господин — на пас в большой обиде: он тосковал в одиночестве, а мы вырвали работу из рук, вывели его из мрачной конуры... И он, по всем признакам, ведет себя с нами вызывающе, этот лысый господин. Он утверждает, будто выпил сейчас одну... одну двухсотую часть сорокаведерной бочки вина. Врет! Что? Я очень картавлю? Ни черта! Врррет! Я же не даром кончал Медико-хирургическую академию? Для меня совершенно очевидно, что этот господин, с растрепанными сквозняком усамн, выпил всего четвертая семьдесят осьмую часть упиомянутой бочки! Я заключаю по его зрачку... Да-да! Ты, трактирщик, посмотри внимательно. Видишь? Нет? Ну, так подавай еще вина. Да поживей! Поживей, старый бурдюк!.. Он здесь же станет пьяным, этот господин, от твоей проклятой кислятины, не будь я Николай Курочкин, корабельный лекарь!.. И я его напою, этого лысого господина! — И вдруг затянул во весь рот песенку собственного сочинения:

Век я не пивал,
Но друзья в миг жажды
Мне винца бокал
Поднесли опажды.
Цвет-то мне его
Как-то приглянулся;
Вот я и того —
Знаете — коснулся...

Трактирщик ушел.

Прятели в молчании ждали, что будет дальше. Тарас, еле сдерживая улыбку, косился на жирную и бородатую физиономию Курочкина. Разбирал смех. Тарас хмурился еще больше, чтобы не выдать себя перед пьяным вдрызг чудачком, с этакой милой мордой. Семен Гулак-Артемовский, певец и композитор, первый баритон императорских театров, любимчик са-

мого царя, размазывал пальцем по столу красноватую лужицу. Непокрытая доска стола, рыхлая и пористая, была за много лет насквозь пропитана вином. Артемовский водил пальцем, перегоняя влагу из лужицы поближе к склоненной на стол плешивой голове Розалпоп-Сошальского. Помещик кутил не один сутки и теперь уснул. Тарас наблюдал, как под его бледную щеку стекает вино... Наблюдал с удовольствием, — до того надоел ему сей непременный кутила! Приглядывался к важной операции и молодой студентик, Лиодор Пальмин, поэт, только что рассказывавший о стычке всего факультета с профессором богословия.

О споре с «лысым господином» все уже забыли бы, но Курочкин не унимался.

— Тарасенька! — кричал оп. — Я поклялся довести тебя до такого же состояния, — и пальцем тыкал в пьяного помещика. — Я обещал это старому бурдюку, и ты не посрами меня, умоляю. Я не могу срамиться!! Никто еще не говорил, что Никола Курочкин — враль. Я — лентяй, я — добродушный циник и поэт, но ни в Сирии, ни в Египте, ни в Питере, ни в Гамбурге самый последний гуляка никогда еще не слыхал, как Николай Степанович врет!

Из погреба вино прибыло очень кстати, появилась жажда, и все вышли. Тарас не пьянел. Тогда Курочкин снова обратился к трактирщику:

— Поди сюда, приятель. Что за вино в твоём кабаке? Все трезвы.

Трактирщик подошел к дневным гулякам. Он знал почти всех. И худощавого студента, и баритона, и плешивого помещика, и этого бородатого толстяка-балагура, пристававшего к лысому господину. Толстяк захаживал сюда и со студентами, и с репортерами, и даже с простыми матросами с чужестранных кораблей. Он пьян сегодня, этот трезвонник! Он снова горланит во всю глотку:

Гу-у-убы помочил
Только так, покуда,
Кашлю проглотил,
Вижу, что нехудо.
Выпил... ничего!
И не поперхнулся,
И как раз того —
Знаете — втянулся...

и обратился к трактирщику:

— Послушай, хозяин, послушай! Я, видишь, пьян сегодня... Рассуди! С этим лысым господином мы познакомились на обеде у этой вот льяной бестии, Розалпоп-Со-

шалльского... ну, этого, который спит в вишней луже! Хотя, впрочем, нет, познакомились у графа! Познакомились полгода тому назад и сразу подружились. И вот, когда мы надумали вместе выпить, он не хочет пьянеть! И мне это обидно, и тебе, трактирщик, прямой убыток! А у меня предстоят важные события. Я, во-первых, надумал переводить стихи вот этого лысого хохла. Во-вторых, я начинаю издавать «Санкт-Петербургскую медицинскую газету». Наконец, я собираюсь принять участие в журнале «Исыра», который вскорости должен выпустить мой уважаемый братец. И вот... у меня предстоят важные события, в честь которых мы должны сегодня нализаться, а сей господин...

— И совсем ты не пьян,— хитро прищуриваясь, возразил Тарас Григорьевич.— Все пьяные поют... А ты?

— Что-о? Если человек пьян, то он поет? А если он поет, то, значит, он пьян? А вот наш уважаемый Семен Степанович Артемовский всю жизнь поет — и в Италии, и во Франции, и у нас! Значит...

— Значит, сейчас он совершенно трезв. Он сидит молча.

— Что-о? Семен Степанович! Как вы можете терпеть обиду? Тарас утверждает, что вы трезвы! Докажите, докажите! Спойте нам... «Как яблочко румяно»...

— Я по кабакам не пою. Нельзя! Великий Глинка давно объявил всем, что лучшего мужского голоса он никогда не слышал...

— Семен! В трезвом виде ты никогда не проявлял амбиции.

— Нет.

— Странно! Не будь я Николаем Курочкиным... Да! Но только я очень удивлен: человек с мировым именем позволяет безнаказанно называть себя трезвым? Но мы же здесь уже постановили, что ежели человек поет...

— Мы его заставим петь!

— Как, Тарасенька?

— Очень просто. Мы сочиним и споем такую песню, такую песню, что этот сибарит не выдержит и присоединится к нам. Мы его заставим петь даже в кабаке! Он запоет.

— Конечно, запоет. Мы его за сердце тронем. Мы же поэты, Тарас?

— Да! Но, кроме того, меня учили петь еще в солдатах! Пой, солдат, пой! Не хочешь, а запоешь! Запоешь, скупил сын! И, вы знаете, пел, вот этот самый, пред вами сидящий, отставной рядовой Оренбургского линейного батальона. Пел!

— Ну, а где же наша песня для Артемовского, Тарас?

— Будет, сейчас будет.

Растолкавши сонного помещика, объяснил ему суть дела. Затем сидели молча. Веселья как не бывало, стало почему-то грустно. Каждый думал о своем.

И вдруг Тарас зашел. Хрипловатый голос его дрожал:

Горе порою пьянит, как вино,
Горе слезами пьяно!

Курочкин подхватил. Петь он совсем не умел, но слова, удивительно неслладные, растрогали и Шевченко и всех приятелей:

Жил над Невой отставной рядовой.

Рвался старик домой,

Рвался старик домой,

Плакал старик порою,

Гневные слезы лил,

Пьяные песни пел:

— Лейся, вино,

Ийся, вино...

И Никола замолк. Песня еще не сочинилась до конца. Но все молчали, пока вдруг не заговорил молодой студентик, Лиодор Пальмин. В такт он размахивал шпагой.

Лейся, вино,

Пейся, вино,

Лейся, песня моя,

Лейся, злая моя!

Продолжение подхватили хором. Запел, не выдержав, и Артемовский, бас его зазвучал с удивительной силой, но этого, как ни странно, никто не заметил, все были увлечены другим, слушали, что пел Шевченко:

Лысый солдат, не качай головой,

Пой! Пой! Пой!

И все подхватили за ним еще раз, еще раз, а после паузы Курочкин закончил. Слезы мешали петь, и он шептал:

Доживал над Невой отставной рядовой,

Гневный товарищ мой,

Добрый товарищ мой...

Тарас положил голову на руки. Все молчали. Стали подыматься из-за стола, чтобы уйти. В трактире уже собирались обычные вечерние посетители. С песней «В понедельник Савка мельник, а во вторник Савка шорник», ввалился в дверь молодой паренек.

Все вышло. Артемовский замешкался, не мог сразу найти цилиндр и ждал, куда трактирщик лазил за ним под стол.

На улице, под проливным дождем, Курочкин, чтобы отвлечь Тараса от тяжких дум, разбуженных пьяной песней, сказал Артемовскому:

— А все-таки вы, Семен Степанович, спели в кабаке! Ага!

— Не выдержал. А все Тарас. Вы знаете, Курочкин, меня всю жизнь преследуют лысые. Тарас Григорьевич заставил петь, вчера наш лысый директор придрался за опоздание к спектаклю... От лысых жизни нет! Да! И вы знаете, сейчас вот в моей пьяной голове появилась блестящая идея: я придумал поруганье, страшную месть лысым аборигенам города Санкт-Петербурга. Да, да! Хотите, расскажу? — и Артемовский, довольный выдумкой, остановился и зашептал что-то на ухо Николае Курочкину.

— Скоро, Тарасенька, — сказал Курочкин, — скоро уготована будет всем лысым страшная месть! Мы составили заговор... Берегись!

Про месть скоро забыли. Вечер закончился нехорошо.

Приятель, прячась от дождя, зашли в маленькую уютную ресторацию, обслуживавшую самую уютную хозяйкою и ее шесть очаровательными дочками. С самой весны Тарас здесь не был. Встретили его, как старого знакомого; дали ему гитару, он спел что-то веселое, но вдруг раскис и «бросить якорь на ночь» в ресторации не захотел: стало отчего-то обидно, гадко, вовсе не потому, что вспомнил, как в прошлый раз в этом месте у него украли деньги, рублей около ста, совсем не потому.

«Пьянственное сборище» продолжалось. Оставив товарищей, поэт вышел на улицу и поплелся домой.

— Храм Бахуса, — сказал он прощически и пощупал свой влажный лоб. Болела голова. Подумал: «А интересно: пошел бы с нами сегодня Кулиш? Нет, конечно, нет, ни за что!»

23

К ночи дождь утихнул, и Тарас изрядно промок.

У ворот встретил его Соколов, помощник полицмейстера при Академии, которому было поручено наблюдать за Тарасом.

— Нет ли у вас огонька, спичек?

— Нету.

— Нет? Ну, и не надо... И где это вы все пронадаете, господин Шевченко? Ходите и ходите. Ходите и ходите... Устали, вижу?

— Еге.

— Что-то вы сегодня не дуже приветливы.

— Характер такой.

— Портится... под старость? Я же вас помню еще молодым человеком — в этих же самых стенах. Смешно! Вы воп как подались, и не узнать, а я все без перемени. Хоть бы что!

— Стало быть, служба такая? — опершись на эмалированный набалдашник трости, спросил Тарас.

— Ирония, господин Шевченко?

— Вы, ваше благородие, кажется мне, достаточно умны, чтобы не спрашивать.

— Я по-дружески.

— Значит, и поджидали меня не в службу, а в дружбу? Да?

— Для здоровья — вечерняя прогулка-с...

— Под дождиком? Ну, гуляйте, гуляйте. Надо — значит, надо.

Тарас вошел в ворота и не спеша заковылял наверх.

Слова полицмейстера о прежнем знакомстве напомнили давнишнюю историю, грех, можно сказать, молодости. Тарас улыбнулся. Вспомнил, как жилось тогда недавно выкупленному у помещика «вольноподходящему ученику» Императорской СПб академии художеств.

Трудно жилось, — трудно, весело и голодно.

Поселился он тогда с товарищами в мокром подвале одного из четырехэтажных домов острова.

Шевченко, Штернберг, Петр Петровский, Пономарев и тихий в успехах Грицько Борлаквский, живописцы, ученики «Великого Карла» Брюллова — дружили, объединенные любовью к украинским пейзажам и быту, молодостью и беззаботно переносимой нуждой.

Как-то раз Петровский должен был кончать заданную от Академии программную работу — на библейский сюжет «Агарь в пустыне». Срок истекал. Сама Агарь, прародительница бедунских племен, была уже готова, но ангел, утешающий ее в пустыне, Петровскому не удавался никак. Собственно, молодой художник никак не мог написать ему крылья.

Петровский ходил грустный, в мечтах ему являлась белая лебедь или обыкновенный гусь, с перьев которого можно было бы писать белоснежные крыла божьего посланца. Но купить гуся или другую большую птицу было не на что. Как нарочно, друзья накануне истратили последние копейки.

Пономарев и Тарас сочувствовали товарищу, но помочь ничем не могли. Гриша Борлаквинский божился, что отец забыл о нем и ничего не присылает уже полгода.

Шевченко знал, что это ложь. Рассердился. Хотелось наговорить сквалыге обидных слов,— а на это Шевченко был и смолоду горазд!— но плюнул и вышел— подальше от греха. Товарищи пошли за ним.

— Идем на Пески,— сказал Петровский. Там у него жила старушка-мать.

— А кто же на вечерние классы пойдет?— спросил Тарас.

— Как-нибудь обойдется! Зато пообедаем.

— Не пойду. Ступай один.

Прятели разошлись. А вечером, прогуливая время послеобеденных классов, Петровский снова засел за опостылевшие крылья, хоть, правда, его утешала уже некоторая возможность купить гуся: в кармане лежал раздобытый у матери серебряный рубль.

Но проголодавшемуся Тарасу вдруг пришла в голову отчаянная мысль. Он кивнул друзьям, чтобы заперли дверь, схватил Петровского под руки и ловко вытащил из кармана заветный целковый. Захватив шапки, все кинулись наутек.

— Отдайте моего гуся!— кричал Петровский, стараясь от них не отставать.

— Самим есть хочется!— насмешливо на бегу откликнулся Тарас.

Вот так все добежали до Шестой линии. И только тут Петровский сообразил, куда спешат приятели.

В трактире «Рим» Шевченко, не медля, приказал подать по чарке водки, два бифштекса на четверых и, галантно раскланявшись, пригласил запыхавшегося Петра присоединиться к трапезе.

Вечером Петровский за работу не брался совсем. Да и к чему? По Васильевскому ходили табуны гусей, Петровскому мерещились длинные белые заостренные крылья. Ему даже почудился крик гуся... Но что это? что? И впрямь где-то близко закричала птица.

Дверь вдруг распахнулась, и настоящий живой гусь вбежал в комнату.

Вскоре участь его была решена! Ангельские крылья Петровский дописал милом, а гуся, порезавши на куски, солдатистонник сварил в самоваре. Все ели да похваливали. И только когда остались одни косточки, Петровский спохватился:

— А чей гусь?

— Полицмейстерский,— отвечал Шевченко.

Петровский чуть со стула не упал:

— Как это?

— Да так...— и Тарас выложил все, как было.

На заднем дворе Академии бродил табун гусей, принадлежавший помощнику полицмейстера Соколову. Пономарев и Шевченко, улучив минутку, когда близости никого не было, накрыли гуся шишелем и понесли в четыре руки. Это оказалось делом не легким. Сильную и сердитую птицу пришлось держать за клюв, за крылья, за ланы.

Петровский, узнавши историю гуся, огорчился: и крылья были уже написаны, и есть уже не хотелось, а полицмейстер еще мог признать свою собственность в ангельских крыльях на картине...

Но все обошлось как нельзя лучше. Шевченко вскоре получил за какую-то работу немного денег и сам отнес Соколову целых два рубля, непомерную плату. А Петровского за хорошую работу послали тогда же учиться в Италию...

...Тарас припоминал теперь, с каким чувством относил он деньги разъяренному полицмейстеру. Смелости для этого нужно было, пожалуй, больше, чем даже для охоты за гусем.

Произошло все это лет двадцать тому назад. Но Соколов никак не мог этого забыть. Он даже был уверен, что обезьянка барона Клодта очутилась у Тараса так же, как и за много лет перед тем его белый замечательный гусь.

Вспоминая давнишнюю проделку, Шевченко остановился на лестнице, постоял и снова вернулся к воротам. Хмель еще не прошел.

Соколов, изрядно вымокши, уже направлялся домой.

— Это вы?— воскликнул, увидевши Тараса.

— Я. Не помешаю? Нет? Ну, гуляйте, гуляйте. Знаете, господин Соколов, наш уважаемый граф, Федор Петрович, сохранил до глубокой старости здоровье и силу вот именно такими прогулками на свежем воздухе, упражнениями, спортом...

Соколов любезно соглашался:

— Знаю, сударь, знаю.

«Полезная для здоровья» прогулка затягивалась на неопределенное время.

24

Как-то утром Катя постучала в Тарасову дверь, украшенную предостерегающей надписью: «Нету дома».

Девочка знала, что Шевченко работает, но все же решила побеспокоить, — надо было передать мамину записку — приглашение пожаловать к ним вечером, развлечься и отдохнуть после работы.

Следат, с обгоревшим на пожаре правым усом, приветливо встретил молодую графиню и пропустил к Тарасу в мастерскую.

— Что скажете, серденько? Рад видеть.

— Вот мама бананы и груши прислала. И записку, дядя Тарас.

— Спасибо. Прочту... Погодите только, сейчас закончу... Не приближайтесь сюда! Здесь у меня вредные кислоты! Посидите на диване.

Ванночка с раствором кислоты, в которой лежала медная доска, покачивалась на его крепкой руке.

Бисеринки газа появлялись на широких, затем и на более тонких штрихах. Покачивая ванночку, художник сгонял эти пузырьки. Если не помогало, брал гусиное перо и нежным кончиком смахивал их. Промыл доску, собрал разбросанные по столу мягкие инструменты — иглы, шабер, циркуль с загнутыми концами, кожаный валик, которым накачивался лак, — мыл руки и с полотенцем на плече обернулся к Катеньке:

— Сейчас, сердце мое. Не пойдете ли со мной в Эрмитаж?

Катя согласилась.

Тарас поднялся наверх — переоделся во фрак, потому что в сюртуках и пиджаках в Эрмитаж никого не пускали.

Когда вышли из дому, Катенька напомнила, что на улице не курят, и Тарас бросил сигару в воду.

Пейзаж изменился, шаруса исчезли. Начинались морозы. В сквере тоже было пустынно, безлюдно. Лето прошло, а пора зимних гуляний еще не наступала. Все здесь как замерло, только клочки сена ветер носил по пустынной площади.

Неподалеку от Биржи, у самого моста, приоткрылся старенький фигурчик, давно потерявший надежду что-нибудь продать. На его лотке стояли гипсовые амурички со скрещенными руками и Наполеоны, выкрашенные почему-то в розовый цвет.

Фигурчик косо поглядывал на какого-то парня в кучерской шляпе, очень некстати пристроившегося подле него со своим товаром.

Тарас Григорьевич остановился и под здоровался, приподнимая шапку:

— Здравствуй, голубе.

Парень поднялся, присматриваясь к странному господину, к его шапке, и даже руками всплеснул:

— Здравия желаем, барин! Здравствуй-те. Вы тогда в шляпе были.

— Тебя Василием зовут?

— Васькой, барин.

— А что делаешь?

Васька вздохнул:

— Да вот... Хозяин торговать послал.

— Чем?

— Да вот же...

Катенька даже нагнулась.

На мешке, разостланном по мокрой земле, стояло повторенное несколько раз изваяние ретивого коня, вырезанного искусной рукой из клена или березы. Шестеро одинаковых коней стояли на всех четырех ногах, не рвались на дыбы, но, казалось, даже поджилки у них дрожат и вот-вот они рванутся вперед.

— Да это сделал какой-то замечательный мастер! Дядя Тарас, купите мне. Мама позволит.

— Ладно.

— Возьмите лучше Наполеона Бонапарта! — вскочил фигурчик, протягивая кусок гипса.

Катя, увидавши розового полководца, неловко пожала плечиками и снова обратилась к деревянным коням.

Дома у девочки стояла на столе великоленная фигура, подарок самого барона Клодта: лошадь пьет воду, вытянув шею и подогнув правую переднюю ногу. То был чудесный конь, бронза, но деревянные фигурки на грязном мешке казались, несравненно лучшими, хоть Катенька и сама не понимала, чем пленили ее эти деревянные, грубовато вырезанные фигурки.

— Что это такое? — вдоволь насмотревшись, спросил Тарас.

— Мой Буян. Все шесть, все Буяны.

— А делал-то кто?

— Да я же.

— Как это?

Паренек, смущаясь, снял свою, с квадратной тульей, кучерскую шляпу. Видя впечатление, произведенное его лошадейками на благородную и нарядную барышню, оробел совсем.

— Рассказывай, хлопче... Ну, что же ты? Да шапку надень! Холодно.

Шевченко был заметно взволнован. Быть может, он вспомнил свою собственную историю,— первую встречу в Летнем саду с художником Сошенко, быть может — еще что-нибудь...

— У меня, барин, тогда Буян пропал-таки... Когда сено горело на Неве. Да я и сам чуть было... да спас меня какой-то дед,— и юпона осторожно коснулся рукой своего обожженного лица. Сбиваясь и путаясь, он все же объяснил историю деревянных лошадок. Это была история самая обыкновенная.

Когда погибли в огне Васьяны питомцы, парень затосковал, загрустил,— одинешенек в чужом городе. Где-то далеко, возле Рязани, жила сестра, собственность другого помещика. Здесь же кроме Буяна не было никого! Потеряв своего любимца, Васька бредил им, вспоминал его облик, милую морду, шею, спину. Пальцы, которыми он чистил коня, помнили еще его теплоту, тянулись к матерпалу какому-нибудь, к глине, к сухому кленовому полену, чтоб на нем проверить воспоминание!

Такой вот линией изгибался широкий круц, узкая спина, округленные бедра. Мальчик чувствовал под пальцами длинные ребра, каждую складку, движение коня и переносил все это на дерево, пока не увидел, наконец, своего Буяна.

Найдя в каморке конюха отлично выполненную статуэтку, барин, господин Болотов, изрядно пострадавший от пожара на Неве, приказал Ваське сделать несколько таких же фигурок и послал продавать...

25

Шевченко склонил голову.

Сколько он узнал за всю свою жизнь подобных историй! Сколько их, вот таких несчастных — меж двадцатью миллионами рабов! Так же начинали когда-то и художники Тропинин да Кшренский, и зодчий александровского Петербурга — Воронихин, и друг Тараса Шевченко, неподражаемый Щепкин... Как этот Васька был похож на того самого мальчугана в демикотоповом халатике, на «ничтожного замарашку», — как он сам говорил, — «грубого мужика-маляра» Тараса, бродившего по этим кварталам еще до чудесного своего перелета с грязного чердака в великолепные залы Академии...

— Ты, голубе,— озабоченно сказал Тарас Григорьевич,— ты, Василий, приходи

завтра ко мне домой. В Академию художеств. Знаешь? Войти надо с Третьей... Да вот я запишу.

У фигурщика покупателей все не было, и он изумленно прислушивался к разговору.

Шевченко вырвал из Катинного альбома кусок плотной бумаги, записал имя, адрес и отдал пареньку.

— Читать умешь?

— Малость. Девушка одна — у соседнего барина в горничных. Грамотна... Научила и меня.

— Хороша? Зачем же ты краснеешь? Ну, будь здоров... до завтраго. Да смотри же, принеси копей своих. Барину скажешь, покупатель, мол, есть.

Тарас и Катенька пошли через мост к Зимнему. Девочка озиралась на смешного парня: такого коня сделал, а сам и не понимает!

Васька глядел им вслед. Потом, разобравши по складам на бумажке фамилию, воскликнул:

— Да я же вас знаю...— и уж язык не повернулся прозвезсти привычное слово «барин». Ветер понес его крик над водой. Новые знакомые были уже далеко.— Так вот он какой... Шевченко,— сказал паренек.

— Что? — спросил фигурщик. И придиричиво оглядел его.— Спятил?

26

О стихотворце Тарасе Шевченко Васька узнал от недавно приобретенного господином Болотовым повара Спиридона. Повар хранил в кованом сундуке маленькую затрепанную книжку с непонятным названием «Кобзарь». К Спиридону заходили историки из соседних домов, повара, кучера да лакеи — послушать «Полтаву», «Руслана и Людмилу», «Козлабунтовщика» или «Майну свадьбу», «Вечера» господина Гоголя...

Ваське больше всего по душе приходились почему-то звучные и не совсем понятные малороссийские стихи. Их читал влух из той же заветной книжки соседский кузнец.

Повар Спиридон, выученик прославленной кухни графа Пессельроде, живавший с графом в Берлине и Париже, пользовался у господина Болотова относительной свободой. Был он любителем всяких искусств. Заметив Васьяны успехи в резьбе по дереву, он перестал угощать его подзатыльниками, начал величать Васянем Митричем, а когда что-нибудь чи-

тали, уже не оставлял его у двери, приглашая поближе к столу.

На стенах красными и желтыми пятнами выделялись лубочные картинки: портрет графа Суворова, «Мужики Долбило да Гвоздило, побивающие французов», и даже «Портной в страхе».

Василию картинки не нравились. По воскресеньям и двенадцатым праздникам он ходил смотреть замечательные картины в церквях и соборах, запомнил та-званное кем-то имя Брюллова. Узнал также, что лучшие картины хранятся не в храмах, а в музее — возле царских палат, в Эрмитаже, в который доступа юноше нет и не будет¹. Можно было только ходить в театр, и он усиленно посещал все райки, парадизы, куда его водил тайком от барина все тот же повар Спиридон. Во время действия Спиридону не раз приходилось дергать паренка за ухо, чтоб не выражал так громко свой бурный восторг. В антрактах парень слушал, как студенты и чиновники, залив жажду квашеной воды из ведра, стоявшего в углу, спорили о преимуществах актрис, о мьесе, о сочинителях, о чем угодно, даже о барабанщике в оперном оркестре. Почему спорят, Ваське было непонять: ему на сцене все нравилось! И воевели Ленского да Каратыгина, и «Трубадур», и даже вовсе непонятный ему «Карл Смелый» в итальянской опере, и, конечно, — нашумевший спектакль «Всех цветочков боле розу я любил».

Молодой конюх хохотал, отыскав с приятелями в юмористическом журнале какую-то глупую картинку. На ней был изображен трактир. А в подписи — диалог между «гостем» и «человеком»: «Эй, любезный, произведи-ка мне газовое воспаление, чтобы посветлее было, да заведи-ка что-нибудь из мелодии...» — «Из чего прикажете-с? Есть из «Карла с мелом», «Труба дура» есть, из «Черной Домны», из «Травоеды», все что забла-гоугодно вашей чести будет».

Ваське было смешно, что известное ему «Черное домино» превращалось в «Черную Домну», а благородная «Травиата» в «Травоеду». Повар Спиридон Вась-кпного восторга не разделял, даже об-

¹ Правилами управления императорского Эрмитажа разрешалось допускать в залы музея ученых и литераторов «для справок и изучения некоторых предметов». Кроме того, пускали тех, кому именные билеты выдавала придворная контора или одно из управлений Эрмитажа.

делся, когда паренек показал ему глупую картинку:

— Что же эти писакки нашего брата, простого человека, дураком считают? Мы тоже в театрах понимаем. Каждый раз полна галерка студентами, чиновниками и нашим братом. Последнюю копейку люди несут...

Побывавши в театре, Василий переска-зывал все, что видел, любимой своей, соседской горничной, той самой, которая когда-то научила его читать и писать.

Подрута научила его грамоте, когда оба были моложе. И с той поры мечтал Ва-силлий о своей учительнице. Но девка во-шла, как говорится, в возраст, и ее дер-жали в доме, как в терему.

Редкие и случайные встречи, когда горничную посылали с важным письмом или в лавку, были очень печальны. Де-вушка плакала, не видя в будущем даже тени надежды; молодые люди жить друг без дружки не могли, но мечтать можно было разве что о случайном свидании, о мимолетном пожатии рук.

В свободные минуты паренек слонялся у ее окна. Время в ожидании проходило незаметно, и Васька опаздывал домой.

Утром господин Болотов приказывал свести Ваську на конюшню и хорошенько выпороть.

А потом, при подвыпивших гостях, устраивал представление, спрашивал:

— Васька! Что общего между чепухой, одеждой и тобой?

Парень, под угрозой наказания, должен был браво отвечать:

— И то, и другое, и третье порет-ся, барин!

27

В Эрмитаж за Катенькой прислали с лакеем карету. Графиня зачем-то звала дочку домой.

Шевченко собрался было ехать с нею, но возле украшенного карниатами подъезда, на Миллионной, встретился с Семеном Степановичем Артемовским-Гулаком и пошел с ним обедать, куда-то на Невский, в ресторан Вольфа, что ли.

Площадь была пустынная. Над Зимним дворцом был поднят штандарт. Это зна-чило, что царь пребывает в столице. Ча-совые подле дворца и Александровской колонны стояли неподвижными куклами, глядели на Семена с почтением. Он был в цилиндре, в тяжелом модном пальто, в небесно-голубых перчатках, важный барин.

Шли, болтая о всякой всячине. Семен рассказывал, как у него подвигается ра-

бота над оперой «Запорожец за Дунаем», что успел написать...

Вдруг, припомнив что-то, Шевченко спросил:

— А где же страшная месть?

— Кому? Какая?

— Забыл? Да всем лысым же! До чего же ты пьян был, Семен!

Приюминая, о чем речь, Артемовский загоготал, испугавши часового у Генерального штаба.

— Хорошо, молодец, напомнил! Жди и берегись! Месть будет воистину страшная.

— Страшнее гоголевской?

— О таких вещах напередки не говорят.

— Хорош друг! — и Тарас хлопнул Семена по плечу.

Приятели выходили через арку штаба на Невский.

На перекрестке стоял толстый и красивый городской в темносерой шинели, с жестяной бляхой на груди.

Был час, когда франты покидают проспект, уступая его до вечера чиновному и деловому люду.

Невский имел еще вид перяхи, не было присущего ему блеска. Кое-где торчали леса — на новых домах и надстройках, всюду было наляпано красками, штукатуркой, окна аристократических домов еще белели, замазанные мелом. Да и витрины еще не приобрели обычной зимней торжественности.

Улицы были разрыты. В столице прокладывали первый водопровод и газовые трубы. Но тротуарам надо было ходить осторожно, чтобы не упасть в канаву. У одной из них стояла толпа. На дне валялись кости и несколько черепов, откопанных чернорабочими. Это были, наверное, останки безымянных строителей столицы Российской империи, погребенных там, где их постигла смерть от голода и болезни.

Тарас Григорьевич посмотрел на черепа и молча пошел дальше. Словно туча осеняла его.

Чтобы развлечь приятеля, Семен Степанович говорил безумолку. Рассказывал о своем давнишнем «проекте» прокладки столичного водопровода, лучшим и более дешевом, когда-то забракованном «отцами города».

Актеру-непоседе мало было театральных дел. Каждая деятельность не давала покоя. То он подавал проекты водопровода, то просто озорничал, то хлопотал об издании какого-то акафиста богородице — для бесплатного распространения, то

строил себе дачу, то вдруг изучал историю и статистику города Петербурга.

— А сколько в этом городе школ? — спрашивал он Тараса.

— Не знаю. Мало.

— Да, семь уездных, десять приходских. А в них, в этих десяти — семьдесят один ученик, но крестьянского звания — только один.

— А сколько в городе церквей? — спросил Тарас.

— В этом году двести семьдесят девять монастырей, церквей и часовен.

— Тьфу! — сплюнул Тарас. — Все-таки меньше, чем кабаков и публичных заведений.

— Вот не люблю таких разговоров, — поморщился Семен, даже рассердился. Он читл память матери своей, Барвары Арсеньевны, воспитавшей его в религиозной строгости.

Шли молча. Встретили чем-то озабоченного Кулиша. Он, нагруженный бумагами, куда-то спешил. Кивнул им, повернул и, сохраняя молчание, пошел рядом.

Невский кипел. Покрикивали кучера карет и колясок. Гремели палашами блестящие офицеры Генерального штаба, гарцовали кавалеристы, тощие клячонки тащили омнибусы, гитары, голубые извозничьи кареты.

Шевченко всматривался в лица встречаемых чиновников, водоносов, барынь, молоденьких прачек. Взглядом провожал старушку, возвращавшуюся из церкви с просвирой в узелке. Читал французские вывески над магазинами, прислушивался к французской болтовне русских красавиц, понемногу забывающих родной язык.

Дамы щеголяли в парижских кринолинах. Всяду была комбинация трех цветов, модных той осенью: каштанового, черного и зеленого. Шляпки, сшитые на разные фасоны и вкусы, выдавались, по моде, на лоб.

— Мода меняется, — сердито сказал Кулиш, — но и сейчас мы встречаем здесь все те же шляпки, те же шляпки, о которых говорил еще наш неподрождаемый Гоголь. Помните? «Тысячи сортов шляпок, платьев, пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владельцев, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужского пола»...

Семен еле успевал раскланиваться. Знакомых было множество, не меньше,

чем у Тараса на окраинах города. Артемовского знал весь петербургский «свет». Дорогой к нему пристали, чтобы идти вместе обедать, двое проницательных актеров, пьяненький граф или князь, затем еще какой-то важный господин, начальник департамента, что ли.

С улицы зашли все покурить — в кондитерскую, в одну из тех, которые на проспекте за последние годы устраивались на парижский манер: стены пестрели французскими надписями, мебель была какого-то странного фасона, инкрустированная слоновой костью и бронзой. На столиках лежали кучи журналов и газет со всех концов света, театральные афиши, на которых встречалась и фамилия самого Артемовского, и, привлекая особое внимание, имя какого-то негра, трагика, гастроли которого ожидалось в Петербурге.

Выкуривши «по одному папиросу»¹, выпивши по рюмке джина и проглотив по десятку устриц, вся компания снова пошла на улицу, продолжала бродить. У магазина Оже внимание привлек мастерски выполненный портрет графа Федора Толстого.

Тарас начал было что-то рассказывать о Толстом, но вдруг остановился на углу у одного из мостов. В боковой улочке суетился возле слепой клячи измученный, обледеневший водовоз; его профессия доживала в центре города последние дни, ей суждено было исчезнуть с окончанием работ по прокладке водопровода.

Лошаденка билась, застрявши в ухабах мостовой, падала, пар клубился над ней. Водовоз поглядывал, не придет ли кто на помощь.

Тарас глядел на лошадь, на обмерзшую бочку, выкрашенную желтой краской, — это обозначало, что вода из Фонтанки (из Невы-то возили воду в белых бочках, а из каналов — в зеленых!) — оглянулся на спутников и сердито сплюнул. Сняв перчатки, отдал их Кулишу, сошел на грязную мостовую и крепким плечом нажал на бочку, по водовозу, ошеломленный появлением барина, забыл и думать о деле.

— Ну, чего стоишь? — крикнул ему Тарас. — Давай! Держись!

— Держалась кобыла за оглобли, да упала, — горько ответил водовоз. — Спасибо вам, барин, уж такое спасибо...

Бочка поехала дальше, и Тарас вернулся на шажель. Там стоял Семен, один.

И Кулиша, и всех приятелей, как ветром сдуло. Семен, приподняв над головой цилиндр, отирал платочком пот. Было не ловко, мешали в руке белые перчатки Тараса, оставленные Кулишом.

— Я человеку помогал, а тебя в пот бросило, Семен? А? Ну-ну! — и Тарас крепко выругался.

28

Был день приема, воскресенье, как раз то время, когда начинаются сумерки, но рано еще зажигать свечи.

Графиня Анастасия Ивановна, в вечернем туалете, устало ходила из комнаты в комнату, отдавала слугам последние распоряжения, осматривала, прежде чем начнут собираться гости, каждый уголок квартиры. В зале кто-то безустали колотил по одной клавише фортепьяно. Звук, тоненький и назойливый, проникал в доме во все уголки. Это, перед приходом гостей, возился в зале настройщик, старенький суфлер из Маринского театра.

Катенька пробиралась за мамой на цыпочках, затем забегала чуть вперед, заглядывала в ее светлые глаза, в красивое и милое лицо.

Катя касалась оборки ее кринолина. Это было приятно. Перед приходом гостей девочка всегда заметно волновалась, и это прикосновение будто успокаивало ее.

Иногда, бывало, графиня в полутемной комнате внезапно обнимала дочку, говорила что-то невинное, горячо целовала в пышные косы, в ее выдающийся вперед «толстовский» подбородок.

— Катя! Катенька! Катюша... — и вдруг, задумавшись, остывала так же внезапно. Катенька останавливалась, немного даже напуганная внезапным проявлением материнской ласки.

Графиня, есугулившись, шла на свою половину, а притихшая девочка разыскивала Оленьку, сестру, брала за руку и водила по гулким еще пустым комнатам.

Все здесь казалось таинственным, непривычным. Своды в большой двухсветной зале уходили ввысь. Блестящая белизна статуй, смягченная сумерками, будто оживляла пританьшиися фигуры.

Настройщик был еще в зале, но казалось, что уже нет его. Он работал ощупью, в темноте, — и только слышно было шуршанье рук его по клавишам молотками по сукну. Чуть слышно гудели басовые струны фортепьяно. Старик слегка ударял по клавишам и долго слушал.

¹ Вот так тогда и говорили: «крепкий папирос», «новый пальто».

Работа была сделана, по ему не хотелось отсюда уходить.

В такие минуты все здесь будто спало. Тут властвовал Морфей. Катя любовалась его мраморным бюстом, изваянным руками графа.

Сонная улыбка на полуоткрытых устах Морфея была слегка насмешлива.

Суфлер прислушивался к шагам девушек и шептал: «И вот жезлом невидимым своим Морфей на все неверный мрак наводит. Темнеет взор, рука на стол валится, а голова с плеча на грудь падает... вы дремлете».

Оленька прижималась к сестре. Стариковский шолот пугал ее, и впечатление таинственности еще усиливалось от опасения, что вот-вот позвонит кто-нибудь из гостей.

Пока никого не было, дети послешно произносили по-английски несколько приветственных фраз и, подойдя ближе, прошептали старого настройщика:

— Спойте нам.

— Please, please, my darling... — и старик, человек очень образованный и жалкий, встал, низко поклонился девочкам и, закрыв модератор, еле слышно аккомпанировал и пел — голосом слабым и сильным, как у всех шептунов-суфлеров:

Спеши, настройщик, на работу.

Здесь, видно, ждут гостей опять...

Из фортепьяно — за нотой ноту

Садись тоскливо выбивать!

Забудь на время в этом зале,

Что снег и холод на дворе...

Прилажь свой ключ... нажми педали...

До-ре, до-ре!

Настройщик пел все тише и тише, боялся, как бы не услышали его слабенького голоска там, наверху, в графских покоях, пел и дивился своей неслыханной смелости, но отказать милым девушкам не мог. — юные графини всякий раз так трогательно просили его, ничего и смешного старика, просили исполнить песенку знакомого всем поэта, бывшего домашнего лекаря Толстых, Николая Степановича Курочкина:

Без жалоб глухих до могилы,

Бедняк, свой тяжкий крест неси...

Погибли молодые силы!..

Фа-соль, ля-си...

Старика слабеющий голос словно уходил куда-то вдаль, сам он молча сидел, склоняясь к гладкому телу инструмента, и слушал его умирающий звук, как это умеют делать только настройщики да

еще стерегущие чью-нибудь жизнь болячки сиделки.

И девушки прислушивались к улетающей песенке, к голосам и звукам родного дома. В прихожей раздавался звонок. Слуги вносили в залу и в гостиную множество свечей. Правый угол темного здания Академии вспыхивал огнями, освещая набережную.

Раньше, бывало, узнав о приходе гостей, Катя опрометью убегала на антресоли в свою комнату, либо пряталась на лестнице, ведущей в соседнее с залой помещение, где стоял среди цветов бюст отца. На верхней площадке были деревянные перила, а за ними, в стене — большая лежанка. Там, между лежанкой и поручнями, было ее любимое место. Оттуда Катенька наблюдала, как горничные гадают на святах, жгут бумагу, плавят воск. Оттуда же смотрела на фехтованье, которым увлекался граф. Девочка принимала упражнения за настоящую драку и переживала тогда каждый неверный шаг отца.

До чего смешны бывают малыши! Теперь, когда приходили гости, Катя уже не пряталась на лестнице. Детские годы ушли. Уже можно было, к великой зависти Оленьки, сидеть вместе с гостями, прислушиваться к разговорам, часто непонятным, но пылым и страстным... Было такое время, тот самый 1858 год, когда еще казалось, будто после всего страшного и темного, что так долго царил в России, люди смогут свободно вздохнуть и что-то делать, полезное для отечества и народа, возвышенное и смелое. Это был короткий период некоторого мнимого просветления перед еще более темными и страшными временами. После Крымской кампании, с приходом нового царя, легковверные люди ждали в России реформ и облегчений. Люди спорили, говорили и не могли наговориться. В салоне у графини Толстой эти встречи и разговоры проходили свободно и непринужденно.

Писатели, актеры, музыканты и художники Питера считали большой честью получить приглашение к Толстым.

Гостей у Толстых по воскресеньям бывало полным-полно. Являлся величественный и уравновешенный Иван Тургенев, Мей, сидевший всегда с видом недовольного и страдающего человека; чаще других зааживал живой и рассеянный Польшкий, бывший учитель Катеньки, с которым ей и теперь иногда хотелось побегать по комнатам; наведывался и ласко-

вый Майков, бесхарактерный и непостоянный, встретивши Старова, не расстался с ним весь вечер; приходил иногда и молодой родственник Толстых — Лев Николаевич, военными рассказами которого тогда уже зачитывалась вся грамотная Россия.

Но одной из первых приманок в салоне графини Толстой был известный русский поэт Николай Щербина, запальчивый сын украинца и целопоппонесской гречанки, прославившийся своими «Греческими стихотворениями» и ядовитыми эпитрамами на всех и всё, на друзей и врагов. Поэта боялись, но и лынули к нему: с ним никогда не бывало скучно. Щербина осмеивал ближних, рассказывал анекдоты и любопытные приключения. Иногда пахло литературным скандалом, иногда просто было весело. Вокруг этого маленького человечка собирались все гости графини.

Забывали о жем разве в те минуты, когда в салоне вице-президента подходил к фортепьянам друг самого Бетховена, Антоний Контский, или соглашались спеть что-нибудь де-Бассини или Артемьевский, Леонова, Петрова, да мало ли кто еще!..

Придя в тот вечер позже обыкновенного, Тарас Григорьевич застал у Толстых множество знакомых.

Шел какой-то шумный и невнятный спор. Лакей торжественно доложил:

— Тарас Григорьевич Шевченко.

Поэта приветствовали. В салоне, где Шевченко был в почете, этого требовало если не искреннее расположение к поэту, то хотя бы показное уважение к графине.

Лорнеты любопытных дам уставились на Тараса. Шумно встречали его Артемьевский и Кулиш. Навстречу, из-за чайного стола, встала хозяйка.

Женщина эта, без всяких к тому стараний, была в своем салоне центром внимания, умела развлечь и объединить разнородные интересы гостей. Это признавали все. Но за ее спиной иногда говорили иначе — о жеманстве и притворстве графини, о самовлюбленности этой уже пожилой, некрасивой, но все-таки обаятельной женщины.

Тарас поспешил к столу.

— Привет вам, графиня моя, богу милая. Видеть вас — наибольшее счастье!

Между графиней и Тарасом Григорьевичем дружеские отношения украшались, даже с глазу на глаз, некоторой торжественностью.

Поздоровавшись, Тарас Григорьевич сел у стола и прислушался к спору, разго-

ревшемуся перед его приходом. Старов и какой-то старичок, в звездах и орденах, спорили о знаменитом актере Самойлове, собственно о том, понимает ли он вообще Шекспира, исполняя роли Лира и Гамлета.

Тарас хотел было вставить в спор и свое резкое слово об актере, но графиня спросила его:

— А вы слышали? Слышали? Спор начался из-за того, что говорили о негге Олдридже. Через две недели он будет здесь!

— В Петербурге?

— Да, в Петербурге. И здесь, я уверена, в этом зале. Он ведь известен всему миру... Завтра я покупаю несколько лож в Театре-цирке.

— В цирке? Он будет играть с немецкой труппой?

— С немецкой.

— Я же говорил: наверно, балаган какой-нибудь, — заметил Тарас. — Ну, конечно, балаган! Это же кощунство показывать в таком театре Шекспира. Кощунство!

29

Семен Степанович Артемьевский-Гулак спел арию Руслана, свой коронный номер. Слушатели сидели молча. Рукоплесканий не было: вышняя похвала!

Семен даже не поклонился. Подошел к Тарасу, который в уголочке, неподалеку от бюста Морфея, уже успел заспорить с Паньком Омельковичем. Очевидно, и арии Руслана не слышал, и не видал ничего, такие яростные огоньки вспыхивали в серых глазах поэта и золотили их.

Семен, насмешник, со свойственным ему пылом хотел было вмешаться в спор, не узнав даже, о чем идет речь, но в тот миг важный лакей доложил:

— Николай Федорович господин Щербина!

На пороге встал, с платком в руках, небольшой смуглый человечек, с необыкновенно блестящими глазами, смотревшими на всех исподлобья — насмешливо и сердито. Лицо его было мокро от дождя.

— Здравствуйте, господа, — произнес он слог за слогом, заметив заикаясь. Ему ответили веселыми восклицаниями. — Ну и погода! Проклятый климат и проклятый город! — эти слова вырвались у Щербины невольно. У него, жителя юга, всегда болело горло, гнилой климат убивал его.

Брызгливое замечание вместо приветствия никого не удивило. Но рассудительный Кулиш вдруг возразил ему:

— Не говорите так! Петербург — замечательный город. Какой волшебной силой наэлектризованы здесь люди!

Щербина удивленно обернулся. Он и раньше встречал здесь угрюмого издателя, но будто не замечал его. Теперь поглядел с насмешкой. Кулиш не отвел провизительного взгляда, хоть мнение о Петербурге он высказал так, между прочим, да и менялось оно, как и все его мнения и настроения, очень часто, — в зависимости от обстоятельств. Но хотелось, непременно хотелось подразнить этого маленького и яростного человека, потому-де боялся языка его, быть может, все, кроме него, Пантелеймона Александровича Кулиша.

Но Щербина возражал ему совершенно спокойно:

— Как можно говорить с любовью и уважением об этом окаянном болоте? Что здесь за люди? Всюду молчат — даже в кафе! Молчат на улицах, молчат в театре, их не взволнует даже мастерская игра Щепкина, не потрясет никакое горе!.. Что за люди? Что за город? Здесь не увидишь румяного лица...

Щербина месяц тому назад возвратился из Москвы и не мог пахвалиться:

— Петербург, по сравнению с Москвой, кажется мне городом нравственно ограниченным, алтынно-практическим, словом, «скорбным главою», кроме, пожалуй, дел узко житейских.

— *Du choc des opinions jaillit la verité!*¹ Но я, Николай Федорович, не согласна ни с вами, ни с вашим противником, — отозвалась Анастасия Ивановна, передавая Щербине чай.

— С моим противником? Вот этот картавый господин, — не имею чести знать, — воображает себя отважным человеком? Поддел, мол, самого Щербину! Я угадал?

Над столом прокатился смешок.

Будто не замечая грубости, графиня продолжала:

— Не согласна! Петербург против старушки-Москвы — юный красавец.

— Но, простите, графиня, простите! Разумная и мыслящая Москва — все же столица всего народа! Но даром же всякая простая девушка, мужичка, в самом отдаленном захолустьи Великокороссии поет не о нашей Северной Пальмире, а о своей «матушке Москве белокаменной». А Питер? Эх! — и, вдруг сорвавшись с кресла, маленький, черный, жучком отскочил от стола, зацепился за ковер, не

заметил; стоял с минуту, склонив набок голову, сунув руку за жилет, неподвижно, сосредоточенно. И, внезапно полуобернувшись к Кулишу, смешно выставил ногу вперед и прочел злой и неожиданный экспромт:

Вглядевшись в Петербург и все в нем созная,

Невольно выскажешь понятие свое:

О, боже мой, посредственность какая,

О, боже мой, какое дурачье!

Николай Федорович немного заикался, и оттого казалось, что дыхание его прерывает злоба.

В зале наступила тишина. Эпиграмма относилась, собственно, ко всем присутствующим. Но неловкость вскоре прошла, как и всегда после выступлений Щербины. К нему привыкли и не обижались.

После паузы все захохотали, Щербина опустился в кресло, будто после тяжелого труда, с одышкой принохивался к чему-то и вдруг обернулся к окнам:

— Опять эти цветы? — сердито спросил он, ни к кому, собственно, не обращаясь. *Trop de fleurs!*¹ Терпеть не могу.

— Что вы? — встала с места графиня. — Вам трудно дышать?

— Новый каприз, — заметил Кулиш. И прибавил, наклонясь к Артемовскому. — Даже и здесь его бояться. Смотри-ка! Смотри.

И точно. В зале поднялась суета, появились горничные и лакеи. Похоже было, будто пришли артельщики переселять кого-то на новую квартиру. Впопыхах они выносили в соседние комнаты все вазы и жардиньерки. Щербина стоял среди их же затейливой кутерьмы, и ему было не по себе.

Решившись на что-то, он подошел к Анастасии Ивановне и громко, чтобы все слышали, сказал:

— Извините, графиня, простите греку злой язык и скверный характер.

— Подумайте! *Qui s'excuse, s'accuse!*²

— Недаром говорят, — шепнул кому-то Кулиш, — что графиня — любовница этого грека. И вкус-то у нее!

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказала графиня. — Я понимаю: поэт мечтает о солнце родной Греции, и ему трудно переносить питерский холод, туман и дождь. Ну и, — графиня мило улыбнулась, — невольно появляются капризы.

¹ Из столкновения мнений рождается истина (франц.).

² Довольно цветов.

³ Кто извиняется, обвиняет себя (франц.).

— Слышите? — снова шепнул Кулиш.

— Благодарю, — печально улыбнулся Щербина. — От имени поэта спасибо вам.

— Вы не поэт, а сквернослов! — снова вырвалось у Кулиша неосторожное слово.

— Вы так думаете? — проницески прищурив глаз, осведомился Николай Федорович. — Чи-и-и-читали мои стихи?

— Читал.

— С-с-с-спасибо! Но мне вот сейчас разъяснили: в-вы грешите в том же жанре.

— Tous les genres sont bons, hors le genre...¹

— Знаю, — прервал Щербина. — Но вы грешите именно в скучном.

— Будет еще одна эпиграмма! — злое еще прошептал кто-то.

— Что же касается поэзии, — продолжал эпиграммист, — и-и-простите за правду, есть один только настоящий меж нами искры божьей поэт. Я хочу, графиня, я хочу, чтобы изгладить дурное впечатление от нашего разговора, и-и-попросить вот... — и Щербина поклонился. — Тараса Григорьевича... почтять что-нибудь.

Графиня одобрительно кивнула головой.

— Я только что хотела сделать то же самое.

— Видите ли, господа, — продолжал Щербина, — у Шевченко характер более гневный, чем у меня. Но злым его не назовешь. Он добрый человек, а гнев такого человека должен быть страшен. Вы простите мне эту еретическую мысль, земляк... Но про вас, мой поэт, я даже эпиграммы сочинить не могу. Не могу! Вот...

— Читайте «Долю», — обратилась к Тарасу графиня, понимая, что разговор ему неприятен. — Это тронет господина Щербину.

Тарас не отказывался, хотя кое-кто из гостей был ему и не слишком приятен: иные из них во-всю глазели, — вот невидаль! — на возвратившегося из солдатчины поэта. Он замечал общий к себе интерес и даже шутил, бывало, что боится, мол, стать модной в Питере фигурой.

Обождавши, пока все умолкнет, Тарас начал читать. Это было обращение к собственной судьбе, к доле, последнее его стихотворение, написанное не так давно в Нижнем-Новгороде:

Тя не лукавила зо мною,

Тя другом, братом і сестрою

Сіромі стала. Тя взяла

Мене маленького за руку,

І в школу хлопця одвела

До п'яного дяка в науку.

— Учися, серденько, колісь
З нас будут люди! — ты сказала,

А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти зорехала.

Які з нас люди? Та дарма!

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою...

Ходімо ж, доленько моя!

Мій друже вбогий, нелукавий!

Ходімо дальше: дальше слава,

А слава — заповідь моя!¹

Кулиш, слушая, морщился. Когда Тарас кончил, Старов бурно выражал свое восхищение. Графиня воскликнула: «Ah, que c'est beau!»² А Щербина подошел к Тарасу Григорьевичу с теми же словами:

— Как это прекрасно! Мы не умеем так писать. Хотя меня самого судьба не баловала, как и вас... Спасибо!

Его черные на выкате глаза блестяли. И вдруг он заплакал. Неожиданно. При всех! Стало стыдно и больно.

Все встали. Плакал тот, чьего языка боялся весь Питер, плакал большой и одиноким человек. Его не понимали ни друзья, ни враги. Одиноким, он потешал весь вечер общество и уходил на ночь в трактир Палкина, пил чай, работал, читал или, чаще всего, о чем-то думал до самого утра.

— Что с вами? Зачем вы плачете? — спрашивала графиня. — Расскажите. En racontant ses maux souvent on les soulage...³

30

Васька никак не мог отважиться.

Несколько раз приходил к Третьей лпни. Смотрел на окна, заглядывал в во-

¹ Ты не лукавила со мною. Ты другом, братом и сестрою давно мне стала. Ты взяла меня за слабенькую руку и к пьяному дяку в науку меня, мальчонку, отвела. «Учися, милый мой. Авось мы в люди выйдем!» — ты шепнула. И мне учиться довелось. А ты? Ты просто обманула. Какие люди мы сейчас? Мы не лукавили с тобою, мы прямо шли. И нет у нас зерна неправды за собою. Пойдем же, доленька моя, мой друг убогий, нелукавый! Пойдем, пойдем! Там, дальше, слава, а слава — заповедь моя! (Перевод Е. Благиной).

² Как это прекрасно!

³ Рассказывая о своем горе, часто его облегчаешь (франц).

¹ Все жанры хороши, кроме жанра...

рота Академии, боязливо озираясь на дворника-солдата, даже поднялся было до самой двери, но мигом сбежал вниз.

Тарас Григорьевич увидел паренька, случайно взглянув за окно. Постучал ему в стекло и пошел вниз встречать робкого гостя.

В комнате паренек обметал снег, вытирал сапоги. Кинулся было к руке, но Тарас привлек паренька и поцеловал в лоб.

— Садись, голубчик. Принес?

— Принес.

Коня лежали в мешке, каждая фигурка бережно переложенная сеном.

Присевши на пол, Васька вынимал фигурки и ставил подле себя.

— А это что-то новое?

— Ага...— и спросил: — А барышня где?

— У себя дома.

— А я думал, уж не ваша ли дочка?

— Нет, голубе.

— А я знаю вас...— начал было Васька и смутился.— «Тяжко, важко в світі жити,— продолжал тихо и застенчиво паренек, с невозможным и очень трогательным русским акцентом,— сироті без роду: нема куди прихилитися,— хоч з мосту та в воду»... Я на память знаю...

— Вася? Голубчик? Как же это?

Вася еще больше смутился. И, чтобы как-нибудь скрыть свое смущение, читал дальше:

— «Утопився б молоденький, щоб не вудити світом,— утопився б,— тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходити полем, колоски збирає; а моя десть, ледащниця, за морем блукає»...¹

— Вася?

Василий робел, но потом все-таки рассказал о поваре Спиридоне, о «Кобзаре», который читал в лакейской, о театре, о господине Болотове.

Тарас почему-то обрадовался. Знакомство его с пареньком выходило как-будто и давнишнее и хорошее. Каждая весточка о том, что стихи его читают в народе, радовала Тараса несказанно, заставляла забывать о равнодушии критики, просвещенного общества. Самой высшей наградой ему были слезы волнения и благодарно-

¹ Тяжко, тяжко жить на свете сироте без роду. Где деваться, приютиться? Хоть с горы да в воду! Утопился б, чтобы лишним в свете не болтаться; утопился б! Тяжело мне, некуда деваться! У много доля в поле колоски собирает, а моя, бедняга, где-то за морем гуляет! (Перевод П. Белоусова.)

сти на лице читающего простолюдина, гнев, разбуженный горячим словом.

Поэт рассказывал пареньку, что он когда-то вот так же, как сегодня Василий, бежал прочь от квартиры художника Сошешко, отправившись к нему впервые. бежал, сжимая в потных от волнения кулаках свои рисунки. Шевченко рассказывал о своих скитаниях, о глумливой судьбе... Но беседу прервал внезапный и сильный стук в дверь.

Открывши, Тарас Григорьевич увидел на лестнице высокого жандарма, с большой и туго набитой палкой. Выглядел он настоящим Голнафом. Странная, словно бутафорская форма увеличивала его высокий рост.

Тарас Григорьевич побледнел, сердито спросил:

— Кого надо?

— Отставного рядового Оренбургского линейного батальона Шевченко Тараса Григорьева сына.

— Я.

— Ты? Приказано передать! — и жандарм протянул Тарасу палку.— Дашь расписку.

Взяв палку, Тарас Григорьевич раскрыл ее и радостно оживился, засмеялся даже, не обращая внимания на жандарма. В палке были его старые рисунки. Их отобрали у Тараса при аресте. Художник настойчиво добивался, чтобы ему возвратили сокровища юности. И вот, наконец, через столько лет просьбу «уважили».

Пригнувшись к столу, Тарас писал на клочке бумаги:

«Портфель с моими рисунками получил обратно из Третьего отделения его величества канцелярии. Т. Шевченко».

Приложив целковый, Тарас отдал записку. Жандарм спрятал и вышел.

— С чего это он вам говорил «ты»?

— Да ведь я — отставной рядовой, голубе.

Паренек вздохнул.

Тарас перебирал давно потерянные рисунки. Вскрикнул, поманил к себе Ваську. Паренек подошел почему-то на цыпочках. Художник держал портрет молодого человека со свечой в руке. Теги были удивительно четкие, поражали мастерски выписанные серые глаза юноши, полные, яркие, выразительно очерченные уста, пышный чуб.

— Как ты думаешь, кто это?

Васька поглядел удивленно: откуда ж ему знать?

— А ведь это я,— сказал Шевченко. Горько усмехнулся, положил руку на пле-

чо пареньку и пошел с ним к зеркалу. Сравнивал портрет со своим обескровленным, морщинистым и рыхловатым лицом.

И к рисункам в тот день уже не приглядывался; портфель так и остался лежать, растрепанный, на клеенчатом туфельном диване.

31

Пускаясь перед баринном на всевозможные хитрости, Василий Пименов стал довольно частым гостем в мастерской Шевченко. Деревянных коныков Тарас забрал у него всех. Самого лучшего поставил на полочке, подле своего офортного станка. Других роздал друзьям и знакомым, выручивши для Васьки изрядную сумму. Барину приказал отдать половицу, остальные деньги спрятал у себя наверху, в спальне, под большой зеленой банкой с огурцами.

— Насобираем... учиться пойдешь,— говорил Шевченко.

Он и сам понемногу учил паренька. Водил в фигурный класс, задавал рисовать с четырех сторон какого-нибудь Антиноя. А в свободную минуту приходил и «подбадривал» юношу, как давно когда-то самого Тараса — художник Сошенко, фунтом сытного да куском колбасы.

Васька обнаруживал способности к рисованию, но его больше тянуло к материалу, осязному,— к глине, к дереву. Но этому искусству Тарас мог научить его лишь поверхностно.

Правда, в ссылке, где ему запретили рисовать, Шевченко иногда доставал глину и кое-что лепил. Да и теперь, как умел, знакомил Василия с лепкой, учил делать каркас...

Вася души не чаял в учителе. Ревновал даже к сердитому солдату Прохору Михайловичу, старался, делал мелкие работы по хозяйству. Но солдат позволял только принести воды да иногда еще помыть пол. Василий мыл, любовно протирая каждую доску, каждую ступеньку. Пытался взяться за что-нибудь еще, но солдат ворчал и бранился. А потом и жалел мальчишку. И в конце концов так полюбил его, что, казалось, жить без него не может.

Васька позировал Тарасу Григорьевичу. Художник заканчивал рисунок: днепровские русалки тянут молодого казака на дно. Русалки вышли хорошо, позировала какая-то знакомая девушка, а с казаком не ладилось. Приходилось смывать и начинать сызнова.

Васька лежал на диване, свесив руку и ногу. Поза была мучительна, но Васька терпел, затаив дыхание, и очень сердился, когда приходил солдат и звал завтракать или являлся кто-нибудь посторонний и отрывал Тараса от работы. Но больше всех не взлюбил паренек почему-то Кулиша.

Не нравились ему пристальный взгляд остроногого дядьки. Его фамилия казалась смешной, и мальчишка сам про себя повторял: «Шалишь, Кулиш!» Удивлялся Ваську горячие объятия да поцелуи, которыми щедро оделял Тараса этот человек.

Когда Тарас Григорьевич водил друзей по залам Академии, Васька пробирался позади всех, застывал перед полной движения статуэткой Орловского, изображавшей мальчика: вот он бежит возле быка и старается остановить его, хватая за рога, за шкуру...

Однажды Тарас Григорьевич сказал:

— Я вот решил, Василий, сводить тебя... познакомить с бароном Клодом, с Петром Карловичем.

— С Клодом? С тем, что кони? На Аничковом?

— С ним. Ты его знаешь?

Васька бросился обнимать Шевченко. Он хорошо знал бронзовых коней на Аничковом мосту.

32

Хмурым воскресным утром сердитый солдат Прохор Михайлович и конюх Васька Пименов, отпущенный баринном до вечера, мыли пол, перетирали в мастерской ваншочки из-под кислоты. Художник делал что-то у мольберта. Фигура его — до колен — четко выделялась на фоне загрунтованного полотна. Прохор Михайлович что-то спрашивал у Василия. Тот отвечал невпопад. Солдат присматривался; в сердце просыпались теплые, отцовские чувства; он учил Ваську арифметике, наставлял; солдатчина, отняв у Прохора Ефимова всю жизнь, двадцать пять лет, лишила старика семейных радостей...

— Что-то наш Вася загрустил,— обрattился Прохор к художнику.— Скушает, а почему — признаваться не хочет.

— Да он уж признался мне,— буркнул Шевченко, не отрывая глаз от работы.— Влюблен, а девка-то крепостная, как и он...— Тарас Григорьевич замолк, орудуя угольком. Затем отошел шага на три, поглядел на полотно, помолчал. И снова:— Да ты не печалься, хлопче. Скоро, может,

хоть какая-нибудь, да выйдет воля и твои дела лучше пойдут. Правда, Михайлыч?

Старик не ответил; прислушивался к шагам на входной лестнице. Серdito бросил мокрую тряпку: «К пам!» — и, вытирая рук, пошел к двери. Кто-то нерпеливо постучал.

— Да подождите там!

Из-за шпирмы, заслонявшей вход, послышался властный окрик:

— Пропусти!

— Я же и говорю: нам сейчас некогда. Господин Шевченко принимает по вечерам.

Тарас решил было не вмешиваться, но не выдержал, бросил уголь, подошел к ширме: у двери стоял Кулиш. За ним видны были широкие плечи Борлакивского, одетого в кучму и кобеняк. Оба пытались взять дверь приступом, но Михайлыч, этаким Аргус, держался крепко.

— Прочь с дороги! — крикнул ему Кулиш, оттолкнул его и бросился обнимать Тараса. — Почему ты себе, брат, не заведешь настоящего камердинера, вежливого и воспитанного? Держишь грубиянов...

— Это очень тебя занимает? — осведомился Шевченко. — Да Прохор обо мне же заботится! И еще: я, сам знаешь, терпеть не могу профессиональных мастеров лакейского дела, — и, помолчав, прибавил: — Это касается и жизни и... литературы, если хочешь.

Прохор, звякая медалями, среб венник, тряпки и направился к двери. Выходя, серdito плюнул на то же место, которое перед тем так старательно мыл. Потом обернулся и с сердцем сказал Борлакивскому:

— Вы хоть и не в хоромах, барин, а ноги выгирать надо. Снег сегодня! — и вышел, хлопнувни дверью.

— Чорт! — пробормотал Пантелеймон Александрович, сбрасывая бобровую шубу. — Ну, давай, Тарас, почеломкаемся.

Целовались трижды, «як звичай велить». Прикладывали усы к усам.

«Целовал, — подумал Тарас, — ястреб курочку — до последнего перышка». — Надо было ему сказать: «Не подходи! Здесь вредные кислоты»...

Подступил и Борлакивский.

— Я, Тарас Григорьевич, по делу к вам, — забасил он, также трижды «почеломкавшись», и покосился в угол на Ваську. — Я слышал, вы жаловались, что никак не можете найти натурщицы для живописания казацкой красы. Для патрета то есть!

— Да, верно, никак не найду.

— А погодите малость, батеньку. Я пошарю по Питеру, не наткнулся ли где на гнездышко, чтобы добыть орлицу, может быть, бог уважит и хвартула пособит... — и закусил от натури ус, после такого множества слов.

— Я прислал у вас разрешения писать с Марины.

— Э-э-э-э... — неопределенно промычал Грицько Митрофанович и не сказал больше ничего.

— У него, Тарас, есть там одна такая Одарочка, как на солнышке маков цвет загорится перед глазами твоими, пылью прибитыми... Маков цвет с казацкого огорода! Марине далеко до нее... Да и чего ты, собственно, привязался к этой самой Марине? Завел бы ты себе какую-нибудь беловшейку, как бывало когда-то, или там нанял бы себе горничную, что ли.

Тарас Григорьевич даже не ответил. Даже не поблагодарил за найденную для него натурщицу. Но и не вскипел. Такие разговоры уже надоели ему.

— Закрой, Вася, краски, — пожалвши плечами и вздыхая, сказал он пареньку. В голосе звучала плохо скрытая досада.

— Можно и не закрывать, я не надолго, — поспешил Кулиш. От его чуткого уха не ускользала ни одна интонация. Он слышал и видел все, что ему нужно было. — Я пришел только попрощаться, — продолжал он. — Собираюсь покинуть этот проклятый город. Навсегда.

Голос Пантелеймона звучал торжественно.

— Как это? — спросил Тарас.

— Типографию надумал продавать. Уж и мебель укладываю.

— Да, нан Пянько мастак упаковывать-ся, — перебил Борлакивский.

— Мебель укладываю. Теперь надо только погоды и дороги подождать. И такая берет меня досада!

— Как же так? Проклятый город? Да ведь ты недавно его перед Щербиной как расхваливал?

— Ну, и что же? Мало ли что можно сказать? А мне Петербург опротивел смертельно. Я тоскую по нашим широкошумным деревьям, я не могу глядеть на эти жиденькие березы и липы, на печальные петербургские елки...

— Не растравляй мне сердце! Да куда ты и не поедешь! Хоть и мог бы! — не уедешь ты отсюда, потому что и не тянет тебя...

— Вот мое казацкое слово! Еду на хутор. Надо поработать вдаль от городского

шума. Любовь к родному слову, к народу — моему тянет меня — перевести по-нашему Библию. Теперь уж можно! А то недавно, сам знаешь, со мной по-русски цензура запрещала, — книга, мол, для церковнослужителей, а не для мирян.

— А вот я, знаете, пробовал читать и как-то не того... — вновь отозвался Борлакивский.

— Не про тебя речь! — с досадой перебил Кулиш. — Такую работу в городе не сделаешь. Для этого нужно вдохновение. Библия — книга поэтическая! А мне вот, при всей привязанности к поэзии, порой приходится отдавать дань и холодной расчетливости. Знаете, у меня на хуторе прекрасно, но... покупая его, все-таки я должен был предпочесть добрый чернозем с сенокосами живописным и голубым местам. А теперь радуюсь, что могу есть собственные вареники и пить собственные палевки... А все прекрасное от нас не убежит: мы его разыщем и за тридевять земель и свой взятки с него возьмем, как пчела с цветка. А зато — какой из меня хозяин вышел! Ну, Тарас?

— Дай бог... — равнодушно ответил тот.

— Вот я и пришел, чтоб о тебе тоже позаботиться.

— Ну?

— Надо бы и тебе опериться. А для хозяйства необходимо денег подобрать. Картины свои ты продавать не умеешь. А я нашел тебе честного комиссионера, фактора. Это во-первых. Во-вторых, надо хлопотать о цензурном разрешении для твоего «Кобзаря».

— Сейчас это — напрасный труд. «Над цензурою, друзья, смейтесь так же, как и я: ведь для мысли и для слова, откровенно говоря, нам не нужно никакого разрешения царя!»

— Тьфу ты, боже мой! Снова Бераджер? Пора уж тебе стать серьезным человеком, Тарас.

— Я и говорю серьезно: «Кобзарь» сейчас не разрешат. «Монархическим чутьем сохранив в реформы веру, что напишем, то пошлем прямо в Лондон Искандеру»... Во!

— Тьфу, тьфу, тьфу! Ребенок! Я так и думал: если я не подтолкну, то сам ты — пи за холодную воду. Сейчас будем писать письмо.

— Кому?

— Да Долгорукову же, князю, шефу жапдармов.

— Он мне сегодня старые мои рисунки вернул.

— Значит, к тебе благоволят. Можно писать письмо.

— Не стану.

— Почему?

— Не хочу. И не люблю же, когда ко мне пристают, как... — и, чтоб не обидеть Кулиша окончательно, Тарас замолчал.

— Меня спросила об этом сама графиня. Иди, бери бумагу, а я очиплю перья.

— А вот я думаю, без чарки горилки нам этого дела не вкрутить! — заметил Борлакивский.

Тарас поглядел на него. Грицько Митрофанович был уже чуть-чуть навеселе. Шевченко обернулся к пареньку и спросил:

— Не сбежал бы ты? Вася? Где ты?

— Что это у тебя за холоп? — спросил Борлакивский. — Будто знакомый. Увидал меня да и того... сбежал.

— Вася?

Васьки не было.

33

Тараса Григорьевича все-таки уговорили. Просит графиня, просят приятели, надо писать! Было, правда, совершенно ясно, что «Кобзарь» ко второму изданию — так скоро после возвращения автора из ссылки — все равно не разрешат. Ну, что ж! В России, правда, в тот год настало будто бы некоторое цензурное просветление, скоропроходящее и сомнительное: издавалось много книг, в одном Петербурге появилось около двухсот названий листов, журналов и газет... Ну, что ж!

Диктовал Кулиш: Тарасу с таким ослапнем самому не справиться бы.

«Милостивый государь, князь Василий Андреевич!

Вашему сиятельству известно, что в 1847 году я был присужден к продолжительному наказанию за неосторожные стихи, написанные мною в минуту душевного огорчения такими явлениями, о которых я не имел права судить публично, но существующим постановлениям... Вполне сознаю свои заблуждения и желал бы, чтобы преступные стихи покрылись вечным забвением. Десять лет прошло с того времени. В такой продолжительный период и дети становятся людьми, мыслящими основательно...»

Тарас Григорьевич остановился. Писать под диктовку было неприятно, противно. Вытерши влажный лоб, улыбнулся горько и дописал:

«Поэтому надобно предположить, что и в моей бедной голове больше установилось порядка, если не прибавилось ума...»

Тарас пронизировал... Над собой? Над князем Долгоруковым?

Кулиш продолжал диктовать:

— «Возвращенный в столицу великодушным его августейшего сына, я увидел во многом перемены необыкновенные»...

— Брехня! — закричал Тарас. — Брехня!

— Пиши! «Перемены необыкновенные, истинно благодетельные для отечества... Согласитесь, ваше сиятельство, что эти отрадные явления должны внушить и мне надежду на милость нашего великого монарха. Я потерпел наказание собственно за мои рукописи, которых...»

Тарас остановился...

— «...которых никогда не пожелаю видеть в печати. Что же касается до печатных моих сочинений, то они во время моей солдатской службы продолжали ходить по рукам и продаваться тайком букинистами, а запрещение наложено было на них, так сказать, зауряд, для усиления моего наказания. Возвратясь теперь в Академию художеств, я подвергаюсь естественному следствию десятилетнего моего отсутствия — бедности, из которой не могут извлечь меня отсталые труды мои по части живописи, — тем более, что мне уже сорок восемь лет и что мое зрение с каждым месяцем ослабевает. Если вашему сиятельству угодно будет обратить благосклонное внимание...»

— Тыфу на твою голову!

«...С глубоким почтением имею честь быть вашего сиятельства покорнейший слуга Т. Шевченко.

27 октября 1858 года.

Жительство — в Академии художеств...»

— «Мне уже сорок восемь лет...» — перечитал еще раз Шевченко.

...Тарасу было сорок четыре года. Кулиш настаивал, чтобы поставили сорок восемь — для жалости.

— Ну, а теперь пропустим по рюмочке? — спросил, просыпаясь, Борлакивский. — Попробуем? А?

— Попробуем, — ответил Кулиш, посыпая песком неписанные листы.

— А где же мой Васька?

34

Паренек явился к Тарасу Григорьевичу вечером.

Нанько да Грицько только что убралась. Казалось, Васька ждал у ворот. Глаза были у него заплаканы. Еле стоял на ногах.

— Тарас Григорьевич!

— Что, голубе, что?

— Посоветуйте мне. Помогите...

— Ну, ну! Домой опоздал снова? Розги боинься? Вот так казай!

Тарас Григорьевич пошутил печально и лезно. Выпитая чарка еще звенела в голове. Но тотчас понял неуместность вопроса. Вася плакал. Чтобы не упасть, он уперся о диван. Тарас усадил его, подложил подушку, дал воды...

Стоял над ним растерянный, беспомощный.

— Не могу так больше... — и замолк.

Тарас ничего не спрашивал.

Наконец Василий решился:

— Девушка... — начал он.

— Вот тебе на!

— Плачет она... и день и ночь. Я сегодня видел ее: совсем больна, щеки горят... у барыни рука тяжелая! Терпит, не жалуется и мне, молчит. А я? Люблю ее! Тарас Григорьевич, заступиться надо же! А я?

— Что же мне нужно сделать? Ну, говори.

— Не знаю, не знаю... Господи! Если бы поговорили, чтобы, ну... чтобы се-то барин и меня купил, чтобы... вместе. Уж я бы старался, я бы кучером был, я бы ночью стоял у его двери верным сторожем, собакой стал бы...

— У кого? Кто ее барин?

— Да вот же, был у вас тут сегодня... Весь день был. Пьянчужка!

Сердечные дела коноха принимали неожиданный оборот.

— Борлакивский?!

Тарас, ошеломленный, замер. Дух застал. И, наконец, все-таки решился:

— Как ее зовут?

Стало страшно. Вот-вот... Поэта захлестывало издавна знакомое ощущение безразличия и холода; этим он и раньше, в тяжелые минуты, как бы укрывался от сокрушительных ударов судьбы.

— Марица.

Ну! Свершилось!

— Тебе надо, чтобы я поговорил с ним? — и легкий хмель, если он и был после «кумпанства» с Кулишом и Борлакивским, развеялся... — Надо?

Василий молчал.

— Хорошо, — сказал Тарас. — Хорошо Или, голубчик, иди домой... А я подумаю. Иди, не журись. Иди... Иди! — и закричал: — Да иди же!

Работал, забывая про еду, про отдых, про сон.

Когда все уже валилось из рук, пробовал прилечь. Но не лежалось. Писал письма, тосковал по Днепру, по родным степям, зеленым и голубым... Врался за газету.

Читая «Северную пчелу», «Санкт-Петербургские ведомости», останавливался на объявлениях:

«В Малороссию отъезжающий по казенной подорожной билет попутчика».

«Почтовые экипажи между Москвой и Курском ходят шесть раз в неделю, с платой за внутреннее место 24 и наружное 17 рублей серебром».

«Карета двухместная на лежащих рессорах, малодержанная, немецкой работы, обитая синим штофом, за излишеством дешево продается».

Вот бы такую карету! Да куда там! А здесь, что ж ему делать на этом проклятом болоте? Что? Ему, старику, приходится уступать дорогу молодости? Сколько ему? «Сорок восемь», — так, кажется, написали шефу жандармов? Старик! И этот проклятый город, — тюрьма, а не город! Хуже форга...

За окном садилось солнце — в это время года редкий гость. Последний яркий луч падал на здание Кадетского корпуса, чуть опушенное снегом. Половина Румянцевской площади уже тонула в сумерках, под окном мастерской лежала густая спящая тень.

Тарас не видел этого.

По набережной прошел к соседнему корпусу военный оркестр. Но Тарас не слышал его. Стало тихо. Стукали за стеною часы. Тарас не чувствовал их. Ему все чудились синие заплаканные глаза. Склоненная головка.

...Возникло в неверной дымке воображения личико ребенка, покрапленное смешными веснушками, и тоже пропало...

И вдруг всплыло в памяти, будто все пережилось еще раз...

Вот, вот! В белом кителе... от своей вербы идет он прямо через туркменские баштаны, через аул. У кибиток играют с козлятами нагие дети... Вечер тихий и светлый. У горизонта — черная и мрачная черта: море! На берегу ясно горят красноватые скалы. По одной из них белым виднемся — стены крепости.

Он возвращается на огород... Находит тропинку. На ней, после мимолетного дож-

дя, в засыхающей грязи видны следы детских ножинок, маленьких, косолопых. Тарас любит следы, идет по ним. Идет, следит, пока не исчезают они в степной пыли вместе с тропкой. Где он, следок ребячьих ног, сейчас вот прошедший по его сердцу? Нет его... Нет.

— Нема!

Десятого ноября Катенька передала поэту приглашение графини прибыть вечером в графскую ложу в Мариинском театре-цирке — на представление приезжего африканского трагика.

— Мне так некогда, серденько, так некогда, что упаси бог.

— Мама очень просила. Мы взяли рядом несколько лож.

— Извольте. Приду, Катенька.

Весь день пролетел в работе. Не хотелось бросать и вечером.

Тарас Григорьевич правил бритву.

Солдат Ефимов готовил манишку, суконный фрак, — только в таком костюме и разрешалось входить в ложу и партер. Тарас чувствовал себя в хвостатой одежде не совсем ловко, но волей-неволей надо было являться в надлежащем виде.

— И что им всем далее этот негр? — ворчал он. Правда, из газет и салонных разговоров он уже кое-что знал о гастролере.

«С некоторого времени, — читал Шевченко 6 ноября в газете «Северная пчела», — он устраивает поездки на твердую землю, увлекает и удивляет своим искусством и снова потом возвращается в Лондон за лаврами и гинейми, не отказываясь, впрочем, ни от талеров, ни от рублей. Он играет свои роли на английском языке, а зрителям раздаются печатный немецкий перевод его речей. Идемте же в театр-цирк редкости ради!»

У многих петербуржцев интерес к гастролям Олдриджа был очень возбужден именно потому, что был это невиданный черный трагик. Любители спешили покупать билеты, — как же не посмотреть на черного, это же, наверно, так ново и оригинально!

Итти к театру пришлось пешком: в тот день у художника не нашлось мелочи ни на «гитару», ни даже на билет в омнибусе.

Тарас пришел к театру запыхавшись...

Когда капельдинер, окуривший, как водится, всем своим семейством, кучей ре-

бят, проводил его к ложе, Толстые были уже там. Девочки с Николаем Дмитриевичем чинно расселись впереди, опершись на золоченные перила, обитые, как и весь театр, ярким бирюзовым бархатом. Старов громко читал им Пушкина. Из партера оглядывались на их ложу.

— Театр уж полон; ложи блещут; партер и кресла, все кипит; в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес...

— Дети! — сказала графиня. — Нелзя же так громко! — и Старов, смутившись, замолчал.

В публике чихали и кашляли: была в тот год нездоровая осень.

Прошел какой-то генерал в придворном мундире и орденах. Поклонился графине и графу. Катенька поправляла на шее колье, шурила глаза и, как взрослая, кивала головой, будто все расклаивались не с матерью, а с нею. Оленька рассматривала пестрое население лож обонх ярусом, кресла, стулья, балконы, задирала головку, чтобы взглянуть и на два райка, откуда доносился говор скромных и горячих любителей искусства.

Тарас глядел в залу. Было скучно. Из кресел смешно подмигивал ему Грицько Митрофанович. Маленький Щербина стоял на балконе и, совсем по-наполеоновски, заложив руку за жилет, презрительно поглядывал вниз.

Шевченко присматривался, — глаза-то уже сдавали, — и не мог разобрать: в креслах сидел какой-то рыжеватый блондин... Да это он, Чернышевский! Ну, конечно: широкий лоб под всклокоченной шевелюрой, острый выбритый подбородок, очки в золотой оправе... А кто-то еще говорил, что Чернышевский никуда не выходит, даже в театр?.. Вот он поднялся, молодой человек, навел большой бинокль и смотрит сюда. Кому-то приветливо поклонился. Ему, что ли? Тарасу?

Шевченко тоже было поднялся. Но в зале стало быстро темнеть.

Большая средняя люстра, с масляными светильниками, медленно подымалась в люк на потолке¹.

Уже и не видно ничего — что там, в креслах. Уже и господин Чернышевский сел на свое место.

Говор смолкал.

¹ Люстры в театрах на время действия не гасились тогда, а лишь только поднимались вверх, в люки на потолке, затемняя зал.

Пошел занавес.

На венецианской улице появились Родриго и Яго. Заговорили они, к сожалению по-немецки. Слушая, Шевченко вначале припомнил было русский перевод:

Не говори. Мне очень неприятно,
Что ты, распоряжаясь, как хозяин,
Мои деньги, об этом знал...

Тьфу, дьявольщина! И Яго и Родриго читали до того скверно и бесчувственно, что появилась охота смертная уйти.

— Катенька, — шептал Тарас. — Я вспомнил смешную историю... — и до начала второй сцены рассказывал приятельнице какие-то небылицы. Но когда из-за кулис появились слуги с факелами, Яго и сам Отелло, Тарас сразу забыл обо всем.

После приветственных аплодисманов воцарилось напряженное молчание. Даже первые слова, сказанные мавром: «Tis better as it is» — «Так лучше...» — заставили всех насторожиться.

Публика рассматривала дебютанта. Это был человек среднего роста, довольно плотный, черные умные глаза блестя под большим коричневым лбом.

Олдридж был в бархатном костюме, шитом золотом. Костюм, ярко-красный, выгодно оттенял его темное мужественное лицо. На круглые щеки падали ясно-желтые блики от больших золотых серег. Актер был почти без грима — чернокожий играл чернокожего же!

Tis yet to know, —

Which, when I know, that boasting
is an honour,
I shall promulgate, — I fetch my
life and being
From men of royal siege...¹

Настороженность не проходила, еще непонятно было, хорошо это или плохо... Но с каким достоинством он произносил эти слова! В игре актера не было, пожалуй, ничего неестественного, никаких нарочитых эффектов.

Да и вел он себя странно на сцене, этот негр! Он всплескивал руками, поднимал их выше головы. Все это было тогда против театральных правил! Он даже поворачивался в профиль, становился к публике спиной и от этого только делался еще более похожим на живого чело-

¹ Когда увижу, что похвальба для чести не помеха, открою я, что царского я рода (англ.).

века. Монологи произносил в глубине сцены, даже шепотом.

Отелло попросил Дездемону итти за ним. Он говорил только: «Come!» Одно только слово «идем!» повторил он трижды, с разными интонациями, один только слог «come!» — и было в нем уважение и благодарность, сила большой любви, сила страсти в этом трижды повторенном слове.

В каждом движении Отелло были простота и достоинство. Поначалу казался он даже немного неуклюжим, жесты его диковатыми, без всякой грации... Но когда страсти разгорелись, эта кажущаяся неловкость исчезла.

В первом акте Отелло говорил тихо и спокойно. Но потом, когда он, лютый и гневный, требуя доказательств измены, схватил за горло Яго, Тарас Григорьевич невольно отшатнулся, откинулся назад, задев кого-то, сидевшего в ложе за ним.

Становилось радостно и страшно. Тарас уже не замечал, что язык непонятен, что актеры плохи. Его волновал каждый взгляд, каждое слово. Тарас никогда за всю свою горькую жизнь не переживал ни перед чем такого страха. Он знал, что Дездемона должна умереть от руки Отелло, любившего ее больше жизни, больше всего на свете, знал, но все-таки, все-таки...

Боялся, боялся и за судьбу самого Отелло, сжимал кулаки, встречая выход Яго... Вот, подкравшись к Дездемоне, Отелло всматривается в ее мраморное лицо, слабо озаренное светильником. Золотые отблески дрожали на его щеке. Печаль и гнев, любовь и подозрительность отражались на лице, в глазах, в дрожащих растопыренных пальцах.

Неуловимы звуки чужого языка! Но слова были тут не нужны. Отелло сидел на стуле подле Дездемоны и выпытывал, выпытывал, выпытывал правду — дрожащим от гнева, приглушенным голосом, — честный и доверчивый мавр стал лютым зверем.

Когда пальцы Отелло уже впились в горло Дездемоны, в дверь постучали. Еще раз. Сильнее и сильнее! Страшное молчание взволновало людей. Зала замерла, ни звука, никто не кашляет. А в дверь стучат, стучат, стучат...

Эмилия кричала за дверью:

— Мой господин! Эй, эй, мой господин!

— Что? Шум? Мертва? Нет, не совсем мертва.

Жесток, но милосерден все же я —

Я не хочу, чтоб больше ты страдала...

Так, так!

Он только что совершил убийство. Но и тени боязни не было в его обезображенном страстью лице.

Отелло прислушивался к стуку в дверь, прислушивался, будто удивленный, что кто-то посмел вмешиваться в его отношения с Дездемоной... Эмилия?

Мавр уже опустил занавеску алькова над мертвой подругой своей, над любовью...

Навстречу людям Отелло поднял руку. Широкий рукав упал к плечу, обнаживши ее. Пальцы мавра дрожали...

38

Напряжение в зале росло. Во время третьего акта в партере стало кому-то дурно. Люди забывали даже о жертве мавра, Дездемоне, — такое сочувствие возбуждал он к себе.

Под конец последнего действия люди уже кричали, вскакивали с мест. Только что упал со стуком занавес, и еще не спускали люстру, Тарас поднялся, чтобы не оставаться на людях. Не простился ни с графиней, ни с Федором Петровичем, кивнул заплаканным девочкам и выскочил в фойе.

Пробежав через наружную галерею, мимо кассы и буфета, возле которого во время спектакля уютились несколько заезжих помещиков, Тарас выхватил из рук у служителя свой кожан и, будто убегая от аплодисманов, загремевших в зале после странной тишины, выбежал на улицу.

Тарасу и теперь, в тишине сонных улиц, все будто слышался певучий голос негра, крик отчаяния: «Дездемона! Дездемона!»

...Шевченко, вне себя от потрясения, не замечал сильного ветра. Падал снег. Навдвигалась буря. Где-то над Финским заливом высеивались, наверно, штормовые сигналы.

Рассвет застал Тараса еще по дороге домой. Поэт иногда останавливался в подворотнях и, закрывая полами кожану зажженную спичку, пытался прочесть кучи потрепанной бурей афиши сегодняшнего спектакля.

Афиша начиналась так: «Первое представление на немецкой сцене известного африканского трагического королевского Бювентгарденского театра в Лондоне артиста и кавалера господина Айра Олдридж...»

Спичка гасла. Обрывки афиш рвались из рук, чтобы умчаться с ветром куда-то к заочневшему морю.

После спектакля Толстые, не найдя Тараса в Академии, заторопились к Знаменской гостинице, где остановился Айр Олдридж,—приветствовать гениального актера.

Роскошная гостиница стояла напротив вокзала Московской железной дороги. Освещенные часы на башне вокзала показывали третий час ночи. Граф смело остановился в вестибюле, не отваживаясь идти дальше, беспокоить в такую пору незнакомого человека.

— Пора бы и домой,—говорил граф.

И все же незваные гости, постучавши, вошли в номер. В комнате было уже немало народу. Всех привел сюда старый знакомый трагика пианист Антоний Контский, польский композитор, бывший пианист короля прусского и ныне частый гость в салоне у Толстых.

Все шумели, каждый говорил, как умел. Слова, русские, немецкие, французские, звучали в странном смешении. Актер по-русски не знал ни слова.

Айра, увидавши детей, обернулся к новым гостям. Белоснежный жилет подчеркивал золотистую темноту его лица. Негр обратился к графине, к графу, неловко топтавшемуся у двери, протянул руку Оленьке, и лицо его озарилось улыбкой. Еще вчера артист жалел, что все-таки приехал в эту страну. Его гастролям предшествовали затянувшиеся переговоры с дирекцией императорских театров; негра заставили играть с плохой немецкой труппой, ограничили сначала шестью спектаклями; загнали в театр с плохой акустикой и обязались платить всего-навсего по сто пятьдесят рублей за представление... Знаменитый артист боялся встречи с русской публикой, не знал, как его примут в незнакомой еще и, по всем слухам, будто бы дикой стране...

Катенька неожиданно очутилась в центре внимания. Негр случайно заговорил с нею. Девочка ответила по-английски, от общего внимания к ней сконфузилась и покраснела.

— Катя! Не жеманься,—строго одернула дочку графиня, и, как ни странно, это помогло девочке овладеть собой.

Вскоре Катенька вошла во вкус и еле успевала переводить по-русски и по-английски все, что хотели высказать гости и растроганный хозяин.

Наперебой обнимали актера, суетились возле него, заглядывали в лицо.

Старов, чудак, никогда не знавший меры в проявлении своих чувств, уже хватал за руки Олдриджа, чтоб поцеловать ему «благородные черные пальцы», и никому это не казалось смешным.

— Мы вас из Питера,—кричал Николай Дмитриевич,—мы вас из Питера скоро не вышустим!

— Переведите ему,—просил молодую графиню Олдридж,—переведите, что меня пригласили в русскую столицу на очень короткое время.

— Мы будем просить министра двора, чтобы приглашение продлили.—И Старов обратился к пианисту Контскому:—Антоний Григорьевич! Вы поддержите меня? И вы, господа?

Все снова бросились к негру, жали ему руки, отесняли суетливого словесника.

— Министр двора, граф Адлерберг,—кричал он,—удовлетворит нашу просьбу... Это благородный человек!

Актер, на радостях, угощал гостей душистым вином, привезенным из Франции, упрашивал графиню позволить Катеньке хоть один глоток чудесного напитка.

Катя впервые в жизни пила вино. Она и без того оьянела было от шума, смеха и общего к себе внимания.

Прощаясь, негр попросил Катеньку перевести его просьбу ко всем, почтившим его неожиданным визитом. Катенька не могла сразу понять витиеватую фразу. В глазах у нее огоньки люстр умножились до бесконечности.

— Не совсем понимаю...—мотала головой Катенька.

Олдридж повторил еще раз:

— Не разлюбите меня за темную наружность, подобную померкнувшей тени благословенного солнца...

Гости переглянулись.

Что это? Шутка? Ирония?

Кто знает! Зрители видели сегодня замечательного артиста, и никто еще не знал, что за человек стоит здесь, посреди комнаты, под хрустальной люстрой.

Поэт протянул к полке руку—за томом Шекспира; заметил следы пыли и достал из-под мольберта влажную тряпочку.

Перетирая книги, сердито ворчал:

— Уж этот мне солдат... До чего не люблю нерях...—хоть перетирать книги было у Тараса одним из первых удовольствий. Вот страницы доверчиво раскрываются, шуршат под пальцами, пахнет

книга кожей, краской и клеем. Этот запах поэт вспоминал и в далекой пустыне.

Тряпочка осторожно проходила по корешкам: «Мертвые души», «Губернские очерки», комедии Островского. Вот летопись — Самийла Величко, Самовидца, Грабянки, несколько изданий «Слова о полку Игореве», сборники народных песен и еще множество книг и журналов. И библия, единственная Тарасова книга — спутница в поездке к мертвому Аральскому морю.

Шевченко вышел на лестницу — вытряхнуть пыльную тряпку — и снова взялся за Шекспира. Все три дня, после спектакля, тянуло к знакомому тексту. Встав у огня, поэт раскрыл книгу наугад.

За этот выступ встань; придет он скоро,

Ты шпагу обнажи и метко бей.
Скорей, скорей! Не бойся: я тут близко.
Здесь — возвышенья или погибель;

Сильней свою решимость утверди!

Растер я прыщик до горенья,
И он распух. Убьет он Кассио
Иль Кассио его, или друг друга —
Все мне на пользу...

...В дверь постучали.
Тарас думал, что это Васька. Паренек давненько не приходил.

— Там не заперто, — крикнул.
Вошел Николай Дмитриевич.

— Наконец-то я вас, Тарасенька, застал. Где пропадали?

— В библиотеке, в натуральных классах. А что?

— Сегодня надо в театр. Анастасия Ивановна просила...

— Снова Олдридж?

— А то кто же? Я ведь там у него в театре, знаете, и днюю и ночью. Вчера так не терпелось — скорей на спектакль: пришел раньше. Чудно! Сколько живу на свете, впервые попал в театр, когда в зале еще никого не было... И страшно, знаете! Да вы не смейтесь... И, как вы думаете, кто приходит в театр раньше всех? Раек. Оттуда долетает первый шум: люди спешат захватить лучшее место! А в зале — темно, люстры еще не спущены... Только за занавесом кто-то кричит плотнику: «Сегодня в третьем акте — гром и ветер»... — слышны таинственные стуки, и в оркестре блуждают феерические огоньки. Темные тени. И точно ветер проходит по зале, колеблет бархатные

портьеры в ложах... А я сижу и жду, когда наступит назначенное время, зашуршит занавес и выйдет на сцену божественный арап! А то, знаете, Тарас Григорьевич, пришел я сегодня днем на репетицию... Странно! Олдриджа и не узнать! Бормочет что-то себе под нос, чтоб не тратить сил, а всем артистам приказывает читать во весь голос. Сердитый такой. Вышел на сцену, все кланяется ему, даже старенький суфлер поднялся в будке, чуть было свечей не погасил. Мечется негр по сцене, в мягопых замшевых башмаках, вызывает одного за другим действующих лиц, чтобы хоть посмотреть на них перед репетицией: «Гонерилья! Корделтия! Граф Глостер! Эдмунд!» — Выходит эдакий «граф Глостер», пьян-пьянешенек, на ногах еле держится, смотрит на черное лицо, и становится ему страшно-страшно, зубы у негра блестят, глаза горят, сердит... «Ну, — говорит Олдридж, — надеюсь завтра видеть вас на репетиции вполне здоровым...» — и вдруг улыбается. А граф Глостер кивает головой, а на глазах слезы у старого дурака!

Старов вытащил платок.

— А посмотрели бы вы, Тарасенька, как он мучит их: каждую сцену заставляет повторять по десять раз. Кричит на всех! Но зато если заметит удачный жест, услышит искренне сказанное слово, благодарит, благодарит, выучил даже по-русски: «Очень хорошо! Очень спасибо!» — а через минуту снова кому-нибудь выговаривает. Да иначе и нельзя! Он играет роль сотни раз, привыкает вести эту вот сцену стоя, ну, на второй, скажем, половице от рампы, на другую он уже не перейдет! Странно, правда? На репетиции он часто обращался к суфлеру... Посмотрели бы вы, Тарасенька, как тот старичишка прижимался к своей будке! Суфлер наблюдал уже на трех-четыре спектаклях, как неистовый душил перепуганную фразу Поллерт, несчастную Дездемону! Старик всю жизнь слышал на сцене деланный пафос, проходили пред ним бледные страстишки, такие же правдивые, как и полотняные деревья, и тряпичные облака или солнце, сделанное из масляной лампы... Он за всю свою жизнь словно и не видел другого света! Этот, понимаете, размалеванный купол неба, быть может, дороже суфлеру всех просторов и глубин, всех возможных небес. Там не бывает и настоящего ветра! Того самого, которого и я, Тарасенька, боялся в течение всей моей жизни. Вы — первый обветренный человек, которого я встретил на пути.

— А вы хотите в мир искусства, на сцену, загнать ветер... загнать на сцену ветер и настоящие облака? Или этого хочет Олдридж? Зачем?

Старов, утомленный своим же рассказом, утирал глаза.

— Олдридж? Ба, Тарасенька, ведь я забыл сказать самое главное... Ищу вас три дня и три ночи и не могу найти. Вы же не знаете, где мы были после первого представления Айры?— и Старов рассказал о визите к артисту.

Тарас даже крикнул от досады: пропустить такой случай! Эх!

— Чего же вы взгрустнули, Тарас? Вы-то, я думаю, не очень и увлечены талантами божественного арапа. Я вот никак не приду в себя, а вы...

— Каждый волнуется и переживает, Николай Дмитрич, по-своему. Вы вот — места себе не пайдете, а меня высокие и святые переживания, божественное наслаждение — тянут к работе. Хочется сделать что-нибудь такое же неповторимое и величественное...

Тарас говорил, говорил, только не признавался, что не пошел на второе и третье представление «Отелло» из-за безденежья. Билет пришлось бы покупать у перекупщиков, заплативши раз в двадцать дороже: на представления африканского трагика повалил весь Питер.

— Значит, вы, Тарасенька, жалеете, что не были с нами у негра? А я искал вас, искал, чтоб поставить вашу подпись под просьбой о продлении гастролью Олдриджа.

— Известное дело, жалею.

— Ну, так мы сейчас вот и пойдем к нему, к негру.

— Не пойду.

— Почему?

Тарас попробовал было объяснить, но словесник не понял.

Шевченко не раз переживал неприятное чувство, когда, после возвращения в Петербург, у Толстых, у Борлаживских, у Полонского, всюду появлялись любопытные барыньки — поглазеть на него самого, словно на диво какое. Он чувствовал себя таким же черным человеком, как и приезжий негр!

Тарасу почему-то пришли еще в голову эскимосы: их показывали за деньги на берегу Невы, — и он боялся: негр, Айра Олдридж, может подумать, что два старых бездельника пришли к нему так просто — посмотреть вблизи на черное лицо!

Музыканты — А. Контский, А. Серов. П. Лобри и много других, художники и просто любители театра, — был между ними и инициатор этого дела — Старов, — подали министру императорского двора графу Адлербергу общую просьбу:

«Мы, нижеподписавшиеся, никогда не дерзнули бы беспокоить ваше сиятельство, если бы не были вполне уверены в искренней, возвышенной любви, которую осенены все отрасли изящных искусств, монаршею волею вверенные просвещенному вашему попечению, если бы мы не были уверены в милостивой готовности вашей выслушать каждого и во всяком деле. Так и ныне осмеливаемся прибегнуть к вашему сиятельству с убедительнейшей просьбой, не благоугодно ли будет исхотайствовать высочайшее соизволение ангажировать еще на возможно большее число представлений африканского трагика Айру Олдриджа, который, как вам известно, не был приглашен дирекцией Императорских театров на дальнейшее продолжение дебютов своих, несмотря на то, что мог бы еще некоторое время провести в СПб, и, доставляя здешней публике отраду для ума и сердца, содействовать общей благой цели просвещения...»

Музыканты и все, кто подписывал прошение, ждали, затем справлялись в дворцовой канцелярии. Но ответа все не было.

По свежему снегу, вечером, возвращался Тарас Григорьевич из публичной библиотеки.

У Казанского собора услышал знакомые голоса, остановился. Под ажурным узором высокой решетки, под фонарем стояли в спорили о чем-то — братья Курочкины, Кулиш, Гулак-Артемовский и еще какие-то молодые люди.

Тарас подошел ближе, и в пылу спора его никто не заметил.

— Вы, господин Кулиш, — говорил Василий Курочкин, поэт, младший брат корабельного лекаря Николая Степановича, — вы, господин Кулиш, черствый человек.

— Может быть, может быть... Но, все-таки, переводчику надо переводить, а не сочинять... Ну, скажем, сейчас, мы смотрели в театре Шекспира, и, представьте, что осталось бы от пьесы, если бы ее кто-нибудь перевел так вот, как вы переводите своего Беранже? Я боюсь: ваш обязательный братец, Николай Степанович, переводит величайшего Шевченко. Не

получатся ли из неподражаемых малороссийских стихов какие-нибудь бледные перепевы? Признаться, ваши переводы из Беранжера...

— Дай бог всякому поэту таких переводчиков, как в России — у несравненного Беранже! — сказал Тарас, вступая в освещенный круг под фонарем. — Собеседники от неожиданности расступились, будто расчищая для поэта дорогу. — Вы только послушайте, — продолжал Тарас, — только послушайте, как звучит перевод:

Оловянных солдатиков строим
По шнурочку равняемся мы.
Чуть из ряда выходят умы:
«Смерть безумцам!» — мы яростно воем.
Подымаем бессмысленный рев,
Мы преследуем их...

— Да тише, ты! — зашипел Кулиш. — На улице — читать такое! С ума сошел. Мало тебе хлопот?

Приятели улыбнулись. Василий Курочкин взъерошил черную бороду и хотел было читать свой перевод дальше. Но Кулиш стал прощаться:

— Мне, господа, пора...

— Ну, что ж...

— Я, Тарас, должен у тебя кое-что спросить.

— Слушаю.

— Конфиденциально.

— Простите, друзья! Кулишу что-то от меня нужно.

Тарас и Пантелеймон отошли от фонаря к тротуарной тумбе.

— Ты не надумал ли... — начал Кулиш. — Не надумал ли убрать свою подпись под протестом против журнала «Иллюстрация»?

— Нет.

— А если я очень попрошу?

— Да хоть бы и отец родной встал из гроба, я бы и его в этом деле не послушал!

— Последнее слово?

— Нет, — ухмыльнулся Тарас. — Я еще хочу спросить тебя, когда ты, наконец, уберешься из Питера? Ты уезжал будто? Упаковывал мебель? Продавал типографию?

— Передумал! Передумал... Я, кажется, Тарас, не смогу никогда, никогда не смогу покинуть этот город.

— Я так и знал. Значит: «О, дивный град! О, чудо света! Тебя волшебник создал!» Смотрю я на тебя, Кулиш, человек, будто, как человек, умец, талантлив, расчетлив, сметлив, а что у тебя в сердце, что у тебя в голове, никак не пойму... из

одного рта у тебя — и тепло и холодно! А ты умен, Панько, умен, дай бог всякому! А сердце...

— Я своего сердца сам не знаю.

— Не знаешь? Ну, прощай, Панько. А то я снова Беранже читать начну!

— Прощай! — крикнул Кулиш, отступая в темноту.

— Странный человек, — пожал плечами Никола Курочкин. — Я когда-то лечил одного такого, — капитан у нас был, — лечил ему печень, а потом оказалось, что его недуг известен под именем мизантропии... Ха-ха! А человек этот Кулиш деловой. Мы поручаем его типографии свою «Искру».

— Справится, — сказал Тарас. — Он честный человек — в деловом отношении... — и предложил: — Идемте, братья, ко мне. Почитаем что-нибудь...

— Идем, идем, — отозвался Артемовский. — Что-то холодновато, снег. А у меня, знаете, горло...

— Да, горло драгоценное, — сказал Никола Курочкин. — Надо будет его сейчас чем-нибудь промочить!

И все двинулись по Невскому, через Дворцовый мост, на Васильевский остров — в гости к Тарасу — весело и шумно.

А Кулиш уходил от них. Натыкаясь на встречных, шел вперед и вперед, сам не зная куда... Строчка за строчкой, рифма за рифмой приходили к нему: «Ой, ходжу я по городу, великому, великому. Розказав би свое горе, та нікому, та нікому...»

43

Уходя от Шевченко, Никола Курочкин украдкой сунул ему в руку знакомую по виду белую тоненькую тетрадку герценовского «Колокола».

— Шкипер один привез, — шепнул Никола, — оттуда... Приятель один.

Как только гости вышли на лестницу, Тарас Григорьевич зажег еще одну свечу, поднялся в антресоли и, укутав шерстяной плахтой ноги, чтоб не дуло из окна, опускавшегося до самого пола, начал читать. Это был совсем свежий номер, начало листа 25, датированный 1 октября того же 1858 года, «Vivos voco!» — живых созываю! Колокол...

В самом начале было письмо к редактору, письмо из России:

«У нас все идет так дурно, что не знаешь, с чего начать. Все надежды на преобразование лопнули, как мыльные пузыри. Напрасно сохранять еще веру в Александра...»

— Сподівана воля,— ворчал Тарас.

«...Вот вам другой случай. Крестьяне г-жи Энгельгардт, С.-Петербургской губ., Лугского уезда, взбунтовались».

— Энгельгардт?— Тарас задумался.— Не его ли бывшего папа крепостные?

«...Взбунтовались так, что предводитель дворянства Пантелеев перепорол всех их, от мала до велика; исправник поклялся им, что, невзирая на царя и бога, сотрет их с лица земли... а они все-таки бунтуют! Дело в том, что г-жа Энгельгардт хочет переселить их (по случаю предстоящего выкупа усадеб) на болото, а они — бунтовщики эдакие!— не хотят!..

«Вот вам третий случай. Судогодский уездный предводитель дворянства Задаево-Кошанский, по той же причине, как и г-жа Энгельгардт, задумал перенести крестьянские дворы на новые места... Крестьяне просили отсрочить переселение до конца уборки хлеба, чтобы успеть снять жатву с заселенных ими полей. Кошанский не согласился на это, а так как крестьяне продолжали просить, прибег к помощи земской полиции... 70 человек пошли искать защиты у губернатора. Тилчев оказал им защиту самую полную: перепорол их... выдал помещику главных зачинщиков и послал туда войско. Крестьяне были усмирены, но зато взбунтовался помещик: 5 человек из бунтовщиков отданы им в солдаты, а 9 семейств в числе 26 душ... сосланы в Сибирь!.. Землю, оставшуюся после сосланных, он отобрал себе, дома их сломал, места, бывшие под усадьбами, запахал так, чтобы и следа не осталось. Вот они, благородные-то дворяне!»

Шевченко перевел дух и потянулся к кружке с водой, чтобы успокоить расхолодившееся сердце,— вот она, Россия, все так же стонет... Да, стонет!— и Тарас вдруг рассердился сам на себя за неподходящее пышное слово. Люди мучаются, гибнут, а он: «Стонет»!

Перевернул страничку. И снова:

«...Правительство ничего не делает для обуздания свирепых и алчных помещиков...»

«...Александр II никак не признает... прав крестьян на землю...»

«...Бедные крестьяне, надеясь на его отеческую к ним любовь, ждут, что манифест о полном их освобождении некогда последует (слова из просьбы крестьян г-жи Энгельгардт). Ждите, бедные труженики! Не дожидаться вам этого дня: царь, тот самый царь, который в марте 1856 года говорил дворя-

нам в Москве — лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само-собою начнет отменяться снизу, тот же царь теперь надежду нашу на свободу называет и елемым толком и объявляет, что она вряд ли когда может осуществиться... На себя только надейтесь, на крепость рук своих, заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу! За дело, ребята, будет ждате да мыкать горе; давно уже ждете, а чего дождались?..»

Шевченко читал вслух и по несколько раз повторял одно и то же:

— Заострите топоры! Да за дело!.. За дело, ребята...

Накинув кожух, Шевченко сбежал вниз. Надо было с кем-нибудь поговорить, показать «Колокол», прочесть. Это же были его собственные мысли! Его призыв! Его слова!.. Но куда пойдешь? К кому? Вспомнился почему-то лишь Чернышевский, с которым познакомился мелком, в одной редакции, и случайно встречался в театре, на улице... Шевченко накануне прочел в «Современнике» его статью.

Чернышевский? Но где он живет? Да и как пойдешь к почти незнакомому человеку в такой поздний час? У него дома, поди, семья? Жена? А то и серденята?

Куда же? Куда пойти? И Тарас бежал по безлюдным улицам острова быстро, быстрее, быстрее.

Снова к морю. К омертвевшему заливу.

44

Семнадцатого ноября подул морской ветерок. Стало тепло. С крыш потекли ручейки.

Зимней дороги как не бывало! Дворники сгребали в кучу мокрый снег.

Набирая в калоши воды, Старов, Шевченко и Гулак-Артемовский по лужам пробирались к театру, через площадь — со стороны Поцелуева моста.

Этой дорогой проходили все трое, пожалуй, каждый вечер. Несколько дней Тарас за работу не принимался, и всю вину за безделье сваливал на учителя словесности. Семен казался в своей опере больным и тоже ходил — смотреть негра.

Приятели вели себя в театре довольно бурно. Их едва не выводили вон! Из ложи, где они сидели, слышны были восторженные восклицания, возня, шум и гам. Публика шикала. Друзья и знакомые дивились перемене, случившейся со степенным Тарасом.

Он обещал сдерживаться, но на следующем спектакле повторялось то же самое. Правда, если бы Семен и Тарас не столь увлекались, они и сами заметили бы, что шумят, собственно, не они, а за всех трех сразу — чужак Старов.

Даже в партере, когда, наконец, учителя все-таки просили прочь из ложи, этот неуемный человек вскакивал с места, в забытьи хлопал по плечу сидевшего перед ним чиновника, ненароком вытаскивал платок из кармана у незнакомого соседа, чтобы отереть лоб и глаза. Даже в антрактах, когда зрители выходили в фойе, он оставался на месте. Горячее масло со спущенной люстры брызгало на фрак, — поэтому-то из партера все уходило, — но Старов не замечал ничего...

В одном из антрактов, оставивши приятелей, Тарас Григорьевич вышел на свежий воздух.

Над городом спускался туман, густой, всепроникающий. Высокий купол Марининского театра-цирка терялся в нем. Большого императорского, в котором шел Семен, — по ту сторону площади, — не видно было вовсе.

Вдоль стен Марининского, как и всегда, стояли вереницей извозчики — на гитарах и рыдванах, барские кареты и коляски — на полозьях, на колесах.

Кучеров подле них не было. Лошади фыркали, били копытами, рассыпая брызги, но двинуться никуда не могли, стояли тесно.

Сквозь космы тумана по углам площади видны были языки огня. Кучера, ожидая конца спектакля, грелись у костров — под специально устроенными круглыми навесами, с отверстиями в фигурных кровлях. Эти кучерские беседки были не похожи ни на какие другие столичные сооружения, без них нельзя себе даже представить пейзаж старого Петербурга...

Подойдя к одному из навесов, подпертых тонкими железными столбами, Тарас Григорьевич залюбовался мягким рисунком, завуалированным туманом и дымом костра. Все было как на хорошей гравюре аква-тинта.

В полосу дрожащего света выплыла лошадиная голова, к теплу костра. Круглая тонкая дуга висела над ней нелепым пямбом. В беседке было удивительно тихо. Люди тянулись к огню озябшими руками. Те, что были ближе к пламени, становились на колени. Здесь же грелись собаки.

Обычного гадежа не было. Шевченко услышал знакомого, басовитый мальчишеский голос.

Это был кучер Васька. Он сидел на корточках у самого огня и рассказывал третий акт «Короля Лира».

Васька, очевидно, тоже только что спустился из райка, — рассказать знакомым, что пришлось увидеть на сцене. Пересказ получался довольно своеобразный: Васька не знал ни шекспировского текста, ни, разумеется, английского и немецкого языков, на которых шел спектакль...

По Петербургу, даже среди простолюдинов, болтали о приезде негра всякие чудеса, и слушателей собиралось в антрактах у костра немало. Покамест повар Спиридон стерег в райке удобное место возле барьера, Васька рассказывал об изгнанном из дому короле, о неблагодарных дочках, о безлюдной степи, где в грозу блуждал безумный Лир.

Тарас, прислонившись к железному столбу, слушал, не пропуская ни слова. Рассказавши о короле, Васька продолжал с важным видом о негре...

— ...И вот, братцы, родился у того негрятянского пастора, попа, то есть, по-нашему, Дэннэла Олдриджа, сын Айра... И суждена ему была замечательная жизнь!

45

Надо было навестить Марину.

Хотелось поговорить с ней, как и прежде. Но... говорить придется о Ваське, чтобы убедиться во всем самому, убедиться до начала переговоров с Ганной Гавриловной.

Ехать к Борлакивским не хотелось. Но все-таки собрался.

На одном из перекрестков, когда Тарас вышел из темноты Васильевского в «солнечный свет газа», его обогнала публичная карета — омнибус.

Тарас крикнул «эй!» — и карета остановилась.

Это был старинный рыдван, грязный, большой, запряженный двумя клячами. Омнибусы должны были ходить по расписанию, но редко двигались с места раньше, чем рыдван битьем набивался людьми. На остановках оборванные кондукторы зывали новых пассажиров...

Тарас едва успел войти, карета тронулась с места, грохоча по торцам железными шинами. Вслед за Тарасом на ходу вскочил какой-то приказчик и закричал кондуктору:

— Эй! Слышь, ты... голова с мозгом! Деньги на!

Подав свой гривенник и Тарас. И закурил носом. В карете нестерпимо воняло чесноком.

Масляная плашка бросала тусклый свет на стенки омнибуса, на лица пассажиров.

На узенькой скамейке, наискосок, покачивался какой-то негоциант, в пестром пальто-пальмерстон, и переговаривался с бородатым апраксинским купчиком: что-то такое — о казенной поставке живого скота. Двое мастеровых дремали в уголке. Ехали, очевидно, по очень спешному делу, — плата за проезд была для рабочего человека непомерно высокой.

Тарас хотел было заговорить с ними. Но вдруг кто-то окликнул его:

— Тарас Григорьевич?

Шевченко обернулся. Сбоку, совсем рядом, с пристальностью близорукого человека, присматривался к нему очень бледный, как и все рыжеватые люди, высоколобый молодой еще человек лет тридцати.

Щуря голубые глаза, он переспросил:

— Вы ли это? И не смóтрите?

— Николай Гаврилович? — и Шевченко привстал, узнавши Чернышевского, руководителя критического и политического сиделов в журнале «Современник». — Вы не то похудели, не то очень устали...

— Устал. И работаю много... — и, смутившись, прибавил: — Да и... родился у меня второй сын, Мишка!

Тарас взял Чернышевского за руку и не сказал ничего. Казалось, с этим рассеянным и застенчивым человеком можно засесть где-нибудь в укромном уголке и долго, хорошо молчать, думая о своем, быть может, об одном и том же.

— Жена моя, Ольга Сократовна, хворала, голубочка, всю осень. По ночам над нею сидел... — говорил Чернышевский отрывисто и как-то связанно, робея перед малознакомым, хотя и располагающим к себе человеком. — И, вы знаете, Тарас Григорьевич, не сплю и все думаю: неужели оставит меня? Сейчас ей много лучше, совсем хорошо. А я устал, вот вы меня и не узнали.

— Еще раз прошу простить.

— Да-с! А я человек подслеповатый, но вас, Тарас Григорьевич, сразу приметил. Ваша фигура для Питера не совсем обычна.

Завязывался разговор. Шевченко уважал мужественного и, как оказывалось, нежного и любящего человека; в последние дни увлекался его сочинениями, дочитавши совсем недавно «Очерки гоголевского периода русской литературы»... Шевченко расспрашивал о новостях в редакции «Современника» и думал о семье, о большом счастье этого нескладного юноши. Чернышевский рассказывал про свою

серию статей «Об устройстве быта помещичьих крестьян...». И вдруг вспомнил.

— Ба, Тарас Григорьевич! Я позавчера получил письмо из «Русского вестника»... Не знаю, с вашего ли согласия, но Кулиш прислал туда отдельное заявление деятелей вашей милой Украины и просил присоединить к протесту против грязных человеконенавистников. Но... я не знаю: стоило ли... это делать? Письмо мне не нравится.

— Не читал. Моя подпись будет в вашем журнале в следующем номере.

— Ну-да будет... Но только господин Кулиш просил вашу же подпись поставить и под этим открытым письмом.

— Я не поручал ему! Как же это?

— Да-с, там есть подписи вашей обаятельной писательницы Марко Вовчок, Костомарова, Номиса...

— Но ведь Марко Вовчок и Костомарова пет в Петербурге!

— Не знаю.

— Я сейчас же пошлю депешу в редакцию... Успею? Номер-то журнала выйдет недели через две?

— Нет-с. Этот номер, Тарас Григорьевич... этот номер «Русского вестника» сегодня-с уже пошел в машину, в печать!

46

Кулиш сидел на диване, рядом с Ганпой Гавриловной, глядел ее руку.

Ганна выглядела сегодня особенно привлекательной, в новом платье из белого муселин-вапера. Юбка была сделана в три гофрированных тюпики, а на каждой из них красовалось по большому банту. Кулиш не сводил с Ганны восторженных глаз, не забывая, впрочем, и некоторой осторожности.

— И никогда бы я не жил в этом Питере, кабы не обязанность наша — не оставаться от высшего света и его требований... И еще, — если бы не вы, Ганна...

Борлакпвская вздохнула.

— Я? — И вдруг заговорила зло, с упреком. — А почему ушел вчера вечером? В такую минуту? Ты только поучать горазд...

Но Кулиш продолжал тем же тоном:

— Если бы не вы... Жил бы себе на хуторе, хозяйничал бы. А какое наслаждение, Ганна Гавриловна! Едешь по степи, ровной, как стол, дышишь полной грудью, доверчиво дышишь и... не хочешь ничего! Ведь это же замечательное состояние души — ничего не желать!.. Ничего не помнишь, ни о чем не жалеешь, чувствуешь

только, что жизнь, то есть простое ощущение бытия,— это самый драгоценный дар провидения, источник всех радостей, всех поэтических движений сердца. Это ощущение крепнет всегда под влиянием животворящих порывов степного воздуха и полнейшего произвола во всех своих поступках. Кабы только не было на сердце печали, хвалили бы господу милосердного, любясь его творениями, и все! А здесь, в большом городе, отказавшись от простой природы...

— Тарас Григорьевич!— неслышно войдя, доложила Марина.

— Тьфу, цур тебе пек!— отодвинулась Ганна от Кулиша. Сколько тебе раз говорила: не ходи по ковру! ходи так, чтоб слышно было на весь дом! топай громче! И проси! Проси пожаловать.

Кулиш неловко поднялся с дивана.

Марина, топая сапожками, медленно пошла к двери.

— Давно не был. Пришел все-таки.

— Что бы это значило?

— Увидим. Увидим.

47

— Что за неуживчивый человек, ей-богу! Только пришел, и сразу «как той Пилип з конопель», с нападками...

— Нет, ты мне, Пантелеймон Александрович, объясни, что это значит?..

— И чего бы кричать? Завтра зайду к тебе, в Академию, занесу текст, и сам увидишь, что все ладно.

— Почему же было не показать мне письмо?— снова крикнул Швеченко, сжимающая тугие кулаки.

— Ну, вот, опять кричишь! Я, может, не успел. Журнал сдавали в печать... Да завтра же принесу: увидишь сам!

— Ну, ладно. Да смотри! Я теперь не поддаюсь на ичелкин медок: знаю, что у нее жальце в запасе.

Тарас присел на стул.

— Я к вам на минутку, Ганна Гавриловна. Дело есть. Собственно, даже и не к вам. Мне нужно... поговорить с Мариной.

Кулиш и Ганна переглянулись. Борлакивская удивленно улыбнулась и спросила, томно склоняя голову:

— Разговор не любовный, надеюсь?

— Любовный. Не подумайте только...

— Ясно, ясно!— засмеялся Кулиш.— Вон куда гнет!

— И как же, Ганна Гавриловна?

— Как? Да пожалуйста, прошу вас.

— Спасибо.

— Но, с условием.

— С каким?

— Сегодня у меня гости. Оставайтесь и вы.

— Видите ли...— замялся Тарас.— Я собирался в театр.

— Опять негра смотреть? Ты знаешь, Тарас, он и меня так увлек, так взволновал, что я решил взяться за переводы Шекспира: по-малоросийски его давненько переложить!

— Что ж... Дело хорошее! Хорошее дело...

— Ну, и как же, Тарас Григорьевич?— снова вмешалась Ганна.

— Что?

— Оставайтесь?

— Придется.

— Поужинаете с нами, прочитаете что-нибудь, а потом и с Мариной поговорить можно будет. Только не переходить границы!— и Борлакивская погрозила пальчиком.

— Добре,— с досадой сказал Тарас.

48

Борлакивская была нарядна и мила,— встречала гостей, представляла всем своего родителя:

— Знакомьтесь с моим приезжим папенькой: ротмистр в отставке, полтавский помещик Таволга, Гаврила Мартинович.

— Очень приятно.

И всюду звенел тенорок франтоватого и юркого ротмистра:

— Имею честь. Таволга. Имею честь! Имею честь!

Вокруг Тараса и Кулиша собирался небольшой кружок. Речь перешла от Олдриджа и украинских переводов Шекспира— к театру вообще, к особенностям неискушенного украинского зрителя. Кулиш старался доказать, что «купеческие комедии Островского трудно понять малороссу».

— Ей-богу же, трудно! Наш-то, украинский купец, не обособился так от панов, как великорусский...

— А при чем паны?

— Да как же? Комильфо претало у нас ко всякому благородно рожденному человеку. Дело-то в том, что украинский панок, или горожанин, или казак равным образом чувствуют себя людьми. Не видно, как в Московщине,— это купец, а это мещанин, а это...

— Значит: вот это — пан, а вот он — крепак. Все равны? Чепуха! Чепуха!

— Я не говорю о крепостных.
 — А я говорю! Да и понятно: твой-то собственные крепостные не похожи на тебя самого... Ну, да ладно! Но я так и не понял: зачем — разговор об Островском?

— Он украинцам непонятен!
 — Значит, я не украинец? Ну-ну!
 — Тут дело, понимаешь...
 — В чем бы тут ни было дело, ты плетешь чорт знает что! Чорт знает...
 — А уважаемый поэт, я вижу, не может легко мириться с людьми, думающими иначе, нежели он?

— Да не могу же! Как же я буду мириться? А что касается Островского... большинство-то его пьес — это умная и благородная сатира, как и в «Ревизоре» незабвенного Гоголя или в картинах, царство ему небесное, друга моего Федотова...

— Но на кого сатира? На презренных купчишек? Ну, знаешь...

— Сатира на средний класс! А на порски да недостатки нашего высшего света, я думаю, не стоит и внимания обращать. Это народец — немногочисленный, нравственные недуги панства очень уж застарели... А старые болезни, сам здорово знаешь, если и можно исцелить их, то лишь героическими мерами! Кроткий способ сатиры здесь бессилён... Нужна хирургия: нож, топор... Да, да! Топор!

— Уговариваешь?
 — Нет. Кого же? Тебя? Да тебя не проймешь ничем... А еще говорили когда-то: «горячий Кулиш».

— Горячий и есть, Тарас.
 — Внутри лишь, как я понимаю.
 — У меня, — прервал его Кулиш, — когда я учительствовал в луцкой гимназии, случилась некоторая баталья с директором. Ну... попалел я ему бог знает чего. А он и говорит мне, что придется, мол, нам расстаться, ибо он, мол, не любит горячей похлебки, то есть кулеша... И, вы знаете, что я ему ответил?

— Ну?
 — «Не любите? Горячего? — сказал я ему. — Но собаки-то и вообще не любят горячего!» Каково? Значит, ничего удивительного нет...

— Конечно, нет. — ехидно заметил Шевченко. — Нет... Только слышу я все это от тебя чуть ли не в сотый раз! Сколько же можно хвастаться метким словом? Идем лучше в залу! — и ухмыльнулся в седоватый вздыбленный ус.

В зале было полно гостей. Сидели все еще отдельными компаниями и, в ожидании ужина, вели вялый разговор.

Веселее всего было, наверное, молодым людям, окружившим отставного ротмистра Таволгу, родителя хозяйки, приехавшего к дочке «на покой».

Он рассказывал нечто занятное:
 — Что бы ни говорили про ученых, а они, в сущности, добрые малые. Когда я был в Лондоне на выставке, я видел там, представьте себе, живую искусственную рыбу. И что же вы думаете...

Говорил он на странном наречии — смеси французских, русских и украинских слов. Среди молодых людей, с нескрываемой насмешкой слушавших болтливого старика, была и внучка его, племянница Борлакивской, учившаяся в Питере, в Смольном институте благородных девиц, одна из учениц и поклонниц Николая Дмитриевича Старова. Звонкий голосок ее звучал громче всех.

Кулиш подошел к ней.
 — Здравствуйте, моя милая барышня. Давно не имел счастья видеть вас. Не выпускают отсюда? А я, знаете, помню, как еще ваша тетя, Ганна Гавриловна, училась там, и я, бывало... — и вдруг перешел к другому. — Спойте нам что-нибудь, Ясочка.
 Яся сделала книксен. Присела безукоризненно, показывая добрую институтскую выучку.

— Их, вижу, не хуже нашего брата солдатика артикулам обучают, — заметил Тарас, обращаясь к Ганне Гавриловне.

Борлакивская поморщилась.
 — Это я, простите, пани Ганна, из-за недостатка светского воспитания плету бог знает что... — но колючую фразу не кенчил. Барышня, поправивши на кринолине складку, запела. Голос у нее был сильный, красивый.

Гости пододвинулись ближе. Яся запела французский романс. Потом, по знаку тетушки, начала украинскую, Тарасову любимую: «Ой, зійди, зійди, зіронько вечірняя»...

Тарас Григорьевич насторожился. Но песня на сей раз ему не понравилась — без чувства, без души, и очень обрадовался, когда, неизвестно откуда взявшись, начал подтягивать замечательным басом и сам хозяин, Григорий Митрофанович.

Когда институтка кончила, Кулиш снова подошел к ней и, слегка картавя, поблагодарил:

— О, господи, пошли сему ангелу счастья,— и помапал к себе Тараса.— Иди, побеседуем с нашей очаровательной землячкой.

Тарас нехотя подошел. Яся защебетала, обрадовавшись вниманию прославленного поэта, хотя, правда, она ни за что не рассказала бы о нем у себя в Смольном, в институте благородных девиц, потому что это был, как никак, муж и ц к и й поэт.

— Вы Глинку бы... спойте что-нибудь...— из вежливости обратился к институтке Тарас.

— По-русски? Не умею, сударь. В институте обучают французским романсам, здесь — у тетюшки — малороссийским. А по-русски негде и научиться.

— Это в Петербурге-то? — изумленно спросил Тарас.— Чудася!

Кулиш тем временем отошел. Пробираясь мимо Борлакивской, он будто невзначай нагнулся и шепнул ей, указавши глазами на Тараса и Ясочку:

— Чем не пара?

— Верно, верно.

— Подумай, подумай, Ганна. Дело стоящее! — и пошел дальше, в гостиную, где разглагольствовал пан Таволга, родитель хозяйки.

Говорил отставной ротмистр по-французски, но все будто на полтавский лад:

— Вы вот, молодые люди, танцуете всякие танцы... Не так, правда, как в наше время, но все-таки... А вот и не знаете, что каждый танец соответствует различным склонностям. Кадриль, например, отвечает характерам сангвиническим, галоп — желчным, вальс — холерическим, а полька есть принадлежность людей нервических и страстных...

Старый ротмистр был некогда отчаянным танцором, первым в уезде, а теперь, по слабости ног, мог только заниматься теорией любимого дела.

— Полька! Полька, господа, это есть подстрочный перевод любви! Первая фигура, называющаяся променадом, то есть, барышни мои, прогулкой, требует от вас беспримерного кокетства и грации. Это первое свидание двух влюбленных, неожиданно встретившихся в аллеях парка...

Таволга старательно пересказывал модный учебник танцев, известный и многим присутствующим кавалерам и дамам. Слушатели еле сдерживали улыбки.

А гости все прибывали. Пани Борлакивская старалась устроить у себя некое подобие великосветского салона и тащила к себе всех, кто мог быть интересен ее гостям...

Несколько дам сидели в правом углу украшенной вышитыми рушниками залы и с любопытством поглядывали на Тараса, переговариваясь о чем-то по-французски. Тараса Григорьевича это забавляло: дамы, разумеется, не подозревая, что мужичкий поэт их понимает, судачили об элегантно повязанном галстуке у бывшего холопа.

Вошла Марина. Начала сервировать чайные столы. Движенья ее были столь плавны и гармоничны, лицо было так привлекательно, что некоторые господа невольно даже привстали ей навстречу. Тарас тоже отошел от барынек и, устроившись в углу у разноцветной изразцовой печи, украдкой смотрел на горничную. Господи! Должно быть девушка снова болела, но глаза отвести от нее не было сил! На щеках вспыхивал болезненный румянец. Белая тонкая рубашка с прозрачной вышивкой собиралась на плечах и на груди в такие складки, какие не снились и самому Фидию...

Заметивши взгляд Тараса Григорьевича, Марина поклонилась ему, покраснела вдруг, хотела что-то спросить, но поспешила вон.

Кулиш наблюдал за ними.

— Гляди, какая любовь! Глаз не сводит! — шепнул он хозяйке.

Та отмахнулась. А когда чаепитие кончилось, перед самым ужином, подошла к Тарасу Григорьевичу и попросила прочесть что-нибудь, еще нигде не опубликованное. Присутствующие поддержали просьбу.

Тарас, выполняя обещание, не заставил себя долго упрашивать и, извинившись, вышел на минутку взять в кармане тулупа тетрадь.

Через переднюю пробегала Марина.

— Сердце, Марыся. У меня от Василия — несколько слов. После ужина скажу.

— От Васи? — вспыхнула Марина.— А я думала, я думала... Спасибо! Не оставит вас бог!

Шевченко вздрогнул, как от удара: Васька не соврал!

Девушка, с пылающими щеками, метнулась прочь.

— Зовут...

— Подожди же.

— Зовут! — и убежала.

— Глупая девка! — рассердился Тарас.

Пока поэт готовился к чтению, Ганна Гавриловна сообщала чопорным барыням редкостные кулинарные рецепты. Поме-

щца любила поестъ, изысканная кухня была ее, как говорил Кулиш, «пассивной».

— Дивлюсь я вашему вкусу, милая моя, но, как вам уж будет угодно, пожалуйста: «щука по-еврейски с шафраном и мушкатом» готовится очень просто. Пусть ваш повар порежет на куски фунтов пять щуки, посолит и даст ей часок полежать...

Дамы слушали с интересом.

— Потом пусть положит в кастрюлю, вольет туда четверть стакана укуса. Выдайте ему еще и кружку вина, пусть вольет, только постоит в кухне, чтоб, чего доброго, не выпил! Прикажите еще положить несколько пригоршней изюма, два-три ломтика лимона... Но смотрите, милая, чтобы не было на лимоне ни зернышек, ни этой горькой белой кожицы.

— Когда я была на выставке в Лондоне...— начал было Таволга, но Кулиш оборотился ко всем гостям:

— Можно, господа, начинать? Просим, Тарас Григорьевич!— и скороговоркой зашептал Ганне:— Не свою ли «Марину» будет читать Тарас... «Марину», написанную, кажется, еще в 1848 году, в ссылке, в Кос-Арале, и, конечно, до сих пор нигде не печатанную... Да и как ее, такую...

Тарас начал читать:

Неначе цвяшок в сердце вбитий,
Оцю Марину я ношу.
Давно б списать несамовиту,
Так шо ж? Сказали б, що брешу,
Що на панів, бачиш, сердитий,
То все такеє і пишу
Про їх собачіі звичаї...¹.

В дверях залы робко встала Марина. За нею, один за другим, появлялись и прочие слуги послушать украдкой. Как ни кивала им госпожа Борлакивская, не помогало ничто. Лакеи, истонники, поварята и горничные делали вид, будто не замечают ее устрашающих знаков.

Прогнать прислугу нельзя было. Приходилось тщательно скрывать обиденный домашний распорядок, потому что Тарас, после такой расправы, сразу перестал бы читать, и, кто знает, удалось бы или нет заманить его сюда еще когда-нибудь...

¹ Марину часто вспоминаю,— как вбитый в сердце гвоздь ношу. Давно бы рассказать, но знаю — все скажут — выдумкой грешу, зане господ не уважаю... И всякий вздор о них пишу — про их собачьи злые нравы... (Здесь и дальше перевод поэмы «Марина» принадлежит А. Глобе.)

І звір того не зробить дикий,
Що ви, б'ючи поклони,
З братами дієте...¹.

Тарас Шевченко читал перед шокированными господами, перед ошеломленными крипаками страшную повесть о ляхе-управляющем, который, тотчас после венца, взял невесту в барский дом, а мужа забрал в солдаты...

Неначе ворон той, летячп,
Про непогоду людям кряче,
Так я про слёзи та печаль...².

Заперли бедную Марину в палатах... «Приходила мати у нана просити. Звелі не пускати, а, як прийде, бити.— Що тут їй робити? Пішла, ридаючи, в село. Одним-одно дитя було, та й те пропало...»³.

Ганна Гавриловна не сводила с поэта глаз, изображая восторг, заламывала руки, прижимала их к груди, к покрасневшему лицу... Но когда Тарас остановился, чтобы перевернуть в тетради несколько страниц, Ганна Гавриловна воспользовалась молчанием и подхватила прерванную нить разговора — о щуке:

— Так вы же смотрите, милочка, чтоб не оставалось на лимонных ломтиках ни зернышек, ни этой горькой кожицы. Затем придется прибавить туда же полусваренных кореньев...

Борлакивская говорила вполголоса, но замолчала: Тарас Григорьевич продолжал чтение... Вот мать Марины «під тиню сіла і ніч цілісіньку сиділа та плакала. Уже з села ватажники ватагу гнали, а мати плакала, ридала. Уже і сонечко зійшло, уже й зайшло, смеркати стало, не йде, сердешная, в село, сидить під тиню. Проганяли, уже й собаками цькували — не йде та й годі...»⁴.

¹ Не делает и дикий зверь того, что вы, бия поклонны, творите...

² Как ворон каркает, летая, ненастье людям предрекая, так я про слезы и печаль.

³ За нею к пану мать ходила и поклонны била; велел пан принять батогами,— что делать с панями? В село, рыдая, побрела. Одна лишь доченька была, и та пропала...

⁴ Под тиню села и ночь до света просидела, проплакала. Вот из села скотину пастухи погнали, а мать все плакала, ридала. Давно и солнышко взошло, и вновь зашло, смеркаться стало,— а штобы! — не идет в село, сидит себе под ты-

Ганна Гавриловна, определенно, волновалась. Не сиделось спокойно и Кулишу... Люди, стоявшие у двери залы, замерли в неподвижном молчании. Старый дворový кузнец встал впереди других, и казалось, что он в своих сапожниках пойдет еще дальше. Страшно было смотреть на его бледное лицо, изъеденное копотью и жаром, на тусклые глаза и немые слезы в них. Тарас, читая, будто обращался только к нему, забывши про всех слушателей, сидевших в зале. Тарас волновался все больше и больше: он видел, как простые люди понимают его.

Господин Таволга досадливо хмурился. Тараса, как и вообще «мужицкого духа», он терпеть не мог, но теперь, опасаясь гнева дочери, любительницы «малоросийщины», сидел тихо, пораженный поведением своей Ганнуси: даже папи Борлакивская плакала.

Но когда обессиленный волнением Тарас вновь остановился, чтобы немного отдохнуть, Ганна Гавриловна, все еще всхлипывая, поспешно смахнула слезы и попыталась было продолжать свой рецит:

— ...А перед подачей к столу щука заливается соусом... Вот именно в этом соусе и скажется мастерство вашего повара! Это — полторы ложки муки, столько же масла, полложечки шафранного порошка, меда или же патоки...

— Патоки? — учтиво осведомился Тарас. — Может разрешите дальше? — и не ожидая ответа, направился к двери, встал синной к гостям и хозяйке, и уже дочитывал поэму перед самыми внимательными слушателями. Кузнец подошел к нему вплотную. Ухватился тяжелой рукой за спину драгоценного стула, и казалось, что он сейчас разломает его в щепки.

...Аж глядь, палаты зайнялися.

Пожар! пожар! і де взялися

Ті люди в бога? Мов з землі

Родилися і тут росли.

Неначе хвилі напливали

Та на пожар той дивувались.

Та й диво там такі було!

Марина гола нагола

Перед будишком танцювала

У парі з матір'ю! — і страх, —

З ножем окровленим в руках...¹

ном. Гнали, цепных собак с цепи спускали, — нет, не уходит...

¹ Смотри! Палаты осветились. Пожар! Пожар! Бегут, столпились, как выросли из-под земли, в испуге люди; там валит народа море, кто откуда. Еще никто тако-

Теперь уж и хозяйка и гости, даже сам Гавриил Таволга, слушали страшную поэму — кто с ужасом, кто с восторгом. Как же страшно звучали слова безумной Марины:

«— Хоча б памисто було взяти, оце б повісилась... от бачиш, тепер і шкода... Хоч топись! Чого ж ти, мамо моя, плачеш? Не плач, голубочко, дивись, це я. Мариночка твоя! Дивися: чорная змія по снігу лізе...»¹

Кулиш пробирался на цыпочках, ботинок его противно скрипел, подошел к Борлакивской, склонился к ее розовому ушку и зашептал:

— Отошлите свою Марину к соседям; это случайное совпадение имен, да и вообще... Поглядите, какими глазами смотрит на него! Она упадет сейчас на колени... Уведите скорее! Да скорее же! Не придется им разговаривать нынче... Свзтовство откладывается.

Ганна Гавриловна проворно поднялась и вышла. Тарас читал, даже не заметил легкого движения в зале.

...і пострибала через двір

У поле, виючи, мов звір.

Прошқацдібала стара мати

Свою Марину доганяти.

Пани до одного спеклись,

Неначе добрі поросята,

Згоріли біліі палати,

А люди тихо розійшлись.

Марини й матері не стало...

Уж весною, як орали,

Два трупи на полі найшли

І на могилі поховали...²

Тарас Григорьевич изнеможенно упал на стул. Дворня отступала за дверь под

го чуда не видывал: среди двора Марина голая, вот страх! — с безумной матерью плясала, и в окровавленных руках над головою нож держала...

¹ Монисто надо было взять: на нем повесилась бы... Скажешь, теперь нельзя, хоть в прорубь лезь! Да что же ты так горько плачешь? Не плачь, голубка. Сядем здесь, — вот я, Мариночка твоя. Смотри, вон черная змея по снегу лезет...

² ...И за ворота побежала и в поле, воя, как сова или дикий зверь. А мать едва за нею, плача, попевала, свою Марину догоняла. Паны все в пекле испеклись на славу, словно поросята. Сгорели белые палаты, и люди тихо разошлись. Марины с матерью не стало... Уже весной, когда пахали, их трупы на меже нашли и в землю рядом закопали.

патисском хозяйки. Марины между ними уже не было. Кузнец со стуком поставил позолоченный стул и вышел последним.

Старичок ротмистр, пап Таволга, облегченно вздохнувши, покосился на поэта и снова продолжал:

— Что такое вальс, господа? Вальс? Это музыкальная поэма в сладостных формах... Вальс бывает живой и меланхолический, огненный или нежный, пастушеский альбо военный. Такт его свободен и решителен. Он — независим, как каприз!

50

Тараса уговорили остаться на ужин. Грицько Митрофанович старательно потчевал всякими дулишками, калганивками, варенухой и прочими настойками. Поэт несколько раз равнодушно выпил, но затем спохватился:

— Спасибо.

— Почему же? — спросил Кулиш. — Ты же еще не во хмелю?

— Я судьбою своею лян! Довольно с меня.

— А если я попрошу — за нашу дружбу выпить чарку?

— За дружбу? Дружба, она, видишь ли... Есть такая русская поговорка: «Дружбу водить — себя не щадить...»

Кулиш обиделся, встал и ушел на половину Ганны Гавриловны.

Борлакивский в тот вечер приставал со всякими напитками, как никогда. То надо было выпить со всеми гостями первую чарку за здоровье хозяйки. Кто же посмеет отказаться? Потом пристал со второй — за бога-сына и бога-отца; затем третью пили уже за троицу, четвертую — за четырех евангелистов, пятую — за пять частей света, созданных господом богом...

На этом, на «пяти континентах», Тарас и остановился. Наблюдал, как шестую рюмку пили за творца, сотворившего мир в шесть дней... Тостам и прибауткам не было краю. Появились там и двенадцать апостолов и, возможно, даже все сорок дней всемирного потопа: старый ротмистр Таволга не отставал от братов зятка.

Как только представился случай не нарушая приличия встать из-за стола, — Шевченко спросил у хозяйки:

— А нельзя ли хоть теперь поговорить с Мариной? Я пойду к ней.

— Одну минуточку. Извините!

Борлакивская вышла. Вернулась нескоро с виноватым лицом.

— Постарался! — сердито обратилась она к мужу. А затем и к Тарасу: — Вы

знаете, — недоразумение. Мы с вами Грицько Митрофановича не предупредили, а он взял да и отослал Маришку к моей тетке, на Крестовский, по делу.

Тарас поднялся из-за стола и, едва кивнувши всем, вышел прочь.

Кулиш, наблюдавший все это из-за двери, поспешил было за ним, таща за собой Ясочку, но в передней от поэта уже и след простыл. И одевався он, поди, на улице, не иначе.

— Досадно, — сказал Кулиш. — Досадно! — и почесал седеющий висок тонким согнутым пальцем.

— Имею честь! Ангаже... — кричал Таволга. И уже мчался по зале с какой-то девицей в модном платье из ма-де-суа.

Начинались танцы.

А на кухне, забывши свои обязанности, о чем-то спорили, тихо и горячо спорили слуги.

51

Утром почтальон принес последнюю тетрадь журнала «Русский вестник», в котором был напечатан протест передовой русской интеллигенции против клеветнической статьи в № 35 журнальчика «Иллюстрация»: «Западно-русские жида и их современное положение».

Раскрыв журнал, Тарас Григорьевич еще раз прочел текст, который ему показывали в редакции, еще перед напечатанием, когда украинский поэт присоединял и свою подпись к списку, открытому в следующем номере журнала.

«Поступок «Иллюстрации» и протест.

Русская читающая публика в недавнее время была свидетельницей факта, еще неслыханного в нашей литературе и возбуждавшего всеобщее негодование всех, кому дорога честь печатного слова...

«Иллюстрация» позволила себе не просто бездоказательное обвинение, не просто недостойный намек, который мог бы в жару спора вырваться у человека, увлеченного фанатизмом мнения или не вполне развитого в нравственном отношении...

Никакой честный человек не может оставаться равнодушным при таком позорном поступке, и вся русская литература должна, как один, протестовать против него...

Нижеподписавшиеся с негодованием протестуют против клеветы, до которой унизились одно из петербургских изданий»...

Письмо было большое и гневное. Подписали его сорок восемь виднейших дея-

телей русской науки и литературы. Среди них были все трое Аксаковых, известный переводчик Шекспира — Н. Кетчер, И. Тургенев, П. Чернышевский...

В конце была приписка: «Список этот остается открытым до будущей книжки «Русского вестника», в которой будут сообщены имена всех, кто захочет присоединиться к этому протесту...»

Бросив журнал, Тарас Григорьевич сердито сунул правую руку в карман и зашагал по комнате. Он все ждал Кулиша, который должен был принести текст призыва к протесту, отдельного «письма украинских» деятелей.

Чтобы заняться хоть чем-нибудь, достал из-под стола топор, кривое сосновое полено и взялся щепать лучину для растопки.

Стоял на одном колене, ударял топором сразу, затем осторожно откалывал щепочки, укладывал каждую у печки, на прибитом к полу листе железа.

Щепки получались легкие, пахучие. Топор с тихим звоном вгрызался в большой и липкий сук, твердый, красноватый, цвета хорошей семги, и Шевченко с большой силой бил поленом об пол, о железный лист.

52

Под ее окном знаки подавал каждое утро, как только брезжил рассвет.

Марина отвечала, из-за нестро расшитой занавески махала рукой, обещала прийти. Всякий раз Василий ждал в условленном месте, ждал до поздней ночи и уходил ни с чем. Девушку попрежнему держали взаперти.

Погода была плохая. Васька в садике, за хоромами какого-то добродушного старичка-генерала, промокал насквозь; а когда являлся ночью домой, грязный и жалкий, по приказу господина Болотова его снова тащили на конюшню.

— Угодишь ты на каторгу, Василий Митрич, — говорил ему повар Спиридон. — Ой, пропадешь! Вот и у меня был однажды случай, тоже из-за девицы, да!.. — и заботливо смазывал какой-то мазью иссеченное розгами тело.

После порки да после мази спина горела, парень всю ночь метался, стонал, — сказывалась и простуда, и розги, и тоска. На заре его будили к лошадям. А утром снова брел украдкой к соседнему дому и ждал, пока Марина улучит минутку и выглянет в окно.

Вечером, в саду, всякий раз выходил к нему старый камердинер генерала и, лю-

бопытствуя, спрашивал: «Что? не идет?» — и, противно подмигивая, уходил домой. Конюх прижимался к стволу яблони и так стоял, без мыслей и желаний.

Однажды, когда Ганна Гавриловна, Та-волга и Борлакивский уехали на представление Юлии Пастраны, Марина выбралась из дому. Перелезла через мокрый и скользкий каменный забор. Шла без дорожки, по вязкой после дождя земле.

Василий стоял на заветном месте. Шагов не слышал.

— Васенька.

Он обернулся, замер; затем бросился к ней, схватил за руки, прижал к себе ее теплое тело, прильнул к ней, чтобы согреться, набраться сил; грел руки под нарядной шубкой; смотрел ей в глаза, в лицо, в темноте ничего не различая. Пальцами, как слепой, проводил по еле заметной горбинке на переносице, по закрытым векам, по овалу щеки, нащупывал настороженно приподнятую бровь и замирал от восторга пред совершенством линий. Чуткие пальцы скульптора нежно и трепетно касались всего тела. Марина доверчиво прильнула к нему, но чувствовала холод от его мокрой одежды, и тоже начинала дрожать...

Что же это? Почему он молчит? Марина старалась увидеть в темноте его лицо, — исхудавшее, казалось ей, и злое, — и ждала... Чего? Она сама не знала — чего. Он должен был что-то сказать, что-то сделать, что-нибудь такое, такое... А он уже стоял, напуганный смелостью своих рук. Что с ним? Что говорит? Зачем по-детски простодушно уверяет снова, что сбежит с нею, сбежит далеко, где их никто не сыщет...

— Есть у меня, Марыся, один знакомый человек, шкипер голландского корабля... Обещает нас забрать с собой, как только вскрыется лед...

— Ты, Вася, начитался книжек, — говорила ему, а самой хотелось поверить, что все это случится, они уберут. Куда? Куда? Вот-вот — большая лодка в темном море, и он, уходя от погони, сильными взмахами весел гонит ее вперед и вперед. Василий где-то здесь, но она снова не может рассмотреть его. Ей очень холодно и страшно. Она пытается представить себе его лицо и вдруг почему-то видит... Тараса.

— Вася? Что же это? Что же это со мной делается? — она прижимается крепче, но становится еще холоднее. Пытается вспомнить что-то и не может. Снова ду-

мает о Тарасе. И ей кажется даже, что он сильнее Васьки, лучше и... моложе.

— Вася? Что же это? Васенька?

53

В мастерскую, запыхавшись, прибежала Оля.

— Ой, дядя Тарас!

— Что скажешь?

— Ой, кто у нас будет!

— Кто же?

— Скорей одевайтесь... сейчас придет!

— Да кто же?

— Олдридж.. Олдридж!

Шевченко сел на диван. Наконец-то!

— Дядя Тарас, да ну же! Мама прислала, чтоб живей. А вы сидите!

— Сейчас, детка. Подожди.

— Я и так жду.

Тарас подхватил на руки Оленьку и закружился с ней по мастерской, напевая легкомысленный брабантиский вальс, ударил по ручкам офортного станка, и они завертели мельницей.

У Толстых собралось немало гостей, но Тарас прошел с черного хода и, забравшись на укромную площадку лестницы, сидел в потемках и ждал.

Актёр позвонил у двери, как и обещал графине, ровно в семь. Услышав нетерпеливый звонок, Тарас поспешил в залу.

Думая, что опоздал, Айра влетел в прихожую вихрем, бросил седовласому лакею цилиндр и перчатки, сорвал с плеч широкополый плащ, на ходу приглаживал жесткие в мелких кудряшках волосы. Портьеры в прихожей, ветки цветов, все вокруг него колыхалось, как от ветра.

Артист раскланялся со всеми сразу, но каждому показалось, что он поклонился только ему, и никому больше. Это падо было уметь. Вот так Олдридж обращался со сцены к зрителям, согревая каждого своим огнем...

Старов, на правах старого знакомства, пожимал ему руки, кое-как вымучивая отдельные английские слова, выученные за последние дни. Напряжение связывало его, и Николай Дмитриевич даже не существовал.

Поцеловавши ручку графине и скорчивши смешную гримаску своему толмачу, Катеньке, артист направился прямо к Тарасу Шевченко.

Айра Олдридж уже знал о народном поэте, слышал кое-что и здесь, в Питере, и еще в Лондоне, случайно встретившись, перед отъездом в Россию, с Александром Герценом...

Айра знал поэта и по описаниям Катеньки, и сразу отличил среди прочих гостей,— быть может, по лицу, по усам и лысине, по костюму: Шевченко зашел к Толстым запросто, в чем пришлось, в пиджаке и домашней вышитой сорочке.

Некоторое время оба художника стояли молча, внимательно рассматривая друг друга — настороженно, недоверчиво,— тот ли это человек, образ которого заранее возник у каждого в душе?

Пред поэтом встал веселый и сильный мужчиппа, с искорками грусти в глазах. Протягнувши руку, Олдридж неожиданно привлек поэта к своей груди и рассмеялся, сам не зная чему. Николай Щербиппа, забившись в уголок, притих и наблюдал оттуда.

Забывши о зрителях, Айра и Тарас сели на узенький диванчик, смотрели друг на дружку и молчали. Хотелось высказать многое, но не было... языка.

На помощь пришла Катя. Познакомила и, как учтивая хозяйка, не отходила от них. Разговор, было видно по всему, предвиделся длительный. Айра спохватился было, вспомнил о хозяйке, о гостях, но вскоре снова забыл.

Катенька вторично пересказывала трагикуну все, что знала про горькую и героическую жизнь Шевченко. Затем переводила поэту рассказ Айры о его приключениях... Нашлось много 'общего.

Шевченко узнал о службе негра — в лакеях, ради искусства, и вспоминал, как и его самого — «казачка», крепостного слугу, секли за сожженные во время рисования огарки.

— Секут и поныне моих крепостных братьев, сестру.

— Секут нас всех,— согласился Айра.— Секут и мой черный, угнетенный в рабстве народ... Секут и меня самого. Да, да! Выдающиеся английские актеры до сих пор отказываются играть вместе с презренным негром! Да и ваш знаменитый Самойлов тоже не захотел выступать на одних подмостках с Айрой... Но меня все же постигла удача на этом свете, а не только, как моих собратьев, в царстве небесном: я единственный негр, с которым водятся белые, богатые и сановные люди. Меня почитают, плачут от сказанного мной слова. Уважают меня еще и... за деньги! Считаю богачом! И это,— золото! — причина тому, что не отворачиваются люди от цветного лица моего. Золото! Проклятье! Оно обеляет меня!

Тарас обнял арапа. Это показалось доверием, проявленным без размышлений, без дум...

Хотелось рассказать о многом. Айра потащил его в угол; говорил о встрече с Герценом, но толком пичего не мог рассказать; затем вспомнил бездомных и безработных американских актеров, клерков, матросов и рабочих, рассказал о восстаниях негров, о кровавых расправах с ними...

— Лицемерие стало девизом нашего времени! Американский сенатор Дуглас, прозванный в Штатах «маленьким великаном», едет на Юг, в хлопковые штаты, и распинается там за сохранение невольничества. Рабовладельцы, конечно, приветствуют его. Затем он едет на север, чтобы там выступать против рабства! И вот такой молодчик стал теперь кандидатом в президенты — на предстоящих выборах 1860 года! Негры проклинают его, а белые...

— Вот такие же белые пройдохи есть и у нас между панями и савонниками. Спорят об уничтожении крепостного права. Там распинаются, там протестуют, стараются угодить на всякий вкус. Создают новые губернские комиссии. Спорят, спорят, спешить им некуда. Но великие народы не хотят ждать: ты говорил о восстаниях невольников, а у нас они всюду, всюду крестьянские бунты. Призрак Пугачевщины еще стоит над Россией!

Катя не успевала переводить. Да и не понимала всего. На помощь пришла Оленька и переводила речь Олдриджа, запинаясь на каждом слове. Старшая так-сяк повторяла слова Тараса. Но вскоре девочки стали замечать, что собеседники все меньше и меньше обращаются к ним.

Лицо и руки Олдриджа помогали ему почти без слов передавать свою мысль, а поэт дивился понятливости негра, воспринимающего и его собственные, как ему казалось, не очень выразительные жесты и фразы. Он помогал себе скудным запасом французских слов.

Гости перешептывались, посмеивались. Напрасно Анастасия Ивановна пыталась отвлечь внимание, стараясь объединить всех общим разговором.

Заметив, что любопытные присматриваются к их красноречивой и довольно-таки потешной беседе, новоиспеченные друзья, обнявшись, стали ходить по зале, а потом, словно невзначай, скрылись в соседней комнате, пошли еще дальше, по ле-

стнице, и очутились в детской. Щербина пошел было за ними, но вернулся.

Опершись локтями на старинный виртовский фояль, Айра сидел и прислушивался. По углам что-то шуршало: в детской у Толстых был своеобразный зверянец, там жили морские свинки, белки, горлицы, ручная капарейка.

На рояле стояла свеча. Оба глядели на пламя. Вдыхали. Вдохнет один, потом другой. Негр улыбнется, блеснув зубами. И Тарас протянет к нему руку, а глаза увлажнятся слезой.

Первым спохватился Олдридж. Артисту нельзя забывать светских приличий.

Дунул на свечку, взял Тараса за руку и пошел вниз, в залу.

54

Художники бросили карандаши. Даже савонные старички, оставив карты, пришли послушать.

Олдридж читал отрывки из «Макбета». Каждое слово звучало мастерски, но, заметно было, актер чем-то озабочен, взволнован, что-то мешало ему.

И мне он также кровный враг.
Миг каждый

Его проклятой жизни
Меня разит, как меч...

Граф Федор Петрович спустился из кабинета, оставив работу, с руками, запачканными воском; слушал, поглядывая то на поэта, то на артиста... Добродушная хитроватая улыбка шевелила сухие старческие губы.

Ставши у входа, вице-президент, по-стариковски не очень церемонившийся с завсегдатаями салона, одетый по-домашнему: в бархатную шубку, подбитую тигристым мехом, — слушал чтение и жалел, что «Макбета» Олдриджу в Петербурге играть запретили.

Граф слушал. При его симпатиях ко всему английскому, это доставляло несказанное удовольствие. Тарас украдкой поглядывал на старика. Из-под нависших бровей серо-голубые глаза Толстого смотрели открыто и ясно. Ноздри чуть шевелились. Он был среднего роста, но так строен, что казался высоким, а спокойная благородная осанка его напоминала Тарасу портреты живописцев нидерландской школы.

Тихо было в зале.

К оружию, к оружию, скорей!

Коль весть проклятая верна,

То все равно — остаться иль бежать.

Уж надоело мне светило мира...
Тревога! Смерть, сюда! Вой, ветер, вой!
С оружием иду на смертный бой!

Без грима, без костюма, в домашнем окружении — негр читал, не сходя с места. Жесты его на сцене были бурны, несдержанны, но теперь он сэкономил их. И в этом была особая прелесть.

Когда Олдридж кончил и растерянным взором блуждал по лицам слушателей, искал в них отражения слов своих, граф, чтобы развлечь его, предложил всем вместе спеть и не сводил глаз с черного, на мгновение увядшего лица, наблюдая, как вновь оживает оно, загораются глаза.

Нели у Толстых редко. Вот и теперь начали не в ряд, несколько голосов. Но все-таки «Вниз по матушке по Волге» понравилась Олдриджу. Он спросил, что за песня. Графиня любезно объяснила, а негр, подученный Катенькой, пристал к поэту с неотступной просьбой — спеть одну из песен своей родины.

— Я мел сейчас со всеми вместе.

Но Айра был неумолим.

— Я вам показал свое искусство. Я слышал о вашей Украине, еще не выезжая из Лондона. Слышал из уст ваших, поэт, поклонников! И я хочу послушать песню.

Катя переводила.

Оля побежала к повару и притащила его старенькую гитару, с огромным желтым бантом. Тарас хоть и не чувствовал неловкости пред избранным обществом, — петь не хотел. Но Айра взглядом подбодрил его.

Шевченко взял гитару в руки и вмиг преобразился.

Пел он «Явір зелененький». Пел, в последнее время, уж и не очень важно, не хватало голоса; а аккомпанировал тоже, казалось, не лучше, но в песне было такое обаяние, что невольно заслушались все, а Олдридж, забывшись, стал подпевать, удивительно легко схватывая незнаемую мелодию украинской песни. Пели вдвоем. Затем Айра откашлялся, подошел к фортепьянам и затанул какую-то развеселую негритянскую мелодию, постепенно перешедшую в минор, и Тарасу казалось, что он различает даже отдельные, полные огня слова. Вот такие же печальные и зовущие, как и слова его собственной песни.

— А спросите, серденько, о чем он пел, — потянулся Тарас Григорьевич к молодой графине.

Олдридж коротко ответил.

— О друзьях, о дружбе, — перевела девочка.

К концу вечера Федор Петрович заметил, что куда-то девался Щербина. Стали искать и нашли его, грустного, на окне, за шторой.

Айра подошел ближе и молча вывел Щербину к столу.

Поэт упирался, отворачивался, никак не мог сдержать просветленную улыбку, совсем детскую, неожиданную на хмуром лице.

55

Кулиш добавления своего к протесту не принес, но вместо себя, на всякий случай, прислал Грицька Митрофановича.

Не снимая калаш, в шубе, Борлакивский плюхнулся на диван и забасил:

— Панько передал вам какой-то пакет.

— А сам-то? Побоялся?

Тарас, разорвавши конверт, стал читать. Лицо его хмурилось больше и больше, хоть в добавлении к протесту, на первый взгляд, будто бы ничего особенного не было. Автор письма утверждал, что выходка журнала «Иллюстрация» против евреев налитоинает времена Иоанна Грозного. Но весь текст отдавал каким-то пакостным духом...

«Г. г. Костомаров, Кулиш, М. Вовчок, Номис и Шевченко прислали свои подписи при следующем письме».

Первое, на что Тарас обратил внимание: письмо, подписанное в журнале несколькими именами, было составлено от первого лица — «я»... Кулиш недогадал!

«В сорока восьми именах, подписавших протест, напечатанный в № 21 «Русского вестника», я уверен, есть и имена малороссиян, которые вообще никогда не оставались позади представителей Великороссии во всяком истинно человеческом движении. Но между этими именами я не вижу ни одного, с которым связана идея собственно малороссийской, украинской или южнорусской народности, проявившаяся в последнее время в литературных произведениях разного рода...

— Подлец ваш Кулиш! — вскрикнул Тарас и, потрясая кулаками, забегал по мастерской. — Подлец! Даже образ Яго бледнеет пред ним!

— Что вы такое говорите, батьку? Что случилось?

Тарас, люто комкая бумагу, дочитывал многословные рассуждения. Получалось, будто «представители Малороссии» делают великодушную уступку общественному мнению.

«...И несмотря на то, современные литературные представители этого народа, дыша иным духом, сочувствуя иным стремлениям, прикладывают свои руки к простету «Русского вестника» против «Иллюстрации».

— Тонко! Очень тонко! Видна рука нашего славного Кулиша! Тонко, как и его кокетливый почерк... На трех страницах сумел поместить столько пакостных слов! Он, видите ли, говорит, что украинский народ в песнях своих воспевал еврейские погромы. Он, видите ли...

— Вы будто взволнованы? — чтобы перекричать Тараса, во всю глотку забасил Борлакивский, пожимая плечами.

— Я сердит, я лют! Вам еще надо объяснять? А? — кричал Тарас и стучал кулаком по столу.

— Как вы так можете говорить, батьку?

— Я должен говорить! Кричать! Счастье его, что не отважился сам принести эту фальшивую бумажонку... Грозел, говорят, враг за горами, а еще грозней — за плечами!

Немного остывши, Тарас Григорьевич вернул Борлакивскому изрядно помятое письмо.

— У меня к вам просьба, Грицько Митрофанович... деликатная.

— Понимаю, понимаю. Не рассказывать Паньку, что я тут слышал?

— Обязательно расскажите! Очень вас прошу.

— Нет, батенька мой! Я на такие поручения... нет, нет! Всего доброго!

— Погодите.

— Вы хотите, чтоб супруга меня...

— Страшно? А вы не бойтесь: бог не выдаст, свинья не съест.

56

В мастерской художника происходили порой импровизированные спектакли.

Сам хозяин, Никола Курочкин и Старов, когда кто-нибудь навещал Тараса, выкладывали перед гостями все, что успевали подметить у божественного арапа.

Шевченко заранее сдвигал в угол стулья, подрамники, мольберт, банки с кислотами. В комнате сразу появлялись три нечестных Отелло.

Все смешивалось в кучу, предусмотрительно отставленные стулья оказывались посреди комнаты.

Глаза у Старова дико выкатывались, слабенький голос его напрягался, все-таки трудно было имитировать крики шакала

и львиный рев, с которыми рецензенты сравнивали голос разъяренного Отелло-Олдриджа.

Курочкин, толстый и лепивый, картавил, не подымаясь с дивана.

Каждый припоминал, что больше поправилось.

Король Лир проклинал дочерей-изменниц: «Проклятие отца! Пускай же раны неизлечимые тебя шокроют!» Лир кричал, мешая Отелло покончить с Дездемоной.

Шейлок пытался вырезать фунт мяса из груди Антонио, поближе к сердцу: «Оплата мне нужна по векселю, я не желаю слушать, что ты скажешь!»

Старов хватал с полки настоящие весы, на которых Тарас развешивал смолы, асфальты, серный цвет и всякую другую «химию», приготовляя лаки и растворы для офортов. Художник отнимал весы. Старов хватал зачем-то кисти. Пучки степных трав, пылившиеся на стенах комнаты, венчали ему голову, он изображал безумного короля Лира.

После таких погромов солдат, убирая комнату, сердито ворчал:

— Вы лучше бы, Тарас Григорьевич, Ваську разыскали бы. А этого полоумного учителя я и на порог больше не пущу! Хоть сердитесь, хоть нет! И так досадно...

Тарас Григорьевич усмехался и, в шутку, сворачивал на другое:

— А чем вы, Михайлыч, медали чистите? Отчего они так блестят?

Старый солдат, чуя насмешку, сердито отмахивался:

— Вот! Опять! Хоть ты ему и не говори!

57

В трактире было еще довольно тихо.

Подвыпивший извозчик смотрелся в зеленое стекло штофа и беседовал сам с собой. Над «парой чая» пригорюнился немолодой мужичок, с жидкой бороденкой. Лицо у него было измученное, сухое. Казалось, теплятся только глаза, влажные, большие, тоскующие.

Покачивая головой, мужичок тихонько тянул:

...Батюшку с матушкой за Волгу везут,
Большого-то братца в солдаты куют,
А среднего брата в лакеи стригут,
А младшего брата — в приказчики...

Взяв чайинки, Тарас увидал в углу Николая Федоровича Щербину. Хотел было оклякнуть его, но заметил унылый наклон головы и сдержался.

Щербина сидел над простывшим стаканом, охватив руками голову. На черных волосах руки его казались восковыми, как у мертвеца.

Иногда, открывая глаза, Николай Федорович поспешно записывал что-то на большом листе. Что там у него? Щербина вот так и писал всегда в трактирах и харчевнях.

Тарас нагнулся к блюдечку. Жаль было глядеть на такого же, как и сам он, бесприютного человека.

На Тараса некоторые недобро коснулись, но простонародное усатое лицо, печальный взгляд успокаивали подозрительных. Он приходил сюда послушать.

Разговаривали о снижении цен на земляные работы; о недавно введенном тарифе для извозчиков; о холере, добравшейся и до самой столицы; о голоде, свирепствовавшем в деревнях вокруг Петербурга... Год был нездоровый, неурожайный, тяжкий.

Среди разноголосого шума Тарас Григорьевич то ли услышал вдруг, то ли ему показалось какое-то украинское слово. Оглянувшись, заметил в углу четырех мужиков, утомленных, видимо, дальним переходом. Это были, конечно, «ходоки». Со всей империи, на собранные миром копейки, посылали их крестьяне в столицу — искать закона, «правды», управы на помещика.

В трактире на мужиков никто внимания не обращал. Но столице слонялось таких немало, особенно в осеннюю пору, когда заканчивались полевые работы. Всюду ждали указа про волю и посылали верных людей разузнать.

Один из ходоков, крепкий высокий человек, с длинными выщипанными усами, стриженный «під макітру», спорил о чем-то с товарищами.

Чтобы послушать, Шевченко пересел поближе.

— Все комыси да комыси. Чтоб нас обдурить. Будут заседать двадцать лет, тридцать, сорок. И не видать нам воли! А валандаемся мы здесь даром.

— Дядько Обеременко! — понуро отозвался самый молодой. — И так душа болит, а вы...

Услышав знакомую фамилию, Тарас поднялся. Воспоминание об Андрее Обеременко взволновало его, — то был лучший друг в ссылке, старый солдат. «Если и мелькали, — говорил Тарас, — светлые минуты в моем темном долголетнем заточении, то этим я обязан ему, моему просто-

му, благородному другу Андрию Обеременку...»

Тарас подошел к землякам и поклонился.

— Откуда бог привел, люди добрые?

— Да вот, — поглядев исподлобья, грубо ответил Обеременко, — мимоходом, по дороге из Лысянки в Золотоношу, сделали небольшую крюк и забрели в столицу.

— Не к самому ли царю? — подмигнул Тарас.

— Да уж и не к вам, паночку, — отрезал мужик. И разозлился: — Чего это вам от нас надо? Ну?

— Значит, вы из Лысянки?

— Может быть.

— А не из села ли Ризаной будете?

Один из крестьян, могучий угрюмый мужик, медленно поднялся и встал возле Обеременко, будто собираясь защищать его.

— Я хочу спросить: не родня ли вы будете старому солдату Андрию Обеременко?

Высокий снял шапку. За ним и все трое. Перекрестились.

— Брат, царство ему небесное... Письмо получили.

Шевченко склонил голову и тоже перекрестился.

— Умер? Но когда же? В прошлом году мы еще виделись.

— Где?

— Был он добрый, суровый и строгий человек. Мы с ним вместе в солдатах были.

— Вы, пане?

— Да я такой же пан, как и вы.

— А кто же? Кто же, ваша милость?

— Тарасом зовут. Шевченко. Из близкого от вас села.

— Шевченко?

— Вы?

Заговорили сразу все четверо, перебивая друг друга.

— Был у нас лирник один, слепой, пел «Гайдамаков» и еще что-то... Пел и эту: «Аж страх погано у тім хорошому селі: чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати... Село неначе погоріло, неначе люди подуріли...»¹.

¹ «Ах, как ужасно, что в благодатном том селе земли чернее, по земле блуждают люди; оголились сады зеленые; в пыли погнили хаты, покосились; пруды бурьяном поросли. Село как будто погорело, как будто люди одурели...» (Перевод М. Комиссаровой.)

— А исправник того лирника — в кутузку...

— Бунтуешь, — кричит, — проклятый!

А самый молодой подошел к Тарасу, снял шапку, низко ему поклонился и сказал:

— Так вот вы какой!

Знакомство состоялось. Эти люди давно уже знали его «Кобзаря».

Шевченко сразу ожил. Щербина из своего угла наблюдал за ним.

Обеременко расспрашивал про брата. Затем, что-то вспомнив, поднялся, собираясь уходить. Товарищи его сдвигали посуду к середине стола.

— Куда же вы? — спросил Тарас.

— Дело есть — в одном присутствии.

— Да сегодня ж — воскресный день.

Обеременко не ответил. На улице мужики ежились от холода, но шли степенно и спокойно. В чужом городе, большом и шумном, четверо крестьян держались с удивительным достоинством.

У какого-то подъезда мужики остановились, заглядывали в дверь, пока, наконец, решились переступить порог. Тарас видел сквозь стекло, как они кланялись величественному швейцару...

Вышли они через полчаса, безнадежно опечаленные, угрюмые. Шевченко подошел к ним. Ничего не спрашивал, но ему все-таки рассказали.

На Сенном базаре кто-то объяснил им, где можно наверняка дознаться — нет ли уже указа про волю...

Швейцар, впустивши мужиков, послал их по коридору к другому служителю. Тот, получив целковый, сказал, что ему наверняка покамест ничего не известно, но дальше — сидит человек, который знает больше, чем он.

Этот, важный такой старичок, тоже взял свой рубль и отвел их к какому-то заспанному канцеляристу, который, за такую же плату, вполне определенно ответил, что указа еще не было.

— Заходите через недельку...

...Шевченко выслушал Обеременко и рассердился:

— Отчего же вы мне сразу не сказали, за чем идете?

— Да кто же знал.

— Тьфу! — сплюнул Тарас. — Такое придумать! Вы хоть бы дома своего попа расспросили. Манифесты должны оглашаться в церквах, поп-то первый узнает!

— Да что там — поп! — отмахнулся Обеременко. — Попа и сам чорт не обдурит. Дворяне ему сотни платят, а мы — копей-

ки... Но куда же это мы идем? — стал озираться, заметивши, что Тарас Григорьевич сворачивает к Васильевскому острову, в незнакомую сторону. — Нам на постоянный, не сюда.

— Сюда, сюда, люди добрые. Ко мне-то в гости надо же зайти?

58

У Тараса земляки вдруг очутились дома, после долгих скитаний попали под родной кров.

Пока пили по чарке да обедали чем бог послал, Обеременко рассказывал Тарасу и Прохору Михайловичу о важных делах, которые привели мужиков в столицу. И столько Тарас горького да страшного наслушался! Казалось, будто сам побывал дома, в родных краях, в родном селе, в Кирилловке. И просил по дороге заехать туда, к Ярине, рассказать, что сами они видели его живым и здоровым... Жаловался землякам: пешком пошел бы с ними домой! Да вот...

А самый молодой из гостей сразу вспомнил: «Заросли шляхи тернами на тую країну — мабуть, я її навіки, навіки, покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому? Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи?»¹.

— Откуда вы знаете это? — вскричал Тарас. — Я написал эти слова десять лет тому назад, в далеком Кос-Арале. Это я где не печаталось. Несколько друзей переписали себе в тетради...

— Вот видите, — приподымаясь с дивана, сказал Обеременко. — Друзей-то у вас больше, чем вы думаете, чем вы знаете! И не пришлось вам «читать самому оці думи»... Принес их нам в село тот же лирник. И еще говорит: «Дадут вам волю? А землю вам дадут? А начальство переменят? Ждите...»

Шевченко кивал головой. Это были его же мысли, его недоверие.

— Надо, люди, самим что-то делать. Не ждать!

— Надо! — и Обеременко рассказывал про начальство. — Вот исправник у нас... Кабы здесь на него управу найти? У нас вокруг села большие камни — по полю,

¹ «И тернистый, и колючий путь на Украину. Видно, я ее навеки, навеки покинул! Верно, мне на Украину не вернуться боле? Верно, самому придется мне читать в неволе эти думы?» (Перевод С. Гордеева.)

валуны. А исправник выдумал, будто приказ есть — возить нам эти валуны в губернию, в Киев. А камни там у нас, сами знаете, есть и по два роста в вышину! Стали люди готовиться в дорогу, а исправник и говорит, что можно спасти село от такой напасти. Вот мы ему и платим за это несколько раз в год. Платим и платим! Но он-то у нас не один такой начальник? У начальства сто тысяч рук — и в каждую кладь хоть по копейке! «Слова не кажи, а гаманец покажи»!

— Нож им надо показать! — стучал Тарас кулаком по столу. — Топор.

— Да, да... Беда-то большая у нас!..

Когда гости, наконец, заснули — кто на диване, кто на полу, Тарас Григорьевич долго еще не ложился. Дышать было трудно. Всепроницающая петербургская сырость была всюду, ломило руки и ноги. Сердце — то будто замирало от волнения, то билось, как птица в западне.

Он все чаще и чаще слышал сердце. Чувствовал усталость. Обращался к медикам. Не помогало. Просил помощи у Николая Курочкина; но ленивый толстяк в медицину верил мало, а сам себя лечил только редечным соком да еще разве патентованными пилюльками «Маттеи».

Какие-то предчувствия томил поэта. То мрачные, то радостные виденья посещали его. Он ждал чего-то, и вот оно, и вот оно пришло.

Схватив дрожащей рукой перо и клочок бумаги, начал писать.

«Я не недужаю, нівроку»...

Остановившись, поглядел на отблески, убегающие по полу от раскаленной печи. И писал дальше, не останавливаясь:

Я не недужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце ждє чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години
Мабуть ти ждєшь? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола
І пряснав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру —
Та й заходиться вже будить.
А то проснить собі, небога,
До суду божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати мурувать,
Любить царя свого п'яного,

Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого...»¹.

И приписал ниже: «1858, 22 ноября». Это было его первое стихотворение, написанное после большого перерыва в работе.

Положив руки на бумагу, повторял только что написанные слова, волнуясь, проверяя их на слух.

Кто-то затопал по лестнице.

Шевченко сошел вниз, в мастерскую, открыл дверь. На пороге оказался — тыфу, в такую минуту! — помощник академического полицмейстера, неприменный господин Соколов.

— Я, простите, позднею потревожил.

— Пожалуйста.

— Что за люди ночуют у вас?

— Мои люди. То есть... родственники мои!

— Надо явить паспорта. А то ходят к вам всякие...

Вдруг в комнате грянул оглушительный выстрел. Соколов вздрогнул. В печи затрещало большое полено, выбросив из поддувала снопы искр.

59

Дети заснули. В доме тихо. И холодно. На конторке горит свеча. Тучки палосного дыма клубятся над огоньком.

В соседней комнате чуть слышно зазвенел стакан. О тонкое стекло серебряная ложка звякнула, пропела, и снова тишина. От этого звука, от детских игрушек, брошенных на ковре кабинета, от большого цветка у окна — во всем доме чувствовалась рука хозяйки.

Вот она, шумная и простодушная красавица, Ольга Сократовна, как и в про-

¹ «Я, чтоб не сглазить, не хвораю, но все же что-то примечаю: чего-то сердце ждет... Болит, болит, и плачет, и не спит. Как тот малыш, что всеми брошен. Наверно, вести нехорошей ты ждешь. Добра не ожидай, не ожидай желанной воли: ее проспал царь Николай, сама она не встанет боле. Чтобы поднять и разбудить ее, больную, надо миром обух широкий закалить и наточить острей секиру, да и скорей ее будить! Не то она вовек не встанет, проснит до страшного суда; ее баюкать барство станет, чтоб не проснулась никогда; дворцы и храмы будет ставить, царя хвалить, любить его да византийство хором славить, и все... И больше ничего!» (Перевод М. Исаковского.)

шлый его визит, сама принесет им пахучий крепкий чай, и можно будет погреть ладони на горячем стакане. Кутаясь в большой пуховый платок, она снова легко заберется с ногами в глубокое кресло и притаится там, не то дремля, не то прислушиваясь к тихому смеху своего Николеньки, к беседе с его гостем, длинноносым господином, смущенно приглаживающим непослушные вихры по краям большой лысины.

Чай будет пить Шевченко с детской хитростью, медленно, долго, чтоб растянуть, обманывая поздний час, чтобы подольше побыть у Чернышевских. Но чай остынет, и все-таки придется уходить воясь, в одинокую,—чорт бы ее побрал!—в пустую академическую келью.

Чернышевский, боком усевшись на скрипящем стуле, часто протирает очки. Он скрывает этим свое смущение. Оба еще не привыкли друг к другу.

Тарас Григорьевич в молодом и нескладном журналисте чувствует старшего, что ли, человека, у которого надо бы чему-то научиться. Кажется, все он знает—что у тебя во лбу и в сердце,—знает!—и это не совсем приятно. А впрочем... Непреодолимое обаяние влечет к нему. Что? Что он говорит?

— Как быть, Тарас Григорьевич? Научите, что же делать? Как в данном случае писать? Я сам? Нет-с! Не всегда же действуешь естественно? Иной раз поступишь так, что затем только пожимаешь плечами. Надо учиться всегда и всюду искать правильного взгляда на мир. И вот, в статье этой мне надобно,—без промахов!—разить наших противников каждым словом, чтобы... эх!—и Николай Гаврилович, глубоко затаившись, бросил папиросу.

Что он говорит? Просит помочь?

Это неожиданно. Шевченко старается объяснить Чернышевскому свой взгляд на затаившееся «освобождение», рассказывает про земляков, давеча гостивших у него, говорит о «Колоколе», о новых своих стихах, и читает их папамять, повторяет еще раз, чтобы Чернышевский мог разобраться в нюансах малознакомого языка, переводит отдельные трудные слова: «півроку», «сподівана воля»...—и не может понять, почему Чернышевский часто оттирает пот на лбу, чем он взволнован, почему зажигает от свечи папиросу за папирсой и бросает, не докуривши; почему торопливо побежал по комнате, заваленной книгами, рукописями, корректурами, тесной для него, заметался из угла в угол...

Никто из друзей и приятелей, кому Шевченко решился было прочесть новые стихи, никто не сказал ему ни слова; Кулиш только пожал плечами, вздохнул и объяснил, что, во всяком случае, все это не касается до малороссийских крепостных, которым живется в богатом краю, на Украине, в его Мотроновке, например, совсем не так уж плохо, чтобы следовало их призывать к страшному кровопролитию... Собственно, это не годится даже и для поляков или москалей, ну, да ему до них дела нет...—и Кулиш рассуждал долго, ему хотелось запутать свои мысли и не говорить вполне ясно...

— Вы говорите, Кулиш не понял вашего призыва?—спросил Чернышевский.—Так ли? А, быть может, ваши слова—не на пользу той партии, той политической группе, тому общественному положению, которое он представляет! Доморощенный философ! Малорусские паны, говорит, не враги своему народу? Неужели ваши земляки, Тарас Григорьевич, до сих пор не видят, что и малорусский, и польский пан стоят на одной стороне, имеют одни и те же интересы, а малорусский, русский и польский поселяне тоже имеют совершенно одинаковую судьбу. Я верю в народ. И ваш призыв, Тарас, ваш призыв к расплате: «Не жди сподіваної волі» пусть пойдет среди простолюдинов по всей Руси, по всей Руси!.. Ее зовите «добре вигострити сокиру», ее зовите к топору! Ожидаемая крестьянская реформа оказаться может просто мерзостью! Вот почему в призыве вашем я вижу единственный исход. Я скоро буду писать особую статью о Малороссии, об интересах панов и поселян и докажу-с, что никакие голословные возражения не поколеблют нашего мнения, опирающегося на такой авторитет, как Шевченко. Не опровергать наши слова мы посоветуем, не опровергать, а призадуматься над ними, проверить их фактами...

Тарас Григорьевич обескураженно слушает звонкий и порою несколько резкий голос Чернышевского, одобрительно глядит на развязавшийся узел галстуха, на сияющие в тени глаза.

—...Призадуматься, проверить, да-с, и факты подтвердят, потому что,—напишу я,—потому что Шевченко чрезвычайно хорошо знает быт малорусского народа, знает, в чем жизнь и счастье его простолюдинов! Что-с? Цензура? Буду писать иносказаниями: когда мне запрещали писать о крепостных, я писал о положении негров...

Оба молчали. Им приятно было вдвоем, здесь, дома, дома, а в не в какой-нибудь редакции, в салоне, на балу; Шевченко замечал мешковатость собеседника, подобную его собственной, сюртук, болтающийся, как на вешалке, и ощупывал расходящиеся полы своего старенького пиджачка. Дивился сочетаниям: непонятной женственности и резкости суждений, ироническому взгляду, «ехидству языка» и удивительно мягким манерам Николая Гавриловича, манерам, которые противники называли почему-то «бурсацкими».

Пожилая горничная тихо вошла и, звякая ложечками, сервировала чай; запахи корицы, домашнего печения влетели за ней. Тарас был разочарован; ничего не спросил у Чернышевского, но тот понял:

— Супруга? Ольга Сократовна? Уехала голубочка в театр. Я — скучный человек, мне всегда некогда.

Тарас почувствовал, что взаимная настороженность постепенно проходит, что скрытый человек вдруг раскрывается пред ним, вводит в тайны своей семьи, — Шевченко стало неловко, но, захваченный порывом Чернышевского, он спросил:

— Вы... всегда в одиночестве? А я думал...

— Всегда? Что же! Она должна быть вполне свободна! У б е ж д е н и я мои не позволяют иначе...

— Убеждения? — прервал Тарас. — В убеждениях — жизнь! Но семья, дружина, подруга то есть, должны, я думаю...

— Да-с! Я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни, потребности сердца существуют, да-с, и в жизни сердца — истинное горе и истинная радость каждого из нас. Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли, — лично для меня — первая привлекательнее последней. Но убеждение мое я знаю и помню всегда: каждый обязан сделать все, что может, никак не меньше! Еще до моего предложения, в Саратове, я говорил Ольге Сократовне, что не уверен — долго ли буду пользоваться жизнью и свободой, что я не могу отказаться от своего образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя... Нужна только искра, — говорил я, — и у нас будет бунт, а если он будет, я пойду непременно со всеми. Меня не пугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня! И, я думаю, у меня лично может повториться то же, что было уже в вашей жизни, Тарас Григорьевич! Меня ждет еще и каторга, и, может,

эшафот, я это знаю, и я не боюсь ничего. Я только теперь никому не говорю о таких вещах, даже ей, я знаю свою судьбу! И это, да-с, это сознание бывает порой страшно! И вот тогда, в такие минуты, хочется, чтобы та, которая составляет мое счастье, была не у модистки, не на балу, не мчалась бы по Невскому в санках наперегонки с каким-нибудь великим князем, а чтоб трудилась над чем-нибудь подле меня, чтобы понимала, чтобы... Эх, да что уж!

Чернышевский дышал тяжело. Не было в его взгляде ни кротости, ни покорности судьбе, он сам свою судьбу направлял по трудному пути.

Большое упорство помогало овладеть собою. Он жаден был к житейским радостям. И все-таки уходил от них, увлеченный своей работой. Он любил жену, и почти никогда не бывал с нею. Тянуло его в поле, на реку, в лес, а жить приходилось взаперти — в кабинете, в библиотеках, в редакции «Современника». Он выходил на прогулку, шел в Летний сад, но оставался у недостроенной часовни — поговорить с каменщиками — или объяснял на Неве перевозчику, почему в России так трудно живется... Множество людей приходило к нему: сотрудники и просто любопытные, военные, государственные деятели, художники, ученые, писатели, ремесленники, друзья и враги. Хотелось иногда побеседовать мирно, посмеяться. Веселый и заразительный смех Чернышевского переходил порою в сарказм, — Николай Гаврилович разил противников, доказывал, убеждал, — беседа превращалась в спор...

— Мне всегда помогает глубокая вера в себя.

Снял очки, и глаза потемнели.

Чай остывал на столе.

Тарас Григорьевич зачем-то поднял с ковра забытую там игрушку, большого плюшевого пса, и гладил его, щекотал за ушами. И сказал:

— А все-таки вы, Чернышевский, счастливейший из смертных.

Чернышевский снова понял без объяснений.

— Я своих мальчишек, — тихо сказал он, — почти никогда не вижу: мне очень некогда.

Они, со свечой, прошли в детскую. На полу валялись теплые полосатые чулочки. Сашенька, разбросав руки, спал впоперек широкой кровати. От света свечи, сонный, закрылся ладошкой и повернулся на

другой бочок; в колыбельке рядом мирно сопел двухмесячный Мишка.

Говорили шопотом.

— Я почему-то, Николай Гаврилыч, вспомнил сейчас незначительный нелепый случай. Совсем нелепый. В музее археологии видел я куски старинного строительного камня девятисотлетней давности, времен Киевской Руси, серые плоские плитки... Камень делался, очевидно, из сырой глины, потому что на одном из них остался окаменел размазанный след лапы какого-то зверька. Но на другом, на другом, Николай Гаврилыч, совершенно четко отпечаталась ноженька малого дитяти, лет полутора, живая настоящая ножка, поставленная вот так, наискосок, будто ребенок, бегая и резвясь, нечаянно встал на сырую, еще не обожженную глину — совсем, совсем недавно, вчера, позавчера... Я расстроился, простоял в музее до самого часа закрытия, не мог уйти, даже сам не понимая — почему, почему. Быть может, взволновало меня, взволновало то, что следы давно ушедших поколений я видел дотоле во ржавом оружии, в разбитых вазах, в истлевших остатках одежды, в мертвых костях, но здесь, здесь был предомно глубоко вдавленный отпечаток, след живого тельца, подошва ребячьей ноги, с трогательно кривыми пальчиками, с широкой пяткой... Я, знаете, человек старый, черствый...

В прихожей послышался звонок, шум, веселый говор, голоса прислуги, и Тарас замолчал. По манере звонить Чернышевский узнал ее. Возвратилась из театра в большой и шумной компании Ольга Сократовна. Чернышевский оживился было, но навстречу не вышел, нахмурился снова, а Шевченко стал прощаться.

Когда выходили, он услышал голос хозяйки дома, затем через дверь увидел ее, прекрасную, в фиолетовом шелковом платье с пунцовыми цветами в черных волосах.

Было поздно. На Петербургской стороне гасли уже во мгле фонари. На северной части неба вдруг вспыхнули яркие сполохи, далекие отблески полярного сияния, и затрепетали в оживившихся небесах, меняя краски и очертания.

Встали вдвоем у ворот. Шевченко схватил Николая за руку.

— Какая ночь!..

Вскоре они простились.

Николай Гаврилович постоял, поглядел на небо, поглядел Тарасу вслед, затем возвратился домой и, стараясь не слышать шума и гомона в зале, встал у конторки.

Пспробовал было вспомнить стихи: «*и сердце жде чогось, болить...*» — не вспомнил и взялся за перо. Надо было кончать работу.

«...Каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время...»

Чернышевский писал. Приходила со своими друзьями Ольга Сократовна, чтобы вывести «Николеньку» к гостям. Дружески и звонко поцеловала его в лоб.

— Он, представьте себе, до того у меня близорук, до того близорук, что однажды пришли мы к Панаевым, он сел и, думая, что подле него на стуле — кошка, нежно гладил муфту Авдотьи Яковлевны. Муфту понимаете?

Но никто не смеялся. Чувство неловкости гнало гостей из кабинета. Провожая их, Чернышевский приветливо улыбался; ему хотелось бы тоже отдохнуть и повеселиться, поехать куда-нибудь с веселой компанией; но пришлось итти к столу, братья за перо; он писал дальше, ничего, ничего не слыша:

«Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна. Гоббз был абсолютистом, Локк был виг, Мильтон — республиканец...»

Очень устал, но заснуть не мог. Думал о жене и приходил в восторг, спокойный, никогда неослабевающий, и снова брался за работу. Желание — пойти к ней и осторожно поцеловать сонную, желание проходило. Снова пробуждалась неутолимая тяга к работе. Надо было писать...

С улицы был виден свет в скне его кабинета. До самого утра.

А наблюдавший за домом секретный агент полиции, — в который уж раз, — доносил на следующий день, что «литератор Николай Гаврилович Чернышевский бывает почти постоянно дома и спит не более двух-трех часов в сутки...»

60

Айра Олдридж и Тарас Шевченко навещали друг друга, бывало и по два раза в день.

Поэт, недоверчивый к новым людям и осторожный со старыми приятелями, весь отдался неожиданной дружбе.

Слушал рассказы Айры о сыне, о жене и завидовал.

Говорил актеру о предчувствиях, томивших его; казалось, будто неведомый недуг таится в груди; не дожить, пожалуй, и до заветного дня, когда придет хоть жалкое подобие воли!

Негр старался утешить. Тарас вынимал из обширной сафьяном старинной шкатулки свое последнее стихотворение.

— Втолкните вы ему, ради господа бога,—просил он Катеньку,—постарайтесь!—и читал стихи, а Катенька, обескураженная страшными словами, переводила несколько раз, пока Олдридж не понял все как-то по-своему.

— У англичан,—сказал он,—есть поговорка: бешеной, мол, собаке хвост надо рубить по самые уши... то есть с головой вместе! Это хорошо. Но ведь господь бог призывает нас к братству. А ты—к экровавленному топору? Ты—поэт! Ты должен разить не топором, не кинжалом, а словом, острым, как кинжал. Я помню в «Гамлете»: «I will speak daggers to her, but use none»...¹.

— Ты просто,—улыбаясь, отвечал ему в тон Тарас,—ты просто, как говорит твоя же старая знакомая леди Макбет, просто «переполнен молоком человеколюбия»...А я...

Начинался неприятный Катеньке спор, который так и не кончался ничем.

...Перед приходом Олдриджа на двери мастерской снова появлялась та же лаконическая надпись: «нету дома», понятная всем, кроме негра.

Олдридж, придя в Академию, первым делом заглядывал к Толстым—приветствовать графа и графиню, затем поднимался с девочками наверх к поэту.

Даже, когда Тарас Григорьевич начал работать над портретом Олдриджа, дочка Федора Толстого присутствовали непременно; отделаться от них было трудно: Ольга уже называла себя маленькой Дездемоной.

Девчүшки забирались на диван. Хозяин приносил плед, укутывал графиням ноги, затем начинал работу.

Негр, красноречивый друг, сидел тихо. Тарас, рисуя, заметно волновался. Всякий раз стирал и сердился—на себя, на Олдриджа, на детей. Шли бы себе домой!

Рисовал молча. Вот так! Так! Но вскоре, раздосадованный, останавливался и угоризненно смотрел на оригинал. Живая натура негра не выносила неподвижности. Он начинал подмигивать. Смешливая Ольга прыгала на диване, исподтишка подталкивала сестру, боязливо глядела на взъерошенные усы сердитого Шевченко. Олдридж корчил страшные гримасы, улы-

бался и вдруг под сердитым взглядом Тараса принимал испуганно-комический вид и затахал. Снова сидел неподвижно, хоть его и тянуло поглядеть, что там получается у Тараса на желтом картоне.

Художник работал сосредоточенно и сердито. Становилось тихо. Трещали в печи сырые поленья. И вдруг, обращаясь к Тарасу, актер спрашивал что-то. Тарас глядел на девочек, и они, перебивая друг дружку, спешили перевести:

— А петь можно?

— Да ну его, пусть поет! Скажите ему. Вот еще, несчастье на мою голову!

И снова хватал уголь, брался за мел, прислушиваясь к негритянским мелодиям.

Меланхолическая песня убаюкивала девочек. Катя закрывала голубые глаза, подвижные ноздри характерного «толстовского» носа дрожали от удовольствия.

Мел крошился в руке. Уголь падал на пол, мозаично расцвеченный яркими брызгами масляных красок. Шевченко брал другой. Слушал. То была уже знакомая песня о дружбе.

Айра, без паузы, переходил к старинным английским романсам, неизвестным в России, затем снова возвращался к родным мелодиям и, ускоряя темп, пел так весело, что сам не мог усидеть на месте и пускался в пляс.

Этим песням,—кричал Айра,—аккомпанируют у нас на такой... как бы это назвать... на очень примитивной гитаре. А струны ее натянуты на змеиной шкуре! Страшно, а?

Вскакивал и Тарас, бормотал только: «Ишь, чортов сын!»

В мастерскую входил тихонько старый солдат. Пристраивался в углу, слушал, смотрел на чернокожего, сидел неподвижно, стараясь не звякать медалями.

61

Голос графа Адлерберга доносился из-за расписных стеклянных ширм. Было шесть часов утра.

Что делается по обе стороны занавеса, мог видеть только камердинер его сиятельства, устроитель любовных делишек графа, известный всему Питеру Петр Иванович, не совсем вежливо обращавшийся порою даже с первыми вельможами столицы.

Петр Иванович распорядился церемонией приема посетителей. Все, кто был допущен в туалетную, прислушивались к звонкам всплескам воды, к голосу, отменно вежливому и строгому, и старались угадать сегодняшнее настроение министра.

¹ «Я хочу говорить с нею кинжалами, но не поражать ими...» (Непереводимо: «говорить кинжалами» значит у англичан—вообще «злбно говорить».)

Граф Адлерберг, Владимир Федорович, по давнему обычаю своему, сидел спозаранку в ароматической ванне. Было на дворе еще темно, и отражение свеч падало в ярко зеленую воду.

Владимир Федорович был еще без парика, с непафосными усами и бакенбардами, с неподрумяненными щеками,— и выйдя он до окончания туалета, лысый и серенький, никто не признал бы в нем грозного вельможу, министра двора его императорского величества!

Секретарь министерства докладывал:

— ...Просят о высочайшем соизволении...

— Что-что? Подряд на ремонт дворца великой княгини? Оставить без внимания: подряд сдан. Дальше!

— ...Снова с проектом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым «Литературно-ученого фонда».

— Как? Опять? Отложить особо...— и думал: «Чорт бы их всех... Подаром государь сказал вчера: всякий писатель — природный враг правительства...— А Тургенев? — Что Тургенев? Прекраснейший человек? То есть, насколько литератор может быть прекрасным человеком»...— Дальше!

— Бывший пианист его величества короля прусского, Аптоний Контский и другие с ним просят о продлении дебютов африканского трагика Айры Олдриджа.

— Чорт знает что! Запишите: «Передать директору театров! А вообще — подавать подобные коллективные просьбы не допускается. Дирекция действует по своим расчетам и выгодам, а не по просьбам частных лиц»...— И думал: «Недаром Мине Ивановне давеча снился черный арап...— Ехал на белой кобыле»...

Посетители и просители, ожидавшие по ту сторону ширм, заволновались. Делу министерского секретаря оказывалось множество; время, положенное на туалет, истекло, а его сиятельство за последние недели в министерстве не принимал никого, все знали, что граф сразу же уедет, что пешит он к Мине Ивановне, последнему предмету его страсти: Мина Ивановна, мадам Буркова, женщина, как говорится, из самого низкого разряда камелий, была в Российской империи не самым ли могущественным человеком: она-то могла всеми повелевать, казнить и миловать, приказывая самому графу, министру двора! Так поступать не всегда мог даже сам царь!.. Мина Ивановна теперь выздоравливала после холеры, и весь петербургский свет следил за ходом ее болезни.

— Передать графине Марье Васильевне, что к обеду дома не буду! Передать молодому графу вот этот пакет!

Граф преобразился. Был напудрен. Корсет подпирал грудь, украшенную лентами и алмазными знаками ордена Андрея Первозванного, и Александра Невского, и св. Владимира. Граф выпрямился, раздвинул плечи, легко и проворно, молодецким шагом вышел из-за ширм и направился к начальникам департаментов, каким-то генералам и придворным, и со всеми был отменно вежлив.

— Устав театрального комитета? Как же! Прочел. Доволен. Только не знаю — зачем? У нас теперь, мой дорогой профессор, так мало драматических талантов, а в литературе, ваше превосходительство, должен вам заметить, господствуют не совсем хорошие стремления. Государь знает это. Прогресс? Да вы что?! Государь недавно запретил употреблять сие слово!

Граф сказал профессору еще что-то такое о шаткости общественного мнения и обратился с вопросом к ожидавшему в туалетной чиновнику, следовательно по особым делам, затем к бородатому виноторговцу, поставщику двора: «Бургундское? С каким букетом?» — и, не обращая внимания на прочих, проворно заскользил в кабинет. Секретарь еле поспевал за ним.

Усевшись в кресло, под портретами государей, оправленными в украшенные алмазами рамы, потягивался, слушал секретаря и снова бессвязно думал о своем... Тарашил не по-стариковски зоркие глаза на последние листы календаря. Кончался трудный и неприятный год. Комитеты! комиссии! пересмотры! общества! клубы!.. В этом проклятом году чуть не погибла от холеры Мина Ивановна. В Царском Селе, при переделке дворца, в одной из комнат наследника нашли под полом скелет женщины с бриллиантовой серьгой, вдетой когда-то в ухо. И не то дурно, что нашли, а то, что слухи об этом распространяются всюду. Некому сдерживать. Цензура работает плохо. Полиция тоже. Беспорядки в университетах, даже в Духовной академии. Где-то там было восстание ингушей. Всюду пожары. Голод и крестьянские волнения: в Подольской, Петербургской, Самарской... в Саратовской, Нижегородской, Тульской,— да не во всех ли губерниях? В пареде толки. В небе комета. И сколько сгорчений от одного «Колокола». Надо вести розыск — как этому Герцену достались официальные бумаги? Государь недоволен. Да еще кто-то пустил по городу слух, что царь на-днях громко спрашивал у него,

у Адлерберга, и у других приближенных — нет ли у кого «Колокола», давно, мол, его не читал. А ведь сам-то Александр Николаевич приказал взять в Третье отделение четырех корнет, переписывавших Герцена! Добраться бы до этого Герцена в Лондоне! А покамест — удалось добиться запрещения продажи лондонских русских изданий в одном только Риме. Ну, и, само собой, во Франции. Надо бы поучиться у Наполеона Третьего: всюду у него — образцовая полиция, цензура — *bureau de la presse*, надзор. Париж! А наши-то савонники, вместо дела, думают — как бы сократить балетную труппу с двухсот двадцати балерин до ста пятидесяти, как в Париже! А зачем? Зачем их сокращать?

Секретарь продолжал:

— И еще, ваше высокопревосходительство, новая просьба о том же Олдридже. И с прибавлением, что «выгода императорских театров будет соблюдена, что мы — не только поклонники таланта, но и подлишники на новую серию спектаклей африканского трагика»... И еще просят: отменить запрещение обер-полицейстера на пьесу Шекспира «Макбет»...

Граф брезгливо поморщился.

— А к сему прошению, ваше высокопревосходительство, — пять листов подписей. И, смею полагать: в таком множестве — самая главная дерзость.

— Пять листов? Кто подписал? Графиня Толстая? Князь Шаховской? Лорис-Меликов? Академик Ухтомский? Это какой? Художник? Какой-то артист Стуколкин! Узнать, если из императорских театров, — выгнать, выгнать, выгнать! И еще артисты?.. Всех выгнать! Что! Очень известные? Все равно!.. А это? Опять, опять, конечно, тот самый Шевченко? — и граф бормотал про себя: — Говорил же государю, нельзя таких пускать в столицу, нельзя, нельзя! — не послушал меня, старика!

Адлерберг крикнул:

— Перо!

Старик злился.

— Подать карету! — снова крикнул и, брызгая чернилами, заскрипел пером.

Перечитавши начало резолюции, Владимир Федорович снова писал: «Если бы я и хотел сам собою продолжить представления Олдриджа, то эту мысль оставил бы единственно потому, что об этом коллективно подписчики просят. Если однажды допустить уважение к подобным просьбам, то, бог знает, о чем будут просить и настаивать таким образом. Оставить без внимания! А д л е р б е р г».

Губы Владимира Федоровича посерели, сжевал румяна. Граф бросил перо, и оно, легкое, лебединое, плавно полетело над столом. На столе рядом с раскрытыми томиками Шатобриана и Шенье лежал книжка: «Предостережение от увлечения духом настоящего времени»... Как ни странно, «Предостережение» не помогало, он любил стихи, любил читать Ламартина, им же самим запрещенные книги, любил Шенье; читая «*La jeune captive*», думал про свою Мину.

Адлерберг крикнул:

— Призвать ко мне графа Федора Толстого! Завтра в шесть, в туалетную! — но, немножко подумавши, сказал: — Нет не в шесть, а когда вздумает... Или, впрочем, не зовите его совсем.

Графа Федора министр немного побаивался. Толстой был гротескнейшим франкомасонов. Даже сам император был в меньшем чине.

62

Настали Катины именины. Девочке исполнилось пятнадцать лет. День ангела всегда был днем сюрпризов. Еще утром, раскрыв глаза, увидела на столике, подле постели, цветы. Выбежала в залу и ахнула. Огромная комната превратилась в зимний сад. В одном из окон красовался вензель «ЕФТ», первые буквы ее имени, отец и его добрые друзья трудились над сюрпризом всю ночь.

Катя поспешила к графу, в кабинет, в волшебный мирок.

Всякий раз входила сюда, будто впервые, глаза разбегались, — в комнате полно было интересных вещей.

Граф, бывший моряк, хранил в кабинете модель военного корабля: словно только что заплыл сюда через окно из Невы стройный корвет.

На библиотечных шкафах стояли гипсовые слепки работ самого графа, барона Клодта и других скульпторов. В простенках, между шкафами, пестрели замечательные коллекции бабочек и насекомых. На длинных столах — редкостные монеты, мозаика, стеклянная и терракотовая посуда, мраморные и бронзовые статуэтки, чучела, — и над всем этим — большая фигура рыцаря. Было много механических игрушек, сделанных руками самого графа медали его работы, инструменты, неоконченные скульптуры...

Когда вошла Катенька, Толстой сидел за небольшим сосновым столиком, в любимом ватном халате, потертом и рваном,

трубкой в зубах; на столе стоял недопитый стакан чая. Видно было, что граф работает давно. Вставал он задолго до рассвета, да иначе ему не хватило бы времени. Кроме художественных работ, Толстой был профессором двух предметов, руководил всеми делами Академии, заведывал академической фабрикой мозаики. Граф слыл еще и хорошим математиком, механиком, сам делал нужные для работы инструменты и не терпел в своих делах никаких помощников.

Толстой обернулся на легкие шаги, приветствовал девочку, передал ей несколько книг — сегодняшний подарок, — спросил о чем-то и снова углубился в работу, сказавши, что к обеду придет позже.

Катя пошла с мамой и Оленькой.

В церкви ощущалась торжественная приподнятость. В Академии был престольный праздник. Но Кате трудно было устоять на месте. От радости, переполнявшей ее, от всеобщего внимания хотелось петь, бегать, обнимать всех. День складывался замечательно.

После обедни зашла, — иначе и быть не могло, — к другу своему, Тарасу Григорьевичу, пригласить на бал.

— Серденько! Поздравляю вас. Только вы меня извините, малость опоздаю.

— Приходите пораньше.

— Ваську я разыскал. Говорил с его господином. Добился разрешения ходить ему на уроки. Барин-то должен понимать, если паренек чему-нибудь научится, сможет оброк платить.

— Как я рада! Как я рада! Еще один приятный сюрприз.

— Я сегодня хочу зайти с паренком к барону Клодту. Попрошу, поможет мальчишке учиться.

— Он добрый.

— Может быть, серденько, может быть...

...На балу начинались танцы. Со взрослыми Катя танцевала во второй раз в жизни.

Видя ее счастливое личико, каждый хотел вальсировать именно с ней. А когда в фигуре мазурки кавалеры, хлопая в ладоши, начали друг у друга отбивать молодую графиню, в соревнование вмешался сам Толстой и до конца танцевал с дочерью. Все удивлялись его живости и легкости. Катя порхала по зале, раскраснелась, заныхалась, глаза сверкали. Присев отдохнуть, девочка стала озираясь. То ли усталость взяла свое, то ли еще что — она вспомнила, что не видала еще Тараса.

Прошлась по комнатам, но его нигде не было.

Повсюду шумели гости. Громко приветствовали именинницу. В одной из гостиных Олдридж пел под аккомпанемент Антония Контского. Тут же, в углу, Старов излагал перед девицами свои взгляды на идеальную женщину.

Из соседней комнаты слышен был голос Щербины:

— Много ль морей облетала ты, белая лебедь,
Много ль корвет и фелук ты видала на море?
Черный корабль я видала под флагом багровым,
Стал он на якорь от нашего берега близко...

За столом в коричневой гостиной Катя нашла барона. Клодт сидел хмурый и злой. Рядом пристроился Кулиш и что-то горячо доказывал скульптору. Барон морщился от каждого слова.

Катя подошла ближе.

— Шевченко, — говорил Кулиш, — это в нашей истории — явление экстраординарное, это — гений народа нашего...

— Петр Карлович, — начала Катенька, — простите...

— А-а, именинница! — поднялся Клодт. — Поздравляю, Екатерина Федоровна. А я вот только вошел сюда.

— Тараса Григорьевича не видели?

— Да что это вы с ним, — усмехнулся барон, — со всех сторон на меня? Он-то меня и дома задержал. И, представьте себе, графиня, привел ко мне какого-то, простите за выражение, кучера. И думал, что я должен, должен встретить его, как... Телько потому, что беспокойный юноша в своей конюшне, от нечего делать, начал резать из дерева каких-то болванчиков. И неужели не понимает ваш милый и смешной Шевченко... Но что с вами, графиня? Вам неприятна такая...

— Вы злы! — выкрикнула Катя, и что осталось от ее светской сдержанности, которую всегда старалась привить ей Анастасия Ивановна.

Катя убежала. Пропал счастливый день. Очарование исчезло. Забившись на любимую с детства пустынную площадку на лестнице, Катя спряталась от гостей.

Тетя, Екатерина Ивановна, зная, где искать ее, пожурила любимицу свою, а затем объявила гостям, что именинница устала и пошла спать.

— Не надо ей было столько танцо-

вать,— с укором заметила сестре графиня. И обратилась к гостям: — Прошу, господа, к столу!

63

Тарас постучался. За дверью номера,— было это в Знаменской гостинице,— звучала тихая и странная музыка, с меняющимся ритмом. Тарас послушал, затем постучал еще раз, музыка ему не понравилась: «Странно играет этот Айра...»

Но Олдриджа дома не было. Дверь открыл одетый в красный фрак старичок суфлер из немецкой труппы... Как он сюда попал? Этот человечек еще совсем недавно боялся подступиться к негру.

— Дома господин Олдридж?

— Нет, ваше высокоблагородие.

— Да какое уж я благородие!— рассердился Тарас.— Я подожду.

— Как вам угодно, ваше благородие. Вы художник? Я знаю вас, ваше бла...— И уважаю.

Суфлер кланялся.

— А почему это вы так странно разговариваете?

— То есть... Собственно как, позволите спросить?

— Слишком вежливо. Будто боитесь всего на свете.

— Боюсь? Да, ясное дело, боюсь, ваше высокоблагородие! Я столько узнал в жизни. Был актером, и довольно известным, был музыкантом, мечтал о придворной капелле, пошил даже фрак, видите, красный; учился за границами... А теперь я — и не лентяй, и не шьяница — сижу в подполье, в суфлерской будке, и на жизнь, можно сказать, гляжу и удивляюсь — оттуда, снизу... Пред глазами мелькают только ноги лицедеев — ноги, ноги! Вот мне и приходится, ваше благородие, бояться, оглядываться, как бы кто не пнул! Я-то — крепостной, на оброке, мерзкий раб. За всю жизнь в этом городе один вот только человек и обратился со мной по-людски, да и тот... черный! А ведь я боялся его, боялся так, что не приведи господи никому.

Старик замолк и взялся за оставленную было работу. Перебирал театральный гардероб трагика. Тут были старые штопаные трико, мантии, кафтаны, юрсы. Шелк, затканый цветами, шуршал в его руках. Алый бархат заглушал его дыхание, пена кружев текла по пальцам. Костюмов Айры старик касался бережно и почтительно.

— Вы философ,— сказал задумчиво Тарас.

— Чего изволите? Философ? Мы всю жизнь читаем Шекспира. И то — шопотом, потихоньку. А это заставляет вдумываться в слова... А жизнь наша идет — где прыжком, где бочком, где ползком.

Тарас поморщился.

— И что это такое,— продолжал суфлер, тыча иглой в алую мантию Отелло.— Зашиваю перед каждым спектаклем, и всякий раз опять разорвана...

Тарас не слушал его, занятый своими мыслями.

Неожиданно пришел Олдридж, радостный и возбужденный. В руке держал конверт. Горячо обнял Тараса, сказал что-то. Тарас не понял.

Тогда актер, умора, схватил какое-то кружево, прижал к себе, поглядел на него нежно, замурлыкал песенку, и Тарас увидел: Олдридж держит на руках ребенка, целует, играет с ним... Такое счастье осенило его черное лицо, так выразителен был каждый жест, что Тарас понял: письмо от сына, от жены. Негр изображал своего белокурого мальчишку. Без единого слова показывал его рост и внешность, светлый цвет лица, даже голос. Он тосковал, и рассказ о сыне облегчил его. Видел, что веки у Тараса дрогнули, прижал его к сердцу, чтобы не смотреть в глаза.

Неволью у Тараса вырвалось:

— Мечта моя мне душу гложет...

Айра взглянул на него и как-то по-своему понял.

— Счастье? В Англии сравнивают его с живым аппетитным поросеночком, которому колечко хвоста натерли салом. Голодные люди пытаются ухватиться за этот хвост, но кому же посчастливится?— затем обратился к суфлеру: — Переведите!

Поэт посмотрел удивленно на новоявленного драгомана и с интересом выслушал перевод.

— Скажите ему,— начал Тарас,— скажите ему, что про это самое счастье и у нас говорят, что «воно не кинь, його не загнудати»... Но у русского поэта Крылова лучше сказано, лучше, вот: «Слепое счастье, шатаясь меж людей, не вечно у вельмож гостит и у царей, оно и в жизни твоей, быть может, погостить когда-нибудь пристанет».

Олдридж задумался.

— Ты хочешь сказать,— спросил он,— что никогда не теряешь надежды?

— Никогда, Айра! «Куда б чайка не летала, до шулки попадала»¹... Это прав-

¹ «Куда б чайка не летала, все к коршуну попадала» (пословица).

да! А все-таки, без мечты, без надежды на что-то, чего сердце ждет, ждет, ожидает, не прожить бы мне столько бед, не пройти бы мне столько мук.

В дверь постучали. Вошел Гулак-Артемовский.

— Вот тебя-то мне и надо! Иду сейчас по Невскому. Вдруг кто-то меня — за по-лу. Смотри — Васька. — «Где Тараса Григорьевича искать?» — «Да я сам, — гово-рю, — никак не найду. В Академии был?» — «Нет его там». — «Ну, так пойдем, — гово-рю, — еще в одно место».

— А что ему надо? — встревожился Шевченко.

— Не знаю. Не говорит.

— А где же он?

— Да внизу.

— Зачем же ты его оставил?

— Да в гостиницу же таких не пу-скают.

— Пойдем.

Вышли все вместе.

На негра оглядывались встречные. По городу бродил каламбур, что, мол, если в фешенебельные гостиницы черный народ пускать не велено, то зачем же в Знаменской, самой богатой, видят каждый день черного арапа?

У подъезда стоял Василий. Бросился к Тарасу Григорьевичу, шепнул несколько слов, пристылся и быстро ушел, с большой корзиной на голове и пучком бананов в руках.

— Просит, Семен, зайти сейчас к Боло-тову. Барин завтра надолго уезжает, вот Васька и просит...

— Пойдем. Скажи негру, пусть домой вернется.

Улица, на которой жил Болотов, была довольно грязновата и называлась «Андрей Петрович». Тут, как и по всему городу, парижской нумерации домов еще не было, и пришлось искать, читая надписи на жел-тых дощечках, прибитых над воротами. Здесь простирались владения помещиков, негоциантов, придворных арапов его вели-чества¹, чиновников — в чинах от кол-лежского регистратора до статского совет-ника.

¹ Все эти «арапы» были белолыцыми. «Арап» — такая была уж официальная должность при дворе, и часто в этом звани выходили в отставку дворцовые ла-кеи, трубочисты, истопники, потому что «арапский» пенсион был вдвое большим, а лицо у арапов оставалось «какое бог-дал»...

Навстречу шло стадо гусей — совсем как на далеких линиях Васильевского, где-нибудь у Галерной гавани. Тарас за-гляделся, как гуси щиплют остатки по-жухлой под снегом травы, и захотелось куда-нибудь на луг, на простор, подальше от города.

Искать дом Болотова пришлось дольше, чем гостить у него. Разговор был корот-кий: платить деньги за новую крепостную только для того, чтобы выдать ее за ко-нюха? Ваську он продаст, но цена будет большая, парень способный и может стать полезным... А покупать — нет, нет! Да и кто теперь без особой нужды покупает людей, когда не сегодня-завтра... Нет! Это не кони!

На том и расстались.

Борлакивские жили по соседству. Арте-мовский и Шевченко пошли к ним.

Ганна Гавриловна собиралась обедать. Суетились лакеи. Марина, смущенная чем-то, вышла на минуту и больше не появ-лялась. Барыня объяснила, что девушка нездорова.

— Мы пришли ее сватать, — сказал Та-рас.

Такой прямоты Борлакивская не ждала, даже растерялась. Позвала Грицька Митро-фановича и приказала слугам поторопить-ся с обедом.

Пить что-либо отказался, и никакие уговоры не помогли, Тарас не выпил ни капли.

Обедали в напряженном молчании. Когда подавали суп, Шевченко спросил:

— Ну, как же? Или сватовство надо начинать с «порошами», «куницами», по обряду?

— Обойдется, — сказала Борлакивская. Муж ее кашлянул: вот, оно, мол, начи-нается!

Ганна Гавриловна спросила:

— Ну, что это вы надумали? Девка не-ряшлива, легкомысленна, — с лакеями во-дится, я вам скажу. Малограмотна! Мы подыскали бы... Словом, не пара!

— Не пара? Мне? Возможно... Я, Ганна Гавриловна, не для себя.

Борлакивская даже с места привстала. Что такое? Все получалось навыворот. Да и Кулиш, как нарочно, не шел.

— Про кого же вы говорите?

— Я говорю про Марину. Она полюби-ла молодого паренька... — Шевченко ста-рался держаться спокойно, по ложка за-дрожала в руках, звякнула о тарелку, и он положил ее. — Он крепостной. Чтобы поженить их, надо парня кушить, не ина-че. Барин продать согласен.

— Что за пан?
— Ваш сосед. Болотов.
— Вы говорите о том сопливом конюхе?

— Да. О конюхе! Барон Клодт сказал о нем...

— Благодарю вас! Ваши фантазии, а наши деньги? Я бы купила болотовского повара Спиридоны. О, да! Он готовит такие божественные супы, что — ах! А соусы! Самое первое качество повара — точность. Да! Но, скажите на милость — зачем поупать конюха? У меня своих девать некуда.

— Мы, может, среди знакомых насобираем денег и выкупим его на волю, — вставил Семен Артемовский, обескураженный неприятным разговором.

— Сделайте одолжение.

— А Марину отпустите?

— Никогда! Слышите? Я, конечно, очень уважаю вас, Тарас Григорьевич, но вы, простите, в такие суетесь дела, что даже странно. Очень странно! — И, спохватившись, добавила вежливо: — Суп остынет, возьмите сухариков.

— Я сыт уже, спасибо.

— Может, разрешите — кусок печенки по-аматорски? Индюшки с бешемелью? Каплуна?

— Спасибо. Сыт.

— Сегодня у нас — путря, глянги, па-трама. Есть еще телячий лизень.

— Я сыт.

— Вы, Тарас Григорьевич, напрасно сердитесь. Мы понимаем. Если бы это лично для вас, я никогда не посмела бы... А то, сами посудите: я дала девке воспитанне, кормила, лелеяла, — и на тебе! — отдать за сопливого конюха, которого еще и выкупить надо, что скотину. А Марыся, когда нет гостей, как дочка у меня. Не прикажете же мне и ее супруга, из конюшни, сажать к себе за стол?

— Но речь идет, — начал Семен, — о чувствах, о счастье двух молодых и красивых людей. В наше время, Ганна Гаврилевна, сам бог...

— О чувствах, — отозвался молчаливый Грицько Митрофанович, — о чувствах... Эти холонокские чувства встречаются только в пасторальных картинках или еще в твоей «Катерине», Тарас.

— Что ты хочешь сказать? — грубо закричал Шевченко.

— Какие могут быть у холопа чувства?

— Замолчи! — крикнул Тарас. — Путря ты, кваша! Замолчи, проклятая размазня! — и так ударил кулаком по столу, что

чарки и графины, супники, тарелки и ложки разлетелись по комнате.

Засуетилось множество слуг. Тарас поскользнулся, отшвырнул ногой кусок мяса и ушел одеваться. Семен решительно двинулся за ним. В передней никак не мог попасть в рукав шубы.

Когда выходили, Тарас увидел Марину, замершую у двери, бледную, заплаканную.

Подошел к ней, взял ее голову в руки, заглянул в синие, с золотыми крапинками глаза, крепко поцеловал в лоб. Затем в губы. И вышел.

— Прощай!

Сватовство кончилось.

64

Василий ожидал в каморке у солдата. Рассказывал о сегодняшней встрече с негром.

— А он такой красивый, как статуя из бронзы... Но еще горячая. Только отлитая.

— Сам ты статуя! Ты! Скульптор... — солдату хотелось казаться суровым, но не получалось. Когда Тарас пришел в каморку за ключом, Васыка сидел на постели и повторял за стариком странные стишки:

— Придет масляна — будет и блин: единожды один — один. Волга Дону пошире: дважды два — четыре. Днем свет, а ночью темь: трижды девять — двадцать семь.

— Это я, Тарас Григорьевич, парня грамоте учу.

— Что же это за грамота?

— Вот те на! Да вы-то сами в солдатах были?

— Ну, был.

— И не слыхали? Это же наша солдатская таблица умножения.

— Нет. У нас в батальоне такого не было, — ответил Тарас, ухмыльнулся и пошел было, чтоб не мешать. Но Васыка метнулся за ним:

— Тарас Григорьевич!

— Что, голубе?

— Когда же вы мне «Кобзарь» дадите? — и сразу заговорил о другом: — А... там? Были?

— Да, был, был... Что? Учи, сынку, таблицу, еще не договорились! — и ушел.

В коридоре еще слышен был Васыкин голос, повторявший за старым солдатом:

— Кто атаман, у того и булава: четырежды восемь — тридцать два. Беря оглоблю, пойдем воевать: пятью девять — сорок пять...

В мастерской Тарас облокотился на стол и сидел неподвижно. Под локтем лежала бумажка. Валялась она здесь давненько,

все не хотелось отсылать. Это было начисто переписанное письмо к Делянову, куратору петербургского учебного округа¹.

«Получив высочайшее соизволение для проживания в столице, но нуждаясь в дневном пропитании, покорно прошу ваше превосходительство дозволить мне новое издание моих сочинений, напечатанных в царствование почившего в бозе государя императора Николая I, под заглавием «Кобзарь» и «Гайдамаки», которых экземпляр при сем и прилагается.

Так как обе эти книжки составляют библиографическую редкость, то позвольте просить, по миновании в них надобности, возвратить их мне.

Т. Шевченко».

Письмо столько дней валялось на столе, что он знал уже его на память. Всердцах смахнул его на пол и наступил ногой.

65

Артемовский и Никола Курочкин, замечая, что поэт затосковал, решили его развлечь, и страшная месья, уготованная Семеном Артемовским, свершилась в тот момент, когда Тарас меньше всего ожидал.

В тот день Шевченко с утра не разлучался с Артемовским, негодовал, возмущаясь унижительной обязанностью. Знаменитый артист должен был развозить по домам вельмож и сановников билеты на свои бенефисы. Нарушить традицию не решался даже певец с мировой известностью.

Тарас объездил с ним чуть ли не весь город. Побывали они и у одного из секретарей графа Адлерберга; Шевченко сидел в закрытом экипаже, ждал, пока Семен снесет билет, и злился. Съездили и к Делянову, куратору, и к какому-то важному чиновнику из цензурного комитета. Посетили канцелярию градоначальника. Пригласил Семен даже какого-то купчика из Апраксина двора.

Купец, лысый и толстый, суетился

¹ К тому самому Делянову, который стал современем министром просвещения. От него же потом имели всяческие неприятности такие люди, как Менделеев, Бородин, Гаршин. Он же издал и пакостный закон о «кухаркиных детях», запретил высшее образование для женщин, установил процентную норму для евреев...

Он же отказал уволенному студенту В. И. Ульянову принять его обратно в Казанский университет.

перед Артемовским и никак не мог понять, чего от него хотят...

Вечером, в Большом театре, Тарас Григорьевич занял место во втором ряду кресел и ждал начала спектакля. Никола Курочкин, брат его Василий, Старов — получили места подальше, и Тарас сидел один.

В тот вечер давали «Руслана и Людмилу».

Увертюра была испорчена, как и всегда: завсегдаતાй первых рядов, опоздав к началу, ходили между рядами, переговаривались...

Когда Руслан появился на сцене, Шевченко сразу узнал, что поет не Артемовский, а Петров, первый по времени исполнитель этой роли. Гуляка Семен, очевидно, в последнюю минуту сказался больным. Тарас вспомнил, как он, еще во время поездок по городу, жаловался на хрипоту.

Петров Тарасу не понравился, и все казалось не так. Когда в антракте дали свет, Шевченко остался на месте, и к приятелям не пошел. Думал о своем. Но вскоре слух его был поражен неистовым смехом. Хохотали в райке, на балконах, в бельэтаже. Смех спускался ниже и ниже, в партер и ложи. Хохотал уже весь театр.

Что случилось? И только взглянув на свой ряд кресел, на жирного апраксинского купчика, сидевшего подле него, понял, наконец, злую шутку. Все кресла были заполнены лысыми господами.

Многие появились на своих местах после начала спектакля, и только теперь публика увидела забавное зрелище — ряд сверкающих черепов. Большинство приглашенных Артемовским лысых сановников и генералов, еще не понимая в чем дело, продолжали сидеть...

Публика бесновалась. В райке стучали ногами. Хохотал и Тарас, до слез, до изнеможения, — повторял:

— Вот чортов Семен, вот проклятый... Страшная месья! — и подумал, что Семену за это обязательно влетит.

К нему подошел Курочкин:

— Как поживаете, лысый господин?

— Спасибо, ой, спасибо, удружили, голубчики, старика... Развеселили в такую... в такую, Николай, трудную для меня минуту.

Лысые господа поспешно расходились. Начинался скандал.

66

У театрального подъезда ждал Прохор. Бросился к Тарасу и схватил за рукав. Тарас понял, что случилось неладное.

— Прибегал Васька,— начал солдат,— лица на нем нет. Ждал вас, ждал.— «Надо, говорит, совета просить».— «Что случилось?» — спрашиваю, вижу, неладное задумал, а мне не говорит. Объедно стало...— «Идем,— говорю,— искать твоего Тараса»...— пошли мы, спешили, просто через Неву, по льду. А там — полыньи, бугры. Как перебрались — не знаю.

— Да что же с Васькой-то? Говори!

— Сбежал от меня. Ходили мы с ним к Артемовскому домой, не нашли вас. Пошли к Старову — нет. Пошли к Борлакивским, приходим, Васька, конечно, к ним во двор не идет.— «Я, говорит, здесь у ворот обожду»...— Ну, пока ходил я, узнавал, выхожу, а его и нету. Искал, искал... Ну, вот и пришел сюда.

— Где же он?

— Не знаю. Думаю, со своей тралей бежать подумал.

— Куда?

— В том-то и дело, что никуда не убежишь, да еще с девкой! Дурак ведь, дурак! И мне ничего не сказал.

— Ну, нечего, хватит! — остановил солдата Тарас.— Два часа прошло уж? Три? Скорей найми гитару, тарантас какой-нибудь, поедем к заставе. Да поскорей!

— Он мне все про какого-то голландского шкипера болтал!

67

Спектакли с участием Олдриджа прекращались, но уезжать из русской столицы ему не хотелось. Гастрольный контракт кончался, продлить его Адлерберг не разрешил, а ехать в Москву для продолжения дебютов еще было рано.

Двадцатого декабря был бенефис.

Еще до начала спектакля восторженные дамы-поклонницы и актрисы питерских театров собрались в трех крайних ложах бельэтажа. Все пришли с цветами.

Столичные актеры преподнесли Айре лавровый венок с золотым браслетом на нем, адреса, букеты... Это было уже настоящее чудо. Тридцать лучших актеров столицы, не признававшие никаких чужих авторитетов, подписали большое письмо, приветствовали Олдриджа, принесли подарки, словом, признали его необыкновенный талант.

Под письмом, врученным Айре, были подписаны славные имена: Сосницкий, Мартынов, Максимов, Степанов, Бурдин — свет и краса русской сцены. В письме были стихи, хотя и не совсем ладные...

— Поидемте, братцы, целым миром
Спасибо русское снесем
Тому, кто нас дарил Шекспиром —
С натурой, чувством и умом...
...Он был капризно-властным Лиром —
«Король от головы до ног».—
Так скажем в путь ему мы с миром,
Подавши лавровый венок:
«Такие гости очень редки,
Олдридж, мы бьем тебе челом
И просим милости напередки
С Евреем, Мавром, Королем!»

Приняв подарки, выслушав приветствия, Айра еще раз поблагодарил присутствующих негритянскими песнями в водевиле Бикерстаффа — «Висячий замок». А затем, после спектакля, обратился с речью ко всем, кого он пленил своим талантом.

— Господа, со дня на день я откладывал призыв моего сердца — поблагодарить вас за все цветы, за рукоплескания и слезы, за искренний смех, а теперь, начавши это, не найду, может быть, и слов, чтобы сказать вам мое искреннее спасибо. Вы почтили меня на языке сердца, понятном всем народам, вы в черном лице моем проявили сочувствие ко всему угнетенному племени моему...

В начале речи Айра процитировал «Гамлета»: «Краткость — душа умной речи, и я буду краток», — но говорил он долго и взволнованно. То подымал глаза к райку, то смотрел в ложи, почти не владея собой, размахивал руками, переступал с ноги на ногу. Слушали его в тишине, хотя большинство не понимало ни слова, потому что это уже не был известный всем шекспировский текст, а собственные его Айры, слова.

Большинство слушало, не понимая, по пиному не хотелось, чтобы умолкал его певучий голос.

— Великодушные чувства, — говорил Айра, — заставившие отметить мое искусство, могли зародиться только в таких возвышенных сердцах, как ваши; магнетическая цепь соединяет всех любителей истинного искусства в одно единое братство... Все, что я здесь получил, сохраняется на родине моей священным наследием. Вменяю себе в обязанность — внушить сыну моему уважение к памяти друзей моих... А теперь подхожу к самой трудной части моей речи: я должен сказать вам тяжкое прощайте! Но горькие и разнообразные чувства, волнующие меня, не позволяют остановиться на этом слове. Повторяю мое прощальное слово и молю бога — пусть благословит он и примет каждого из вас под свое покровительство...

Крики потрясли театр. Артиста на руках вынесли на улицу.

Он плыл над бесноватшейся толпой, окружившей театр и ждавшей его выхода. Гурьба студентов шумно впряглась в экипаж, чтоб отвезти негра в гостиницу.

68

Старый Прохор убирал посуду и ворчал что-то, известное ему одному: был недоволен — или плохими обедами из кухмистерской, или непогодой...

Тарас Григорьевич лежал с газетой на диване. Номер «Северной пчелы» вышел в тот день скучный, читать было нечего. Шевченко мям в руках газетные листы, нашел объявление, немного занявшее его:

«А й р а О л д р и д ж ! Только что вышел из печати превосходный, отличающийся необыкновенным сходством, портрет этого знаменитого африканского трагика (в костюме из «Отелло»). Цена иллюминированному экземпляру — 1 рубль 50 копеек, не иллюминированному 1 рубль».

Таких реклам в газетах и журналах было много. С приездом Олдриджа в Петербурге даже установилась некоторая мода на Шекспира и на все африканское.

В магазине русских и иностранных книг Д. Е. Кожачикова, что напротив Публичной библиотеки, и в других сорока книжных лавках города произведения Шекспира раскупались нарасхват. Мода на все африканское пустила в продажу мыло «Зулус»; кухмистерские предлагали невиданные африканские блюда; рядом с афишами о представлениях африканского трагика развешивались объявления Крейцберга Старшего об «А ф р и к а н с к о м п и р е», на котором укротитель обедал с хищниками за одним столом.

Журналы и газеты о самом Олдридже писали все чаще и чаще. «Современник» посвятил ему двадцать две страницы! Упоминали о нем даже такие журналы, как дамский «Северный цветок», журнал мод, искусств, литературы и хозяйства...

...Тарас хотел было бросить газету, соснуть, как взор его приковался к небольшой заметке в полицейской хронике.

Прочел ее мигом, — сна как не бывало, прочел еще раз и закричал:

— Прохор! Прохор! Да идите же сюда... Слушайте!

— Что там такое? Нету мне от вас покоя на старости лет!

— Да слушайте же... «Недавно пойман на краже некий Василий Пименов, дворовый человека господина Болотова»...

— Что вы такое читаете?

Тарас прочел еще раз. Прохор выслушал и больше не спрашивал ничего. В заметке рассказывалось о грабеже, о попытке бежать, о намерениях упомянутого Пименова сманить с собою крепостную девку из соседского двора, о том, что, по просьбе хозяина, вор отправлен без суда и следствия в каторжные работы...

Прохор сидел в углу, у печки.

— Сынку, сынку...

Шевченко смял газету и бросил было к печке: потом поднял, расправил и сунул в карман.

Судьба не уставала бить его и близких ему людей, сокрушала все начинания, все надежды...

Вечером получил Тарас три записки.

Первая была от Кулиша. Этот человек умел не замечать, что ему не было нужно:

«Сегодня святая пятница, добродееу, и вечером добрые люди будут ее у меня величать. Приходите, если на то ваша милость, поблагодарить величание.

Кулиш».

Шевченко подумал: «У кошечки — когти-то в рукавичках».

Другая записка пришла от Борлаквической:

«Уважаемый Тарас Григорьевич!

Не за горами — сочельник, свят-вечер. Ждем вас к себе па кутью. А на моего нерасторопного мужа не обижайтесь. Да и про дело ваше поговорим.

Г. Б.»

Третье письмо было в конверте с баронским гербом.

«Уважаемый коллега, Тарас Григорьевич!

Очень прошу, зайдите ко мне по интересующему вас делу. Нашел одного скульптора, подходящего учителя вашему кучеренку.

Петр Клодт».

69

Кулиш был настроен торжественно.

В доме у Ганны Гавриловны пахло ладаном, воском, сеном и теми неувливыми рождественскими запахами, которые еще с детства так волновали его.

Наступал сочельник.

По мокрым улицам Петербурга сновали озабоченные люди. Каждый встречал святки по-своему, в зависимости от взглядов,

настроений и кошелька. Но все эти люди, сповавшие сегодня по Сенному базару, по Апраксину двору, по келейкам ростовщиков. Все эти люди не знали обычаев его милой Малороссии... И только здесь, в этом уютном доме, находил Панько Александрович то, чего искал в такие заветные часы: закоулка, где бы вкус к иноземному не затмевал всего, что свойственно зажиточному сельскому бытию.

Под образами уже стояли на сене кутья и взвар. «Шулпки» плавали в маковом молоке. От постного борща разносились по всему дому пьяные ароматы. И Пантелеймон Александрович и Таволга посматривали на часы: когда же? Не пора ли? Там, где-то на Украине, христиане пачипали святочный ужин, дождавшись первой звезды... А здесь, над этим проклятым болотом, такое непроницаемое и мокрое небо, что приходится высчитывать по часам, когда придет время появиться долгожданной звездочке!

— И как же замечательно, Грицько Митрофанович, сейчас там у нас! Ясное небо, звезды, месяц. Снег скрипит под ногами колядников, славящих Христа...

— Плакать хочется,— сказал Борлакивский.

А Кулиш снова обратился к Гоголю, как и всегда:

— Неужели вы не помните этих строк? Правда, я их выучил на память, перепишная текст, читая корректуры... Слушайте: «Последний день перед рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать»... Что вы скажете? А?

— Плакать хочется,— снова повторил Борлакивский и заговорил на удивление велеречиво:— Так бы и поехал туда... Но не скажите!— забасил он.— Не скажите! И в Петербурге жизнь не плоха, у кого денег куры не клюют! Тут можно так зажить — что ну! Тут вам — балы да концерты, зверинец... Искони же в сем граде великий интерес! Тут вам и Юлия Пастрана, и карлики на немецком театре; восемнадцатилетняя дама, этакая, знаете! — носит по сцене живого египетского крокодила: да тут и чарку можно всюду опрокинуть, и все под рукой. Да... Только вот у меня Ганна Гавриловна очень уж строгая... Что говорите?

Но Кулиш даже не слушал, занятый собственными мыслями.

Он прислушивался к стукам и шумам на кухне, к танцевальным шорохам, но-

сящимся по дому в предвечерний час... Ждал,— не придет ли Тарас? Думал о нем уже не сердито, скорее — с сожалением и скорбью: не понимает этот человек его добрых намерений и чувств...

Ротмистру Таволге, румяному и подвижному, уже не сиделось на месте. Удалившись куда-то, он вскоре впорхнул в комнату,— уже навеселе, деловито осмотрел накрытый стол, звякнул пустой рюмочкой, потрогал пальцем осетра, ткнул в пироги и вздохнул:

— Когда я был на выставке в Лондоне, месье, я видел там, недалеко от хрустального дворца, ах, какой пирог, свадебный пирог в пять пудов весом, и еще другой пирог, совершенно исполнинский, испеченный страной Голландией, названный пирогом всех наций.

Борлакивская, встав у резного косяка, слушала.

— А почему бы, господа, почему бы не устроить, хоть бы и в том же Лондоне,— всемирную выставку яств? Каждый народ явился бы туда со своей кухней, с тем, что он ест и пьет! А судьба народов разве не зависит от пищи?

Кулиш поднял голову.

— Конечно, зависит. *Alle Cultur geht vom Magen aus*. Наполеон Первый сказал даже, что *c'est la ventre qui fait les revolutions*¹. Да и отчего, скажем, столько болезней в Китае? От риса... И еще такая выставка доказала бы и утверждение естествоиспытателей, что человек — животное всеядное.

— Вот видите! И подумайте только, как замечательно на этой выставке прославился бы по всему свету украинский народ! Мы бы открыли миру восхитительный полтавский борщ, запорожскую саламату или тот же свадебный лежень. бульбу, вертуту, спотыкач и кусаку, и все, что мы видим на этом столе. Садитесь, прошу вас! Садитесь.

За столом ждали Тараса еще полчаса. И звезде пришла пора, и пустые желудки напоминали о себе.

Таволга не выдержал.

— Давайте хоть выпьем.

— Должен прийти Тарас. Он читает этот праздник...— Кулиш старается успокоить самого себя; разрывать с Шевченко у него не было ни желания, ни расчета.— Придет... Он рассказывал когда-то, что у отца его к рождеству не оставалось и горсти зерна на кутью. Приходилось выпра-

¹ «Вся культура идет от желудка» (немецк.)... «Революция происходит от желудка» (франц.).

шивать у добрых людей. А потом на ужин каждому доставалось по щепотке кутьи, по ложке взвара. И все!.. А тут у вас, пани моя милая, действительно, хоть на выставку!— и Кулиш торжественно повел рукой над столом.

— Comme il faut,— объявил Таволга.

Здесь, и точно, было все, что полагалось по «предковским обычаям». Кроме всяческих постных яств, была и пшеничная кутья, и соты меда, и все, что следовало. А Грицько Митрофанович, спрятавшись за большой кучей пирогов, как делал это по обычаю каждый год, спрашивал у Ганны Гавриловны:

— А видишь ли ты меня, Ганнуся, за пирогами?

— Нет, не вижу.

— А вы, тату?

— И я не бачу,— отвечал Таволга.

— Ну, так дай, боже, чтоб и на тот год не увидели, чтоб имели мы всего так же много...

— Дай, боже.

Все крестились.

Ужин начинали без Шевченко.

— Вышли бы мы с ним,— грустно гудел Грицько.

— А мы можем и втроем,— заметил ротмистр.— Ваше здоровье!

Когда челядинцы пришли в покои славить Христа, когда сняты были все заказанные хозяйкой колядки, общество встало из-за стола; только Ганна Гавриловна поглядывала с сожалением на совсем непечатого судака, блестяще приготовленного по-капуцински, с ромом.

— Почему не вышла Марина колядовать?— спросил Кулиш.

Ганна ответила нехотя:

— Опять больна. Надо было бы все-таки ее на хутор отослать или... продать... Хворает и хворает.

— Климат!— пробасил Борлакивский.

— Лежит?

— Десятый день... И такая румяная да красивая, что и не сказал бы, что больна, а руку приложишь— как жар горит! А очи...

— Можно навестить ее?

— Нет.

— Почему же? Девушка будет рада. Да и я...

— Вы бестактны, Пантелеймон! Не понимаю...

— Мне жаль бедняжку Марину: заболеть под такой праздник! Искренно жаль... И любовь! Что делать с людьми: и животворит, и убивает. Помните— в моем стихотворении?— «Віночку мій любий,

рясний, зелененький! Пливи за водою, мов човник легенький; скажи, яка доля обом нам судилась: чи буду я в парі із ким полюбилась?— і двпльяться в воду на пишную вроду, і тихо-тихенько несе річка воду>... Музыка? Вы слышите музыку слова? Мелодию? Ритм?..

Поэтическое настроение никогда не оставляло его под рождество и пасху,— издавна привычный восторг перед тайной рождения и воскресенья, память о которых отмечалась в эти дни...

Панько Омелькович рассказывал о своих планах, о переводах библии и Шекспира...

Опустив респицы, снова читал свои стихи, слегка картавил, напевал, любясь каждым словом. Томно поеживаясь, попросил у Грицька Митрофановича:

— А дайте-ка мне вашу скрипку... Сыграю.

Борлакивский припес со своей половины, похожий на детский гробик, покрытый пылью черный деревянный футляр.

Кулиш открыл его. Настранивал, прислушивался. Затем вынул свежий платок, приложил к подбородку и, склонив голову пабок, поджав тонкие губы, взмахнул смычком.

Полилась тоскливая, отчаянная мелодия. Кулиш играл без особого мастерства, но с чувством и страстью. Только в музыке он был настоящим.

Ганна Гавриловна любовалась Пантелеймоном, смотрела на четкий профиль и мечтала о чем-то своем, сокровенном... Ведь так редко строгий Панько преображается...

Слушала и мечтала. Но... что это? С грохотом распахнулась дверь, и все очарование исчезло.

В комнату вбежала Марина, с распущенной косой. Видно было, что девушка только что вскочила с постели. Глаза ее горели безумным огнем.

— Перестаньте! Перестаньте!.. Не мучьте меня. Я не могу больше слушать, не могу, перестаньте...

Кулиш перепуганно глядел на девушку, которую привык видеть только парядно одетой, услужливой и милой, но еще машинально водил смычком, и мелодия, искаженная, прыгающая, все еще плыла по комнате.

— Перестаньте...— и Марина, не помня себя, кинулась на Кулиша, ударила по скрипке, выбила ее из рук.

Скрипка, страшно взвизгнув, разлетелась вдребезги. Пустой футляр с грохотом упал со стула.

Все произошло мгновенно. Папи Борлаквская закричала.

Больная, сообразивши, что наделала беды, рванулась к выходу. Ганна Гавриловна погналась было за ней, но Марина успела добежать до порога и скрылась в темноте...

Моросил дождь...

Искали девушку долго.

Грицько Митрофанович, бледный и недовольный испорченным праздником, стоял у порога. Смотрел на фонари, передвигавшиеся во влажной тьме. Досадливо хмыкал: «Такая хорошая девушка и вдруг...»

— Какая неблагодарность... — пробормотала Ганна Гавриловна. — Да еще в такой день!

— Девушка-то больна, — сказал Кулиш. — Простите ее, умоляю! Это я тронул ее любовью израненную душу! Все-сильное чувство...

— Э, да что там! Это же не Тарасова «Катерина». Это — жизнь, Пантелеймон Александрович. Жизнь! А вы...

Марину нашли в беспмятстве — по ту сторону канала. Когда свет масляного фонарика упал на ее лицо, слуги, поднимавшие больную, увидели, что из уголка полураскрытых губ ползет зловещая струйка крови.

70

— А почему это господин Кулиш не пришел? — спрашивала в тот же вечер, в сочельник, Анастасия Ивановна. — Он праздник встречает в своей семье?

— Да какая у него семья! Желу держит где-то в деревне. Детей нет... Один!

— Меня, Тарас Григорьевич, очень трогает ваша дружба. Он так преклоняется пред вами...

— Да! Родичи мы с ним: «коли мій батько горів, його батько руки грів»...

Анастасия Ивановна не совсем поняла. Пришлось перевести.

— А я-то его приглашала только для вас, как товарища вашего.

— Товарища? Как говорят киргизы, — хорошего человека по товарищу узнают... Но, увь!

— Что такое?

— Да какой же он товарищ? Он, любезнейшая Анастасия Николаевна, просто путаник, а впрочем, может и хороший человек... Это, знаете, как бы вам сказать... — «не так тії вороги, як добрі люди — і окрадуть, жалкуючи, плачучи осудять, і попросять тебе в хату, і будуть

вітати і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити... Без ворогів можна в світі як небудь прожити, а ці добрі люди найдуть тебе всюди, і на тім світі, добряги, тебе не забудуть»...¹. Что? Я вам сейчас передаю, графиня.

71

Старый суфлер бросал на стыгущие уголья и в горячую золу поддувала сырые картофелины, готовил угощенье негру.

Олдридж, взявши кривую кочергу, смотрел на подернутые пеплом уголья, на узловатые пальцы суфлера, красные и дрожащие. И сказал, обращаясь к Шевченко:

— И мы с тобой уже старики, Тарас. Мы скоро будем стары, как деревья, которые отцвели в джунглях, как реки, ушедшие в песок.

— Я не стар, фуллах. Поэты не стареют. Сколько б ни прожили, умирают молодыми. Или не умирают вовсе. Как Пушкин.

— Но в его жилах текла черная кровь. В Америке, в негритянской хижине, я видел его портрет: курчавый, большеротый, как и я... Я выучу русский язык, чтобы читать его. Прочти мне что-нибудь покамест.

— «И то сказать, — читал Тарас, — в Полтаве нет красавицы. Марипе равной. Она свежа, как вешний цвет, взлелеянный в тени дубравной. Как тополь киевских высот, она стройна»... Марина, Марина!..

— А не слышал ты, — спросил Олдридж, — любил ли Пушкин моего Шекспира?

Тарас взял с полки книгу, в которой много строк было дописано от руки — из ненапечатанных текстов, и раскрыл, не листая.

— Слушайте. Вот: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих стра-

¹ «...Не так недруги твои, как добрые люди — и обкрадут, жалеючи, плачучи осудят, и попросят тебя в хату — на ласку богаты, о твоём здоровье спросят, чтоб потом смеяться, над тобой смеяться, добить смехом этим. Проживешь на белом свете, недруга не встретишь, а доброму люду тебя найти всюду, — и на том свете добряги тебя не забудут». (Перевод Н. Ушакова.)

стей, многих пороков... У Мольера «Скупой» скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен... — и Шевченко продолжал далее...

Суфлер, не забывая про картошку, старался переводить все. Но с Пушкиным справиться было трудно; не понимая какую-нибудь фразу, старик боялся переспросить; он так вел себя, чтобы его не было слышно, не хотел мешать господам своим присутствием...

— А вы видели когда-нибудь Пушкина? — спросил Айра.

— Видел. В гробу... И только... — и не утерпел, чтобы не показать негру заветную книжку, спрятанную на дне сундука. Книжку эту вручил ему накануне Никола Курочкин, получивши ее от знакомого капитана, прибывшего, после крушения корабля в далеких странах, по сухопутью домой.

Про нее, про эту самую книжечку, еще первого декабря писал ему из Москвы один из земляков, Михаил Максимович, ординарный профессор ботаники: «Слышал я, что какой-то разбойник неистовый там за границей тебе напакостил»...

«Пакость», о которой упоминал Максимович, стала для Тараса радостью и гордостью: в Лейпциге, городе типографий, была издана попечением Вольфганга Гергардта книжка — «Новые стихотворения Пушкина и Шавченки»... Там, рядом с неопубликованными творениями Пушкина, встали и новые стихи Тараса, стихи, которых, конечно, не пропустила бы царская цензура...

Пушкин и Шевченко! В одной книге, рядом...

Выход этой книги мог, разумеется, лишь повредить Тарасу, стать новым препятствием для напечатания его произведений в России, но захватывающая радость заглушала все опасения, заставляла забыть осторожность.

В сборнике были рукописи его произведений — крамольный «Кавказ», «За думою дума», «Заловит» и другие... «Никогда не пожелаю их видеть в печати», — писал он об этих стихах князю Долгорукову.

Пушкин и Шевченко!

Это было для Тараса высшей наградой после всех несчастий и унижений.

Айра листал книжку, расспрашивал Тараса. Затем приложился к ней губами.

— От нее повеет свежим ветром, — говорил он, — в вашей засушливой стране. Это напоит живой водой жаждущие уста

пародов ваших. Но пока спрячьте книгу, спрячьте! Так будет лучше.

Старый шептун передавал все — слово в слово, кланялся, старался никому не помешать, но, как только в руках у Айры появилась крамольная книга, суфлер оставил поддувало и потянулся к ней.

— Можно посмотреть?

Тарас и Айра переглянулись. Это была первая просьба за все время, пока старик прислуживал негру.

— Разумеется, можно. Извольте, — и Тарас протянул книгу. Пристально посмотрел на суфлера, будто впервые увидел его. Похож он был на старую птицу с грустно поникшей головой.

— Уйди отсюда, — вдруг, что-то сообразивши, сказал ему Айра. — Уйди!.. — крикнул он. — И чтоб я тебя больше здесь не видел! Довольно!

Суфлер бросился вон.

— Что ты? — удивленно спросил Тарас. — Он был когда-то...

— Пес. Предатель! — ответил Айра.

Тарас, конечно, не понял.

Перевести было некому. Недоуменно глядел на актера, на лицо его, обезображенное брезгливой гримасой.

Олдридж листал книжку, мурлыкая что-то себе под нос, затем, обернувшись к Тарасу, затаил тихо-тихо знакомую уже песню о дружбе, затем оборвал; обжигая короткие пальцы, выхватывал из золы картофелины, разламывал и ел, сдувая пар.

Черное веко дрогнуло.

— Надо пропасться, Тарас. Пора!

Айра должен был уезжать. Зазтра утром.

Друзья молча обнялись. Шевченко хотел сказать что-то и только проронал глухо и болезненно.

Айра собирался выхажить, но, вспомнив что-то, полез в карман, вытащил большой, аккуратно написанный лист... По жестам Шевченко понял, что письмо надо передать кому-то после отъезда негра из Питера.

Присмотревшись, разобрал Тарас написанное латинскими буквами имя министра двора: Адлерберг.

Тарас положил письмо в сундук, забравшись под крышку с головой. Затем постоял минутку, посмотрел на Айру и двинулся к выходу. Друзья вышли на обеденную набережную.

Айра почему-то хмуро и сердито смотрел на Тараса и молча прощался с ним! Встретятся ли еще? У поэта измученный взгляд и неверная походка... Олдридж ду-

мал о судьбе поэта. Почему-то вспомнил старую английскую поговорку: «В кремне огня не видать, пока по нему не ударят». А это — кремь! — хотелось об этом сказать, но не умел. Прощай, Тарас.

...В тот же день, проводивши Айру в отель, Тарас Григорьевич шел домой и возле университета встретил толпу студентов. Набережная была запружена народом.

Прислушивался к разговорам. — «Не разрешили собраться в годовщину университета»... — «А это, чтобы не говорили об эманипации»... — «А мы поговорим здесь»... — «За напечатание в «Русском вестнике» статьи про университеты, вы знаете, отрешен от должности цензор Крузе»... — «Тоже Робинзон?» — «Не шутите: человек пострадал! Надо сделать подписку на денежное воспомоществование этому Крузе!» — «Надо, надо»... — «Надо бы написать еще и бумагу починителю, с просьбою защитить от полиции и солдат»... — «А что?» — «А ты не знаешь? Позавчера был пожар на Каменном»... — оказалось, в горящем доме остается имущество одного студента; товарищи бросились спасать; солдаты, окружавшие целью пожар, не пустили студентов, били их прикладами, а офицер кричал: «Бей поджигателей»... Винаватыми остались студенты, и по этому делу уже наряжено следствие... — «А кто видел, какое сейчас вывесили повеление? Запрещается аплодировать профессорам на лекциях, изъявлять свое одобрение или неодобрение»...

Молодые люди шумели, спорили, хватаясь за тупые студенческие шпаги. Тарас прислушивался. Не утерпевши, спросил что-то, сам заговорил, заспорил. Сначала негромко, но слушателей набиралось все больше, надо было — громче, и крипкий голос его напрягся, зазвучал. Чьи-то руки множество рук подняли его вверх и поставили на цоколь университетской ограды.

Шевченко стоял молча, волновалось перед ним море голов. И снова говорил.

— Гнев и слезы! Все, что рассказал вам, прочел я в «Колоколе», слышал от людей и видел сам...

Тарас сверху первый заметил всадников; кони во весь опор неслись к университету. Но Тарас не спешил уходить. Надо было еще сказать многое. И он, выигрывая время, произносил короткие, скупые и поэтому предельно ясные фразы, отчего слова его становились острее, разительней, горячее. Тысячи глаз сверкали перед ним. Студенты, прохожие. Толпа росла,

волновалась у самого берега Певы. Мимо, запыхавшись, куда-то пробежал Старов.

Всадники приближались. Видно было, как пар клубится у конских морд.

Лошади остановились. Прохода по берегу не было.

— Эх, господа студенты! — восклицал какой-то молодой человек. — Только враги университета могут вредить ему во мнении государя и общества. Не бережете вы ни своей университет, ни науку, на себя.

Тарас выпрямился, собираясь ответить. Но кто-то схватил его за руку и потянул вниз. Это был Чернышевский.

— Слезайте. Вам надо отсюда уйти.

Где-то стреляли.

Николай Гаврилович боялся за Шевченко, хотел увести его подальше и снова вернуться к студентам. Шевченко шел неохотно, оглядываясь.

Проводив Тараса до Четвертой линии, стал прощаться.

— Пора мне. Недосуг. Что-с? К вам? Да я уже заходил как-то, да не застал... А вот почему вы не придете ко мне домой или в «Современник»? Познакомлю со всеми, с Добролюбовым, с Некрасовым.

— Приду, приду.

Когда Чернышевский ушел, Тарас возвратился к набережной и слова поспешил за ним, к университету.

72

Что происходило утром следующего дня на вокзале, Тарас помнил плохо.

Он держал Айру за руку, не отпуская от себя.

Затем негра окружила толпа, все что-то кричали, произносили речи, бросали ему выпущие от холода цветы. Пришли студенты. Были всюду знакомые: Шербина, Курочкины. Толстой, Семен, артисты, репортеры; Прохор стоял в стороне. Здесь же суетился и помощник академического полицмейстера, Соколов. Подле него держался суфлер немецкого театра, впервые в Айру воспаленные глаза.

Негр отвечал на прощальные крики и речи, защищаясь от излишних восторгов Николая Дмитриевича. Словесник лез обниматься, кричал, даже сам не помня, что говорит.

— Преодоление темных сил, господа, ликовало в наших сердцах, возвышенные чувства, свойственные русскому человеку, уносили нас неведомо куда, вместе с ним, вместе с божественным арапом из Лондона.

Откуда-то взялся и ротмистр Таволга.

— Лондона? — и кричал Айре: — Пере-

дайте Лондону поклон! Когда я был там на выставке...

Поэта оттолкнули от Айры, он стоял в стороне и спохватился лишь, когда свистнул локомотив.

Айра, протолкавшись через толпу провожающих, обнял и крепко поцеловал Тараса, повернулся и вскочил на площадку. Наверху, на высоких козлах, затрубили кондукторы, и поезд тронулся. Связанные цепями зеленые вагоны третьего класса, без крыш и сплошных стен, со страшным стуком покатались мимо Тараса.

В локомотиве открыли продувные краны и регулятор. При первых оборотах колес помощник машиниста шел рядом. Затем, закрывши краны, вскочил на ходу на паровоз.

Из высокой тонкой трубы валил дым, посыпались раскаленные угли. Пассажиры третьего класса уже прятались под сиденья, укрываясь от искр; надевали защитные очки, купленные на станции вместе с билетами.

Поезд шел медленно. Айра, подняв руку, стоял на усыпанной цветами площадке. Горячий уголек упал на драгоценную шубу; негр не заметил этого; Тарас крикнул ему вдогонку; негр ничего не понял.

Шевченко долго не отводил глаз. Но Айры уже не видел. Раскачиваясь на крыше вагона первого класса его громоздкий багаж — чемоданы и кофры.

Поезд скрылся в тумане. Взор поэта привлекали нескончаемые лезвия рельс. Тарас. Тарас, вцепился бы в поручни и ехал бы... Здесь начинался путь на Украину!

Шевченко стоял и не видел, что все уже расходятся.

Слезы катились по лицу, по усам. Тарас не утирал их.

Кто-то коснулся его руки.

Оглянувшись, отметил, что перрон уже пуст, рядом стоит Оленька и чуть дальше — граф со старшей дочкой. Да еще, в другом конце опустевшей платформы, окаменела недвижимая фигура станционного жапдарма.

Оленька потянулась к Тарасу, заставила его патнуться и поцеловала в щеку. Толстой распорядился подать карету.

Солдат Ефимов стоял в стороне. Когда карета, блеснув лакированным кузовом, свернула на Невский, полпелся домой.

Через несколько дней Шевченко вспомнил о письме негра к Адлербергу. Вертел

плотную бумагу в руках, присматривался к непонятному тексту и снова положил на дно сундука. Отправлять боялся. Надо было подождать, пока Олдридж закончит гастроли в провинции и уедет в Лондон. Что хорошего мог написать артист в министерство двора после всех пакостей, ему учиненных?

На всякий случай попросил Катеньку перевести. Слушая, хохотал — до слез, до колик в боку. Катенька ничего не понимала. Что смешного?

«Ваше сиятельство!

Прошу извинения, что не мог перед отъездом лично изъяснить вашему сиятельству чувства глубокой благодарности за оказанное ко мне непосредственное внимание и уверяю, что навсегда, где бы я ни находился, сохраню самое отрадное воспоминание о стране, так радушно меня принявшей, и буду молиться о продлении жизни министра, столь полезной для государства».

Тарас хохотал. От смеха слезы текли по щекам. Катенька, напуганная, принесла стакан с водой. Шевченко сделал глоток. Зубы цокали о стекло.

Немного успокоившись, надел кожух.

— Куда вы?

— На почту, сердце мое, на почту, серденько! Идемте? Спросите у мамы — можно ли вам со мной? Что? Сегодня воскресенье? Все конторы закрыты? Придется съезти на вокзал. Нет ли у вас штемпельного конверта?

Тоска, чувство страшной опустошенности и одиночества охватили Тараса.

Из дому не выходил. Не глядел бы и на Васильевский остров, о котором мечтал еще там, в азиатской пустыне... По одну сторону, напротив острова, жил царь. По другую сторону, знал Тарас, затерялся где-то, возле Смоленского кладбища, сравнявшийся с землей холмик, могла казненных декабристов. Дальше было море — дорога в жужие края...

Туда поедет Айра. Там его ждут: сын, подруга... А кто ждет его, Тараса? Нигде и никто. Никто.

«Минули літа молодії. Холодним вітром од надії уже повіяло. Зима! Сиди один в холодній хаті — нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема, анікогісінько. — Нема!»

Записал строки на клочке бумаги, перекончил, так и бросил на столе, может быть, пригодится... Трудился больше над

гравюрами, готова «программу на звание академика».

Приходила Катенька. Принесла первый номер «Отечественных записок» — с началом нового романа Гончарова — «Обломов». Принесла от графини сладкий горячий пирог, большой и душистый, — шел от него хороший запах; работа была приятна; и почему-то разбирала досада... Забегал к поэту, как и раньше, легкомысленный Старов и сразу принимался за пирог, жадно, как человек изголодавшийся; казалось почему-то, что учитель остался без работы; рассказывал новости, новости, новости. Про Олдриджа вспоминал все реже и реже, это было уже прошлым, которого Старов никогда не ценил.

Заходил в мастерскую и угрюмый Щербина. Читал новые экзпромы, эпиграммы, фыркал и кашлял, злялся на всех и все.

Навещал иногда Тургенев. Приходил Клодт. Будто ничего и не случилось. Барон принес Тарасу стиральные резинки, вместо украденных когда-то маргышкой Манькой, подарил поэту новую бронзовую статуэтку и попросил выгравировать его портрет.

К Шевченко часто приходили теперь со всевозможными заказами даже вовсе незнакомые господа. Он гравировал портреты малонинтересных людей, печатал их. Так он зарабатывал на хлеб.

Издвка появлялся Николай Курочкин; запылавшись на лестнице, ложился на диван; приходил рассказать новости, поспудачить, покурить вместе, отдохнуть. Он, да и все их приятели, Богданов, Пальмин, были заняты новым журналом, «Искрой», дозволенным к изданию под началом известного карикатуриста Н. А. Степанова и младшего Курочкина, Василия... Готовился первый номер. Типография Кулиша собиралась приступить к печатанию. Шли уже споры с цензурой. Редакция собиралась разить врагов иронией и смехом. Никола, вместе со всеми, занимался делами нового журнала или, еще чаще, по целым дням сидел дома, на диване — оловянный, ленивый, с поджатыми под себя ногами, в халате, распахнутом на жирной груди.

— Тургенев и Писемский, — говорил он, придя к Тарасу. — журнала еще не выдана, а уже шипят на нас. Нюхом чуют!

Позднее порою лень было выходить на улицу, и Курочкин укладывался на софе в мастерской; беседа продолжалась фортепессимо, — друзья переговаривались с этажа на этаж.

— Ты, Никола, подлечил бы меня! Не можете...

— Да я, Тарасенька, — лекарь-скентик. Сам верю только в редечный сок. А ты хочешь, чтоб я на тебе испытывал латинскую кухню? Не могу... Я лоплю. однажды в Индийском океане с одним штурманом случился презабавный случай. Заболел, понимаешь, у него живот... Что? Не слышу! А-а... Уже знаешь эту историю? Разве? Ну, вот и хорошо. Спи, старик, спи... Думы? Гоня их прочь!

Снова, оставшись в одиночестве, Тарас горячо принимался за работу: закапчивал медь, готовил реактивы, резал и травил.

Солдат не отходил от него, знал, как ему трудно добиваться звания академика: нужны были либо связи и титулы, либо тяжелый, упорный труд¹.

Чтобы даром не шло время, старик не отпускал Тараса даже в кухмистерскую. Сам ходил на Сенной за провизией и готовил, что умел. Заработков Тараса не хватало, и солдат тратил свои скудные сбережения. Покупал газеты. Принес как-то и первый номер «Искры».

Тарас был признателем старнику, старался делать для него что-нибудь приятное, часто навещал его каморку.

Придя однажды к нему, застал старика в слезах. Он сидел на полу и бессвязно лепетал:

— Полезай на стену, коли велят: шестью десять шестьдесят...

— Что с вами, Прохор Михайлович?

¹ Звание «академика по части гравирования» Шевченко получил в 1859 году. 16 апреля в «определениях» Совета Академии записано: «По прошению гравера Т. Шевченко (№ 676), при котором представляя две исполненные им гравюры, просит удостоить его по оным звания академика или задать программу на получение этого звания; определено: Шевченко по представленным гравюрам признать назначенным в академики и задать программу на звание академика по гравированию на меди».

2 сентября 1860 года Тарас Григорьевич Шевченко стал действительным академиком:

«...4. Определено: во уважение искусства и познаний в художествах, доказанных исполненными работами, по заданному от академии программам и другим известным трудам признать академиком: по архитектуре назначенного в академики Петра Викентьевича Карлони... и по гравированию Тараса Шевченко».

— Да вот — таблица... умножения.

Солдат зарыдал.

— Чего вы?

— Васька...

— Что Васька? — встрепенулся Тарас.

— В княжество Финляндское увезли — камень долбить.

— Откуда знаете?

— Да... Верный ли человек восточку принес, приснилось ли... — и сердито прибавил: — Знаю, значит, знаю!

— И что же? Здоров? Жив?

— Долбил, говорили мне, долбил парень гранит. И высек где-то в укромном месте, в лесу, из того же камня — громадного коня, как у нас на Сенатской, но всадник, говорят, был у него под копытами...

— Но с Васькой-то что? Ну, чего же вы? Чего?

Солдат отвечал бессвязно:

— Я не плачу. Вспомнил просто, как учил его... Мечтали с ним. А он и не знает, что это же я его тогда на большом пожаре, осенью, когда сено горело, я его вытащил из огня... А для чего?

— Где он сейчас, Прохор Михайлович?

— Что? Говорят, убежал, перемахнул на ту сторону.

— В Швецию?

— Не знаю... не знаю, Тарас Григорьевич!

А когда Тарас вышел, солдат, слышно было, снова забормотал:

— Живи, поколь на плечах голова: восемью девять... восемью девять... восемью девять...

75

С досадным стуком падал занавес. Актеры-карлики, волею начальства сменявшие в Мариинском Олдриджа, разыграв мешущую немецкую пьеску, стирали грим и расходились. Театр пустел. Газли люстры и лампы, и только у суфлерской раковины горели две свечи. Пламя их трепетало у седой головы, старый суфлер не шел домой. Положивши голову на тетрадь, он глядел в темную глубину сцены. Вот там еще недавно стояло ложе Дездемоны... Подле него на ступенях бился в смертных судорогах мавр. Было странно. Но когда падал занавес, кончались вызовы и смолкали аплодисменты, суфлер все-таки шел к нему. Артист, разбитый усталостью, протягивал руки, давая себя раздеть; говорил ли суфлеру какие-то незначительные слова, просил поторопиться с переодеванием, что ли, заштопать ли сно-

ва разорванную мантию или подать воды. И, как ни странно, даже он, презренный театральный шептун, чувствовал себя человеком. Олдридж, как и все другие, не знал даже имени старика. Но разговаривал с ним, а не кричал, как другие. И что же... что же он сделал, старый подлец? И вдруг подумал: «Соколов-то должен еще пятнадцать рублей», — но сейчас же забыл об этом.

...Когда полицмейстер предложил докладывать обо всем, что увидит и услышит у негра, суфлер даже обрадовался, но потом... потом. Эх!.. Когда Олдридж прогнал его...

— Приладь свой ключ... нажми педали... До-ре, до-ре...

Старик грустным шопотом тянул слово за словом. Положив голову на тетрадь, между двумя свечами, закрыл глаза и видел брезгливый взгляд чернокожего, и протягивал руки, хватал его за полы фрака, чтоб не уходил, чтоб выслушал...

Суфлеру хотелось плакать, но он не мог. Прислонился к подмосткам щечкой, прислушивался к чему-то, к отзвукам своего голоса, к тишине, закрыл глаза и не видел упавшей свечи, ее пламени, жадно лижущего страницы тетради, тонкую, словно берестяную крышку суфлерской раковины.

76

Поздними вечерами, одинокий, в своей убогой мастерской, поэт словно в одиночку видел перед собой далекий Лондон, встречу Айры с Дездемоной и сыном, снова мечтал о собственной семье, вновь о Марине даже. Может... может быть! Может... веснушчатая подружка...

Затосковавши, писал письма в родную Кирилловку, Ярыне, затем записал испиранную, исцарапанную дверь, выводил мелом — куда пошел, когда вернется. — и отправлялся бродить по Питеру, вспоминая ночные, после спектаклей, прогулки с божественным Айрой, трагическим королевского Ковентгарденского театра в Лэндоне артистом и кавалером.

Спешил к дому Борлакивских, но возвращался назад.

Ходил на Крестовский остров — к Старову. Какая-то старушка сквозь дверь сказала: «Господина дома теперь не бывает никогда. Из Смольного-то выпали его?»

Снова бродил, бродил по городу, не находя себе места. Хотелось пойти к Чернышевскому, но боялся помешать ему.

Искал Николу Курочкина. Не нашел...— завернул в трактир и выпил рюмку водки. Пить в одиночку было противно. И снова шел.

Встретил барона Клодта. Барон мчался во весь опор на вороном скакуне.

Завидев Кулиша, переходил на другую сторону.

Затем сворачивал ночью к Марининскому театру-цирку и расхаживал взад и вперед у темных подъездов.

Как-то, на одной из таких прогулок. Тараса Григорьевича опередили быстрые кони пожарного обоза.

Колесницы загрохотали по торцам. факелы взмахнули дымными бородами и исчезли за поворотом.

Тарас, поднявши голову, присматривался: не видно ли где зарева.

— Не знаете ли, где горит? — спросил он у попавшегося навстречу длиннобородого шарманщика.

Но всюду было темно, и поэт поплелся потихоньку вслед пожарным, думая свою думу.

На ходу затянул — ту самую, что не раз пел Айре:

— Забіліли сніги, заболіло тіло, ще й
головонька,

Та ще й головонька.

Ніхто не заплаче по білому тілу, по
бурлацькому,

Та й по бурлацькому.

Ні отець, ні мати, ні брат, ні гестри-
ця, ні жона його,

Ні жопа його,

Ой, тільки заплаче по білому тілу
товариш його,

Та й товариш його:

«Прости мені, брате, вірний това-
ришу»...

...У театрального подъезда Шевченко остановился. Три колесницы стояли здесь; огня будто нигде и не было; и только присмотревшись, заметил отблески в маленьких верхних оконцах.

Театр горел, должно быть, очень сильно. Пожарные солдаты суетились. Ждала еще одного обоза с водой. Капал возле Марининского театра был скован льдом, реки тоже замерзли, и воду возили только из пожарного резервуара на Лиговке.

Горело внутри.

Тарас подошел еще ближе.

Из Большого театра, стоявшего на той же площади, после маскарада выбегали в панике сотни людей. Толпа вопила и металась. Суетились бледнолицые актрисы и актеры. Промчался с какой-то девичьей

Гулак-Артемовский и Тараса не заметил. Всюду мелькали маски и домино. Арлекин шел в обнимку с толстым запорожским казаком. Откуда-то прибежали мастеровые и приступом пошли на огонь.

В трактире «Роза», где всегда после представленный немецкие нижнюю лакомились булочками с розовой водой, осветилась витрина; испуганный немец-трактирщик, брюхатый, краснорожий, в колпаке и плафроке, выскочил на многолюдную площадь и окаменел пред освещенной пожаром печальной маской Дон-Кихота; поднятое забрало, щит и копые привели его в ужас.

Кто-то орал: «Держи поджигателя! Братцы!» — Какие-то молодчики тащили в часть растерзанного студента.

Дым уже клубился над театром. Тарас Григорьевич за пожарными солдатами старался проникнуть в здание, но вдруг большой купол театра со страшным грохотом провалился внутрь.

Дикое пламя широким столбом ударило в небо, разрывая бархатный покров ночи.

Верхние окна, словно жерла пушек, выбросили залпы огня. Сразу стало светло и жарко...

Тарас помогал пожарным. Здесь еще так недавно жил на сцене Олдридж? Здесь родилась их дружба? Шевченко не думал об этом. Не думал ничего. Тоска толкала его вперед. Лез в самое пекло, как и когда-то давно — в Прилуках, спасая от огня убогую еврейскую лачужку... Пожарные понесли на улицу какое-то обгоревшее тело.

Тараса тянуло к огню. Глаза его раскрывались все шире и шире. Стало даже больно, и поэт заслонил их широкой ладонью, словно защищаясь от солнца. И шел вперед.

77

В дверь постучали. Солдат пошел открывать.

Шевченко ждал Курочкина с новым переводом его стихов. Или с номером «Искры».

Но стучал Кулиш.

Увидев его, Тарас, бледный, с обгоревшим усом, поднялся от офортного станка, пошел навстречу и протянул руку, — такое встревоженное было лицо у гостя.

— Тарас, родной. Марина умирает. — сказал Кулиш, еле шевеля губами. — Идем.

Шевченко стоял неподвижно.

— Тарас! Слынишь. Тарас? Умирает... А я-то ей и свадебный подарок ириготовил.

Тарас тяжело упал на ступени лестницы, ведущей в антресоли, и сидел, немой, неподвижный, казалось — вот умрет он сейчас на этих же ступеньках.

— Тарас! Она сама прислала за тобой. Шевченко словно проснулся.

— Надо спешить, надо спешить, — только и говорил он.

Когда вышел на улицу, схватился за грудь, показалось, что дом покачнулся и падает. Переходили через дорогу, и Тарас шел неровно, ковыляя, взмахивая руками, шел, как подбитая птица. Молча взлез на извозничью гитару. И всю дорогу молчал. Спросил только безнадежно и вяло, когда уже подъезжали к дому Борлаклевских:

— Все-таки убили? — и слова бормотал: — Надо спешить, надо спешить.

Когда приехали, Марина была уже без памяти. Что-то шептала еще, еле внятно шевелила воспаленными губами:

— Приснился раз... приснился раз Орысе... дивный...

Услышав слова из своего старого рассказа, Кулиш бросился на пол и, растроганный, земно кланялся умирающей.

— В такую минуту, в такую минуту... — бормотал он.

Шевченко грубо прогнал его. Подняв подмышки, молча вытолкал вон.

— ...Тарас?

78

...Он брел к ее могиле, присаживался на снег у покрашенного креста, но не мог сидеть и тотчас уходил.

Боль и гневные слезы душили его, перехватывали дыхание... Марья! Веснянка моя!..

Поздним вечером приходил домой. Не знал ни сна, ни покоя. Это было предчувствие расплаты. Гнев!

«Не спалося, а ніч, як море»... Сердце чего-то ждало. Болело, пыло. Хотелось плакать, но на губы просилась песня, давно сочиненная и как будто уже забытая.

— Ой, внострою товариша.

Засуну в халяву,

Та й піду шукати правди,

І тієї слави...

Тяжело падали на бумагу слезы гнева. Думал об Украине: «Вот кабы можно было прехать мне туда веспой, до соловья».

Новые слова рождались, еще более сильные, зовущие. Новая песня. Черная тоска и мусть прошли.

С мягким шелестом перо побежало по бумаге, без помарок, не останавливаясь. Так не писал давно.

Отблески, убежавшие от раскаленной печи, украшали неуютное мрачное жилище, населяя его проворными тенями. Сырые поленья шипели и трещали. Ветер гудел в трубе. Не слышно было даже осторожного стука в дверь.

Постучали сильнее.

— Кто там? — спросил Тарас. — Войдите.

В двери стоял Соколов.

— Ваше письмо по ошибке занесли ко мне. Прошу вас.

— Вы очень любезны: не забываете меня.

Тарас протянул руку за конвертом. В нем была записка от Николая Курочкина:

«Перевел я, Тарасенька, твои «Слезы», удачно ли — не знаю. Что это тебя не видно? Был у тебя в тот день, когда ты назначил, но не застал. Как тебе понравилась наша «Искра»?

Душевно любящий тебя

К у р о ч к и н.

Р. С. Еще стихов, да самых сердечных!»

Прочитавши записку, Шевченко улыбнулся и обратился к Соколову, все еще стоявшему в двери:

— Все бодрствуете?

Соколов будто не понял иронии:

— Да. Почти все люди спят. Но почему это в вашем окне всегда свет? Горит и горит? Не спите и не спите?

Шевченко прищурил глаз, улыбнулся, дернул себя за усы, казавшиеся при свечке ярко рыжими, спросил, указывая пером на язык пламени:

— Ну-пу? Нашли поджигателя? Бон-тесь, чтобы не наделал пожару? — и прибавил на родном языке, почти шопотом: — А чи не пішли б ви звіди... геть? Прочь! — и с размаху стукнул кулаком о стол... — Я работаю, сударь, — и отвернулся.

Легкое перо снова взлетело, заскрипело, забегало. Стихов? Еще? Самых сердечных?

Перевод с украинского

А. А. БЕЛЕЦКОГО и Р. М. САМАРИНА

Инженер Миронов

Рассказ

Как только стемнело, все ушли, чтобы уезжающим можно было пораньше лечь. Но Василий Андреевич вдруг почувствовал тягостное беспокойство: вещи уложены, все сделано, а еще только вечер; самолет улетал на рассвете.

В вершинах тайги еще не угас зеленый свет заката, а внизу у черных стволов кедров и пихт уже началась ночь. Тайга протяжно и гулко шумела, как река в ледоход, а серая березка подле дома гнулась, совсем обтрепанная, и листья ее кружили над ней, как стая птиц.

— Какой вечер, — сказал Василий Андреевич. — Как бы не пришлось распаковывать чемоданы. Ничего пет хуже.

Мальчик, которого он увозил с собой, внимательно прислушался; у него было желтое лицо с черными раскосыми глазами.

— Эта ветер недолго, Андрейч! Моя знает, — сказал он, по-своему коверкая русские слова.

— Ты думаешь?

Мальчик важно улыбнулся.

— Моя охотник. Сопки ему башку скрутят. Слышишь, как дышит?.. Ему скоро будет смерть.

А ведь, пожалуй, Яграй прав: ветер идет не с гор, а в горы.

Березку совсем пригнуло к земле, вот-вот, казалось, ее сломает.

— Надо поставить подпорку, — сказал Василий Андреевич.

Яграй тотчас поднялся со стула, небольшой, гибкий и мускулистый; за ним последовал Василий Андреевич, крупный, широкоплечий, с мягкими, заметно поредшими волосами.

Во дворе они нашли длинную жердь и укрепили ее: теперь березка лишь дрожала, жалобно и тихо скрипя. Василий

Андреевич потрогал ее — она была сухая, гладкая и холодная: — «значит, скоро зима», — подумал он.

Когда они вернулись в дом, старая Петровна подала им свежего, крепкого чая.

— По такой погоде лететь — упаси бог, — сказала она озабоченно. — Может, переждешь, Василий Андреевич?

— Ничего, к утру стихнет.

— Дай-то бог. Чай-сахар куда положить? В дороге пригодится.

— Ну, зачем? Вечером будем в Москве. Ты лучше отнеси своему старику.

Яграй сидел сосредоточенный и молчаливый.

— Ну, чего ты? — спросил Василий Андреевич негромко. — Это не страшно. Я летал много раз.

— Может страшно, может не страшно, моя не знает, — отвечал мальчик доверчиво и просто.

— А хочешь быть летчиком?

— Хочешь, хочешь, — подтвердил Яграй и повеселел.

И тогда Василий Андреевич понял, что предстоящий полет меньше всего волнует мальчика. Весь день Яграй бродил по тайге, а под вечер, когда заходящее солнце осветило ее сумеречным багрянцем, он печально запел; он пел о том, что положить в салоги немного таежной земли, чтобы ноги его всегда оставались на ней.

— Время быстро пройдет, — сказал Василий Андреевич мягко. — Поглядишь людей, станешь летчиком... а там и обратно сюда вернешься. Я к тебе в гости приеду.

— Приедешь, Андрейч? — спросил мальчик, и глаза его заблестели.

— А то как же. Сам же меня и привезешь. Махнем мы с тобой на охоту по первой пороше... хороша здесь эта пора.

воздух, и тот розовеет от мороза.— Голос его звучал устало и глухо.— Ну, Яграй, ложись спать, надо отдохнуть. А я к себе пойду.

Он еще поработал несколько часов; Петровна дважды неслышно приносила ему чай.

«Экономически, географически и политически лучшей площадки для строительства металлургического завода не найти»,— писал он; дальше шли факты и цифры, точные и убедительные.

Василий Андреевич чувствовал себя утомленным после долгого, хлопотного дня; он думал, что стоит ему лечь, как мгновенно заснет. Часы показывали начало двенадцатого. Он погасил свет.

Сперва он подумал, что последнее письмо от жены получил с неделю назад, ашло оно долго, и мало ли что могло там случиться. Он представил себе Веру, ее спокойные карие глаза, задумчивую улыбку и милую привычку слегка шуриться, и немедленно возникла Варюша, подросток с русыми косичками и светлыми, как у отца, глазами. Он никогда не представлял себе жену и дочь порознь. И тотчас беспокойство превратилось в тревогу, в преувеличенную ночную тоску.

Два года назад инженер Василий Андреевич Миронов приехал сюда, чтобы строить дорогу. Была здесь в ту пору дикая, косматая тайга с тропами, проложенными зверями, а теперь здесь районный центр с двумя школами, больницей, клубом, парком, и дорога протяженным в четырехста два километра. Как-то секретарь райкома партии сказал ему на прощанье: «Сюда надо приехать лет эдак через десять, чтобы понять, что мы тут сделали. Вот только завод отстоять бы, Василий Андреевич!»

В последние восемь месяцев Василий Андреевич и вовсе не выезжал, время было горячее, а Вера приехать к нему тоже не могла, так как Варюша всю весну проболела, да у Боряса, которого они с Верой воспитали и вырастили, жена родила сына, и роды у нее были первые и трудные, так что даже опасались за ее жизнь.

Бывало в зимние ночи, когда тайга трещала от стужи и мерцали кривые столбы северного сияния, Василий Андреевич особенно больно тосковал; и тогда находил некоторое утешение, размышляя о том, что небо, которое над ним, так же простирается и над дорогами ему людьми: и те же звезды, и тот же падающий снег.

А теперь были простые и очень грустные мысли, что вот не видел он своих близких людей восемь месяцев, что его от них отделяют добрых шесть тысяч километров и что до рассвета еще далеко.

Он чиркнул спичку, осветил часы: шел двенадцатый.

Однако необходимо заснуть, не то завтра в голове будет тяжесть и боль.

Понемногу все смешалось в его сознании, и мысли потускнели, и воспоминания стерлись, и шум тайги удалился и стал затухать, но вдруг Василий Андреевич увидел себя с папиросой, а так как он знал, что это во сне, то проснулся, и сразу в комнату вошел лесной рокот, похожий на ливень. Василию Андреевичу почудился запах табака, сладкий и тревожный запах.

Врачи запретили ему курить, у него было повышенное давление крови и не совсем здоровое сердце, но он решительно не признавал себя больным. Они советовали ему избегать волнений. Ну, волнений — как их избежишь; «это все равно как если бы мне сказали: не работай, не думай, не живи»; поэтому он начал избегать докторов; он немного побаивался их. Все же кое в чем пришлось уступить, особенно после того, как однажды ему сделалось плохо и он пролежал в постели два дня, целых два дня. Тогда он бросил курить.

Это было мучительно, он внезапно обнаружил, что с табаком, с махорочной цыгаркой связаны воспоминания всей жизни: и детство, и труд плотника, и бесправная служба минера второй статьи на крейсере «Императрица Мария»; от махорки у командира партизанского отряда пальцы были всегда желтые. Она помогала рабфаковцу, затем студенту усваивать сложные математические формулы, а инженер Миронов вот уже два года все реже и реже курит во сне.

Теперь он чувствовал себя хорошо и был не прочь снова начать курить.

Он зажег спичку: все еще тянулся двенадцатый час. И опять эти ночные навязчивые думы. Незаметно он задремал, продолжая о чем-то думать; одна мысль показалась ему важной и нужной, он решил ее запомнить и стал повторять ее, как молитву; он пробудился я был удивлен, когда понял, что твердит какие-то бессвязные, глупые слова. Ему стало ясно, что он уже больше не заснет.

Яграя не слышно было за тонкой перегородкой; обычно он спал тихо и чутко, как птица. Едва ли он спит сейчас.

Впервые Василий Андреевич увидел его на ступеньках больничного барака: мальчик сидел и курил трубку. Василий Андреевич спросил его, кто он и что тут делает. Мальчик равнодушно ответил, что он — Яграй, местный охотник, и что курит перед дорогой.

— А далеко тебе идти?

Яграй молча указал на тайгу. Быстрые зимние сумерки переходили в ночь, пахло влажным дымом метели. Потом мальчик вытер ладонью прямой чубучек трубки и подал ее Миронову.

— Не курю, бросил.

— А твой однако начальник, все начальники курят, — серьезно сказал Яграй.

Он привез в больницу свою мать; с тех пор как ее подмял на охоте медведь, она разучилась двигаться и говорить, никакие шаманские заклинания и вопли не помогали. Мальчик рассказывал сдержанно и сурово, попыхивая трубкой.

Тогда Миронов позвал его к себе чай пить.

Мальчику минуло тринадцать лет, а выглядел он куда старше; настоящее имя его было Егор, по-тунгусски Яграй; отец оставил ему в наследство охотничьи силки, старепьное ружье и парализованную мать.

Чтобы ему быть к матери поближе, Миронов предложил ему остаться на стройке. Сперва Яграй работал в разведывательной партии. Изредка он наведывался к Миронову, держался взросло, но робко и в доме никогда не курил. Однажды он увидел у Миронова шахматы и заинтересовался. Василий Андреевич показал ему, как играть. Мальчику игра понравилась, в ней было что-то напоминающее охоту, хотя он никак не мог понять, почему пешки идут прямо, а бьют вкось, почему король, из-за которого вся охота затевается, такой ленивый, неповоротливый, почему, наконец, так трудно скачут кони.

Он стал приходить почаще. Как-то Миронов сказал ему, что раз шахматы ему так нравятся, то пусть возьмет их себе. Мальчик не понял его, он недоверчиво смотрел то на шахматы, то на Миронова; неожиданно отвернулся и пошел прочь. Василий Андреевич нагнал его, вернул и с трудом убедил, что дарит ему шахматы.

Через несколько дней Яграй принес ему из тайги шкурку красной лисицы.

— Может, мало, моя еще принесет, — сказал он обеспокоенно.

Миронов растерялся: принять подарок он не мог, а не принять — значило обидеть Яграя. Он не знал, что сказать, и

почему-то вспомнилось ему далекое детство, когда он прислуживал в плотницкой артели. Был он в то время моложе Яграя, сам грамоту одолел, на стружках, бывало, буквы печатал; букву выбьет, а какая она — шут ее знает, и спросить не у кого, в артели все крестами расписывались.

Раз послали его за хлебом: прибегает к булочной, смотрит, в окне белилами слово нарисовано, буквы все знакомые. а прочитать не может; он и так, и этак прикидывал, даже сосчитал, сколько букв, и вдруг догадался: «хлеб, хлеб».

Только плотники в тот день без хлеба остались. Ну и били же они его, всей артелью били, на всю жизнь артельные побои запомнились.

Впервые Миронов рассказывал Яграю о себе.

В том, что мальчика били, ничего не было удивительного, но что Андреич был когда-то таким именно мальчиком — это поразило Яграя. Он больше не стал говорить о лисей шкурке. А когда недели три или четыре спустя Миронов как-то вскользь сказал ему, что зря он коптит себе грудь табачным дымом, мальчик неожиданно спросил:

— Курить не буду, тебе приятно, да?

— Да, конечно.

Мальчик достал кисет из кармана, положил на стол, подумал и прибавил свою черную трубку.

Василий Андреевич обучал его грамоте, шел с ним иногда в тайгу проверять капканы, обращался с ним, как с равным, а если случалось, Яграй делал что-либо не так или плохо, Василий Андреевич без слов проделывал то же самое, но только хорошо.

На лето к Миронову приехали жена и дочь. Яграй называл их Варуша большая и Варуша маленькая. Борис приехать не смог, занятый дипломной работой в Московском авиационном институте. Он прислал хорошее письмо, в котором между прочим спрашивал совета: он намерен сразу после окончания института заняться летным делом, стать летчиком, так как хочет не только строить самолеты, но и испытывать их.

Миронов ответил ему, что, если не ошибается, молодые инженеры на шахтах лишь после года работы становятся штейнерами, и это правильно.

Василий Андреевич всегда считал, что нет ни к чему не способных людей, а есть люди, не нашедшие себя. Чем раньше человек найдет себя, тем полезнее будет

он для общества. А Яграй, к которому Василий Андреевич привязался, был сильный, одаренный и нетронутый человек.

Вначале Яграй не очень обрадовался приезду обеих Варуш. Но большая Варуша начала носить в больницу его умирающей матери разные кушанья, а маленькая показала ему свои игрушки — заводные автомобили, поезда, самолеты. Он немедленно отстранил ее, сам провозился с игрушками весь день, гоня их по комнате, пока не перепортил. Девочка стала плакать. Яграй испугался. Он дал ей шкурку белки, потом еще шкурку лисицы, но девочка продолжала плакать. Он пообещал ей достать живую белку, а при случае убить медведя. Она не поверила. Тогда он повел ее в тир, тем летом открывшийся в парке; он бил без промаха, так что глазок только сверкал и щелкал на тарелочке. Он попросил Варюшу, чтобы она никому не говорила о том, что он испортил ее игрушки. Но девочка не умела лгать — отец ведь никогда не давал ей пустых обещаний.

Тогда Яграй сам пошел с повинной к Миронову.

Василий Андреевич задумался, как быть ему с мальчиком, когда настанет время уезжать из тайги. Он долго не решался говорить о нем с женой. Она не мало повозилась с Борисом, сыном матроса и парпизана Алексея Лаптева, погибшего под станицей Урюпинской двадцать лет назад; она вычесывала у мальчишки вшей, когда Василий Андреевич взял его из детского дома; она смывала с мальчишки грязь, когда он возвращался из побегов; а сколько бессонных ночей, когда он исчезал из дому.

Но Вера первая заговорила о Яграе.

— С ним будет не так трудно, как было с Борисом. Он совсем взрослый, — сказала она спокойно и решительно.

Осенью умерла мать Яграя. Он похоронил ее под неумолимой сосной, чтобы мертвой слышно было, о чем думает лес. Потом пришел к Миронову, усталый, похулевший, но спокойный, и тихо сказал:

— Андрейч, возьми меня к себе.

— Ты и так со мной.

— Нет, совсем возьми, как Варуша большая, как Варуша маленькая. Моя охотник, старый будешь — ходить буду, кормить буду. Возьмешь?

— Возьму.

Тогда он поклонился своему названному отцу, как полагалось по закону, и занялся его хозяйством.

Вот и ветер присмирел и повернул на запад, лепивый, предрассветный ветер.

У крыльца трубила машина. Когда Миронов вышел, то увидел человека, поднывающегося со скамейки подле дома. Это был старый лесоруб, крепкий, бородатый сибиряк; он работал с Мироновым на двух стройках; а теперь решил остаться в тайге: «и места любезные, и дело мое здесь нужное, и семейство при мне»; впрочем, он не был уверен, что устоит, если Миронов позовет его на третью стройку; он прибежал проситься с Мироновым, но слишком поздно, и просидел до рассвета на скамейке, так как идти было далеко, а тревожить среди ночи Василия Андреевича не хотелось.

Миронов был растроган и обнял старого лесоруба; тогда Петровна заплакала.

Над тайгой подымались синие тучи, как горы; и рыжий малинник дрожал, все еще прячась в кольце легкой крапивы, покрытой крупным инеем.

Машина шла по шоссе, оставляя позади новый городок с запахом свежей древесины; навстречу бежала дорога и спокойно гудели телеграфные, отливающие костяным блеском столбы.

На поляне, где свалывшаяся трава лосвилась, как мокрая шерсть, стояла белая птица. Яграй обошел ее дважды, потом поднялся по лесенке, сел в кресло, заметно побледнев, и сомкнул дрожащими руками широкий брезентовый пояс. Он прикрыл глаза и не открывал их, пока не взвился самолет. Тогда он увидел, что самолет летит над встающим солнцем. Это было прекрасно, и Яграй зашел, зашел о том, что он большой человек, раз летит выше солнца.

Василий Андреевич не слышал его песни — мешал грохот мотора, — но он видел, что мальчик поет.

Василий Андреевич испытал странное головокружение и гул в ушах, точно к ним приложили морские раковины, когда самолет побежал по земле, набирая скорость. Но в тот момент, когда у Миронова стиснуло дыхание, земля оторвалась и пошла вниз, красноватая, с карликовой тайгой и полоской реки, блеснувшей, как обнаженный клинок.

Василий Андреевич почувствовал необыкновенную легкость и спокойствие: он летел домой, с ним был Яграй, и утро началось такое яркое и бодрое, и все было создано именно для того, чтобы было хорошо.

«А там еще ночь и они спят», — подумал он с любовью.

Самолет обгонял облака, на какое-то время земля скрылась, виднелись темное небо, белое солнце, а внизу клубились облака с лиловыми боками. И Миронов стал думать о том, что теперь ему дадут двухмесячный отпуск и он обязательно поедет с женой на юг, к морю. Он видел море, резкий солнечный блеск на его поверхности, слышал веселый гомон волн, складывающихся на берегу свои белые гребни.

Но самолет нырнул в серую непропичаемую мглу, окна запотели, и сделалось холодно.

В Москве был дождь, и низкое небо, пахнущее гарью, и блестящий асфальт. Еще издали Василий Андреевич увидел жену, ее высокую фигуру, и чуть прищуренные ищущие глаза, которые вдруг широко, радостно открылись, а рядом с ней, как он и представлял себе, стояла Варюша с вылезшими из-под берета косичками; и Борис в кожаном пальто и сапогах махал фуражкой; даже семидесятипятилетний тесть покинул теплое место у камина в такую сырую погоду.

Потом пошли восклицания, объятия, улыбки, а у Веры было холодное от дождя и соленое от слез лицо.

— Поздравляю, Боря,— сказал Василий Андреевич,— и диплом с отличием, и сын хороший... и все в один год. Поздравляю! А Валя где?

Борис сиял.

— Кому-то нужно было остаться дома хозяйничать.

— Понимаю. А как маленький?

— Его завтра посмотришь. Я так рад, что ты приехал, и сказать не могу.

— И я рад, очень рад, Боря! Как дела, Григорий Федорович? — спросил он, пожимая мягкую руку тестя.

— Ничего дела, Василий Андреевич! Скрипим понемногу. А какие у меня дела?.. Внучку замуж выдам, и на покой можно,— ответил старик не по годам густым голосом, сильно окая, с удовольствием отмечая про себя, что от Миронова пахнет сухим можжевеловым.

Когда-то Василий Андреевич не признавал тестя, богатого лесопромышленника. «Его следовало расстрелять в двадцатом году»,— говорил зять. «А его надо было повесить еще в семнадцатом»,— говорил тесть. Но с тех пор, как Григорий Федорович состарился, окончательно обеднел, а после смерти жены поселился у дочери, Василий Андреевич забыл прошлое и так прочно, как если бы не было ни

вражды, ни злобы, ни взаимных обид. Теперь старик частенько искал покровительства у зятя, отзываясь о нем, по своим понятиям, крайне лестно: с его силой, энергией да умом был бы миллионер.

Яграй стоял совсем оглушенный; Варюша обхватила его за шею и тянула его голову вниз, к себе, и все допытывалась — привез ли живого медвежонка, а он крепко держал свой коричневый мореный сундучок, в котором, кроме чудодейственных кореньев, шахмат и белья, хранились подарки для обеих Варуш. С недоумением смотрел он на старика, на его гладко выбритое лицо: «хоть бы усы оставил», а когда Григорий Федорович открыл рот, то Яграй, ослепленный его сплошными золотыми зубами, простодушно и изумленно воскликнул:

— Ай-ай-ай, как много-много золота.

Старик взглянул на него недружелюбно, закрыл рот, стукнув вставными зубами, и помрачнел.

«Не надоело ему... делатель людей! Еще одного привез...» — подумал он сердито. Отправились к выходу, позади — Борис и Яграй; они хорошо знали друг друга по насышке. Борис спросил его, как он себя чувствует после длительного полета.

Яграй подумал и ответил:

— В первый раз на медведя шел — тоже страшно было.— Он с гордостью улыбнулся.— Легчик буду. Андреич сказал: будешь.

Синеватый, как лед, и мертвый свет неоновых трубок встревожил его, а когда Яграй увидел снующие автомобили и в глубине улицы громадные дома и зеленые троллейбусы, как бы ухватившиеся за проволоку, с которой осыпались белые искры, он поставил свой сундучок, сел на него и заслонил лицо ладонями.

— Они не живые, Яграй, ты ведь знаешь,— сказал Борис заботливо.

— Знаешь, знаешь,— повторял за ним Яграй, осторожно и боязливо отнимая руки от лица.

Эту синюю машину Василий Андреевич получил в подарок от наркома за дорогу, построенную им четыре года назад.

Он сидел между женой и дочерью, тесно прижавшимися к нему.

— Это я привез дождь, Веруня,— сказал он шутливо.

— Ну, что ты, милый! Уже две недели как не видно солнца.

— Я видел его сегодня утром. У вас в это время была ночь.

— Но мы не спали. Мы все легли поздно и поднялись рано. А Варюша по карте следила, как ты летишь. В полдень ты был в Свердловске.

— Милые вы мои,— сказал Василий Андреевич.

Он видел затылки Бориса и Яграя, видел теста, откинувшегося на спинку бокового сидения: Борис вел машину спокойно, плавно, незаметно переводя ее с одной скорости на другую; он ни разу не сделал ни одного резкого движения, и машина, повинувшись ему, шла послушно, непринужденно и мягко останавливаясь, шурша на мокром асфальте, покрытом желтоватым глянцем. Иногда Борис обращался к Яграю и что-то говорил ему, и тогда Василий Андреевич видел его резко очерченный, сильный профиль с тонкими губами и упрямым подбородком, и испуганное и восхищенное лицо Яграя.

Стол был накрыт; осенние цветы — сухие астры и кудрявые хризантемы с длинными лепестками — привлекли внимание Яграя.

— Таких цветов у нас там нету,— сказал ему Василий Андреевич, умиленный этой праздничной встречей и оттого испытывая какую-то неловкость.

Именно потому, что Миронов сказал «у нас», а не «в тайге», Яграй снова почувствовал себя не одиноким. Его и Варюшу, не сводившую с отца счастливых глаз, Василий Андреевич посадил подле себя.

Ел Миронов мало, пил еще меньше и почти совсем не разговаривал, а с улыбкой слушал остроумного Бориса, похорошевшую после родов Валу, поглощенную мыслями о ребенке, которому исполнилось пять месяцев, тестя, вставлявшего замечания своим окующим разговором, и посматривал на жену, молчаливую, радостную и красивую в шелковом платье, с высокой прической.

Неожиданно Яграй громко сказал:

— Смотри, Андреич, какие руки... таких у шамала не бывает, как поросята.— Он показал на пухлые, холеные руки Григория Федоровича, сидевшего на другом конце стола.

Старик вначале не понял, о чьих руках идет речь, потом смутился и возненавидел мальчишку.

— От умственной работы мозолей не наживешь,— сказал он.

Яграй обиделся.

— Моя охотник, моя с головой ставил ловушки,— ответил он возбужденно.

Василий Андреевич вмешался в разговор, принявший такой неприятный оборот. Ему показалось забавным, что Григорий Федорович называл то дело, каким занимался всю жизнь, если можно так выразиться, руками архангельских лесорубов и двинских славячков, умственным трудом; правда, он обычно сам делал отметку на дереве химическим карандашом, чтобы рубили не ниже, главное не выше отметки: копейка рубль бережет.

«Ведь сколько леса уничтожил, а сам и кустика не посадил, труженик!» — не без иронии подумал Миронов.

Весь вечер не смолкал телефон, звонили друзья; потом Борис отъезжал домой Валу, а сам вернулся, чтобы побить с Мироновым и сказать ему, что, подбирая для него нужные ему книги, он, Борис, все перечитал с увлечением и убедился, что Василий Андреевич совершенно прав: завод надо строить обязательно на выбранной им площадке, и руда поблизости, и уголь под боком.

— Спасибо, спасибо, Боря! Но ты ведь знаешь, в суде показания сына или дочери не принимаются в расчет,— сказал Миронов, смеясь.

Наконец Василий Андреевич и Вера остались одни. Они долго разговаривали и почему-то тихими голосами; они говорили о Варюше, которой нужен тщательный уход после ее весенней болезни, о Яграе, у которого, очевидно, установятся нехорошие отношения со стариком, несколько изменившимся за последние годы, говорили о себе, будущем, пережитых тревогах и о той тоске, которая, отойдя в прошлое, стала добрым воспоминанием.

Они лежали счастливые и усталые, ощущая тепло друг друга, и это тепло наполняло их волнением и нежностью. Странно, он знал ее больше двадцати лет и только ее одну, а как будто узнавал ее сызнова. Она прижалась к его плечу и слушала его глуховатый голос. Он говорил о море, которое они скоро увидят; они увидят осеннее море, свинцово-синее, вспаханное ветром, и черные борозды между седых валов, и соленые туманы, и чайку, унесшую на своем крыле брызги морской пены.

Вера удерживала его руку на своей груди, она любила его большие, ласковые руки, ей было так хорошо, что щемило сердце; она шопотом сказала, что не хочет больше ни одного дня оставаться без Василия Андреевича, что это очень печальное занятие — каждое утро срывать листок с календаря и ждать следующего утра, и внезапно заплакала.

Она незаметно заснула, оборвав на полуслове.

Он послушал ее дышаппе, и вдруг ему сделалось грустно, до боли грустно.

Ей было девятнадцать лет, когда он встретил ее, она играла на рояле, говорила по-французски, пела, а он боялся прикоснуться к ней своими ладонями — не причинить бы ей боли; она повсюду следовала за ним, когда он воевал, когда учился, когда строил. Но были и жестокие времена, порой он чувствовал, что теряет ее, и это повторилось в их жизни дважды: когда он поступил на рабфак, а она страдала оттого, что у нее стоптанные туфли и поношенные платья, и когда только-только появился Борис; что туфли и платья имеют второстепенное значение, это она довольно скоро усвоила, но она долго не могла понять, почему обязана воспитывать чужого и нелегкого мальчишку, тем более, что совсем недавно умер их первенец, которого задушил дифтерит. А теперь Борис называет ее «мама Вера».

Она улыбалась во сне, и веки у нее подрагивали.

Василий Андреевич осторожно встал, накинул новый халат, спитый к его приезду, и пошел взглянуть на Варюшу, на Ягра, как он устроится. Девочка обняла подушку длинными, худыми ручонками, прижавшись к ней щекой; Миронов наклонился и поцеловал ее.

У двери комнаты, год назад принадлежавшей Борису и отданной теперь Ягра, он остановился, услышав знакомые голоса. Его питомцы живо и дружно беседовали, как если бы знали друг друга очень давно, и он не захотел им мешать. Он стоял у окна, глядя на мглистое и желтое небо, озаренное огнями, такое родное, обширное небо, и вдруг подумал, что время сплава копчилось и что надо поторопиться с транспортом, пока дожди не размыли дороги, но тут же вспомнил, что он уже дома, что стройка кончена и что там не сегодня-завтра вышадет снег, и улыбнулся.

«Ну, можно ли придумать худшее наказание, как лишить человека работы?» — подумал он.

Утром он заехал в наркомат. Его встретили приветливо, и сразу зашел разговор о строительстве завода. Василий Андреевич не ожидал, что у него здесь так много сторонников. Но были и противники, среди них оказался влиятельный начальник управления, человек пожилой, медлительный, суховатый. Досадно было то, что начальник этот прямо не высказывался, а осторожно юлил, так что под конец Миро-

нов грубо и раздраженно спросил у него:

— А вы за или против? Не пойму.

Василий Андреевич знал: дело окончательно будет решено на совещании у наркома, но он был взбешен неискренним поведением начальника. У него стучало в голове. Все, что говорил ему этот человек, казалось ему нелепостью, тем более возмутительной, что сам человек стал ему резко неприятен, враждебен.

И неожиданно, быть может, впервые в жизни, сдержанность изменила Миронову, он багрово покраснел и заговорил раздраженным, злым голосом, не замечая ни того, что начальник растерян, испуган, ни того, что комната наполнилась людьми. Он говорил, что строительство завода — дело государственной важности, что от выбора строительной площадки зависит будущее целого края, что юлить стыдно, недостойно.

Вдруг кто-то осторожно положил ему на плечо руку. Это был зам. наркома.

— Ну что ты, что ты, Васялий Андреевич, — сказал он, — разве можно так волноваться? Можно, конечно, но себе знаю, что можно, — продолжал он, уводя Миронова к себе.

Василию Андреевичу уже было неловко за внезапную и непривычную для него вспышку гнева. И он подумал: пожалуй, это верно, нужно хорошенько отдохнуть, прежде чем приниматься за новое дело. Днем Василий Андреевич пошел в баню.

У большого зеркала в мраморной оправе он остановился: он немного пополнил за последние два года, и странно, рубцы ст ран, полученных на гражданской войне, совсем поблекли, разгладились на его широкой груди, а вот озорной якорек, вытатуированный в первый год службы в царском флоте, почернел, неприятно разросся.

Густые клубы пара бродили, как живые, норвя выскочить в дверь, как только ее открывали; вокруг не смолкали говор, смех, звонкие шлепки, ливень под душами, повсюду виднелись багрово-красные тела, сочно поблескивающие в горячей беловатой мгле; какой-то близорукий и сухопарый человек осторожно и стеснительно держался особняком; что-то в нем напомнило Миронову начальника из наркомата, он отвернулся и стал смотреть, как банщик проворно обрабатывает какого-то разомлевшего человека: сперва тер его коричневой мочалкой, похожей на связку ремней, сгибал ему ноги доотказа, так что у того хрустело в коленях, с размаху шлепала по пояснице, как будто намереваясь отшибить ему почки, а, намучив его

утомленное, безвольное тело, вскочил к нему на спину и начал коленями мять и месить ему бока.

«Вот бы деду такого кавалериста»,— подумал Василий Андреевич с восхищением.

Дед, бывало, затащит внука на самую верхнюю полку, где от жара дух захватывало, и, отстегав березовым веником, приказывал:

— А теперь, Васька, пори деда, изо всей силы пори! Другого тебе такого случая не будет.

И Васька с удовольствием порол деда, воздавая ему за все те взбучки и подзатыльники, которые получал от него на протяжении целой недели.

После бани дед одним духом опрокидывал стакан водки, долго кричал, нюхая корку черного хлеба, а захмелев, сердито вспоминал:

— Лестно тебе, дураку, с деда шкуру спускать. Ладно, за мной не пропадет, я на руку быстрый да щедрый.

У банщика были сморщенные, жесткие ладони, от него Василий Андреевич ушел багровый, разморенный, довольный, отдохнул с полчаса в буфете за бутылкой пива и отправился домой. Шел не спеша, приветливо разглядывая встречающих, их свежие, влажные и почему-то озабоченные лица. Он долго не мог понять причину этой их озабоченности, но когда ветер, переменяв направление, ударил ему в лицо мокрой дождевой пылью, он и сам невольно нахмурился.

На углу он купил пеструю целулоидную погремушку для сынишки Бориса. Ему захотелось купить подарок жене, он было повернул к универмагу, но там теснялась такая толпа, что он отказался от своего намерения, инстинктивно опасаясь тесноты и давки. Он пошел еще медленнее, умышленно удлинняя себе дорогу: легко, приятно охлаждал ему лоб осенний дождь, и все вокруг было так знакомо, дорого и нужно.

Внезапно из какого-то подъезда люди вынесли простой крашенный гроб, водрузили его на автомобиль-катафалк, а сами поспешно расселись, подняв воротники; никто не плакал, все были угрюмы, похоже было, что они сердятся на мертвого за то, что он доставляет им столько хлопот, за то, что он умер в такой несчастный день и им, живым, теперь придется из-за него трястись и мокнуть под дождем несколько часов, а за городом наверное непролазная грязь.

— Ну, трогай!— сказал кто-то желчным голосом шоферу, у которого что-то не ладилось.

Миронов быстро зашагал прочь. Он никогда не думал о смерти. Да и что такое смерть? Сожженная, почерневшая и скрючившаяся спичка. Он и сейчас не захотел думать о смерти, а стал думать о том, что если одобрят его проект, то ему дадут стройку завода. Конечно, трудноато опять забираться за шесть тысяч километров от Москвы,— Варюше учиться надо, с Яграем придется заняться, Веру жалко. Но ведь какой завод будет, и почему-то вдруг решил, что и месячного отпуска для него вполне достаточно.

Лифт ушел, свет его скользил в решетке. Василий Андреевич поднялся по крутым ступенькам на четвертый этаж. Еще в передней он услышал сердитый голос тестя:

— Правильно китайцы говорят: дочь растить — чужой огород поливать.

— Но что я могу сделать, папа!— отвечала Вера.

Он не понял, о чем они говорят. Увидев его, они умолкли, оба — явно расстроенные.

Вера сидела за столом перед звенящим самоваром. Она уже была одета, чтобы идти к Борису.

— А мы и не слышали, как ты вошел,— сказала она.— Долго ты, однако. Выпей чаю, после бани хорошо.

— Спасибо, Веруня! Даже самовар поставила. А Варюша где?

— Ишла покупать игрушки для маленького. Тебе с молоком?— Наливая чай, она рассказала, как Яграй пошел с Варюшей и как их вскоре привел обратно милиционер: Яграй не стал ждать, пока можно будет перейти улицу, а вышел на середину ее, остановил все движение, взял на руки оторопевшую девочку и перенес; теперь он у себя в комнате играет сам с собой в шахматы; его не следовало, конечно, пускать с Варюшей, но они сказали, что дальше двора не уйдут.

Тесть, стоявший у камина, в котором еще мерцали посиневшие угли, сказал:

— С легким паром тебя, Василий Андреевич!

— Спасибо, Григорий Федорович! Только в бане и нужно мыться. Что твоя ванна — грязь разводит. А тут на полэк влезешь, веником тебя постегают — кости свежеют, ей-богу.

— Неужто парился? — с удивлением и завистью спросил тесть.

— Ну, куда уж мне, вспоминаю старые времена. О чем это вы тут?

— Да так пустяки,— поспешно сказала Вера.

— Пустяки, пустяки...— сказал Григорий Федорович с внезапным раздражением.— С родным братом всякие напасти, а для нее все это пустяки.

— Но ведь я просила, папа,— сказала дочь с досадой.— Мог бы до вечера подождать.

— Сердце-то у меня не каменное.

Василий Андреевич внимательно посмотрел на жену, на тестя.

— Опять что-нибудь с Владимиром?

Старик замылся: может, и впрямь лучше отложить разговор до вечера.

— Не пойму я тебя, Григорий Федорович,— продолжал Миронов.— Младший сын ежемесячно посылает тебе деньги, а ты их старшему отправляешь. Алеша зарабатывает, Владимир пропивает. И не стоит он того, право, не стоит. Даже фамилию переменял. Нехорошо.

— Ему другого хода не было, от тюрьмы спасался.

— Какая там тюрьма,— возразил Миронов недовольно.— Алеша во всех анкетах пишет: сын лесопромышленника.

С братьями жены Василий Андреевич взрядно повозился, они годами жили у сестры. Но тогда, как из Алеши вышел толк — где-то он бродил в поисках героя для своей новой книги (Василий Андреевич гордился шурином и завидовал ему, что тот умеет писать), — из Владимира, сколько с ним ни бился Миронов, ничего не получилось.

Григорий Федорович прекрасно понимал, что его старший сын, в котором он всю жизнь видел наследника потомственного лесного дела Благиных, которого держал при себе в надежде, что времена переменятся, оказался плохим, никудышным материалом. Но он также понимал, что виноват в неудачливой судьбе сына.

— Недоставало мне на старости лет, чтобы сын попал в тюрьму,— сказал он с горечью.

— Как в тюрьму?— спросил Василий Андреевич.

Тесть молча протянул ему письмо, оно было от жены Владимира.

— Ты с этим ко мне, Григорий Федорович, зря обращаешься: и бесполезно, и нехорошо. Ведь он проворовался...— Миронов говорил очень тихо, он всегда понижал голос, когда волновался.

Старик всхлипнул; сгорбленный, с лицом, испещренным склеротической жилкой, с

тусклыми глазами и набрякшими, отяжелевшими веками, он был жалок.

— Своя кровь, Василий Андреевич!

— Понимаю, понимаю, тяжело это,— сказал Миронов участливо.

— Похлопочи, твое слово много весит.

— Не могу, поверь, Григорий Федорович, не могу.

— Для родного брата жены?.. Ведь для чужих все делаешь...— проговорил старик, задыхаясь, с ненавистью думая обо всех этих Борьках, Яграях, из которых Миронов «фабрикует инженеров, летчиков» и которых он, Григорий Федорович, насмешливо именовал про себя «Династия Мироновых».

Василий Андреевич тяжело побавровел, чувствуя, как поднимается в нем забытая вражда к этому злому старику.

— Для каких это чужих?— спросил он чуть слышно, и почему-то снова вспомнил начальника из наркомата.

У него голова наполнилась гулом и болью; ничего больше не сказав, а махнув рукой, он направился к себе в кабинет.

Григорий Федорович смотрел на его широкую спину с ожесточением: какие у него большие ноги, как грузно ступает, половицы, и те стонут под ним.

В эту минуту вошел Яграй, привлеченный голосами. Он не понял, что тут произошло, но он понял взгляд старика, устремленный вслед Миронову, и стал между ними, чтобы принять на себя этот опасный взгляд.

Вера тоже смотрела на спину мужа, такую понурую, усталую, и у нее вдруг сжалось сердце: «наверное поволновался в наркомате. Да ведь все равно ничего не скажет».

Василий Андреевич остановился у окна. На карниз сели дикие голуби, отливая серо-синим перламутром. Они ждали корма. Это Варюша приучила их.

Внезапно что-то тяжелое и тупое ударило Миронова по голове, он даже повернулся, чтобы взглянуть, что это его так ударило; но это что-то ударило его еще раз и еще раз, и он, зажмурившись от боли, опустился на стул. Какое-то грузное онемение ощутил он в правой части тела, особенно в ноге, потянувшей его своей тяжестью со стула. Тогда он начал цепляться за подоконник одной левой рукой.

«Что это, что это?— спросил он себя с изумлением и страхом.— Это удар, да, удар. Может быть смерть, да, смерть».— И он заторопился, потому что ему необходимо было сделать что-то очень важное и немедленно. Он повидал в своей жизни и море, и степи, и тайгу, но что-то он не

успел увидеть, не успел сделать, не успел понять. А Варюша, а Яграй? Он хотел позвать Веру, но из горла его вырвался протяжный и негромкий стон.

Он услышал голос дочери в соседней комнате, она спрашивала его. Она приближалась быстрым, легким шагом, как будто вприпрыжку, постучала в дверь и вошла со словами: к тебе можно, папка?— Порозовешая, с капельками дождя на гладких волосах, она радостно улыбалась, вдруг улыбка растаяла на ее побелевшем лице и сдвинулись испуганные брови.

— Папка,— прошептала она.

Он смотрел на нее, виновато, нежно и жалко улыбаясь, продолжая сползать со стула. Ему нестерпимо жаль было ее и больно за нее, и жутко, что она видит его таким беспомощным, убогим.

— Это, это ничего,— пробормотал он, гремя наполовину парализованный рот,— холод на голову, Варюшенька! Пройдет, пройдет.

— Папа-а!— закричала она необычайно высоким голосом и бросилась к нему.

Прибежавшие на крик ее мать, дед, Яграй не сразу поняли, что случилось. Вера сперва подумала, что мужу сделалось дурно.

— Фортку, ради бога, фортку!— крикнула она, но тут же вспомнила, что нечто подобное уже видела однажды со старшей сестрой Василия Андреевича, и щеки ее наполнились свинцом и холодом.

Он стал необыкновенно грузным; чтобы им легче было тащить его, он прыгал на одной ноге.

— Андреич, Андреич,— испуганно твердил Яграй.

Василий Андреевич силился что-то сказать, все так же улыбаясь своей искаженной, страшной улыбкой; лицо его темнело, под глазами ложилась синева.

Яграй почувствовал, как рука, которой Миронов опирался на его плечо, слабо погладила его.

Миронова уложили. Он смотрел в глаза Вере, не отрываясь, но веки его опустились сами собой; тогда он притянул ее руку и поцеловал помертвевшими губами.

С него сняли сапоги и пиджак. Из кармана пиджака вывалилась целулоидная погремушка и с дробным стуком запрыгала на полу. Варюша громко расплакалась.

— Тише, тише, ведь слышит,— сказал ей ошеломленный дед.

Но Василий Андреевич хоть и слышал, а смутно понимал; в голове у него как бы бились птицы, точно в силках, каждым ударом крыльев и клюва причиняя ему

страдания. Кто-то упрасивал его открыть глаза, кажется, Варюша. Начались рвоты.

Когда прибежал, вызванный по телефону, Борис, без фуражки, с мокрыми волосами, Василий Андреевич уже был без сознания, красный, пылающий, потный.

До последней минуты Борис все надеялся, он вызывал врачей, «скорую помощь», бегал за льдом, пиявками, глюкозой, преследуемый этим чудовищным словом «инсульт», похожим, как ему казалось, на каменный снаряд. Но его энергия, его любовь были бессильны. По телефону позвонил зам. наркома, чтобы сказать Мионову, что проект его принят, потом звонил встревоженный парком.

Но все было кончено, Василий Андреевич быстро остывал. Тогда на Бориса нашло какое-то мрачное отупение. Ему думалось, что если он выйдет из комнаты и тотчас вернется, то все будет по-старому, но какая-то сила приковала его к месту.

Василий Андреевич лежал длинный, склонив голову на бок, с тем торжественным и строгим выражением на лице, какое часто придают мертвецу живые, во время закрывая ему глаза и подвязывая подбородок. Большой лоб его казался хмурым, губы были плотно сжаты, резко обозначались складки по краям рта, похоже было, будто он задумался, и эта его задумчивость мешала живым понять, что он мертв.

Варюша держала его твердеющую руку, согревая ее слезами и поцелуями, и неслышно уговаривала: «Не надо, папочка, не надо, миленький, открой глаза!»

Вера все время трогала его руки, грудь, ноги: он уже был холодный; вдруг она нащупала что-то теплое и мягкое в его ступнях, она не сразу сообразила, что это резиновая грелка, в следующее мгновение она упала без чувств. Когда она пришла в себя, то начала озираться, точно очнулась в незнакомом месте, она больше не плакала, не кричала, а застыла над мертвым, никого и ничего не замечая.

Борис хватился, что нет Яграя. Он нашел его в коридоре у самой двери. Мальчик сидел на корточках с таким суровым видом, что Борис не решился спросить у него, зачем он тут сидит. Но Яграй, не ожидая вопроса, сказал, что хочет, когда душа Андреича будет уходить, чтобы она в последний раз увидела его.

Борис молча сел подле мальчика. Он беспрерывно курил, складывая окурки в угол.

Яграй вздохнул, как человек, которому больно, он придвинулся к Борису и тихо рассказал ему, как совсем недавно был с Андрейчем в своей родной тайге, полной запахов, звуков и красок, и кукушка в чаще подсчитывала чь-то годы: вышло одиннадцать.

— Маловато, — сказал Андрейч.

Тогда она продолжила счет.

— Ну, спасибо, — добавил Андрейч, смеясь, и поклонился.

Яграй был удручен: кукушка наврала.

Борис слушал его, слушал — и заплакал.

Они долго говорили о Миронове, как братья, потом вернулись в комнату, где он лежал, до плеч накрытый простыней.

Яграй держался подальше от старика, у которого был несомненно дурной глаз и который, как объяснял Борис, всю жизнь рубил тайгу, не строя при этом дорог и не возводя домов. Яграй стал подле большой Варюши, безмолвно ласкавшей мертвого. Это было невиданно, чтобы так обращаться с мертвецом. Яграй осторожно коснулся простыни, она была очень холодная; он тронул волосы Андрейча, они показались ему теплыми, и тогда из глаз его потекли слезы.

Внезапная смерть зятя потрясла Григория Федоровича тем сильнее, что он чувствовал себя причастным к этой смерти. Конечно, убеждал он себя, Миронов был больной, приговоренный, не сегодня — так завтра, это ясно. — и все же ему было тяжело и горько. К дочери, сцепившей в своей скорби, он подойти боялся, Бориса он никогда не любил, а Яграй смотрел на него исподлобья. И только внучка, чуть живая от горя, вызывала у старика тоску и жалость. Ему было страшно и оттого, чтостряслось такое несчастье, и оттого, что Володя теперь окончательно погиб, и еще оттого, что он видел эту ужасную смерть, которая, что ни говори, а к нему ближе, нежели к другим людям: ему всегда холодно и никак не удается согреть ноги.

С утра начали приходиться люди, они шли без конца, и в комнате побелело от цветов и от стен, освещенных бледным осенним солнцем. Многих из этих людей Григорий Федорович знал, многих видел. Одни были вместе с Мироновым на гражданской войне, другие строили с ним дороги, заводы.

Лалидус, пожилой военный врач, стоял над мертвым, отошел, снова вернулся, опять отошел. Он не мог поверить, что неподвижно распластанное на диване и заочневшее тело — это и есть Миронов, деятельный, энергичный, крепко сложенный, добродушный человек, который двадцать лет назад мобилизовал захоластного фельдшера Лалидуса и назначил его «главным партизанским доктором», а два года спустя отправил в Военно-медицинскую академию.

— Не верится, не верится, — шептал Лалидус потерянно. — Он, должно быть, очень волновался.

— У них это наследственное, Абрам Ильич, старшая сестра тоже вот так... — сказал Григорий Федорович угрюмо.

Лалидус вспомнил, как после боя под Урюпинской, где polegло не мало партизан, Миронов кричал ему: «Что ты, чорт, в огонь лезешь, я, что ли, за тобой доглядать должен? Об людях не думаешь».

— О людях не думаешь, — повторил негромко Лалидус, прикрывая глаза рукой.

Григорию Федоровичу неприятно стало его соседство, он вышел в смежную комнату. Он оторопел: как много людей и почти все ему неизвестные; это поразило, что стол накрыт и камин затоплен, и он теропливо поковылял к огню, по пути взяв со стола кусок сахара.

В камине ввалился и гудел огонь, бешено крутились искры, это была настоящая метель. Григорий Федорович уставился на пламя, будто впервые увидел, как горят дрова. Они были сухие и горели яростно. Ислено, как бы отлитое из червонного золота, с шумом рассыпалось; из-под груды углей некоторое время пробивались синие огоньки, потом угли начали судорожно мерцать, затягиваясь леплом.

Старик внезапно хрипло крикнул, точно у него что-то застряло в горле. Он тревожно и униженно оглянулся на людей, но никому не было до него никакого дела.

Борис укладывал на кушетку и накрывал своим кожаным пальто Варюшу, которую любило, а Яграй утешал ее и говорил, что, как только он станет летчиком, так они полетят по всем местам, где жил и работал Андрейч.

Москва, 1940—1941 гг.

Элита

Со станции Кавказской мы направились в совхоз «Кубань». Совхоз с его огромным земельным массивом — 16 000 гектаров — находится на левом берегу стремительной Кубани.

Старшего агронома мы не застали в конторе: Василий Саввич засветло уехал. Прямые, профилированные дороги пересекали обработанные поля. Где-то далеко справа в ясном звенящем воздухе послышался машинный гул. Вскоре мы увидели мощный колесный трактор.

У края дороги стоял худощавый человек в запыленных сапогах. Это был полевод. Он не сводил глаз с машины, которая с помощью плуга проводила борозды, отмечала контрольные полосы, правильно разбивая поле для пахоты.

Линии были прямые и точные.

— Это наш художник сева! — тихо сказал полевод, попрежнему глядя на машину, срезавшую острым плугом кубанскую землю и оставлявшую позади себя ровную строчку. — И у Каламбета хорошо выходит и у Пацукова — поле у них всегда засеяно, как по шнуру... Мы и прозвали их художниками сева. Ведь требуется какое-то особое чувство прямой линии или, как говорит Василий Саввич, чувство гармонии и красоты. А впрочем, — полевод улыбнулся и, помолчав, добавил: — Василий Саввич утверждает, что суть вовсе не в эстетике, а в агротехнике...

Машина вышла на прямую линию к нам, затем повернула вправо. Водитель был темноволосяный, загорелый. Почти не уменьшая хода машины, он громко пригласил нас взглянуть на элеватор. Там мы встретимся и побеседуем.

Это и был Василий Саввич.

Силуэт машины вырисовывался на светлом фоне голубеющего неба. Машинный гул то нарастал, то стихал и как бы таял в чистом, холодном воздухе. Вслушиваясь в эти звуки, мы невольно вспомнили «Гроздь гнева» Стейнбека и машины «Харверст Компани» и «Катерпиллар», вызвавшие острую ненависть американских фермеров, которым тракторынесли голод, нищету, разорение... «А разве трактор — это плохо?» спрашивает американский фермер. — Разве в той силе, которая проводит длинные борозды на земле, есть что-нибудь дурное?.. Если бы этот трактор принадлежал нам, тогда было бы хорошо — не мне, а нам. Мы любили бы этот трактор, как мы любили эту землю, когда она была наша. Но этот трактор делает сразу два дела: взрывает землю и выкорчевывает с земли нас».

Да, трактор делает сразу два дела — взрывает и выкорчевывает. Но как различно содержание этих слов в мире капитализма, применяющего машины для порабощения миллионов, и в мире социализма, где машины служат народу.

В 1930 году, когда первая машина в 15—30 лошадиных сил сходила с большого конвейера Сталинградского тракторного завода, товарищ Сталин в приветственной телеграмме писал коллективу:

«...50 тысяч тракторов, которые вы должны давать стране ежегодно, есть 50 тысяч снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и прокладывающих дорогу новому, социалистическому укладу в деревне».

Взрывая старый мир, машины проложили широкую дорогу социалистическому укладу в деревне: с их помощью люди создавали и укрепляли колхозный строй.

Человек сам стал властвовать над землей, разумом покорять силы природы.

Что сделали люди на этой кубанской земле, во что превратили они сухую, выжженную солнцем степь, как они научились властвовать над слепыми силами природы,— все это я узнавал постепенно.

В зеленой балочке я познакомился с чабаном Иваном Ивановичем Ефановым и увидел отару овец знаменитой английской породы «прекос». Она казалась сплошной серой волнистой массой, точно над степью перекатываются свинцовые волны. Овцы двигались медленно, мерным однообразным движением. Открывали и замыкали шестые мохнатые свирепые собаки, молчаливо-угрюмые. Одна из них злобно залаяла и кинулась наперерез машине.

Ефанов был розовощекий седой старик, в холщевой залатанной рубашке. Глаза у него были живые, светлые, отражавшие голубизну кубанского неба. Он волочил по земле длинный коричневый посох. Негромким голосом он сказал что-то внимательно слушающим его собакам «Змейке» и «Фомке». Те кинулись по своим местам. Сбоку на поясе у старика висел кожаный мешочек с несложным чабаным инструментом.

Иван Иванович Ефанов — старший чабан совхоза — родился на этой земле, которой когда-то владел помещик Николенко. Много лет он пас чужие отары овец. Жил впроголодь, бедствовал. Молчаливый, замкнутый, привыкший к безмолвию степи, к суховейм, градам и буранам...

Шли годы и годы — старик позабыл им счет. На этой земле люди рыли окопы, сражались, завоевывали новую власть, ценившую человека и его труд.

Этим летом старика Ефанова вызвали в Москву. Впервые в своей жизни он совершил столь далекое путешествие, впервые в своей жизни он покидал безмолвную степь. В чистой холщевой рубашке он медленно и легко шагал по улицам Москвы, вбирая своими голубыми ясными глазами шумную, полную вечного движения жизнь. Иногда он подымал голову и подолгу глядел в небо, которое почти нависло над железными крышами города. Седой сильный старик вошел в Кремль и удивился, и обрадовался, когда увидел, что орден он получает в обществе летчиков, танкистов, академиков, инженеров, полеводов, кораблестроителей. Молча и благодарно он принял орден. Свой труд Ефанов оценивал скромно, но с тем внутренним достоинством, которое невольно возвышало его в среде своих же товарищей по труду.

О Ефанове мне рассказал позднее старший агроном совхоза. Вечером я заглянул в пустующий кабинет Василия Саввича и нашел на его столе записку, в которой агроном писал, что рекомендует мне ознакомиться с годовым отчетом о работе совхоза. Я так и сделал. Отчет был составлен в обычной сухой и бесстрастной форме, но читался с большим интересом. Краткая история совхоза — это история завоевания земли, которую помещики хищнически эксплуатировали; это история обновления земли и превращения совхоза в очаг и рассадник агротехнической культуры.

В декабре 1935 года история и жизнь совхоза «Кубань» глубоко заинтересовали участников кремлевского совещания передовиков сельского хозяйства.

29 декабря на совещании выступил академик Лысенко. Он говорил ярко и страстно, как «представитель той части ученых, которые занимаются управлением жизни и развития растений».

В тот же день выступил агроном Цицин. Речь свою он посвятил проблеме гибридизации пырея с пшеницей, проблеме, целиком захватившей молодого исследователя. Это была увлекательная лекция о творческих поисках, о скрещивании двух биологических противоположностей — пшеницы и пырея, о создании многолетней пшеницы.

— Было время, когда нам просто мешали работать,— говорил Цицин с кремлевской трибуны,— но мы упорно шли к намеченной цели.

Он напомнил мичуринские слова, служившие путеводной звездой в его исследованиях: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». И воскликнул весело и энергично:

— И мы возьмем все, что нам требуется!

Бережно развернув бумажный пакетик, Цицин показал товарищу Сталину колоски своей пшеницы. Зерна и колоски селекционер хранил в белой жестяной коробке. Это было тогда все его богатство: ради этого стоило жить, бороться, творить...

Затем выступил директор совхоза «Кубань».

Директор начал свою речь издали. Но товарищ Сталин короткой репликой подвел его к главному, решающему.

— Как вы конcessionеров перекрыли, расскажите,— предложил товарищ Сталин.

Директор привел две цифры: если раньше на этой кубанской земле в среднем получали урожай по зерновым 65 пудов с гектара, то совхоз «Кубань» получил по 100 пудов с гектара.

— Вот это дело! — одобрительно сказал товарищ Сталин.

С тех пор прошло более пяти лет. Люди совхоза «Кубань» научились лучше и активнее «управлять жизнью и развитием растений», добиваться высоких устойчивых урожаев и все в меньшей степени зависеть от слепых сил природы. Чистосортная высокоурожайная пшеница совхоза «Кубань» известна далеко в округе. Своими свипьями (порода белая короткоухая), овцами (английской породы «прекрас»), коровами (красно-немецкой породы), лошадьми (англо-донской породы) совхоз пополняет колхозные фермы во многих уголках Советского Союза.

— Вот наша супер-элита, — с гордостью сказал Василий Саввич, когда на другое утро мы встретились во дворе элеватора. Агроном погрузил руку в мешок и на широких ладонях захватил зерна чистосортной пшеницы «Первенец».

С ладони на ладонь агроном пересыпал отливавшие золотом зерна. Он смотрел на них с таким видом, словно разглядывал произведение искусства. В сущности говоря, это и было произведение агротехнического искусства — настойчивого, терпеливого, дерзающего искусства селекции.

Создавал пшеницу «Первенец» краснодарский селекционер Лукьяненко. Он выводил этот сорт с тем творческим упорством, который присущ подлинному экспериментатору. Шаг за шагом изучал поведение многих сортов пшеницы, их положительные и отрицательные качества. Методом скрещивания агроном добивался получения такого сорта пшеницы для данной зоны, который должен обладать тремя свойствами — быть высокоурожайным, не бояться засухи, не бояться ржавчины.

Селекционер вывел пшеницу «Первенец». Этот сорт пшеницы характерен комплексным иммунитетом, то есть он устойчив к ряду грибных заболеваний — к бурой, желтой и стеблевой ржавчине, к твердой и пыльной головне. Правда, он опасался, насколько новая пшеница зимостойка. Это, как и все другие качества «Первенца», можно было проверить только в обычных производственных условиях.

«Первенцем» заинтересовались в совхозе «Кубань». Судьба этого сорта сперва решалась на опытных делянках. Агрономы совхоза как бы подвергали новый сорт пшеницы строгому экзамену.

Зерна, возвращенные на селекционной станции, должны были на совхозной земле дать ответ на все волнующие агрономическую мысль вопросы. В первую же осень было засеяно «Первенцем» 34 гектара. Урожай собрали хороший: по 25,9 центнера семян с каждого гектара. Новый сорт пшеницы оправдывал надежды, отвечал тем качествам, которые воспитывали в нем селекционер и агрономы совхоза.

Но поиски новых, лучших сортов пшеницы продолжаются... Селекционер Лукьяненко вывел новый сорт озимой пшеницы «Новоукраинка 83». Агроном В. С. Баясный тотчас пишет ему короткое, деловое письмо:

«...С новым рождаются и новые желания. Сколько вы сможете дать совхозу семян этого сорта высочайших репродукций? Вручите дальнейшие судьбы этого сорта «Кубани»...

Селекционер выслал 50 килограммов своей «Новоукраинки». Он знал: гибрид тщательно изучат на полях, за судьбой его будут следить с волнением, ему дадут полную возможность проявить свои качества, улучшат положительные свойства, устранят отрицательные.

Этим же летом на Сельскохозяйственной выставке старший агроном совхоза встретился с академиком Н. В. Цициным. Василий Саввич загорелся желанием получить и испытать пшенично-пырейные гибриды. Агроном уехал к себе в совхоз. В августе в письме к Н. В. Цицину агроном напомнил об обещании экспериментатора выслать совхозу «Кубань» максимальное количество семян лучших сортов...

«Напомню, писал агроном, что речь шла о семенах урожая четырех сортов 1940 года озимых пшениц (гибридов) и особенно кормовом многолетнике для смены американского пырея.

Почва, хорошо обработанный чистый пар, уже подготовлена и по получении от Вас семян будет произведен посев.

Хочется заверить Вас, Николай Васильевич, что наш коллектив руководителей, специалистов и рабочих быстро размножит Ваши сорта, проверит их на производстве и широко распространит, как это уже сделано с рядом культур и сортов селекции наших станций».

Вскоре в адрес совхоза «Кубань» пришел центнер семян многолетней пшеницы академика Цицина. В октябре этими семенами было засеяно 3 гектара. И в те же дни, когда шел озимый сев на больших площадях и на опытных делянках, в совхоз приехал краснодарский селекционер Лукьяненко.

Василию Саввичу селекционер сказал, что заглянул сюда случайно, мол, просто так, завернул по дороге в совхоз, на часок-другой... Но по глазам его видно было, что вовсе и не случайно он заехал, а с той единственной целью, чтобы узнать о судьбе своего детища — «Новоукраинки». Но прямо спросить об этом у него не хватило духу.

Василий Саввич все отлично понимал: зачем к ним пожаловал селекционер, что его мучает и о чем он думает, не решаясь вслух спросить. Но сразу же заговорить о «Новоукраинке» он тоже не хотел.

Лукавыми, поблескивающими глазами Балясный поглядывал на своего коллегу, расхваливая ему достоинства «Первенца». Но селекционер слушал его с хмурым видом, почти сердито. Он и сам хорошо знал качества своего «Первенца». Эта пшеница — высокоурожайная, ржавчиноустойчивая, и при этом она обладает хорошими хлебопекарными качествами... Все это, конечно, радовало селекционера, так сказать, льстило его авторскому самолюбию.

Но вместе с тем его волновала мысль о «Новоукраинке». Вот он дал «Кубани» 50 килограммов пшеницы нового сорта. А что они с этой пшеницей сделали, как они обращаются с семенами, не будет ли она дискредитирована грубым, небрежным посевом и уходом?.. Ведь это ж первое боевое крещение нового сорта, первое испытание в производственных условиях...

И селекционер повеселел и обрадовался, когда Василий Саввич повел его на поле, на тот самый участок, где широко-рядным посевом были высеяны 50 килограммов «Новоукраинки» для форепроанного размножения семян. Вот тут, в поле, селекционер признался Василию Саввичу в том, что он вывел гибрид № 115, новый сорт озимой пшеницы, которая, по его замыслу, должна вобрать в себя лучшие свойства ранее выведенных сортов... Но тут сразу же пожалел, что так легкомысленно выдал тайну своей работы. Василий Саввич вкрадчиво сказал селекционеру:

— Вот и хорошо — заодно и этот сорт испытаем. Сколько вы можете предложить нам гибридных семян?..

— Нисколько, — быстро сказал селекционер. Он полагал, что еще рано выпускать с опытной станции гибрид № 115. — Ни грамма.

— А нам много не надо, — мягко заговорил Балясный. — Сколько дадите, столько и возьмем, Павел Пантеленч. А уж как мы будем за нею ухаживать!

— Ни грамма, — защищался селекционер. — Вот перезимует она у нас, тогда и поговорим.

— Поверьте, Павел Пантеленч, как у отца родного, она у нас будет воспитываться. Ведь нам много не надо... Ну, 4—5 килограммов...

— Что?! Самое большее, что я вам могу дать — это полкилограмма.

— Помиримся на килограмме, Павел Пантеленч.

— Полкилограмма, Василий Саввич.

— Один килограмм, дорогой Павел Пантеленч.

— Полкилограмма, уважаемый Василий Саввич.

... — и все-таки мы получили у него килограмм гибридных семян, — рассказывал Василий Саввич. — Так сказать, «выцыганили». Спустя три дня мы засеяли $\frac{5}{100}$ гектара озимой пшеницы № 115. Селекционер может смело вручить свое детище нашим агрономам. Борьба за лучший сорт ведется и на полях совхоза «Кубань». Ведь от наших чистосортных, элитных семян зависит качество колхозного полеводства. «Первенец» — прекрасный сорт пшеницы! Были огорчения, сомнения и ошибки, но вместе с селекционером мы кропотливо улучшали природу растения. И «Первенец» вознаградил все наши усилия: в 1940 году мы взяли урожай с общей площади 130 пудов с гектара. В 1941 году работники совхоза «Кубань» поставили себе целью взять 150-пудовый урожай с каждого гектара. Ко всем научно-практическим мероприятиям в борьбе за высокий урожай мы этой весной добавляем еще и преципитирование — обволакивание семян с помощью клейстера преципитатом, то есть фосфорным удобрением. Это должно дать поддержку растению в первый период его роста, должно улучшить его развитие, повысить урожайность.

Да; мы любим наш «Первенец»... Но жизнь идет вперед, и борьба за сорт продолжается. Обновлять, улучшать сорта — наша задача.

Но тем интереснее работать в совхозе «Кубань»!

Всем нам нужно было привыкать к совхозным масштабам, внутренне освоить эти гигантские масштабы, чтобы не теряться при решении агро- и зоотехнических задач. Ведь наш семеноводческий-племенной совхоз дает уйму продукции! Я вам точно скажу, сколько и что мы даем в день. Зерна — 2 437 пудов; сои — 106 пудов; овощей — 587 пудов; сена — 1 145 пудов; семян трав — 10,3 пуда; сочных кормов — 204 пуда; семян свеклы — 485,5 пуда; плодов и ягод — 9,7 пуда; молока — 1 250 литров; поросят — 7 голов; ягнят — 15 голов; племенных свиней — 5 голов; овец — 10 голов; шерсти — 6,6 пуда; мяса — 45,4 пуда.

Солидные цифры, не так ли?.. Они всегда стоят перед нашими глазами... Но за ними мы видим людей, — тех, кто создал богатства совхоза. Это — управляющий третьим отделением, бывший конюх, а ныне молодой агроном Николай Смирнов, добившийся на участке в 600 гектаров урожая пшеницы по 24 центнера с каждого гектара. Это — старик Ефанов, свиновод Денисенко, механик Кучма, отец которого батрачил когда-то на этой земле. Это — Кирилл Гриднев. Он был трактори-

стом, бригадиром, механиком, а теперь он по праву стал механизатором совхоза. Это Целина — ездовой, пастух, а ныне полевод. Это — зоотехники Еремеев, Раков, Польшов... Студентам они пришли к нам на практику и с тех пор полюбили совхоз.

Агроном подошел к окну, за которым простиралась кубанская земля.

— Да, его нельзя не любить, — наш совхоз «Кубань»! Недавно наши девятиклассники писали сочинение на тему: «Наш совхоз и его будущее». Они беседовали с чабаном Ефановым, с дояркой Черноклиновой, они расспрашивали своих отцов и матерей о прошлом этой земли, сухой, выжженной солнцем и ветром, превращенной волей и трудом человека в очаг сельскохозяйственной культуры... На глазах наших детей подымались молодые леса, создавались новые сорта элитной пшеницы, выращивались породистые овцы, лошади и коровы. И дети, вероятно, навсегда запомнят: Элита — это высокое качество труда, это дерзание, настойчивость, страсть, которые человек вносит в свою работу...

ЯКУТИЯ

«Презд от Иркутска до Якутска — тяжелое и очень рискованное предприятие; труднее, чем какое-нибудь путешествие по внутренней Африке».

Н. Г. Чернышевский.

1. ПРЫЖОК

Иркутск — последний город на пути в Якутию. Прямо от вокзала мост принимает на себя поток грузовиков, эмочек, автобусов, легковых и ломовых извозчиков и пеструю толпу людей, стремящихся в город. Мост повый, железобетонный, красивой аркой повис над Ангарой. Река сердитая. Когда пробежит по ней ветерок, она сразу же хмурится, темнеет. Если ветер задует всерьез, тогда она злобно вздымает навстречу ему белые гребни волн и словно кипит, словно хочет подняться вся и в возмущении выйти на берег.

В самом городе душно и жарко. В день отдыха можно наблюдать, как тысячи людей на грузовиках с песнями, с духовыми и струнными оркестрами мчатся за город, в леса. Вечером они возвращаются домой, и грузовики их похожи на огромные букеты ярких солнечных цветов.

Но меня тянет в Якутию. Скорей в Якутию! Отсюда она уже кажется недалеко.

Подымаются и опускаются на Ангару тяжелые «гидры» и легкие серебристые летающие лодки. В бывшей церкви на берегу реки — управление аэропорта. Нас шесть человек. Оформляем документы, получаем билеты, садимся в моторку, таракшим по реке к самолету; грузим багаж, залезаем в кабину, устраиваемся в удобных мягких креслах, глядим в круглые стекла иллю-

мпаторов. Мотор ревет. Самолет наш плавно идет по воде, набирая силу. Вода под нами вскипает, бурлит, пенится: высоко вздымаются, как белые искры, ангарские брызги. И вот мы над водой. Отделились. Идем, все выше и выше. Город уже под нами; река впереди нас развертывается в широкую и глубокую ленту. Мы летим на Север, в далекую Якутию.

Ангара осталась в стороне. За Иркутском она разлилась по болотистой равнине, разделилась на несколько рек, текущих между длинными, продолговатыми островами. И оттого она стала необычайно широкой, извилистой, на горизонте похожей на сизо-голубое море.

Стая пушистых облаков пролетела под нами. Блеснула река. Берега ее отлоги. Словно отпечатки башмаков великана, видны продолговатые нивки пахоты. Значит, здесь уже поселился человек... Серенький домик, не больше спичечной коробки. Возле домика заметна изгородь, словно муравей сложил ее из былинки. А вот и скот пасется. Коровы, что козявки, ползают недалеко от человеческого жилья.

Внизу видны среди гор желтые полоски стоков весенних вод; какие-то песчаные тропинки; иногда среди леса мелькнет зеленая полянка; вдруг медленно проплывет болотце, круглое, темносинее, как глаз.

Изогнувшись, снова блеснула река. Мы знаем, — это Лена. Это та самая великая сибирская река, по которой пашни предки проложили путь в Якутию, на Дальний Восток и в Америку. Она, раздвинув горы, идет сплошным потоком, как асфальтовая трасса, обсыпанная по сторонам песком.

И вдруг разлил. Из далеких синих гор справа от нас, вырвалась другая река. Она сомкнулась с Леной, образуя полу-

остров. На нем почти в кругу вод город Кыренск.

Самолет качнулся, лег на крыло, и мы пошли вниз. Две-три минуты, и под нами закипела вода. Лодка наша на поплавах и на животе подползла к причалу. Ее прикрепили канатами к деревянной пристани, и мы вышли на берег.

Страшно! Земля покрыта густой травой и цветами. Трава и цветы знакомые: пырей и дикий клевер, осока на берегу реки и щавель, а среди них цветы, красивые, желтые, голубые, малиновые, фиолетовые. Дома деревянные, с тесовыми и железными крышами. Вокруг домов изгородь — между двух кольев горизонтально положены жерди. Смотришь вокруг себя и думаешь: не на берег ли Волги я с неба свалился? Река широкая, могучая. Берега крутые, и город на берегу не город, а большая волжская деревня. Даже температура воздуха — как в летний знойный день на Волге. В самолете было 20 градусов тепла, это на три тысячи метров к небу, а здесь, на земле, душно, жарко, на 70 градусов тридцать.

Мы побродили по берегу, насобирали цветов, выпили по стакану чая в аэропорту, послушали жаворонков, дополняющих своим пением иллюзию приволжского края, посмотрели на родные березки, сосны (самолет за это время уже заправили работники порта), забрались в машину, мотор взревел, брызги, как серебряные монеты, веером разлетелись в стороны. И мы снова в воздухе, снова забираемся выше гор и как будто на золотых стропах солнечного парашюта повисаем над рекой и горами.

После Кыренска Лена значительно расширилась. Колыхался ее сплошной поток. Почти на всем пути она то отклоняется влево, то вправо, образуя продолговатые острова, похожие на селедочницы. Мы по-прежнему в воздухе, крестообразная тень самолета бабочкой летит внизу по голубой дороге. А горизонт весь синий от леса, как море. Вдруг вздулась под нами гора, пестрая, полосатая, точно громадная лягушка. И опять леса, река, синь. Фиолетовые озера стоят под нами, как будто сама земля глядит на нас темными, громадными своими глазами...

Но что это? Тайга окутана дымом. Блещит огонь. Да, огонь. На солнце, с высоты он кажется густою дымящейся кровью. Кругом неоглядная пустота. Видно, как огонь разливается все шире и шире. Вот он уже потоком стекает с горы в долину. Деревья как будто в ужасе стоят, не ше-

велясь, а огонь подбирается к ним и сразу охватывает их от корня до зеленых веток. Громадное пространство завалено в беспорядке черными трупами деревьев. Жаль погибшего леса.

Летим час, другой — и пет просвета на земле. Бесконечный лес, как океан темносиний, под нами. Смотришь, солнце и голубое небо над головой и лесная синь внизу.

Вдруг перед нами раскинулась широкая долина на левом берегу Лены. Река ушла вправо, а здесь, по всей долине, окруженной горами, видны озера, протоки, сосновый лес, и недалеко от леса раскинулся город.

Мы спускаемся на воду. 2 705 километров пройдено над сплошной тайгой. Мы на 62-й параллели земного меридиана. Вдалеке, певедомом Якутске.

II. СТОЛИЦА СЕВЕРА

Вначале, как это всегда бывает в незнакомом городе, пока не освоишься, все кажется странным и удивительным. Страшно, например, что в городе вы не найдете камня. Ни на улице, ни под ногами, ни на тротуарах. Его нет даже за городом: хоть сто километров обскочи вокруг. Во всем городе всего только тринадцать каменных зданий, в том числе и церковные, но они так разбросаны по различным улицам, что их и не видно.

Высокие досчатые мостки заменяют тротуар. Всюду одноэтажные деревянные домики, с двумя-тремя окнами, с почерневшими тесовыми крышами, с крылечками, со ставнями и резными наличниками на окнах.

Выйдешь на середину улицы и вдруг чувствуешь — земля колыхнется. Как будто ты взошел на туго набитую пухом перину. Итти, правда, хорошо, даже приятно, мягко, но без привычки охватывает осторожь: вроде ты наступил на что-то живое. дышащее у тебя под ногами. Это дает о себе знать подпочвенная вода вечной мерзлоты.

Главная улица — Октябрьская — покрыта торцовой мостовой. Это — гордость Якутска — первая мощеная улица. Она тянется километра на три через весь город, как бы разрезая его пополам. Тут Верховный Совет, Совнарком, Обкомы партии и комсомола; редакции газет, Дворец пионеров, наркоматы, Дом партийного просвещения. Тут Государственное издательство, техникумы, кино, школы, магазины.

Приятно было узнать, что в Якутске имеются шесть республиканских газет, три журнала, своя полиграфическая база, педагогический институт, институт языка и культуры, гидрометеорологический институт со своей обсерваторией, ветеринарно-бактериологический институт и специальное педагогическое училище.

Кроме того, есть десять техникумов, два рабфака, не говоря уже о средних и начальных школах. В Якутске около пятидесяти предприятий, самое крупное из них Кожевенный завод. Всего рабочих в Якутии, не считая грузчиков в Ленском порту и матросов госпароходства, свыше 30 тысяч.

Если сто лет назад в городе было 353 дома, а в 1933 году — 1414, то теперь уже около 5000. Выросли новые пригороды: рабочий городок на берегу Лены и «Красная деревня» по другую сторону города.

Была в Якутске до революции одна больница, и называли ее «Домом смерти». Теперь — 23 медицинских учреждения: республиканская больница, поликлиника, глазная лечебница, венерологический и трахоматозный диспансеры, «скорая помощь», родильный дом, консультация и т. д. Теперь это — «дома жизни».

И, наконец, имеются в Якутске два государственных театра — Якутский и русский; Якутский государственный хор и сотни кружков самодеятельного искусства, республиканская и городская библиотеки, антирелигиозный и этнографический музеи, богатейший Государственный архив.

С Москвой можно разговаривать по телефону, можно слушать по радио последние новости, в местных газетах читаешь важнейшие статьи «Правды» и «Известий» на другой день после их опубликования в Москве.

Якутск в сущности многонациональный город. На улицах встречаешь преимущественно якутов и русских. Но здесь живут также татары, евреи, латыши, белорусы, украинцы, армяне и грузины.

Забываешь, что находишься на 62-й параллели земного меридиана, потом, освоившись, быстро привыкаешь к этому городу, живешь такой же напряженной, интересной жизнью, какой живут все советские люди во всех городах и селах.

III. ДЕНЬ

Чудесная бывает в Якутии весна.

Как известно, в Средней Азии весна начинается в феврале. В Крыму — в мар-

те. В мае она заканчивается во всей европейской части Советского Союза и только в июле приходит сюда, на Север — в Якутию. Приходит и, как заботливая хозяйка, торопясь поскорее привести в порядок последний уголок обширнейшего своего дома, приступает к работе с особенной энергией и жаром.

Она все сразу приводит в движение. Мгновенно сметает снег, взламывает льды, не дожидаясь, когда они оттают от берегов, и за каких-нибудь десять дней после своего прихода украшает уже поля цветами. Замерзшие сосны, березы, лиственницы она сразу же наливает соком: раскрываются почки, благоухание вокруг распространяется такое опьянительно-сладкое, что даже кружится голова.

Она заставляет солнце светить по двадцать часов в сутки, чтобы все, что родит земля, росло в два раза быстрее против обыкновенного. И она приносит богатые плоды. Развитие растений и их созревание происходит здесь почти одновременно с развитием и созреванием растений на всем пространстве Российской Советской Республики.

Вечер. Солнце — огромный ярко красный шар — стоит на горизонте, краем касаясь далеких гор. Оно теперь не жжет, как это было в полдень. Оно походит на диск семафора, указывающего путь движения земли.

На лугу образовались тени. Лена нарядилась в темное синее платье. Высокий густой кустарник на берегу сверкает золотым искрами.

Вдруг от города к реке в теплом, пахучем воздухе, медленно колыхаясь, поплыли отдаленные звуки духового оркестра. Слышится песня. Мотив ее и слова знакомы: песня о том, как провожала девушка комсомольца на войну.

Песню заглушили барабаны, и вот из города на луг выходит и растягивается в длинную колонну разноцветная толпа людей, едва заметных из травы. Они идут гордо, шагают широко, руками машут во весь размах и поют звонко, от всей души, самозабвенно.

В кустарнике, на полянке, на берегу реки образовался огромный разноцветный круг. Все садятся на траву. В круг выходит тетя Аня — артистка, жена прокурора республики, руководительница детских игр во Дворце пионеров. Она рассказывает ребятам смешные сказки. Вдруг вспыхивает костер.

Маленькие якуты и русские, взявшись за руки, пляшут вокруг огненного столба

под баян, на котором играет дядя Красильников — феноменальный человек. Рыжий цыган, классический баянист, побывавший со своими гармошками во всех европейских странах, наигравший десятки пластинок для патефона и радио, — спился, попал в Якутск, здесь женился, обзавелся коровой и домом. Добровольно, бесплатно играет он теперь на баяне ребятам.

Молодой актер из русского театра организовал при Доме пионеров детский драмкружок, сам переработал книжку о Павлике Морозове в пьесу. Ребята разучили эту пьесу, а здесь, на просторе, на берегу реки зазвучала гневная речь Павлика Морозова.

Сцена — скамья. Декорации — зеленый кустарник. Зрители сидят на траве. Они глубоко переживают развертывающуюся перед ними трагедию Павлика, гневом загораются у них глаза, когда кулаки сговариваются убить Пашку. И вдруг трещат горячие аплодисменты, когда убийцу уводят в кустарник-тюрьму.

После спектакля — балет. Тоненькие, изящные, легкие фигурки девочек порхают по траве. Руки у них выгибаются, что крылья у птиц: плавно и грациозно. Впротузная лезгинка в кавказских костюмах, буйное «Яблочко» в белых матросках...

Игры и пляски, пуск авиаток, бег и прыжки, волейбол и гонки на велосипедах. Детвора, по-галочьи оглашая луг, свободно и радостно встречает великую труженицу — якутскую весну.

Уже 10 часов, по солнцу стоит на горизонте. Река горит пламенем. Звенят песни на лугу. Льются звуки оркестра...

Подлень. Огромное ярко красное солнце раскалило небо добела. На улице жарко. Люди идут с распахнутыми воротниками рубашек, с засученными рукавами, без кепок и шляп.

Тарахтят телеги извозчиков с высокими сиденьями посреди возка. Мчатся автомобили, автобусы, грузовики. Толпы людей стоят у газетных киосков. Бойко торгуют мороженщики. Очереди у ларьков с водкой и квасом. Из открытых учреждений окон несется пулеметный треск пишущих машинок. С улицы видны склоненные головы над письменными столами.

На краю города шумит базар. Недалеко от базара широкая протока Лены. Смирные, мелкие якутские лошадки, впряженные в дроги (на дрогах — бочонок, на бочонке — водовоз), вереницей идут из города и покорно, привычно устремляются в

воду по самую седелку. Протока вся усеяна людьми, лошадьми и, словно поплавокками, железными бочонками. Лошади смирно стоят в воде, ждут, пока водовоз наполнит водю бочонок, а затем, как заводные, оборачиваются, выходят на берег и так же неторопливо устремляются в город. В жаркие дни с утра и до вечера действует шумный, крикливый якутский «водопровод».

Лена ушла от города на два километра. Образовался роскошный луг. Нежно-алые цветы, словно звездочки, мелькают в траве. Вездесущий лютик подымает свою ароматную чашечку. Ромашка... только здесь она перекрасилась: вместо белого цвета приняло светло-сиреневый. Клейкий «сонник», душистая «редька», в небольших озерках цветет белая лилия... Как будто ты идешь по берегу Волги возле Куйбышева или Казани. Смотришь, и река такая же, как Волга: широкая, ласковая, в пологих берегах. Она так широко разлилась, что, кажется, грудь ее выше земли. А придешь на берег, перед тобой обширные отмели, палевые пляжи, зеленые острова и тысячи солнц сияют из воды. На желтый песок набегают теплая, светлая, улыбочивая волна.

Смотришь, мимо скользят остроносая лодка якута: он гребет веслом, как на байдарке. В лодке сидит женщина-якутка, окруженная мешками: они везут продукты своего хозяйства в город на базар.

Следом за лодкой тихо спускается плот. На нем две избушки. Между избушками протянуты веревки — и на них разноцветное белье, словно корабельные флаги. По плоту бегают полуголые дети, женщины покрикивают на них, работая по хозяйству. Горит на плоту костер, над котлом варится стерляжья уха. Мужчины стоят у чалок, обнаженные до пояса, загорелые, мускулистые.

Это — отважные люди. Где-то в верховьях Лены две-три семьи сообща сооружают плот и отправляются на тысячи километров вниз по реке. По пути они останавливаются у сел и городов, запасаются хлебом; Лена обильно снабжает их стерляжками, щуками, налимами; кормежка бесплатная, дорога бесплатная, и так плывут они до самого Алдана, а там выгружаются на берег и пойдут работать на золотые прииски.

Обгоняя плот, прошлепает колесами по воде буксир, таща за собой длинный хвост барок и карбазов, груженных товарами. Из-за острова, словно на крыльях, вылетает стая голубых лодок. Дружные, плав-

ные взмахи весел, серебристые брызги, веселый говор, звонкий девичий смех и, слышишь, песня раздается на реке.

Якутск соприкасается с низкорослым сосенником. Небольшое озеро в черте города. За озером — стадион. В сосеннике — Парк культуры и отдыха. Здесь кинотеатр, читальня, книжный павильон, танцевальная площадка, крокетное поле, музыкальная раковина, здесь обширная клумба цветов, песчаные дорожки в лесу. Почти непрерывно гремит оркестр.

Вечерами... Впрочем, трудно назвать вечером время, когда еще светит солнце. Здесь круглые сутки светло. В 12 часов ночи, лежа в постели, можно читать книгу, как днем. Время здесь определяется не по признакам смены света и тени, а по часам.

Каждый день часов с девяти к парку идет народ. Там уже слышится музыка, шум толпы.

Люди одеты прекрасно. Женщины — якутки и русские — в разноцветных шелковых платьях последней моды; цветные туфельки, белые носочки. У мужчин преобладают добротные серые костюмы, вышитые украинские рубашки, белые брюки, белые ботинки.

Молодежь и пожилые люди парочками гуляют по сосновым аллеям, угощают друг друга мороженым, читают газеты и книги, играют в крокет.

Якуты и якутки, покруглившись в фокстроте, идут к карусели, и там, на широкой лесной площадке, начинают знаменитый национальный свой танец «Иохарь». Они крепко берутся за руки, плечом к плечу, образуют широкий круг, и запева, находящийся тут же, в общем ряду, начинает выкрикивать:

Осуокайдыр — осуокай,
Эсиэкайдир — эсиэкай!

Все при этом начинают двигаться по кругу и громко подпевать.

Наконец солнце скрылось в зеленой тайге. Наступили полярные сумерки. Ослабла континентальная жара. Пыль теплым низым слоем улеглась на улицах. В город возвращается народ: кто с Лены, кто из парка, кто из театра. Тихо проскользит машина, как бы не желая подымать улегушуюся пыль. Скрипит калитка, залает или радостно завизжит собака, встречая хозяина. Наступает тишина. Гулко отдаются шаги на досках тротуара.

Веселая полярная ночь светла. Но го-

род спит. Только слышится разноголосый лай бесчисленных собак, да тысячи петухов хором возвещают о наступлении утра.

IV. СО ВСЕХ СТОРОН

Земля, на которой расположен Якутск, была руслом Лены. Когда-то, в незапамятные времена, текла она здесь, распространяясь на восемь километров к западу. Там были высокие, крутые берега, покрытые вековым лесом. Теперь эти берега видны из Якутска темными горами, они, будто тучи, нависли на горизонте. Лена ушла от них на восток, освободила ровную долину километров на сорок в длину и на восемь в ширину. Эту долину и заселили люди. Есть пункт, с которого можно обозревать все пространство вокруг Якутска. Это — горный холм Чучур-Муран.

Дорога к нему пролегает среди соснового леса. В лесу настоящие подмосковные дачи: с верандами, цветами, качелями, гамаками и разноцветным бельем на веревках.

Сухо. Запах сосны. Густая тень. На полянках среди леса — трава и цветы. За лесом — широкая долина озер, цепью уходящих к подножью гор. Густая осока, луга, полоски берез, и, укрывшись в траве, дикие утки, как домашние, стаями плавают по зеркалу вод. Озера глубокие, рыбные. Дачники купаются, ловят рыбу, стреляют уток.

В кругу озер обширное поле. На нем колосится пшеница, овес, зеленеет картофель, и что удивительно! — большая, яркая полоса цветущих подсолнухов.

У подножия гор прелестной бледно-алой каймой цветет шиповник. За ним густой, высокий тальник (ива), дальше зеленая осока и темнофиолетовая поверхность озера Ытык-кэл (но-якутски «Священное озеро»). Оно узкое и длинное, слегка изогнутое, как бровь. Над озером возвышается Чучур-Муран.

Он виден с любой точки Якутской долины. Как только выходишь из города и взглянешь через лес на горы, уже торчит в небе его верхушка, похожая на овальный конус яйца. И обратно с вершины Чучур-Мурана невооруженным глазом просматривается вся долина.

Впереди — Якутск. Видны белые здания бывших церквей. Чуть белее двухэтажный каменный дом Верховного Совета, заметен Педагогический институт, на горизонте высится серая башня электростанции. Освальное нечто странное: какая-то бурая

хаотическая куча мусора, словно муравейник, рассыпана по земле. Вдали голубеет Лена. За Леной опять ровное просторство, а дальше, километрах в двадцати пяти, вновь встают темносиние горы противоположного берега. Лена течет посреди широкой ровной долины, и потому она разливается на четыре километра ширию, образуя бесчисленные острова.

Голубое небо, белые облака, таежная синь за горою, а внизу озерки, луга, сосновый лес. На берегу озера Дом отдыха профсоюзов — красивый домик с зеленой крышей, будто нарисованный акварелью на фоне озера, зелени, леса. Вправо — Дом отдыха партийного актива, а дальше, за лесом, равнинные луга, вспаханные и засеянные, поля, селения, прозрачно голубая дымка над всей долиной, сияние озер и тишина, покой под горячим якутским солнцем.

Вспоминаются строчки из стихотворения якутского поэта Эллия, посвященные Чучур-Мурану:

Когда ласка весенних лучей
Вдруг касалась твоей головы,
Ты пучком золотистых кудрей
Расцветал над простором тайги.

В час заката любил я бывать
На вершине высокой твоей,
Чтобы, сидя там, думать, мечтать
О грядущем якутских полей.

У. В КОЛХОЗЕ

Тайга гудит. Разбуженная советскими людьми, она оглашается гулом моторов, ревом спрен, а иногда и песнями колхозников, едущих на автомобилях в столицу Якутии. Расступилась дремучая тайга перед советским человеком, образовав от Якутска до самого районного центра Намсы широкую, цветистую, зеленую дорогу.

В трех километрах от Намы начинаются колхозные постройки. Это — беспорядочно расставленные новые русские дома и юрты: контора правления колхоза, жилище сторожа, счетовода, агронома... Кругом зеленое поле, вдали грядями тянется лес, за лесом сияет Лена, разделенная островами и широкими полосами желтого песка.

Солнце еще стояло высоко, когда мы с колхозником Петром Семеновичем на велосипедах отправились осматривать поля.

Странно было, необычно. Колхоз, по никакого, собственно, колхоза не видно. Чтобы увидеть работающих в поле людей, надо ехать на велосипеде, иначе до ночи к ним не доберешься. Поля тоже странные:

то долина, то крутой спуск, лес, гора и опять долина. Земля то глинистая, то сизая, как зола, то черная, то песок. Лес тоже разнообразный: вдали, на горизонте — сияняя тайга, а здесь, на болотцах — хохолки корявого кустарника. Или громадная ольха, тоненькие березки и осинник. Или куча сосен, елок — и рядом по склону горы стелется шиповник. Солнце жжет немилосердно, но под тобою мерзлота. В воображении рпеуются вычитанные из старых книг голые якуты, ножичками подрезающие пшеницу, а рядом с тобой — колхозник-якут, в чистой белой рубашке с галстуком, в серых брюках, превосходно владеет велосипедом.

— У нас земли хватает, — говорит он по-русски, — по пятнадцать гектаров на каждого человека приходится.

— И всю пахотную землю обрабатываете?

— А как же!

— Но, говорят, раньше якуты не хотели заниматься земледелием?

— Мало ли, что было раньше. Вон смотрите...

Мы поднялись на пригорок, и перед нами, как на картине, открылась огромная долина, окаймленная лесом, выпуклая, будто выгнутая изнутри. Края ее опускаются в лесные низины, середина поднимается выше леса, и по этой возвышенности движутся один за другим тракторы, самые настоящие советские тракторы: один — колесный, другой — гусеничный.

Над полем переливалось марево. Жарко сияло солнце. В лесу щебегали птицы. Ястреб парил в зените. Суслики (по-здешнему евражки), скидывая хвостики, перебегали в норки. Гулко отдавался в лесу рокот моторов. Поднятая тракторными плугами земля взметывалась широкими бурями пластами.

Бригадиром трактористов оказалась Соловьева, Мария Евсеевна — якутка, тридцатипятилетняя женщина.

Якутия... Тракторы... Женщина-якутка — бригадир трактористов... Это живая, реальная советская действительность.

Мария Евсеевна — низкорослая, коренастая, сильная, видимо, женщина, с бронзовым лицом и черными упорными глазами, ходила вокруг гусеничного трактора, с ключом в руке, что-то подвигивала, постукивала, заглядывала в карбюратор, поглаживала рукой мотор.

Сменные трактористы — два молодых парня-якута — еще с помятыми после сна лицами, в майках и трусиках, загорелые

(кожа у них, как у индейцев, лоснялась на солнце), яростно гоняли самодельными палками крупные подшипниковые шарики по сделанному из досок и укрепленному на одном столбе бильярдному столу.

Древняя земляная якутская юрта полевого стана — и возле нее бильярд, тракторы на якутской вечной мерзлоте — и трактористы-якуты, особенно Мария Евсевна с ее ласковым поглаживанием машины, — все это было как будто действительность и как будто сон.

Петр Семенович переговорил о чем-то по-якутски с Соловьевой и трактористами, вскочил на велосипед, и мы помчались дальше, в лес, на другое колхозное поле.

За лесом открылись посевы. Как на Украине или в центральной полосе Союза, ехали мы по пыльной дороге среди спелой яровой пшеницы. Потом началась озимая рожь, за рожью — ячмень, за ячменем — овес, за овсом — картофель. Огромное богатое поле хлебов! И все тот же пейзаж: сосны, березы, осины вдали, желтые волны пшеницы, цветы и дымчатое знойное небо.

До слуха донесся рокот мотора, ржанье лошади, говор и крики людей. Мы выехали на картофельное поле, обогнули кусты, и я чуть не вскрикнул:

— Комбайны! Петр Семенович, у вас есть и комбайны?

— Как видите, — ответил он со спокойной гордостью, а затем как будто отрапортовал: «У нас имеется шесть тракторов, два комбайна, две тракторных молотилки, двадцать семь конных косилок, двадцать конных граблей, шесть сноповязалок, двенадцать самокидок, тридцать две пары борон-зигзаг, семнадцать сенокосилок, тренера и один грузовой автомобиль».

— А как у вас дело обстоит с агротехникой? — спросил я у Петра Семеновича.

— Вы только что видели осеннюю пахоту, зимой вывозим навоз, проводим снегозадержание, весной боронуем и снова пашем, применяем химические удобрения, яровизируем семена.

— И какой урожай?

— В среднем, двенадцать центнеров с гектара.

— Позвольте, ведь это почти средний урожай Украины?

— А мы не хотим отставать! — с добродушной улыбкой ответил он.

Дорога пошла теперь по целине. Чаше стали попадаться озерки, с какой-то странной темнофиолетовой водой, заросшие по краям осокой. Между озерами тянулись

лощины с высокой травой и цветами. Груше становился кустарник и крупнее лес. Проскочив одну из таких лесных полос, мы выехали на пастбище. Огромное стадо коров паслось на лугу. Настухов не было видно. Петр Семенович затормозил велосипед, привстал на педалях, крикнул. Из лесу, как эхо, ему ответил голос, и затем показался человек.

— То-то же, — проворчал мой спутник.

— Это ваше стадо?

— Чье же тут еще будет — наше, колхозное. — И как бы предупреждая возможные с моей стороны вопросы, продолжал: — Колхозных лошадей у нас — девятьсот пятьдесят семь, коров — восемьсот девяносто четыре. Да в личном пользовании колхозников тысяча сорок семь голов крупного рогатого скота. По пять голов на каждую семью приходится.

— Куда же молоко идет? В город возите?

— Ну, кто же за восемьдесят километров по такой дороге повезет в город молоко! И на чем возить его? На грузовике? Горючее дороже стоит. Все идет колхозникам.

К вечеру, когда солнце ушло за горы и над землей разлился белый сумрак, мы с Петром Семеновичем вернулись в главный поселок колхоза, граничащий с районным центром Намсы. С виду это большое русское село из новых деревянных домов с дракочными крышами. Только дома расставлены очень уж далеко один от другого; у людей, видимо, здесь огромный строительный размах (места хватает!), и что ни дом, то вокруг него целая зеленая площадь.

И вечер, и обстановка села напоминают нечто знакомое, много раз виденное в центральной полосе Союза. Березы поблескивают голубыми искорками, несмотря на август; листья их зеленые, сочные, словно только что распустились. Огоньки в окнах. Говор и смех, доносящиеся откуда-то издалека. Коровы бродят по улицам. Громко звучит радио. С шумом по песчаной дороге прокатываются на велосипедах парни. Одеты они все отлично: шелковые с галстуками рубашки, из дорогого материала брюки, почти у каждого часы на руке.

Но вот беда — в колхозе 191 мужчина и 135 женщин.

Эти цифры отбрасывают нас в прошлое якутского народа. В юрте с хотоном боль-

ше всего страдала женщина. Она почти безвыходно паходила в ней: болезни, роды в жутких антисанитарных условиях, без медицинской помощи; дети, хозяйство, полностью лежавшее на плечах женщины, патриархальный быт, накладывавший на женщину тяжкий мужнин гнет (у якутов женщина была рабой мужа), нищета, грязь, бескультурие и, наконец, социальный гнет приводили к тому, что женщин оставалось в живых меньше, нежели мужчин. Следы этого сказываются до сих пор. Но мы видим и отрадную картину. В колхозе подростков, мальчиков и девочек, от 14 лет — 36 человек, а детей — 187. А пока парней больше, чем девушек.

В колхозе работает постоянно кинопередвижка, все дома радиофицированы. Важнейшие колхозные пункты телефонизированы. Построены своя колхозная школа, клуб, красный уголок. У многих парней имеются балалайки, гитары, мандолины, гармошки. У якутов никогда не было подобных инструментов. Создан свой оркестр, устраиваются танцевальные вечера. Хотя и маловато в колхозе девушек, но, разумеется, они все же есть, и девушки и парни после работы вечерами под гитары и гармошки распевают песни, танцуют и в клубе собственными силами ставят спектакли. Колхоз получает 100 экземпляров газет, якутских и русских, в том числе «Правду», «Известия», «Комсомольскую правду», журнал «Огонек», «Крокодил», «Новый мир», «Октябрь», «Красную падь», «Молодую гвардию». Имеется своя библиотека. Выросла и растет своя интеллигенция. Колхоз дал Якутии 8 учителей, 9 советских служащих, 1 зоотехника. Три молодых колхозника в Москве — аспиранты. Душу и мозг колхоза составляют 101 человек ударников и 11 стахановцев, среди них 18 комсомольцев, 3 члена партии и 6 кандидатов.

Таковы живые силы, такова теперь культура в Якутском колхозе.

Жена Петра Семеновича поставила перед нами самовар, а за ним тарелки и чашки с молоком, яйцами, сливками, мясом, с пышными белыми оладьями в топленном коровьем масле, белый хлеб, творог со сливками. Я смотрел на это изобилие, а в воображении моем вставало только что виденное убранство юрты. Она стоит рядом с домом, в нее даже ведет прямая дверь, по юрта теперь служит погребом. В ней летом прохладно. Хотона нет. Земляной пол чисто подметен. Сохранился камелек. В углу лежат деревянные жернова, пабытые гвоздями. Это орудие былой пытки

женщины: женщина-якутка обычно мола этими жерновами хлеб. Тут же лежат отшлифованные в труде деревянные орудия, которыми якутские женщины выделывали коровьи и телячьи кожи и шили из них мужу, себе и детям одежду. Это была почти единственная и главная одежда якута. На полках стояли берестяные кувшины, ведра, деревянные самодельные уродливые чашки. Сохранились железные вертела, на которых женщины пекли прямо на огне знаменитые якутские ячменные лепешки. Все это походило на музей древности, но, видимо, эти древние орудия труда и быта так еще привычны якутской женщине, что даже колхознице трудно с ними расстаться. Они — все эти предметы юрты — не употребляются. Вместо железного чайника перед нами стоял самовар, берестяную посуду заменили алюминиевые и эмалированные кувшины и ведра, вместо деревянных самодельных чашек и ложек на столе фабричные тарелки, ложки и вилки, рядом с жерновами стоит сепаратор. Два мира, две эпохи овеществленными стоят перед тобой. Смотришь на вещи первобытной культуры и спрашиваешь себя: неужто люди так жили всего лишь пять — восемь лет тому назад? Какой надо было им совершить прыжок, как быстро надо было переродиться, чтобы из патриархально-родового быта притти к социалистическому, стать в нем полноправными хозяевами! Какая могучая и животворящая сила социалистического преобразования! За восемь лет она вырвала людей из тьмы докапиталистической эпохи и подняла их на такую высоту. И главное, все это видишь перед собой в живых формах, в людях, в вещах...

Наутро Петр Семенович сел на велосипед и опять покатил в поле, а я отправился на Лену купаться. Теплая вода в августе, горячий сыпучий песок по берегам, зеленые острова вдаль и, казалось, бескрайная река, несущая свои воды в Ледовитый океан — все это дополняло удивительные контрасты Якутии.

Я шел по роскошному лугу, собирая цветы, смотрел, как якуты-колхозники копнили сено, подтаскивая к стогам на саях, на впряженной лошади (работали они дружно, быстро); видел, как, играя, плескались огромные рыбы в Лене, из кустов нечаянно выгнал зайца.

В 11 часов я возвращался в поселок. Людей не было видно. Тишина. Огромное якутское солнце уже поднялось к зениту. Наступила жара. Вдруг раздался могучий

голос из радиорупора. укрепленного на фронтоне колхозного клуба:

— Говорит Москва... Говорит Москва...

А затем рейзеновский бас, подхваченный хором, далеко разнес по-особому здесь звучащие слова:

«Широка страна моя родная...»

Я даже вздрогнул: значит, в Москве пять часов. Там раннее утро. Люди спят. А здесь заканчивают полдневную работу.

О, великая, прекрасная моя страна!

VI. НОВЫЕ ЛЮДИ

Охотники

Горохов Николай Иванович летом обычно скучал. Хотя на берегу моря Лаптевых лето и не жаркое, выше двенадцати градусов тепла не бывает, и не долгое, всего каких-нибудь два с половиной месяца, все же летом Николай Иванович чувствовал себя тоскливо.

Будь он оленевод, скотовод, луговой, рыболов или строитель — тогда другое дело: как раз летом-то он и развернулся бы. Но Горохов — бригадир охотников. Он живет прибрежной тундрой. Предмет его внимания — песец, лисица, горностаи, кобелька, бурый медведь, а то белый мишка, который вылезет на берег из моря, ну и лось, и дикий олень, и снежный баранчубук появятся. Добрые эти звери и животные отдадут ему драгоценные свои шкуры и вкусное мясо. Не пропустит он, конечно, и волка, и рысь, и росомаху, и сурка-гарбагана, и ласку, и зайца... И, между прочим, подстрелит он куропатку, глухаря, утку, дикого гуся и казарку... Больше чем достаточно Николаю Ивановичу зверей, животных и птиц, за которыми он будет охотиться.

Перехитрить осторожного зверя, выследить и налететь с собакой на песца, из винтовки угодить белке в глаз, чтобы шкурку взять в сохранности, или выпнать из лесу чернубурю кумушку на тундровый простор и вихрем полететь за нею на оленях... Что может быть увлекательнее!

Жизнь Николая Ивановича на охоте — это стремительность движений, свист нарт, лай собак, точный выстрел, а потом теплая охотничья избушка или тордох, вкусный обед с товарищами, веселые рассказы и песни.

Интерес и смысл этой жизни Николая Ивановича заключается в ворохе драгоценной пушнины к концу сезона. Ведь это значит: деньги, продукты, новая одежда,

новые колхозные дома, музыка, учеба, селения и слава лучшего бригадира охотников.

Не променяет Николай Иванович свою жизнь ни на какую, если там не будет охоты.

Он еще молод. Ему только двадцать семь лет, но он уже признан лучшим охотником Якутской республики.

Что годы! Не в годах дело, а в умении выследить зверя, в знании его повадок, в умении расставить пасти, черканы и капканы и, наконец, в охотничьей ловкости и настойчивости.

Старости Ивал, Стручков Ефим, Стручков Александр, Стручков Гавриил, хотя некоторые из них и старше годами — охотно вошли в бригаду Николая Ивановича, отлично зная, что никто из них не сумеет так подготовить и организовать охоту, как это сделает он.

До вступления в колхоз Николай Иванович был кочевником, пришел из тундры, попросил включить его в новую жизнь, и в первые же охотничьи сезоны количеством пушнины доказал, что он знает зверя и умеет его добывать. Правление колхоза, охотники-колхозники утвердили его бригадиром.

Теперь, летом, он тосковал. Оленеводы, пася оленей в тундре, делали большое дело: оберегая оленьи стада, они увеличивали колхозное богатство. Скотоводы и коневоды заботились о коровах и кобылках, кормили их, доили, снабжая колхозников молоком и маслом. Они тоже делали большое дело. Рыболовы ловили в озерах и реках рыбу, заготавливая на зиму дополнительное питание. Труд их важен и значителен. Строители воздвигали новые бревенчатые колхозные дома и сооружали в них невиданные русские печи, что признается всеми колхозниками делом огромной важности. Горохову же пришлось заготавливать сено.

До середины августа он работал по заготовке сена, а потом взял винтовку, оседлал оленя и помчался в тундру, к берегу моря.

Территория Якутского колхоза «Красная звезда» простирается на тридцать тысяч восемьсот девяносто семь квадратных километров. Эта площадь равна десятой части Японии, в полтора раза превышает Эльзас-Лотарингию, на две с лишним тысячи километров больше Тюрингии и равняется Саксонии. А заселяют ее всего только двести двадцать один человек.

Есть где разгуляться Николаю Ивановичу! В районе охоты на пространстве ста квадратных километров, как пушки, расставлены восемьсот песцовых пастей. Он должен их осмотреть, отремонтировать, подготовить к бою песка. Ему надо заглянуть в охотничьи стапы, проверить состояние погребов, где будут храниться продовольствие для людей и приманка для зверька. Ему надо обследовать побережье моря, найти места с наибольшим количеством песцовых нор и определить главные пути, по которым драгоценный зверь пойдет зимою в глубь тундры за мышами (летом он питается отбросами моря), чтобы тут-то на его пути расставить пасти. Надо заглянуть и в лесотундру, посмотреть, где наибольшее количество зайцев (значит, тут будут и лисицы). Надо обследовать гнездовья белок, побывать на озерах и реках, высмотреть гусей и уток. Надо проследить, не бродят ли поблизости дикие олени и сохатые. Все бригадир должен знать заранее, как полководец должен знать места предстоящего боя.

Пятнадцать дней пропал Николай Иванович в тундре. Вернулся радостным и довольным. Наконец-то он взялся за свое любимое дело. В первых числах сентября вместе со всей бригадой, с оленями, с материалами для ремонта пастей, с передвижными тордохами, с ружьями и охотничьими припасами выехал он на место охоты. С ним выехала ехать и молодая колхозница Старостина Марфа Ивановна в качестве хозяйки и помощницы по съему шкурок.

Два месяца обычно продолжается осенняя охота — сентябрь — октябрь. В это время охотники стреляют дичь и зайцев, загоняют и бьют оленей и сохатых; с половины октября начинают стрелять белок и не забывают в то же время ремонтировать пасти, подготавливать капканы, черканы и самострелы. К первому ноября, когда земля плотно покрывается снегом и наступит мороз градусов двадцать пять — тридцать, у охотников уже заготовлено на зиму мясо, насторожены пасти, выкормлены олени. Начинается главная охота.

Перед разездом по охотничьим избушкам бригада собралась на стане. Марфа напекла горячих лепешек и наварила вдвоев оленьего мяса. Горохов припас две бутылки спирта. Они устроили перед началом охоты праздничный обед.

Тундра зимой безмолвна. Мороз как бы сковывает воздух. Ничто не шелхнется.

не щелкнет и не треснет. Только, если выйдешь из избы на воздух, слышен шум мгновенно замерзающего пара собственного твоего дыхания. Шум этот подобен шуршанию соломы: как будто кто ворошит ее у тебя над головой...

Олени бродят возле стана. Копытами они деловито разгребают снег и с хрустом поедают мерзлый игельник.

Кругом безмолвие.

В белом окружении ничего не видно, по тем ярче представляешь себе, как в этот именно момент, быть может, лисица настигла зайца, и он голосом младенца в последний раз кричит: уа.

Волк, возможно, где-нибудь недалеко отсюда торжествующе перехватил оленю горло, и тот в предсмертных судорогах трещит в снегу. Песец, чувствуя приятный запах рыбы, наверное уже крадется к деревянной пасти. Вот он осторожно влезает в темное пространство между досками. Вот рыба перед ним. Он схватит ее зубами и умрет под бревном.

Сегодня весело в охотничьей избушке: пять охотников сидят вокруг стола. Пять свечей пылают на столе. Когда эти люди разведутся по своим избушкам, там они зажгут по одной свече. А здесь, когда все вместе, пусть свеча каждого сияет. В теплой и холодной тундре блеск огня рождает радость.

В железной печке посреди избушки потрескивают сухие ветки. Стенки печки подобны зареву. Зареве и на щеках у Марфы. Раздевшись, засучив рукава, она ловко орудует вертелами, подрумянивая на огне лепешки. На смуглой коже ее овального лица блестят крупные капли пота, и, как эти капли пота, блестят ее узкие черные глаза. И кажется, не печь и свечи, а сама эта румяная, с блестящими глазами женщина — источник света и тепла.

Хорошо в охотничьей избушке, когда в ней поселится женщина!

Стол завален дымящимся оленьим мясом и горячими лепешками. Среди лепешек — полная чашка янтарного масла. Искрятся стаканы, наполненные спиртом. Над стаканами пять скуластых безусых и безбородых лиц, обильно орошенных потом, освещены розоватым светом. Черные глаза сияют довольством и весельем. Резко очерченные тени на низком потолке и стенах, как темные драпья, скрывают остроту углов и неприглядность неотесанных, шершавых бревен. В тундровой избушке, снаряженной обсыпанной землей, тепло, светло, уютно.

Горохов, подымая стакан, сурово говорит:

— Итак, товарищи, наконец-то и для нас пришло время показать свою работу. Оленеводы паши, соревнуясь между собой, добились больших успехов. Скотоводы, луговоды, строители работали летом хорошо. Среди них много стахановцев. Ну, а мы что скажем?

— Не будем отставать!— воскликнул Гаврила.— Я буду три раза в месяц осматривать пасти. Всю зиму у меня будут пасти настороженными!

— Правильно! И я также буду работать,— сказал Ефрем.

— И я,— подхватил Иван.

Старший из них — сорокадвухлетний Александр — посмотрел на молодых своих товарищей, улыбнулся, заключил:

— Дело не только в пасторожке пастей. Надо, чтобы и шкурки были первым сортом, чтобы и приманка была вовремя заменена, надо, чтобы охотник ни в чем не нуждался.

— Все будет доставлено,— ответил Горохов.— Смотрите, чтоб не спать!

— Об этом ты можешь не беспокоиться,— заговорили все.— Не за тем сюда приехали.

— Имейте в виду,— продолжал Горохов,— вторая бригада Бурцева заявила правлению, что в нынешнем сезоне они надеются по добыче пушнины быть на первом месте.

— Ну, это мы еще посмотрим!

— Я тоже так сказал. Я вызвал их на соревнование. Двести песцов дадим?

— Обязательно!

— А кто сколько?

Охотники задумались. Вспомнили прошлые годы. Когда они были кочевниками, добывали по двадцать — тридцать песцовых шкурок.

— Ладно,— сказал за всех Александр,— по пятьдесят на каждого, а кто больше, тот будет ударником.

— За ударников!— подхватил Горохов.

Они вышли за дружбу, за «Красную звезду», что сияет теперь в тундре, за счастливую жизнь под этой звездой.

— Марфа!— кричали охотники,— иди сюда, Марфа! Вместе будем работать, вместе и выпивать!

Сияющая Марфа подходит к столу.

— Эх, родная моя, раздолбая тундра!— крикнул Горохов.— Споем!

И в маленькой пизенькой охотничьей избушке, при ярком свете и в тепле раздались песни о далекой невиданной Москве, о Красной Армии, о родине, о Ленине и

Сталине — песни, что очень часто и по долгу звучат теперь в Якутском колхозном клубе. До слез волнуют эти песни в тундре.

Но кончился праздник. Пора по местам. Охотники запрягли своих оленей и с гиком и песнями, вздымая снежную пыль, умчались в тундру на охоту.

К а ю р ы

В колхозе «Красная звезда» объединились в основном три бывших кочевых якутских рода, и потому почти у всех колхозников фамилии Стручковы, Гороховы да Старостины.

Стручков Афанасий Федотович и Стручков Григорий Иванович перед наступлением зимы тщательнейшим образом отбрали для себя из колхозного стада самых лучших оленей. Афанасий Федотович брал главным образом буров (быков) и наиболее крупных из них, тяжеловесных. Григорий Иванович предпочитал важенок (самок), легких, наиболее подвижных и быстрых. Афанасий Федотович формировал грузовой колхозный транспорт, а Григорий Иванович — почтовый.

Центр колхоза — поселок «Намы» — находится на расстоянии 450 километров от районного центра — села Кюсюр. Ближайшие населенные пункты — Няйба в 280 километрах, Коптолох — в 400 километрах.

Летом, с половины июня до половины сентября, сюда можно добраться только верхом на лошадях и никак не иначе. С половины сентября до ноября и с апреля по июнь всякая связь с внешним миром, в том числе с районным центром и ближайшими селениями, прекращается, и только зимой, с первого ноября, устанавливается между этими населенными пунктами грузовое и почтовое сообщение.

Северная холодная зима имеет для людей и свои благодетельные свойства: зима дает возможность людям установить регулярное движение по тундре. Колхозы организуют олений транспорт.

В течение зимы сюда «забрасываются» продовольственные, товарные и строительные грузы на весь год. Отсюда вывозят в районный центр пушнину и другие грузы, накопившиеся за год в колхозах. Сюда приезжают советские работники — инструкторы, агитаторы, ревизоры — или разного рода научные экспедиции. Отсюда едут в центр Якутской республики молодые колхозники на учебу или в район на различные колхозные курсы.

По договору с районным отделением связи колхозы ставят на пятьдесят километров одна от другой почтовые станции и берут на себя обслуживание их. Отделение связи платит за это колхозу 1 075 рублей в месяц за каждую станцию. В эту сумму входит и перевозка работников связи. Если же едет человек, не имеющий отношения к почте, с него колхоз берет 50 копеек и кроме того полкопейки о килограмма багажа за каждый километр езды. Колхоз организует бригады почтово-пассажирского транспорта, выделяет опытного бригадира, который отвечает и за состояние станций, и за сохранность почты, и за своевременную доставку людей, и за оленью упряжь, и за самих оленей.

Для перевозки тяжестей создается особая бригада, которая имеет дело только с мертвым грузом. Бригады легкового и грузового транспорта заключают между собой договор социалистического соревнования. Колхоз в целом заключает договор с другим колхозом на количество перевозок тяжелых грузов, почты, пассажиров, на быстроту передвижений, на сохранность оленей и транспортного инвентаря. В результате и среди транспортников (каюров) выявляются стахановцы.

Афанасий Федотович взял в свою бригаду молодых колхозников — комсомольцев Стручкова Архипа и Рожина Христофора. Первую поездку он решил проделать сам, чтобы передать свой опыт старого каюра молодым товарищам.

Заранее уложили они на каждые сани по десять пудов груза и крепко его увязали. Афанасий Федотович предложил каюрам взять по десять саней на человека. Значит, каждый каюр будет сопровождать десять пар оленей, везти сто пудов, а вся бригада в целом за один рейс перебросит триста пудов груза. Для каюров-нестахановцев — это неслыханная цифра.

Но этого мало. Нужно сделать так, чтобы груз доставить быстро, увеличить тем самым количество рейсов и сохранить при этом работоспособность оленей.

Афанасий Федотович распорядился взять еще по одной повозке и по паре оленей на каждого каюра, уложить на эти повозки тордохи, железные нечки и продовольствие на сорок пять дней.

Первого ноября обоз в тридцать три пары оленей с тремястами пудов грузов тронулся в путь на 450 километров по тундре.

Погода была хорошая. Выглянуло солнце. Недолго оно постояло на горизонте — огромное огненно-красное, бросающее ро-

зоватый блеск по снежной тундре — и свалилось за туманный от мороза горизонт. Но до солнца и после него долго еще было светло. Легко и быстро скользили нарты по неглубокому снегу.

Впереди ехал Афанасий Федотович, за ним Архип, позади Христофор. Обоз растянулся на километр. Олени еще не освоились в ходьбе парами: путались, сбивались со следа, отставали. Архип и Христофор занимались тем, что придумывали различные слова и выкрики и приучали к ним оленей.

— Тоэй! — кричал Архип.

— Тоэй! — подхватывал Христофор, оставившая обоз.

Олени таким образом усваивали крик «тоэй», как «стой».

Ехали дальше. Надо приучить оленей, чтобы они сворачивали, когда нужно, вправо или влево. Архип и Христофор кричали: — Ток, ток! — и поворачивали своих оленей направо.

— Та-дак, та-дак! — кричали они и поворачивали оленей налево.

Чтобы подогнать оленей, Архип и Христофор кричали:

— Медведь, медведь! — или: — «Близко дом» — и пускали своих оленей в бег. Остальные пары следовали за ними.

Олени понимали язык человека и послушно выполняли приказания. Это было занятно, даже весело.

За первый день пройдено было сорок километров с одной остановкой. Это был короткий отдых часа на два, во время которого выпряженные и отпущенные в тундру олени поедали ягельника. Люди тоже всухомятку на морозе съели по куску говядины с хлебом.

На следующей остановке они опять отпустили оленей в тундру, а сами раскинули тордохи, растопили нечки, вскипятили чай; наелись, напились, разостлали в тордохих оленьи шкуры и великолепно выспались прямо на снегу, на свежем воздухе.

Наутро потянул с востока ветерок. Афанасий Федотович приказал собрать оленей, запрячь и тронуться в путь. Но ветер усиливался. Потекла поземка. След от нарт мгновенно заносило. Дорога становилась все труднее и труднее. Олени начали приостанавливаться.

За этот день Афанасий Федотович с молодыми своими каюрами сделал с большим трудом всего только 20 километров пути.

К ночи загудел буран. По снежной тундре, как по танцевальному залу, закружились высокие белые призраки. Им нет препятствий. Они не могут остановиться.

С гулом и воем, кружась, мчались они с востока на запад. Бесчисленные, огромные, вихревобыстрые, они заполняли собою все пространство, преграждая путь, сбивая с дороги, тумая глаза, засыпая мелким колющим снегом людей и оленей. Дальше двигаться было нельзя. Каюры отпустили оленей в тундру, спрятались в тордохи, решив переждать погоду.

Пятнадцать дней продолжался буран. Пятнадцать дней люди не видели солнца. Пятнадцать дней жили они в своих кибитках, опасаясь, как бы не сорвало их с места ветром и не унесло в тундру. Но тордохи занесло снегом, и людям было тепло. Над нартами образовались высокие сугробы, и олени, пробив копытами снег, нашли в нем защиту от ветра и корм.

Ничего трагического не было. Северным людям зимний буран не в диковину. Но время, время дорого! Высидеть пятнадцать дней без движения, когда падо ехать — это было невыносимо. Архип и Христофор, чтобы заглушить досаду, пели песни, рассказывали сказки, вылезали из темных чумов своих на свет, плясали и кружились в тундре, подражая белым призракам. Это было и забавно, и страшно, и воспитывало чувство храбрости.

Наконец, буран как будто оборвался. Везла на наступило безмолвие. Штиль. Открылась и засверкала на солнце белоснежная тундра мириадами ослепительных искр.

Ехать!

Каюры быстро свернули свои тордохи, откопали парты, запрягли оленей и тронулись в путь. Афанасий Федотович решил наверстать потерянное время и до конца использовал штилевую погоду. Он стал чаще делать остановки, чтобы не утомлять оленей. Он выбирал такой путь, где больше было ягельника, чтобы олени быстрее и лучше наедались. Главное — олени. Сытые и неутомимые, они могут двигаться быстрее колей. И Афанасий Федотович со своими каюрами покрыл остальной путь до районного центра за семь суток.

Здесь они не стали, как это делают каюры-нестахановцы, сидеть несколько суток под предлогом кормежки оленей (вокруг села, мол, пастбища выбиты: плохая кормежка оленям). Афанасий Федотович, Архип и Христофор быстро разгрузили на базе торговой конторы свои нарты, взяли груз для колхоза и снова отправились в путь.

Погода была на этот раз чудесная. Все время стояло на небе почти незаходящее солнце. Ночь заменялась сумраком, заго-

рались сполохи. Это было красивее, чем днем. Горизонт пылал северным сиянием. Световые краски переливались, играли, исчезали и вновь появлялись, будто летали по небу чудесные птицы с огромными разноцветными крыльями.

Каюры, лежа на нартах, распевали песни, кричали, свистели, и казалось им, что птицы эти слышат их: то встрепохнутся и улетят, то вновь раскинут по небу яркие крылья, хотели бы они, казалось, спуститься на землю, но бояться каюров.

Олени шли хорошо. Они уже понимали язык человека и послушно исполняли приказ.

Афанасий Федотович делал остановки частые, но короткие. Архип и Христофор даже не ставили тордохи. Приезжая на станцию, они торопились выспаться, закусить, выпить горячего чаю и снова в путь. Каюры-стахановцы познали цену времени. В этом было их отличие от других каюров. Сокращенное время давало почет, славу, богатство колхозу и личный удвоенный доход.

Афанасий Федотович, Архип и Христофор за зиму сделали пять рейсов между колхозом и районным центром, вместо обыкновенных трех. Они перевезли 1 500 пудов груза. Они полностью и на весь год снабдили колхоз продовольствием, промышленными товарами и строительными материалами. Они покрыли в общей сложности 4 500 километров пути, сохранив работоспособность оленей. Они заработали по 6 тысяч, и колхоз получил дохода от транспорта 57 тысяч рублей.

Стахановцам и буран — не помеха.

«День оленевода»

Кончилась зима, наступил апрель. Хотя морозы стоят от 15 до 25 градусов, но это уже весна. Возвращаются с промысла охотники, выпрягают оленей транспортники, готовятся к летнему сезону оленеводы и скотоводы.

Апрель — месяц отдыха и праздников. Особенно весело и шумно справляют колхозники «День оленевода». К этому дню готовятся весь год. О нем часто думают пастухи, бродя за оленьим стадом: «А что нам скажут в «День оленевода»? Как оценят наш труд? Какую получим награду?»

Об этом празднике они долго потом вспоминают, делясь впечатлениями о пе-

режимом и виденном. О нем мечтают, как о высшем торжестве колхозного труда.

Подготовка к празднику начинается задолго до апреля. Правление колхоза выводит цифровые данные по всему оленеводческому хозяйству, выявляет стахановцев, определяет доходы, намечает премии. К этому дню готовится общеколхозный торжественный обед. Молодежь и школьники репетируют спектакль. Выпускается стенгазета. Мобилизуются музыканты со всеми, у кого какие есть, музыкальными инструментами, и составляется самодеятельный оркестр. Но самое главное — из всего трехтысячного стада оленей отбираются самые сильные и самые быстрые буры и важенки, и специальные наездники начинают тренировать их для соревнования на межколхозных, а затем и на районных оленьих бегах.

Наступает праздник. Из соседних колхозов приезжают гости. Все одевают самые лучшие праздничные одежды, а теперь уже нет на Севере такого колхозника и колхозницы, которые не имели бы европейского пальто, костюма, платья и обуви. Посмотрите, мол, соседи, как мы живем богато!

Каждая семья, помимо общеколхозного обеда, считает своей обязанностью приготовить изысканнейшее и обильное домашнее кушанье и пригласить к себе гостей. Посмотрите, мол, люди, как мы вкусно и сытно питаемся!

Древний еще родовой обычай якутов, при удачной охоте или при убое коровы обязательно созывать членов своего рода и угощать их свежим мясом, сохранился до сих пор, но получил иное содержание. Тогда люди спасали друг друга от голода, а теперь — это демонстрация колхозного богатства.

Утро начинается торжественным собранием в колхозном клубе. Приходят все, кто может ходить, и детей несут на руках. Клуб украшен зеленью, хотя бы пришлось за нею съездить за сотни километров. Найдены и красные полотна. Написаны лозунги. Развешаны и портреты вождей. Знатные люди, стахановцы под аллодисементами колхозников занимают места за столом президиума. Председатель колхоза, 25-летний комсомолец Егор Иванович Стручков, начинает доклад.

— Колхоз «Красная звезда» за год получил дохода 220 580 рублей. Чистый доход на одного колхозника в среднем выражается в 4 791 рубль, максимальный — в 8 107 рублей, а некоторые колхозники заработали до 13 тысяч рублей.

На трудодень приходится в среднем 4 рубля 26 копеек.

— Хо! — раздается одобрительно в зале.

— Кроме денег — натурой колхозники получили в среднем на одно хозяйство по 128 килограммов мяса домашних животных, по 118 литров молока, по 46 килограммов рыбы и по 91 килограмму мяса диких оленей, сохатых и птиц. Это только от колхоза, не считая того количества продуктов, которые каждая семья получила от собственных коров и оленей и от индивидуальной охоты.

За три последних года колхоз построил 7 охотничьих избушек, 270 капканов, 3 653 песцовых пастей, 170 черпанов, 10 охотничьих тордох, 8 палаток и, кроме того, приобрел 9 берданок и 92 железных пелки для охотников. За это время колхоз построил 16 жилых домов для колхозников, 5 общественных домов, 6 амбаров, 23 хотона (хлева) для скота; приобрел 3 сенокосилки, трое конных граблей, 8 сепараторов, более ста рыболовных сетей и много конской и оленьей упряжи.

В колхозе теперь есть все необходимое для еще большего подъема культуры и материального благополучия колхозников.

Стручков говорил ровным, спокойным голосом, как будто недоволен был этими цифрами. Но колхозники — старики и женщины — по себе знали, что за жизнь была, когда они кочевали, и как живут теперь, когда стали колхозниками.

Цифры для них — результат нового их труда, и люди горячо этим цифрам аплодировали.

Первый день целиком был посвящен внутриколхозному празднеству. После собрания начался всеобщий обед, длившийся до самого вечера, а затем спектакль, музыка, танцы.

На другой день утром назначены были оленьи бега.

Этот вид празднества введен был в Якутии только в 1936 году. В старину на веселом празднике «Бисэх» якуты одного рода съезжались в какое-либо селение, и тут происходило соревнование, кто сколько съест мяса или кто больше выпьет топленого масла. Находились такие «герои», которые выпивали по пуду масла. Теперь, разумеется, все это отпало. Былые игры — борьба, прыжки, скачки на лошадях и оленях — превратились в подлинные спортивные игры. В оленьи бега —

в демонстрацию достижений колхоза по выращиванию наиболее сильных и быстрых животных. В этом есть и хозяйственный расчет: из беговых оленей отбирают лучших самок и производителей на племя. Оленья бега, таким образом, являются самым значительным моментом в празднике «Дня оленевода».

В полдень все население поселка Намы выехало на оленях в тундру. На беспредельной равнине по кругу расставлены были вежи, обозначающие дистанции различного расстояния. В ожидании начала бега люди со своими оленями расположились возле вешек.

День был теплый — пятнадцать градусов мороза. После месячного отсутствия солнца, когда на земле был только сумрак, оно всплыло и засияло так ослепительно ярко, будто там, за горизонтом, кто-то его заново отремонтировал.

Солнце поднялось теперь уже на все лето и остановилось на одном месте, огромное, неподвижное.

Поселок Нама раскинулся на берегу реки Омоя. Река и поселок покрыты плотным слоем снега. Вдали на горизонте до самого неба поднимаются бурные Харулахские тундровые горы с мелколесьем и лишайнично-лишайниковой растительностью. Там обычно зимою пасутся колхозные олени.

Ясное бледно-молочное небо над белой равниной. Холодное сияние арктической тундры под неподвижным солнцем. Тишина. Радостно видеть в этой снежной пустыне веселых людей и ярко алый стяг, развевающийся над домом правления колхоза.

Среди собравшегося на поле народа слышались крики, говор, гул. На поле замелькали красные флажки в руках людей, вышедших руководить бегами. Наступил торжественный момент.

Стручков Егор Иванович поднялся на одну из нарт и коротко сказал о важности предстоящих состязаний для развития оленеводства.

Стартер быстро закружил в воздухе флажком, и в тот же миг на круг вылетели три пары красивых животных с высокими разветвленными рогами. Они мчались в ряд, и легкие нарты за каждой парой оленей, казалось, летели по воздуху. Мгновенно они очутились на старте. Послушные выкрикам наездников, олени выравнялись и замерли, вытянув морды.

Зрители затихли, насторожились, затали дыхание: «Ну, чья возьмет!»

На первой нарте сидел сам Егор Иванович Старостин — заведующий колхозной оленефермой, знаменитый на всю Якутскую республику оленевод.

На второй нарте — Стручков Сафров Алексеевич — счетовод колхоза и оленевод. На третьей — Стручков Архип Александрович — бригадир стада важенок.

Все готово. Бег на дистанцию 500 метров.

Стартер махнул флажком, и олени тронулись.

Они не бежали, нет. Тонкие их ножки рабали в глазах. Тупые мордочки, кустики рогов и серые бородки под челюстями буквально промелькнули перед зрителями. Люди, казалось, не успели вздохнуть, как уже снова взвился флажок, отмечающий пройденную дистанцию.

Две пары оленей — Старостина Егора и Струčkова Архипа — пролетели 500 метров за 51 секунду. Стручков на две секунды отстал.

Народ проводил наездников аплодисментами и криками «Хо!»

На старт вышли следующие три пары оленей. Они красиво обогнули поле, взвихрили снежную пыль и остановились, от нетерпения подрагивая шерстью.

Дистанция установлена была на три километра. Наездниками на этот раз были гости, приехавшие на праздник из соседнего колхоза «Красный Тюгесир». Это придавало бегам особый зазор: кто победит!

Взлет флажка стартера, протяжный разноголосый гик, мгновенный рывок оленей, свист нарт по снегу, белый вихрь — и шесть рогатых бегунов умчались далеко по кругу, исчезая в серебристой пыли. Сделав полный круг, две пары пришли к старту почти одновременно: первая за 4 минуты 31 секунду, вторая — 4 минуты 32 секунды; третья пара отстала на 7 секунд.

Зрители остались довольны. Если сравнить с бегом оленей первого заезда, то вторые на дистанции в шесть раз больше отстали только на одну секунду. Значит, олени сохраняют одинаковый темп бега как на 500 метров, так и на 3 километра.

На третий заезд выехали сразу тридцать девять нарт — все олени, что были на бегах. Все взрослые колхозники оказались наездниками. У вешек остались в большинстве женщины, старики и дети. Предстояло самое грандиозное соревнование — уже на дистанцию в 5 километров. Семьдесят восемь оленей выстроились в

ряд. Сотни рогов как пики, заколебались в воздухе. Пар, что дым, клубами поднимался к небу.

Казалось невероятным, что целое оленье стадо без кнута и возжей можно выстроить по нитке для организованного бега. Но прошло минут десять, и рогатая орава выравнялась на линии старта. Выкрики наездников затихли. Олени замерли, настороженно подняв уши. Зрители — даже дети — стояли молча.

И вот взвился флажок. Голоса наездников взорвали тишину. Тридцать девять пар оленей разом кинулись вперед. Тридцать девять нарт как будто поднялись над снегом и полетели в даль.

Старт был дан по прямой на все пять километров до финиша. Через минуту, примерно, линия бега нарушилась. Одни олени вырвались вперед, другие отстали, третьи слишком близко подошли друг к другу. Получилось бешено мчащееся оленье стадо, поднявшее позади себя серебристую тучу. Олени стлались по снегу. Ног не было видно. Только ветвистые рога, колеблясь в воздухе, создавали впечатление летящего по ветру кустарника.

У финиша даже страшновато было. Над белой равниной в тихую, ясную погоду вздыбилась огромная туча снега, а из-под тучи, всхрапывая, щелкая копытами, летит прямо на тебя стая бурых и серых, рогатых и бородатых чертей.

Над ними в широких меховых дохах своих наездники, стоя на нартах во весь рост, машут шапками, рукавицами, дико вопят, свищут...

Но вот одна пара с шумом и свистом нарт по снегу мелькнула за черту финиша. За ней следом другая, третья... Вот сразу толпа оленей промчалась. Вот еще одна пара... Мчатся рядом две. На одной из нарт мелькнула женщина. Да, да, женщина-якутка из колхоза. Зовут ее Корякина Федора Максимовна. Она — оленевод, учится на зоотехника. Она, оказывается, наездница, и олени ее летят, как черти.

...Первым к финишу пришел Стручков Архип — за 7 минут 32 секунды.

Вторым Стручков Сафрон — за 7 минут 35 секунд.

Третье место занял Старостин Егор Иванович — 8 минут 05 секунд.

На четвертом месте оказалась Федора Максимовна — 8 минут 12 секунд.

Пятикилометровые бега показали, что олени и на этой дистанции сохраняют, в общем, ту же стремительность, что и на 500 метров.

Эти бега показали еще, что олень может достигать максимальной скорости в беге — 41,7 километра в час. Где же с ним сравнятся лошади! Это — скорость почтового поезда! А посмотришь на олени — милое, тихое, скромное животное; ростом оп тебе по грудь, — похож на годовалого бычка. Только рога на затылке такие ветвистые, будто кусты растут из шия.

Завершились бега соревнованием на перевозку оленями тяжестей. Тут тоже не мало было интересного. Связывали по пять, семь и десять нарт гуськом. На каждые нарты клали по 10 пудов груза, впрягали одного оленя-бура, и он тащил этот груз 120 метров.

Один олень вез, таким образом, 53 пуда, другой — 68, третий — 75.

Но рекорд побил красавец-бур колхоза «Красный Тюгесир»: он вез девять нарт грузом в 88 пудов!

Стоимость оленя по колхозным ценам такова: бур (кастрат) — 85 рублей; хор (производитель) — 85 рублей; важенка (оленематка) — 75 рублей; хорой (двухлестный бык) — 65 рублей; тарагайка (двухлетняя телушка) — 65 рублей; тугут (теленок) — 45 рублей. И только отдельные выдающиеся олени и по вольным ценам стоят 500 рублей.

Какая неприхотливая, умная, быстрая, сильная и в то же время дешевая эта северная рогатая лошадка!

Праздник кончился. Долго будут вспоминать колхозники великолепные олени бега.

Егор Иванович

Из многолетнего своего опыта Егор Иванович Старостин знает, что решающим моментом в воспроизводстве оленьего стада является период отела важенок.

Важенки рожают в тундре, под открытым небом, на снегу, при 20—25 градусах мороза. Будь в это время ветер или глубокий снег, теленок, появившийся на свет, быстро остывает. Не успеет его важенка облизать, как он покрывается льдом. Тогда она бросает его, и тугут гибнет.

Олени круглый год пасутся в тундре. Никаких хлебов для них не делают. Зимой они бродят общим стадом, выискивая себе подножный корм. Но если важенка недостаточно откормлена, если она заранее не набрала сил, то во время отела может не разродиться и погибнуть вместе со своим теленком. Наконец буряк может подняться в период отела важенок. Если они окажутся в незащищенном от ветра

месте, разумеется, опять потери тугутов неизбежны.

Но Егор Иванович на торжественном собрании в «День оленевода» дал обещание колхозникам полностью сохранить приплод оленей. Он заключил договор социалистического соревнования с пастухами соседнего колхоза «Доля» на полное сохранение молодняка. Значит, он должен будет противостоять морозу и бурану, чтобы спасти от гибели каждого вновь появившегося на свет оленя. А в колхозе 639 отдельных важенок. Значит, 639 тугутов пастухи должны принять и вырастить под открытым небом, в снегу и на морозе. Нелегкая задача!

Егор Иванович — единственный коммунист в колхозе. Он бывший кочевник. Девять лет тому назад вступил в колхоз. За это время поднял оленью стадо с трехсот голов до трех с лишним тысяч.

Олени его завоевали славу своей силой и выносливостью по всей прибрежной тундре. Около тысячи оленей было продано в соседние колхозы. Оленеферму свою Егор Иванович превратил в оленеводческий питомник. Верховный Совет Якутской республики присвоил ему почетное звание «Мастер оленеводства» и наградил высшим отличием в Якутии — значком «XV лет республики».

Ему — знатному оленеводу республики, взявшему на себя обязательство полностью сохранить молодняк, — нельзя не выполнить этого обязательства.

Егор Иванович отлично это знал. Он знал также, на какие трудности идет. Он все обдумал, взвесил и решительно пошел навстречу трудностям.

Первая задача, которая перед ним стояла и которую должен был решить только он, Егор Иванович, — найти место в тундре, благоприятное для отела важенок. Такое место должно быть достаточно обширным, чтобы 639 важенок могли пастись в течение месяца отдельно от общего стада. На этом месте не должно быть речек, так как переходить их стельным важенкам нельзя. Оно должно быть сухое, свободное от снега, покрытое мелкими камешками, чтобы родившиеся тугуты быстрее обсыхали и не замерзали на снегу. Оно должно иметь обильные корма, чтобы важенки перед родами могли подкрепить свои силы.

Наконец, это место должно быть защищено от холодного северного ветра и возможного бурана.

Егор Иванович объездил сотни километров по тундре, осмотрел все долины рек и речек, облазил склоны гор Хараулах-

ского хребта, побывал в Приморской тундре, пока не нашел искомого места для оленематок и не установил заранее маршрут движения оленьего стада.

Теперь ему предстояло решить другую не менее серьезную задачу — подобрать надежные кадры пастухов-оленеводов.

Правление колхоза пришло на помощь. Были организованы специальные курсы. Колхозники и колхозницы, главным образом молодежь, учились на этих курсах читать и писать на родном языке. Они знакомились с элементарной зоотехникой, учились оказывать помощь оленематке при родах, воспитывать телят, вести журнал, куда записываются даты рождения теленка и его пол. Это уже не просто пастухи в былом понимании. Это — растущая колхозная интеллигенция — зоотехники.

Егор Иванович отобрал из них 16 человек и выехал с ними на оленеферму, за сто километров от колхоза — в тундру.

Там построены дом русского типа для пастухов, газокамера для лечения оленей от чесотки, у «корралья» (огороженное пространство, куда загоняют оленей весной и осенью для подсчета и выбраковки) имеется якутская юрта. Для дежурных пастухов, которые будут находиться непосредственно у стада, имеются два передвижных тордоха с железными печками. Там люди будут жить с апреля по октябрь. Там развернется их оленеводческая работа.

По указанию Егора Ивановича, важенок отделили от общего стада и перегнали в долину, раскинувшуюся по южным склонам гор.

Здесь именно нашел Егор Иванович благоприятное место для отела важенок. Высокие скалы защищали долину от северо-восточного ветра. Почти не было снега. Россыпь мелкого камня покрывала сухую, покатуую почву. Буйная поросль ягельника и мелких листовичных растений составляет богатый корм для оленематок. Тихие, скромные животные, глядя иногда черными ласковыми глазами на пастухов, как будто благодарили их за то, что они дали им теплое, сухое и сытное пастбище.

Егор Иванович думал только об одном — о выполнении взятого обязательства — не потерять ни одного теленка. Он учил пастухов, как надо обращаться с важенкой в момент отела, как надо определять ее состояние, как оказывать помощь. Он сам умел с первого взгляда распознавать особенности каждой оленематки. Во время осмотра стада, подозвав к себе того или

много пастуха, он говорил: «Смотри, вот этой потребуется помощь, следи за ней, не прозевай! А эта справится сама». И пастухи с удивлением потом убеждались, что было именно так, как говорил Егор Иванович.

В конце апреля начался отел.

Егор Иванович установил дежурство.

Круглые сутки пастухи находились по-прежнему в стаде. Они следили за тем, чтобы важенка не делала резких движений, чтобы не толкнули ее другие оленематки, чтобы не вздумала она пойти по льду или бродить по воде. И важенка чувствовала эту заботу о себе. Она покорно принимала указания человека, доверчиво прислушивалась к словам его, и когда наступал отел и она ложилась на землю, смотрела пастуху в глаза так трогательно и нежно, как будто говорила: «Не оставляй меня, помоги!» И пастух не оставлял ее. Каждому из них по нескольку раз в день приходилось быть акушером и, если хотите, няней. Появившегося на свет тугута мать облизывала (высушивала), спасая его от мороза. Но не каждый новорожденный сразу находил у матери вымя, не каждый сразу подымался на ноги. Не догляди — и тугут погибнет. Пастух брал оленя, как ребенка, на руки, всовывая ему в рот сосок матери, отпаивал его молоком. Если же новорожденный был слаб или плохо облизан матерью и ему грозила опасность замерзнуть, пастух закутывал теленка в теплую доху свою, отогревал его собственным телом и только потом уже возвращал матери.

Наиболее слабых телят приносили в тордох, обсушивали и отогревали у печки, пилили молоком из рожка, надоенным у отелившихся маток, и, таким образом, возвращали стаду нового оленя.

Каждого вновь появившегося на свет оленя записывали в книгу, надрезали ухо, вроде давали теленку фамильный герб. Егор Иванович ввел этот порядок и сурово требовал его выполнения — «Каждого теленка люби, как ребенка», — говорил он.

Был случай, когда телились сразу пятьдесят оленематок. Горячее было время! Все пастухи и сам Егор Иванович двое суток не смыкали глаз. Они безотлучно находились в стаде, мерзли, ели сухой хлеб со снегом, но оставались на своем посту до тех пор, пока все пятьдесят новорожденных не были поставлены на ноги, не зарегистрированы, не отмечены клеймом и не пущены в стадо.

Тяжелое, мучительное, но и радостное было это время у пастухов. Что ни день,

то все больше увеличивалось стадо, все сильнее пахло молоком и все быстрее начинали бегать вокруг маток тонконогие, шустрые, маленькие, кофейного цвета, пушистые оленята.

Когда кончился отел и тугуты достаточно окрепли, Егор Иванович приказал собрать стадо и двинуть его на сотни километров к морю, чтобы поить оленей соленой водой.

В начале июня пастухи во главе со своим знаменитым оленеводом спускались с отрогов Хараулахских гор, имея перед собой шестьсот тридцать девять оленематок и шестьсот тридцать девять молодых оленей.

Егор Иванович свое обязательство выполнил.

VII. ПОБЕДИТЕЛИ

Заснеженная белая тайга кончилась крутым обрывом. Впереди — пологая возвышенность с редкими пушистыми деревьями. Из-за деревьев ласково блеснули огоньки.

Ясное зимнее небо иссиня-темное: оно кажется совсем недалеко от земли. Огромные северные звезды сияют ярко, но не голубым, а красновато-золотистым блеском. Дым из труб домов ровными, высокими столбами подымается к звездам. Изредка взвиваются искорки и, как далекие метеоры, падая, гаснут.

На шестидесятиградусном морозе земля время от времени лопается, долго и глухо гремит. Затем наступает тишина, какая возможна только на Севере — тишина белого покоя.

Сухой и острый воздух неподвижен совершенно. Пар дыхания окутывает лицо и голову и мгновенно оседает снежными кристаллами на воротнике дохи, на шапке, на усах, на бороде и ресницах. Человек становится похожим на сверкающего деда Мороза.

Скрип саней, человеческий говор, фыркание лошади разносятся очень далеко. Неподвижный морозный воздух наполняется свистом, шумом, гулом, будто движется по тайге полк солдат.

Белые домики, белые лошади, белые люди. Сильный удар в дверь. Густой пар клубами вылетел на улицу.

— Хо, приехали! Вот молодцы! А мы думали, мороза испугаетесь.

— Давай, привязывай коней и скорей чай пить!

Оставив лошадей у коновязи, люди толпою направились в ярко освещенный дом нового колхозного поселка.

Десятка два домов, расположенных по ширину на одинаковом один от другого расстоянии, образовали широкую прямую улицу. Это необычно в Якутии. Подобного рода поселки возникли впервые за всю историю якутского народа, и выросли они чрезвычайно быстро: за каких-нибудь два-три летних месяца тысяча девятьсот тридцать девятого года.

Дом колхозника Семена Наумовича Нестерова, куда пришли гости, просторен, светел, уютен. Чисто вымытый деревянный пол с половичком у входа. Большая белая русская печь пышет жаром. Четыре застекленных окна с белыми занавесками.

На стенах портреты Ленина и Сталина. На перегородке — семейные фотографии (у якутских колхозников фотографии!). В углу детская кроватка, и словно из пены — из чистых белых простынок и покрывала выглядывает черная головенка девочки. Она смотрит на пришедших незнакомых мужчин, подпрыгивает, вскидывает ручонки и, как взрослая, удивленно кричит: ах! ах! ах! Личико у ней смуглое, с ярким румянцем. Глаза яркие, черные, быстрые.

Гости невольно обращают внимание на девочку, улыбаются ей, зовут к столу. Семен Наумович тоже улыбается и гордо произносит:

— Это моя Груня!

Мать Груни — Варвара Семеновна — выглядит девушкой: тоненькая, хрупкая, как большинство якуток. Черные тугие волосы ее гладко причесаны; высокий лоб, темные брови, черные живые глаза. Она — депутат паслежного Совета, доярка-стахановка. В шерстяном европейском платье, хорошо облегавшем невысокую ее фигурку, раскрасневшаяся, веселая, она деловито разливает чай из пытящего на столе самовара и ласково угощает гостей.

На столе горка сладких ватрушек, яичница со свиной, сливочное масло, сахар, топленое молоко, пшеничный хлеб. Над столом семилитровая керосиновая лампа с большим абажуром. Светло, тепло, уютно. Чувствуется в доме полнота жизни, изобилие. В сияющих глазах Варвары Семеновны видна гордая радость.

Гости — это бригада трактористов МТС, во главе с агрономом Андреевым, районные партработники и газетчики из Якутска. Они приехали по вызову молодежной полеводческой бригады колхоза «Красный трактор» для заключения договора о социалистическом соревновании с трактористами на лучшую обработку земли, на стопудовый урожай.

От правления колхоза пришел посыльный.

— Все собрались. Ждут вас, товарищи. Просим...

Гости поблагодарили приветливых хозяев и вышли на мороз.

В воздухе стоял шум от скрипа снега. Незащищенные уши и пальцы рук обожгло.

Люди бежали через улицу, словно охваченные огнем, и вынесенный из хаты пар, как дым, окутывал их.

В избе правления колхоза, тоже просторной и теплой, было полно народа. Собрались: братья Платоновы Иван и Павел — полеводы, Герасимов — яровизатор, Яковлев — каркащик навоза, Петров — машинист, предколхоза и колхозники.

Гостей посадили на видное место, приветливо им пожимали руки. Бригада трактористов Кириллина избрали в президиум.

Началось объединенное совещание якутских колхозников.

Слово для доклада получил бригадир полеводческой бригады Платонов Николай. Он встал, выпрямился, разложил перед собой бумаги и, как заправский оратор, заговорил быстро и страстно на энергичском своем языке:

— Мы пригласили вас, товарищи трактористы, для того чтобы вместе обсудить очень важный государственный вопрос. Передовые колхозники Сталинградской области обратились ко всему колхозному крестьянству с призывом: бороться за стопудовый урожай с гектара. Прекрасный почин! Сто пудов с гектара — и тогда вся наша советская страна получит в год... — Платонов заглянул в бумажку, сурово сдвинул брови, а затем, взглянув на собравшихся, вдохновенно произнес: — Около десяти миллиардов пудов зерна, товарищи!

Видно было, что он не взял эти цифры готовыми, на прокат, а высчитал сам. Цифры эти вдохновили его, и вот родилась идея соревнования за стопудовый урожай в Якутии!

— Есть ли у нас условия для получения такого урожая? — глядя в глаза собравшихся, сказал Платонов. И твердо ответил: — Есть! Наш колхоз участвовал на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в тысяча девятьсот тридцать девятом году. В результате президиум Верховного Совета Союза наградил нас орденом «Знак почета». Мы добились небывалых в Якутии урожаев — тринадцать центнеров

пшеницы с гектара в среднем, в три раза больше, чем в соседних колхозах...

Платонов на вид почти юноша.

— Снятые нами урожаи не свалились с неба,— продолжал он,— мы боролись за них, товарищи, и боролись крепко. Мы бережно собирали золу, навоз, фекалий. Заготовили семьсот одну тонну каркасного навоза. На каждый гектар вывезли его до тридцати тонн. На площади в тридцать восемь гектаров мы провели снегозадержание, установили щиты. Заранее заготовили инвентарь и фураж. Сорок упитанных за зиму лошадей работали на колхозных полях. Теперь, товарищи, нам по плечу большая задача, поставленная сталинградцами. Сегодня мы подпишем социалистический договор с тракторной молодежной бригадой товарища Кириллина. В этом соревновании мы ставим одну задачу, одну цель — дать сто пудов урожая с гектара.

Слово взял колхозник — машинист Петров Николай Михайлович. Этот — уже пожилой человек и, что необычно для якута — усатый.

— Главное дело, товарищи, это правильная организация труда внутри бригады. Надо создать крепкие звенья. К севу надо приступить своевременно. Пропустишь один день — многое потеряешь.

— Я хотел бы еще напомнить особо о перекрестном севе. Давно ли мы спорили — стоит ли применять перекрестный сев? А теперь все убедились в его пользе. На участках, засеянных перекрестным порядком, мы получили в прошлом году двадцать два центнера с гектара.

Горячие черные глаза молодых колхозников с благодарностью смотрели на пожилого опытного человека.

Тогда поднялся со скамьи старик Яковлев Павел Васильевич.

Тихо, но с удивительной проникновенностью и ясным пониманием дела произнес он свою короткую речь.

— Наши поля мы теперь удобряем каркасным навозом,— сказал он.— Это очень хорошее питание для посевов. Жаль, что раньше об этом мы и понятия не имели.

— Каркасный навоз удваивает урожай. Каждая тонна его дает дополнительные десятки пудов зерна. Стоит только потрудиться, товарищи, и стопудовый урожай будет в наших руках!

Затем выступил мастер зерна — яровизатор Герасимов Михаил Иванович. Молодой, энергичный, необыкновенно громозд-

кий для якута, но мускулистый, сильный. Он заговорил быстро и страстно:

— Вот мы теперь толкуем о стопудовом урожае. А несколько лет назад разве мы могли об этом подумать? Работали, бились, да толку выходило мало. Советская власть дала нам новую технику, укрепила колхозы. Техника стала иная и урожаем другой.

— Думал ли я раньше, что в колхозе стану вроде агронома? В тысяча девятьсот тридцать восьмом году меня вызвали на курсы, несколько дней учили, как надо проводить яровизацию семян. Начал работать. Сначала боялся. Думал — испорчу семена. Вот в этом же помещении и начал работать. Яровизировал четыре центнера пшеницы, центнер овса и центнер ячменя. Поддерживал температуру от четырнадцати до восемнадцати градусов тепла. Пшеница дала ростки через три дня, а через четыре-пять дней появились ростки у ячменя и овса. Яровизация удалась. Урожай получился замечательный: колосья длинные, семена полные. Так же удачно яровизировал картофель. Теперь у меня есть уже опыт. И не только у меня. В нашем колхозе появились мастера высоких урожаев.

Полеводам отвечал бригадир трактористов — Кириллин Владимир Матвеевич. Молодой, почти мальчик, невысокий, круглый, ясноглазый, с черной чолкой на лбу, в пестром свитере и шиджачке, выглядит он весело, бодро, можно принять его за боевого, развеселого парня-физкультурника. Такой он в жизни, вероятно, и есть.

— Мы, трактористы, гордимся успехами колхоза «Красный трактор», — произнес он весело и звонко. — Гордимся тем, что он заслуженно считается одним из передовых колхозов всего Советского Союза. В этом есть доля и нашего труда...

Кириллин сдвинул брови и, глядя в пол, уже веско, твердо, с мужественной решимостью продолжал:

— Теперь наша задача — помочь вам, товарищи, добиться стопудовых урожаев с каждого гектара. Мы понимаем, какая большая ответственность ложится на нас — трактористов.

— Мы идем на соревнование с вами и даем обязательство весенний сев провести в шесть дней. На всей площади вашего колхоза мы проведем перекрестный сев с заделкой семян на глубину в пять-шесть сантиметров. В начале мая наши трактора выйдут на колхозные поля. Вот наше слово, товарищи!

Председателем собрания был комсомолец Платонов Павел Иванович — младший брат бригадира полеводов Платонова Николая. Павел — звеньевой ефремовского участка. Он — новатор в якутском земледелии. Он, как и Николай, ведет колхоз к новым достижениям. Он помогает брату и, как комсомолец, организует молодежь для достижения поставленной задачи.

Была уже якутская полночь. Небо оставалось чистым. Золотые звезды сияли ярко и трепетно. Мороз остановил движение воздуха. Тайга кругом, опущенная снегом, застыла в безмолвии. Только изредка земля гудела, раздраемая холодом. Поселок уснул. Погасли огни. Белая ледяная тишина.

Хорошо было думать, что в такой пустыне, под низким северным небом, в кругу необозримой тайги, на ледяной земле люди будут получать урожай в сто пудов с гектара.

Они уже добиваются. Они добьются. Они победят ледяную эту пустыню.

VIII. БУДУЩЕЕ

Село Покровское находится на самом красивом месте Якутии. Крутой, высокий берег Лены. У самой воды, как у моря, широкая полоса разноцветной гальки. Чистые, светлые волны плещутся о камни. Река голубая, спокойная, величавая. Противоположный берег ее едва вычерчивается синей каймою лесистых гор. Молочно-туманная дымка над рекою соединяется с небом, и кажется порою, что у ног не вода, а само голубое небо.

Село стоит высоко над рекой. Можно построить такую пристань, что люди и грузы с пароходов будут подниматься прямо в село, минуя берег. А здесь прекрасная шоссе́нная дорога на Якутск, усыпанная мелкой речной галькой. С нее видна вся долина Лены километров на двадцать. Там, на противоположном берегу, течет знаменитая река Ботомы с ее огромными запасами железной руды. Вправо по берегам Лены лежат горы мрамора, мергеля и доломитного камня. Позади уже действует кирпичный завод, оборудованный по последнему слову техники. За селом чернеет дремучая тайга, и оттуда идут густые волны сладких запахов.

Современем здесь, вероятно, возникнет город, и это будет город железа, цемента, стекла и других строительных материалов. Все здесь есть, чтобы возникнуть

героду, а Лена будет его голубой дорогой на Восток и в Ледовитый океан.

Но это пока еще только мыслимое будущее. Можно лишь представить себе, как в той вон далекой ситнике леса взвывает пламя доменных печей, как будут взрыты и взорваны крутые берега и на том месте зарохочут цементные заводы, как в сторону Якутска на горах подымутся к небу постройки угольных шахт, как пойдут по Лене корабли, груженные якутским хлебом, углем, железом, нефтью и всеми теми богатствами, которыми так полна эта земля.

Пока об этом можно только грезить. Но вот тут же рядом, возле села Покровского, раскинулось огромное пространство, на котором существует, быстро развивается, принимает видимые и осязаемые формы будущее Якутии; можно пойти и посмотреть на него, а при желании и прикоснуться к нему руками.

В лесу стоят дома. Они, правда, деревянные, рубленные в связку, некоторые еще пахнут смолой, но дома эти необычно длинные, широкие, двухэтажные, со стеклянными пристройками внизу. Тут же площадки, вроде цветников, огороженные проволочными сетками, доски с надписями, столбики.

Кругом все зелено.

Нужно обойти километров пять по окружности, чтобы понять, что такое здесь творится. А когда обойдешь и все увидишь — не верится, что ты находишься в Якутии.

Подходишь к зрелой яровой пшенице. Крупные колосья ее склонились на уровне глаз.

Зеленая доска, укрепленная на столбе, поясняет: «Якутянка», испытывалась в течение пяти лет на посевной площади в 1 045 гектаров. Средний урожай 21,3 центнера. Передана в колхозы».

Дальше — овес, самый обыкновенный овес, какой растет на юге и в средней полосе Союза. Высота его стебля по пояс, колос ветвится, зерно крупное, как ячмень. На доске написано: «Винер» — 22 центнера с гектара».

А вот и ячмень: усатый, седой с четырехгранными колосьями. Урожай 21—46 центнеров с гектара.

Озимая рожь вымерзла. Сохранились только наиболее стойкие зерна: они вышли в колос и дадут некоторое количество семян. Тонкие стебли грустно склонили свои головки и словно плачут: невесело им стоять поодиночке на растрескавшейся от жары земле.

Но человек соберет эти зерна, как жемчуг. Он будет относиться к ним бережнее, нежели к зернам остальных хлебов. Он слова посеет их под зиму и добьется того, что морозоустойчивая озимая рожь также встанет стеной на полях Якутии.

Идешь дальше. Встают гречиха и просо. Эти злаки — настоящие чудовища. Метелка проса и коронки гречихи сохранили свой обычный вид. Но листья, но стволы подобны камышу. Это результат длинного вегетативного периода. Ведь солнце здесь светит почти двадцать часов в сутки. Скороспелые эти хлеба гонят свой рост в три-четыре раза быстрее других хлебов и вырастают гигантами.

Но зато нормально растут и созревают сибирские гречиха и просо. Великолепно цветет и дает семена подсолнечник. Вызревает обильная семенем и волокном конопля. Прекрасно развиваются и дают богатые урожаи лен и горчица. Растет табак. Сахарная свекла дает 183 центнера с гектара или 16,25 центнера чистого сахара. Турнепс дает 505 центнеров с гектара. Морковь в открытом грунте даст 660 центнеров, огурцы — 188 центнеров, томаты — 309 центнеров, капуста — 500 центнеров; растут и созревают укроп, салат и прочая овощная зелень.

Когда обойдешь все 1 700 гектаров земли якутской государственной опытной селекционной станции, когда увидишь всю

буйную поросль хлебов и овощных злаков, перед тобой встает будущее Якутии во всей своей реальности.

Якуты не знали, что такое фрукты. Они не видели ни яблок, ни груш, ни слив, ни вишен и не представляли себе, на чем они растут.

Пойдите в сад. Он уже существует. Сибирские плодовые деревья, стелющиеся по земле, пережили не одну зиму, выдержали якутский холод, зеленеют, цветут. Значит, будут в Якутии яблоки: «Тунгус», «непобедимая Греция», «Желтый чалдон», «желтое наливное», «белое пятнистое», «багряно Кашенко» и «алтайский крупный розовый». Будут у якутов «Уссурийская груша» и «Уссурийская слива». Будут вишни: канадская, японская и смешанная сибирская. Будут потому, что они уже есть, растут, развиваются...

А в саду гудят пчелы — тоже никогда ранее невиданные якутами. Пчелы прекрасно переносят в утепленном омшанике суровые якутские морозы и за лето дают людям меду от 30 до 65 килограммов с улья.

Все это возникло, живет и развивается всего лишь за последнее десятилетие.

Над тобою солнце, вокруг — цветы и сад, и пчелы, и позади — хлеба, а впереди — сверкающая Лена — голубая, широкая дорога в будущее социалистической Якутии.

С. НЕЛЬС

Шекспир и советский театр

I

«Один день города Комсомольска» — этой теме был посвящен номер «Комсомольской правды» за 29 декабря 1936 года.

Очередной трудовой день юного города завершился постановкой «Отелло» в Городском театре.

Весной 1939 года в Ярославле состоялась областная театральная декада. Театры Ярославля, Костромы, Рыбинска и ряда других городов области показывали свои лучшие постановки. Три дня были посвящены шекспировским постановкам. В эти же дни проходила шекспировская конференция.

На декаду приехали из Москвы актеры, рецензенты, шекспиологи.

Кое-кто из столичных гостей скептически пожимал плечами:

— Шекспир и Рыбинск!

Кое-кто заранее намеревался великодушно похвалить честных «провинциальных» театральных энтузиастов.

Но преднамеренное снисходительное одобрение одного и скептицизм другого сменились подлинным восторгом, когда поднялся занавес и театры области стали показывать свои шекспировские спектакли.

С тем же изумлением и восторгом все присутствовавшие впоследствии на шекспировской конференции в Москве, созванной к трехсотсороклетнему рождению Шекспира, слушали доклады и выступления режиссеров и театральных работников Рыбинска и Ашхабада, Кирова и Ташкента о своих постановках Шекспира и рассматривали на выставке альбомы этих постановок. Отошло в далекое прошлое то время, когда Дальские, Орленевы

и другие русские великие, самоотверженные, но одинокие служители шекспировского драматургического искусства где-то в пожарных сараях ставили «Короля Лира» и «Отелло», «Гамлета» и «Макбета», а ансамбль состоял наполовину из провинциальных несчастливцевых, наполовину из восторженных гимназистов и гимназисток. Лучшие национальные театры всех республик нашего Союза, многочисленные русские периферийные театры с большой любовью, талантом и знанием дела ставят теперь Шекспира.

Шекспир нашел в СССР свою новую родину. Он стал в нашей стране народным драматургом в лучшем смысле этого слова, народным по самому характеру его истолкования. Шекспира смотрят самые широкие народные массы. Шекспир начинает завоевывать самостоятельный театр в городе и деревне.

Каким знаменательным фактом является то, что Узбекский театр к своему пятидесятилетию поставил «Гамлета»!

Мы часто снисходительно похваливали периферийные национальные постановки. Но вот пришла узбекская актриса Сара и создала трогательный образ Офелии. Этот образ стал близким и родным узбекской женщине, а имя Сары, воплотившей этот образ, стало гордостью узбекского народа.

Этот пример, как ряд других, показывает, что шекспировские постановки в национальных театрах являются демонстрацией их исключительного расцвета. Они заслуживают серьезного внимания, ибо представляют собой не простое, добросовестное повторение того, что уже давно до них было достигнуто крупными столичными театрами.

Среди национальных постановок нужно прежде всего отметить постановку «Отелло» в театре имени Руставели в Тбилиси. Необычайная красочность (художник Гамрагели) и музыкальность спектакля, идущие от всей художественной культуры Грузии, высокое мастерство Хоравы (Отелло) и Васадзе (Яго) создают чрезвычайно своеобразный, глубоко реалистический шекспировский спектакль. Правда жизни этого спектакля в правильно воспроизведенной исторической атмосфере, в том ощущении трагического, которое все время господствует на сцене.

Формирование другого театра советского Закавказья — Азербайджанского — было теснейшим образом связано с целым рядом шекспировских постановок: «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Макбет» и «Гамлет».

Постановка «Макбета» на сцене бакинского государственного театра имени Азизбекова до сих пор остается лучшей на советской сцене постановкой этой трагедии.

Некоторые национальные театры, возникшие только после Октября, успели осуществить несколько значительных шекспировских постановок. Так, татарский Государственный академический театр в Казани вслед за «Отелло» и «Гамлетом» недавно с большим успехом поставил «Ромео и Джульетту».

О постановке «Короля Лира» на сцене Московского государственного еврейского театра один из крупнейших мастеров шекспировского театра на Западе, златок мировой театральной культуры Гордон Крэг писал:

«Подлинной неожиданностью, без всякого преувеличения — потрясением оказался для меня «Король Лир»!.. Со времени моего учителя великого Ирвинга я не запомню такого актерского исполнения, которое потрясло бы меня так глубоко до основания, как Михоэлс своим исполнением Лира. Я не умею и не люблю говорить комплиментов даже там, где имею для этого достаточные основания. Но какие бы похвалы не были сформулированы по адресу актера Михоэлса, это не будет преувеличением. Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира на театре. Потому, что там нет такого актера, как Михоэлс. Очень хорош также и актер Зускин в роли шута. Он не подыгрывает Лире, а сумел извлечь самостоятельный образ, аккомпанирующий приемами

контрастов основной линии ведущей роли трагедии»¹.

Национальные театры не только обогащают творчеством Шекспира национальные культуры. Они так же углубляют познание Шекспира, окрашивая в неожиданные тона те или иные шекспировские образы, выявляя подчас чрезвычайно существенные особенности данной ситуации, данного конфликта. В результате многие центральные проблемы Шекспира выступают в новом свете.

Мы по праву гордимся замечательными постановками Шекспира в лучших театрах Москвы и Ленинграда, изумительными образами Михоэлса — Лира, Остужева — Отелло.

Где причины такого расцвета шекспировской драматургии в нашей стране?

Они в глубокой народности всей нашей культуры, в том бережном отношении ко всему культурному наследству, которому Ленин и Сталин нас всегда учили. Они — в реализме, как основе всего нашего искусства. Шекспир — величайший представитель культуры прошлого, искусство которого глубоко реалистично, подлинно народно.

II

Советский театр открыл новую страницу в истории шекспировских сценических интерпретаций.

Все советские режиссеры от Москвы до Комсомольска, от Ленинграда до Еревани, приступая к постановке Шекспира, неизменно заявляют:

— Мы ставили своей задачей по-новому прочесть Шекспира.

Иные усердные «новаторы» под словами «по-новому прочесть Шекспира» понимали отрицание всего прошлого шекспировского театра, всего того, что было создано в течение столетий в области освоения наследства гениального драматурга.

Так, еще сравнительно недавно в Новороссийском театре режиссер из того же стремления «по-новому прочесть Шекспира» заставлял мистрис Квикли («Виндзорские проказницы») читать стихи... Блэка... Стоит ли говорить о грубейшей профанации, которую допускают такие «новаторы»?

Действительно «по-новому прочесть Шекспира» — это значит прежде всего по-

¹ «Три разговора с Гордоном Крэгом», «Советское искусство», № 16/242, 5 апреля 1935 года.

вовому осмыслить, как театр до нашего времени читал Шекспира.

Когда встает вопрос об освоении творчества такого колосса прошлого, как Шекспир, следует еще и еще раз продумать основные положения ленинского учения о культурном наследстве. Ленин говорил:

«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»¹.

Он указывал на пример Маркса, который «все то, что человеческой мыслью было создано... переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли»².

Критическое освоение наследства заключается прежде всего в том, чтобы выяснить, в какой мере те или иные культурные памятники, та или иная система оценки предшествующей культуры объективно отражали действительность, выражали прогрессивные тенденции эпохи и являлись, таким образом, «шагом вперед» в художественном и культурном развитии человечества.

Советский театр продолжает великие традиции русского реалистического театрального искусства, в первую очередь искусства Малого театра и МХАТ.

Шекспировские постановки Малого театра за последнюю четверть века до Октября были проникнуты высокой гражданственностью и демократизмом, космополитизмом в том смысле, в каком пользовался этим понятием в отношении Шекспира Чернышевский. Продолжая традиции Малого театра, советский театр, однако, углубляет их на принципиально новых основах. Космополитизм шекспировских постановок перерастает в идеи социализма.

Великие исполнители Шекспира на сцене Малого театра — Федотова, Ермолова, Ленский, Южн, Яблочкина — подчеркивали в шекспировских трагедиях их космополитический характер в том смысле, какой придавал этому понятию Чернышевский.

Чернышевский писал, что Шекспир «служил искусству, а не родине». Он причислял Шекспира к таким «деятелям умственного мира», как Бекон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, которые были, по его мнению, космополитами.

В социалистическом искусстве благо родины не противопоставляется благу человечества, поскольку благо социалистической родины служит прогрессу всего человечества. Социалистическое отношение к искусству дает возможность выявить, как Шекспир, говоря о проблемах своего народа, ставил общечеловеческие проблемы. Все это дает советскому театру возможность по-новому раскрыть столь созвучные нам идеи освобождения личности и гуманизма, которыми проникнута драматургия Шекспира.

Народность Шекспира заключается не в том, что он изображает народные типы, а в том, что его герои через свои испытания приходят к постижению народной мудрости. Самые загадочные мысли Гамлета сливаются с народным скепсисом. Мудрость шута превосходит мудрость, к которой придет Лир.

Советский театр дает трагические образы Шекспира как носителя народного сознания.

Эти тенденции советского театра можно особенно наглядно продемонстрировать на сопоставлении образа Лира в исполнении Михоэлса с тем же образом в исполнении великих западных театральных мастеров. Те играли преимущественно разгневанного, несчастного отца, оскорбленного, скорбящего властелина. Михоэлс дал мудрого человека, который своим скорбным опытом пришел к переоценке всех ценностей, к признанию безысходности и ничтожности «голового человека» в мире закованных в золото злодеев.

Личная трагедия старика Лира с неизбежностью толкает к обобщениям огромной социальной и исторической значимости:

«.....сквозь рубище худое
Порок ничтожный ясно виден глазу:
Под шубой парчевою нет порока.
Закуй злодея в золото — стальное
Копье закона сломится безвредно;
Одень его в лохмотья — и погибнет
Он от пустой соломинки пигмея».

Лир расстается со своими старыми представлениями и приходит к сознанию шута — носителя народной мудрости, знающего цену жизни и людских отношений. Истокование Шекспира в практике советского театра наилучшим образом соответствует характеру гения Шекспира.

Не менее сложен вопрос об использовании нашим театром опыта шекспировских постановок Станиславского. Нельзя говорить о правдивом, реалистическом раскры-

¹ Ленин, Соч., т. XXV, стр. 388.

² Там же, стр. 387.

тин Шекспира, не изучив его шекспировской лаборатории.

Станиславский выдвинул на первый план две центральные проблемы. Это вопрос о воплощении «сверхчеловеческих страстей» героев Шекспира в сдержанной, чрезвычайно простой форме» и ансамбле шекспировских спектаклей.

Советский театр серьезно задумался над этими проблемами. На различный лад, в соответствии со своей творческой индивидуальностью и своей художественной системой наши театры стремятся к раскрытию «сверхчеловеческих страстей» Гамлета и Лира, Отелло и Ромео «в сдержанной, чрезвычайно простой форме». Если раньше весь интерес шекспировского спектакля сводился к игре гастролера, бенефицианта, то советские постановки Шекспира отличаются своим стремлением к цельности композиции, к органическому единству ансамбля. Достаточно вспомнить прекрасную постановку А. Попова — «Укрощение строптивой» в Центральном театре Красной Армии.

А. Попов исключительно мастерски разрешил проблему времени в спектакле, проблему непрерывности действия. Действенность каждого эпизода, любой мизансцены удачно выявляет ритм быстро сменяющихся явлений и сцен шекспировской комедии. Некоторыми дополнительными пантомимическими эпизодами Попов сообщает спектаклю особый аромат эпохи. Такова остроумная мимическая сцена, в которой возвращающийся слуга застаёт вместо оставленных им цветов горшок, а затем вместо горшка — книжаль. Ужас и недоумение, которые им овладевают, остроумно передают веру слуги той эпохи в оборотней и чудесные превращения.

Высокая композиционная целостность характеризует постановку Радловым «Короля Лира». Этот спектакль сочетает в себе подлинный реализм с высокой театральностью. Его реализм чужд бытовизма, а театральность лишена формалистических эффектов.

Редко, когда в шекспировских спектаклях удается так счастливо найти соответствие единства замысла и действия с его многоплановостью, с быстрой сменой эпизодов и сцен на протяжении всей трагедии, как это удалось режиссеру Радлову, художнику Тышлеру и всему коллективу Госета.

Все это позволило творцам этого спектакля разрешить проблему, которая ставила в тупик многих режиссеров и акте-

ров при постановке Шекспира вообще и в частности «Короля Лира».

Госетом был найден синтез многообразия действия, подчиненного основной идее спектакля.

Движение спектакля дает шекспировский ритм, потому что характер движения таков, что в нем сочетаются два качества: быстрота и спокойствие. Это относится, в частности, ко всему характеру игры основной массы исполнителей. На сцене не чувствуется никакой суеты, ненужной беготни, даже всяческие *salto mortale* шута при всей их подчас неожиданности отличаются размеренностью и упорядоченностью. Они связаны со всем смыслом, со всем характером переживаний.

Тышлер не следует букве изысканий шекспироведов, реставрирующих шекспировскую сцену. Он стремится постигнуть самую ее сущность, то содержание, которое вкладывалось в понятие шекспировской сцены и которое должно было соответствовать смыслу разыгрываемой трагедии. Он учитывает целеустремленность шекспировской сцены, игнорируя в то же время все то, что было результатом несовершенства сценической техники, а подчас диктовалось наивностью восприятия публики, наполнявшей театр в ту эпоху.

Новые методы раскрытия шекспировской драматургии советским театром прекрасно реализованы в этом спектакле.

III

Советский театр поставил перед собой во всей грандиозности задачу вскрыть социально-философский смысл драматургии Шекспира. В этом основное, принципиально новое значение советских шекспировских постановок.

Абстрактное философствование шекспироведов привело в первой половине XIX века к отрыву Шекспира от его времени. Столь же абстрактное психологизирование во второй половине XIX века завершилось в конце XIX века и начале XX века метафизической символикой в трактовке Шекспира, которая при помощи Гордона Крэгга в свое время прорвалась даже на сцену МХАТа в постановке «Гамлета».

Театральная практика второй половины XIX и начала XX века превратила по существу Шекспира в писателя индивидуалистически-психологических конфликтов и тем снижала содержание его творчества. Отдельные большие актеры интуитивно прорывались к глубинам его творчества, но то были счастливые исключения.

Подмена философских идей и глубокого социально-исторического содержания драматургии Шекспира индивидуалистическим психологизмом приводила в конце концов к плоской модернизации его основных героев и их конфликтов. Модернизация заключалась в том, что Гамлет превращался в «длинного человека» XIX века, а трагедии Шекспира стали походить на драмы писателей этого века. Все было сведено к комплексу проблем индивидуалистического психологизма, столь характерного для европейской литературы после 1848 года. Герои Шекспира были зажаты в тесный круг «проклятых вопросов» любви, одиночества, смерти.

Одним из основных пороков психологизма и идеализма в сценической трактовке Шекспира было то, что в каждой его драме искали отображение одной ограниченной человеческой страсти, одной определенной человеческой склонности. Во внутренних противоречиях этой человеческой страсти или склонности видели все содержание данного произведения.

Так идею «Лира» видели в скорби обманутого отца, идею «Макбета» — в стремлении к власти любой ценой. Содержание «Отелло» сводили к ревности; содержание «Ромео и Джульетты» — к трагизму беспредельной любви; идею «Гамлета» — к противоречиям рефлексии.

На самом деле не вопросы любви и ревности, не жажда власти, не горечь покинутого отца представляют содержание трагедий Шекспира. Он ставил кардинальные вопросы о сущности и смысле своей эпохи, которая освобождалась от пороков средневековья, но заражалась роковыми болезнями нового времени. Шекспир стремился показать, как люди, волнуемые любовью и ревностью, жадной радости жизни, или зараженные соблазном власти, выполняют свою историческую миссию, разрешают центральные проблемы своей эпохи.

Философские, исторические идеи трагедии или комедии Шекспира — ключ к проблеме их театрального воплощения.

Как найти этот ключ? Как определить, в чем заключается основная идея того или иного его произведения?

Сложность выяснения философского смысла драматургии Шекспира заставляет некоторых режиссеров вообще отмахиваться от этого вопроса. Недавно Н. Акимов обрушился на тех, кто считает, что предпосылкой успешной постановки Шекспира является верное уяснение идеи произведения.

Н. Акимов писал: «В оценках классических спектаклей стали преобладать такие выражения: «верно понял», «правильно вскрыл», «показал подлинного Шекспира» (Мольера, Островского, Гольдони и т. д.), или то же самое с отрицательными приставками: «неверно», «неправильно», «не понял», «не вскрыл»... Такие вещи, как талантливость, своеобразие и яркость отчета, отступают на задний план, отираясь пресловутыми «верно» или «неверно» («Театр», № 4, 1939, стр. 54).

Конечно, талантливость — первая предпосылка в любой области искусства. Но большие таланты были и до советского театра. Их было немало среди мастеров искусства — реалистов XIX века и даже среди деятелей модернистского театра. Все же Н. Акимов вместе со всей советской театральной общественностью правильно считает, что ему с ними не по пути. Почему? Потому, что они с точки зрения нашего театра «неверно поняли», «неправильно вскрыли» подлинного Шекспира.

Правильное решение вопроса об идее трагедии или комедии не игнорирует, а наоборот, предполагает талантливое сценическое воплощение данного произведения. Правильное решение об идейном содержании драматического произведения находится, главным образом, в самом процессе театрального воплощения.

Прав Радлов, когда он утверждает, что главное — это «уметь вскрывать идейное содержание великих творений Шекспира». А этому главному наши театры научились у нашего времени.

Прекрасной иллюстрацией этого является, раньше всего, поставленный самим же С. Радловым «Отелло» в Малом театре.

Малый театр вскрывает основную проблему «Отелло» не как проблему ревности, а как конфликт двух взаимоисключающих мироощущений, носителями которых являются Отелло и Яго. В исполнении Остужева отодвигаются на второй план страстность мавра, его горячий нрав, его необузданность, все то, что делает из него типичного ревнивца.

У Отелло разбита вера в человека — это основа его отчаяния. И это же основа его одиночества, на котором так настаивает Остужев. «О, как он одинок, у него нет ни друга, ни жены, ни даже собак, которая была бы предана ему», — писал Остужев. Но чувство одиночества приходит тогда, когда у Отелло разрушается вера в человека. До того он не ощущал себя

одиноким, не потому только, что любовь и дружба заполняли его жизнь. Со всей почти детской верой в то, что человек прекрасен, Отелло — Остужев ощущал мир только как благо. Отсюда рождалось чувство единства со всем миром, с людьми. Оно выражалось в неизменном благоволении к людям, в стремлении видеть в них одни только светлые стороны.

И вот все это оказалось не так. Мир оказался иным. Жизнь предстала пред Отелло в новом свете. Все сместилось, — все, что было до тех пор в таком гармоническом и ясном порядке. И тогда перед ним встает другая грозная проблема — речь идет не только о доверии к человеку, вере в него, но и о возможности познать человека, познать мир, ибо все люди, которых знал Отелло, оказались иными, чем он предполагал.

Яго подсказывает Отелло формулу, которая составляет сокровенную мысль самого Яго:

«В ладу должна быть с видом суть».

Здесь скрещиваются два взаимосключающих друг друга мироощущения, завершёнными носителями которых являются Отелло и Яго. Для Отелло всегда едина «с видом суть». Для Яго внешность лишь способ скрыть эту суть, а человеческий разум — могучий инструмент в игре с видимостью. Светлый солнечный мир Отелло, который верит, что нашел воплощение мировой гармонии в совершенстве Дездемоны, столкнулся с миром Яго, миром темным, ночным, миром чудовищной тайны. Вся сила игры Остужева и его партнеров Майера, Терехова раньше всего проявляется в острой и глубокой передаче этого духовного поединка.

Видимость людей, оказывается, расходится с их сущностью. Как познать эту сущность?

Мотив — познать — проходит через все исполнение Остужева: «Мне только надо знать». Сомнение в том, можно ли познать — становится основным источником страданий Отелло — Остужева.

С беспредельной самоотверженностью борется Отелло — Остужев за то, чтобы утвердить и отстоять свое светлое, гармоническое жизнеощущение.

Самое убийство Дездемоны продиктовано этим стремлением сохранить и утвердить светлое, гармоническое начало.

Разоблачения сердцеведа, «честного» Яго убедили его, что существует зло. Но Отелло считает, что это зло единичное и что его можно и должно вырвать с кор-

нем. Дездемона должна быть убита не за то, что она его предала, а потому, что она и других обманет.

Обман Дездемоны, в который Отелло поверил, для него безграничное личное несчастье, но еще не крушение мира. Гибель Дездемоны еще позволяет Отелло дальше жить и действовать, ибо сама эта гибель представляется ему требованием правды. Но оказывается, что он сам правду загубил. Под ее обломками он похоронил тот гармонический, цельный мир, в котором жил. И сейчас наступает необходимость гибели самого Отелло во имя восстановления правды целого мира.

Неизбежность катастрофы раскрывается в том, с каким отчаянием Отелло — Остужев говорит о своем потерянном рае:

«...как жаль, Яго. О, Яго, как жаль, Яго». В этих словах не столько сила отчаяния, сколько тоска о потере прекрасного мира. В исполнении Остужева они поражают своей проникновенностью.

«О, как жаль», что разгадать тайну человеческой души — это значит разгадать тайну ее мрака. «О, как жаль», что, казалось бы, открытая душа человека, даже самого близкого человека, остается столь непознаваемой.

Даже убежденный в виновности Дездемоны, он неоднократно повторяет: «Прелестная женщина! Красивая женщина! Нежная женщина!.. У нее такой милый нрав». Такова Дездемона, но в то же время она — «шлюха», «девка». Где же настоящая Дездемона? Где истина? Возможно ли познать эту истину?

«Скажи, кто ты?»

Все эти проблемы гениальной трагедии Шекспира встают во всей своей глубине, когда мы видим на сцене Отелло — Остужева. В том и сказывается сила подлинного искусства, что оно дает проекция в самые глубины жизни и раскрывает пути к наиболее сложным синтетическим обобщениям.

Особые методы советского театра в истолковании Шекспира обнаруживаются с большой силой в постановках «Гамлета» — трагедии сугубо философской. Философским проблемам «Гамлета» советский театр дает реалистическое разрешение. Этот реализм достигается тем, что Гамлет-философ и Гамлет-человек даны в их единстве. Театр показывает, как философия Гамлета, вырванная из его личного опыта, служит орудием в борьбе за человека. Он вскрывает, насколько неверно представление, будто бы Гамлет живет только в сфере мысли, в мире рефлексий.

Гамлет, как и все герои Шекспира, живет в мире страстей, Гамлет — остромыслящий ум. Но это не философ-созерцатель, а человек, который активно живет жизнью всех окружающих. Он томится жизнью такой, как она есть. Он всецело охвачен желанием изменить эту жизнь.

Задача его жизни — огромная, всемирно-исторического значения. Порой она кажется ему невыполнимой. Но и тогда он не знает ни покорности, ни стремления отойти в сторону и предаваться в одиночестве печальным размышлениям о действительности, проклиная людей и мир.

Нет, он в мире, он среди людей. Он жаждет под одних подвести подкоп, взорвать их, других остановить — не дать им более погружаться в бездну скверны, третьих уберечь от заражения всеобщим пороком.

Поэтому С. Э. Радлов в своей постановке «Гамлета» в Ленинградском театре справедливо исходит из мысли, что шекспировские персонажи — это не необыкновенные люди, не сказочные герои, не легендарные титаны. Шекспировские люди — герои в нашем понимании этого слова, «обыкновенные» люди, взятые в исключительных моментах своей жизни. Исключительные обстоятельства содействуют реализации всех тающихся в них возможностей, и тогда перед миром выступает их скрытый героизм.

С этим критерием С. Э. Радлов подошел к трагедии «Гамлет».

В соответствии с общим замыслом режиссуры актер Дудников дает просто, правдиво живого Гамлета в его героической «обыкновенности». Он показал те непосредственные переживания Гамлета, которые являются живой и неизбежной реакцией на исключительные обстоятельства его жизни.

IV

На трактовке «Гамлета» особенно обнаруживается принципиально новое разрешение советским театром проблемы мировоззрения Шекспира. В идеалистических философских книгах конца XIX и начала XX века, как и в ряде театральных интерпретаций, Шекспир выступал как гений безысходности, как проповедник пессимизма в искусстве. Из этих исследований и постановок Шекспира читатель и зритель должны были сделать такой вывод:

— Человек порочен, несчастен, ограничен — и это навеки. Так было, так будет.

Советские театры вскрывают оптимистические истоки Шекспира.

Основной вывод, который зритель делает из советских постановок Шекспира, таков:

— Порочность, немощность, ограниченность человека — результат не самой природы человека, а конкретных исторических обстоятельств. Человек по своей природе, как говорил Гамлет, «благороден разумом, безграничен способностями». Человек сам по себе «образцовое создание... краса мира, венец всего живого». Этот благородный разумом, безграничный способностями человек положит конец горю и несчастью, царящему в мире. Поэтому оптимизм Шекспира связан со стремлением изменить мир.

Человек погибает, но его идеи, его правда торжествует. В этом сокровенный смысл всех трагедий Шекспира. Такова формула трагедийного у Шекспира.

Гибель героя порождала в буржуазном обществе пессимизм, поскольку оно готово было признать жертву бесцельной. Это часто приводило к фетишизированию героики и жертвенности, вне зависимости от цели борьбы, вне веры в ее успех. Здесь одна из причин пессимистической трактовки Шекспира буржуазными литературоведами и театральными деятелями.

«Мужество» безнадёжности, как в борьбе народов со своими угнетателями, так и в борьбе человека со стихией, глубоко чуждо социалистическому обществу. Поэтому трагедийное в наших условиях в своей основе безмерно оптимистично. Здесь источник переосмысления Шекспира лучшими мастерами советской сцены.

Но встает вопрос: не приписываем ли мы Шекспиру наш оптимизм — оптимизм мастеров искусства страны, идущий от социализма к коммунизму? Может быть, такой оптимизм не был присущ Шекспиру?

Отрицательный ответ на этот вопрос следует уже из одного того факта, что сам тезис о пессимизме Шекспира является порождением только XIX века. Дидро и Лессинг отнюдь не воспринимали Шекспира, как пессимиста. Скорбная действительность Европы после Реставрации, а тем более после 1848 года — вот источник пессимистических интерпретаций Шекспира в XIX веке.

Наши театры верно подслушали оптимистические думы Шекспира, так скорбно переживавшего ужас зла и позора человека. Это им удалось потому, что оптимизм великого гуманиста исторически созвучен нашему оптимизму.

Но для того, чтобы стало возможно до-браться до оптимистических корней Шекспира, необходимо было порвать с метафизическим психологизированием в истолковании Шекспира, вскрыть те глубинные, философские и социально-исторические идеи, которые таятся в переживаниях и конфликтах героев Шекспира и определяют самый характер этих переживаний.

Насколько правильно разрешается советским театром вопрос об оптимизме и пессимизме Шекспира, становится очевидным не только из интерпретации целого драматургического замысла Шекспира, из анализа спектакля, но и из трактовки отдельных образов советскими актерами. Возьмем для примера исполнение роли шута в «Короле Лире» великим немецким актером Иосифом Кайнцем и советским актером В. Л. Зускиным. Кайнец давал униженного, всеми презираемого арлекина. Шут Зускина — воплощение мудрого и горького народного сознания ничтожества мира, скованного властью и богатством.

Шут Кайнца — наивный и любопытный, жадный к тому, что кругом него происходит.

Шут Зускина скорбный и многоопытный. Он стоит над обществом, он судит его со всей моральной суровостью народа, издевается над ним. В его издевках — вся многовековая горечь обиженного и обманутого народа, знающего моральную цену власть имущих.

Шут Кайнца стал шутом раньше, чем стал человеком. Положение шута ему привито, как естественное положение. В последнем счете Кайнец сводит драму шута к драме униженного «маленького человека», окрасив его переживания в пессимистические тона героев декадентской литературы конца XIX и начала XX века. Такая трактовка является модернизацией Шекспира.

Зускин выключает шута из галереи униженных и терзающихся своей униженностью «маленьких людей». Это не униженный «маленький человек», над терзаниями которого довлеет в конце концов эгоцентризм и индивидуализм тех, кто его унижает. В шуте Зускина боль и горечь народа за человека, горестный опыт народа, его обида.

Коренное различие в трактовке образа особенно резко сказалось в сцене, где, спасенные от бури Глостером, король, шут и нищий инсценируют суд над дочерью Лира.

У Шекспира шут в этой сцене появляется в последний раз. Когда Лир просыпается, шута уже нет около него. И весь остальной свой жизненный путь Лир проходит уже без него.

Почему шут исчезает у Шекспира в момент, когда действие еще развивается?

Кайнец трактует это как результат катастрофы шута. Лир смог перенести свое испытание. Шут выходит из него отчаявшимся и обессиленным. Для него уже нет никакого выхода. Кайнец, пользуясь намеком Шекспира, заставляет шута физически погибнуть.

У Зускина шут после всех испытаний, усталый и измученный, сохраняет свою жизненную энергию и продолжает издеваться над тем, что стало источником всех испытаний Лира, Глостера, Кента: «Дурак тот, кто волка прикармливает, кто верит любви мальчика и клятве женщины» (III д.; 6 сц.).

В этих словах воля к дальнейшей борьбе, а не отчаяние и смерть, как у Кайнца.

Шут у Зускина уходит со сцены не потому, что все его силы исчерпаны и он, немощный, погибает, а потому, что его миссия исполнена.

Он вернул Лира под кров. Лир опять с Корделией. Шут выступает на сцену в момент, когда Лир теряет Корделию. Этим моментом начинается беззащитность Лира. Шут, издеваясь над всем тем, что стало причиной несчастий Лира, оберегает Лира в его несчастии и неприютности до того момента, когда с возвращением Корделии неприютность Лира оканчивается.

Шут у Зускина является воплощением огромной жизненной силы, выразителем морального негодования народа и его веры в правду и человечность, его смелости и неподкупности пред лицом тирании, его способности к большим испытаниям во имя правды и человечности. Эти качества шута Зускин раскрывает с исключительным мастерством. В его образе та правдивость, которая присуща подлинному реалистическому искусству.

Талантливое исполнение роли шута Зускиным вырастает из всей нашей системы трактовки Шекспира. Но это отнюдь не значит, что советское истолкование Шекспира предполагает какой-то штамп, какой-то готовый рецепт сценического формирования того или иного образа Шекспира.

Исторически-объективное, реалистическое толкование Шекспира как раз создает возможность исключительно разнообразно-

го воплощения его героев в соответствии с творческой индивидуальностью данного мастера сцены.

В этом отношении чрезвычайно показательна галерея образов Яго на советской сцене.

В Яго Дудникова (Ленинградский театр) — стремление дать не шаблонного злодея и не вариацию мефистофельского «духа отрицания, духа сомнения». Яго — Дудников — игрок, аферист. Ловкий человек, он как бы скользит между людьми, ко всему присматривается, всюду втирается, чтобы затем искусно сыграть на психологии людей.

Весь смысл его существования заключается в самой этой игре, которая занимает его именно как игра, независимо от тех причин, которыми она порождена, и от тех последствий, к которым она приведет. Минутами кажется, что никакой личной заинтересованности у Яго нет в этой игре, что он не ждет от нее выгоды для себя.

Оригинальный, своеобразный образ Яго дает Терехов (Малый театр). Терехов дал типическую фигуру эпохи, когда, по выражению Луначарского, «подлинные, настоящие интриганы бегали по земному шару». Терехов придал интриганству Яго весьма убедительную мотивировку. У Терехова Яго — ущемленный человек, бессильный в своей обиде. Он ущемлен самым своим положением рядового человека. Восторжествовать и отомстить он может лишь путем интриги, благодаря своему глубокому знанию людей, их пороков и страстей.

Основной метод, которым Яго — Терехов добивается своих целей, — это симуляция искренней заинтересованности положением того человека, которого он стремится использовать для своих целей. Этот прием Яго — Терехова особенно ярко проявляется в сцене у дожа.

Сила человеческой воли, человеческих устремлений к победе над другими — основной закон для Яго.

Из такой веры в силу воли и разума вырастает у Яго сознание, что всякая жизненная неудача — это оскорбление его человеческого достоинства. Эта вера в свою силу заставляет Яго думать, что в его неудачах всегда виноваты другие люди и что он достигнет успеха, отомстив им.

Терехов показывает, что Яго всегда и во всем чувствует оскорбление. Жизнь полна оскорблений. Так Терехов нашел оригинальное разрешение вопроса о множественности и противоречивости мотивов поведения Яго.

Яго — Терехов искусно и вместе с тем с большой простотой двурушничает, лицемерит и лжет. В нем даже некоторая наивность человека, которого все считают честным и прямым.

В галерею сценических образов Яго вошел новый образ, своеобразный, яркий и с особой глубиной вскрывающий сущность шекепировского замысла.

Нов, свеж, оригинален и убедителен в своей свежести образ Яго — Васадзе. Он замечательно дополняет все то, что до него было сделано советскими актерами, игравшими роль Яго.

Васадзе в своем построении образа Яго исходит из общего стремления дать реалистическое отражение эпохи, которая породила данные конкретные характеры и их сложные конфликты.

Яго — Васадзе — бездомный бродяга, обаятельный своими успехами одним своим способностям. Он не может в этом мире оскорбительного неравенства, придворных интриг и купеческих проделок положиться лишь на то, что ему даст честное оружие солдата. Назначение Кассио его не столько оскорбляет, сколько еще раз убеждает, как легко и незаслуженно дается многим то, к чему он стремится годами борьбы и лишений. Весь опыт жизни говорит ему, что не доблесть и великодушие, а расчет и интрига ведут к победе. Но если основным орудием успеха является расчет, то он окажется сильнее всех тех, кого так незаслуженно балует судьба. Не заслуги человека определяют его положение. Миром правят иные силы.

Яго — Васадзе чужд сомнений и колебаний, ибо он глубоко убежден в своей правоте: такова жизнь. Он ее знает и потому не может не оказаться победителем в этой нескончаемой битве жизни. Его орудие окажется могущественнее на этом поле битвы, чем весь героизм и отвага Отелло. Яго знает жизнь, и в жизни он чувствует себя неплохо. Он напеваает, отираваясь к дому Брабанцио и готовясь к предательству Отелло. Яго нет еще на сцене, но до нас уже доносится его голос. Вот он появляется. Яго — Васадзе — немолодой, властный, уверенный. И сила его грубая. Это солдафон. Наемный солдат, вся жизнь которого протекает в условиях войны, грубого насилия, жестокости. Он груб, и эта грубость отталкивает от него.

«Он вам больше понравится, как солдат, чем как проповедник», — говорит Кассио Дездемоне, извиняясь за его грубость. И эти слова Кассио, мало убедительные, ког-

да перед нами Яго — тонкий иезуит, ка-ким его дал, например, актер Дудников в студии Радлова в Ленинграде, становят-ся чрезвычайно убедительными, когда мы видим Яго — Васадзе. И все же при пер-вом появлении Васадзе Яго предстает перед нами не как злодей, даже не как скверный человек. Наоборот, Васадзе за-ставляет предполагать в Яго большие и хорошие качества — ум, проникательность, даже одаренность. Но над всеми этими ка-чествами царит грубость, которая готова наступить сапогом на все, что не только мешают, но что просто не нужно в жизни.

Яго в исполнении Васадзе не только человек рассудка и расчета. Он и человек большой страсти. Иначе он не был бы типическим характером своей эпохи. В этом отношении очень интересно завер-шается сцена на Кипре.

Кассио уходит. Яго один. Быстро огля-дываясь, он сдвигает в ряды бочки, остав-шиеся от недавнего кутежа, втыкает меч в землю и вешает на него свой шлем, а свой плащ бросает на бочки. Старый воя-ка, привычный к неудобствам походов, устраивается на отдых, прислонившись к бочке. Теперь он может спокойно рассу-ждать обо всем происшедшем, продумать свои замыслы.

Постановщик переносит сюда монолог из конца первой сцены второго акта:

«Что Кассио влюблен —охотно верю»...

С ясной улыбкой Яго говорит:

«Кто подлецом меня назвать решится, когда совет мой благороден, честен».

Но ловко задуманная интрига превра-щается для него самого в страстную игру. Он знает упоение победы. Он предвосхи-щает свой успех, он жаждет уничтожения всех этих людей. Он перестает спокойно рассуждать, больше не владеет собой. Он вскакивает, потрясает кулаками.

На сцене все темнеет. Яго снова усажи-вается на бочку. Он дал выход своей стра-сти, успокаивается. Он напевает песенку, которой развлекал недавно кипрских го-стей.

В следующих сценах мы видим Яго в действии, Яго, выполняющего свой замы-сел коварства и лицемерия. И когда игра срывается и он разоблачен, то это для него не катастрофа, а неудача. Он со спо-койной заботливостью перевязывает свою раненую ногу, равнодушный к тому, что происходит вокруг него.

Так Васадзе мастерски лепит образ Яго, выдерживая с начала до конца единство этого образа, создавая яркую фигуру умно-

го интригана, осуществляющего основной моральный закон своего общества: все средства хороши.

V

Задача философского осмысления шек-спировской драматургии по-новому ставит перед советским режиссером вопросы ап-самбли и трактовки второстепенных обра-зов.

Когда Мочалов решил сыграть в свой бенефис «Гамлета», он, обращаясь к сво-им товарищам по труппе Малого театра, сказал: «В пьесе много действующих лиц, и некоторым из вас, господа, придется играть маленькие роли... Уж, пожалуйста, не откажите», — присутствующий при этом Самарин ответил:

«У Шекспира нет маленьких ролей».

Эта мысль давно стала общепринятой. Ее неустанно повторяют и советские ма-стера. Но за редкими и небольшими ис-ключениями у нас до сих пор не уделяют достаточного внимания разработке фигур, окружающих центральный образ.

Обычно забота режиссера о второсте-пенных образах сводится лишь к тому, чтобы корректно, грамотно, культурно воспроизвести установленный штам-п Клавдио или Гертруды («Гамлет»), Кассио («Отелло») или Меркуцио («Ромео и Джульетта»).

Дело не в том, чтобы поднять второсте-пенные роли до известного, принятого уровня. Без полного раскрытия смысла второстепенных образов невозможно пра-вильное понимание идейной сущности и художественной цельности трагедий Шек-спира.

Поверхностное истолкование «малень-ких ролей» затемняет основной смысл трагедий Шекспира, разрушает общую концепцию его произведений. Принципи построения второстепенных образов Шек-спира тот же, что при построении глав-ных. Каждый второстепенный образ дан в своем развитии, в динамике, имеет свой внутренний конфликт, который определяет драматическую напряженность его разви-тия. Этот драматический конфликт опре-деляет индивидуальную судьбу данного персонажа. В то же время он помогает развертыванию действий и переживаний главных персонажей и, таким образом, становится органической частью развития основной идеи произведения. Выявление особенностей судьбы данного персонажа и связи ее с трагедией центральной обра-за — вот какие задачи стоят перед режис-

сером, когда он стремится выявить общий смысл шекспировских произведений.

Поясним это на двух примерах.

Вот образ Эмилии, созданный Пашенной. Речь здесь идет не только о том мастерстве, с которым Пашенная исполняет эту роль. Это стало возможным благодаря тому, что артистка почувствовала всю драматичность образа. Она дала образ женщины, которая выросла в уверенности, что женскую жизнь не проживешь без обмана, и которая умерла за правду женщины. Так трагизм Эмилии в трактовке Пашенной довершает трагизм Отелло и Дездемоны, для которых сама жизнь возможна лишь тогда, когда она неотделима от правды. Но в то же время мы встречаемся с целым рядом фактов неудумчивого отношения к второстепенным образам. Так, Кассио обычно дают на наших сценах как трафаретный образ венецианского кавалера, пленяющего все женские сердца, легкомысленного и беззаботного, а впрочем, доброго малого. Этот штамп утвердился и на советской сцене, и во всех наших постановках больше заботятся о том, чтобы придумать для Кассио возможно более эффектную внешность, оправдывающую его непобедимость, чем о его внутреннем содержании.

Кто такой Кассио? О нем говорит Яго в первом своем монологе. Он с презрением относится к тому, что офицер Кассио знает лишь «солдатскую словесность», а не «строй военный». Совершенно очевидно, что все качества Кассио не в его боевой доблести, а в том, что он «вычислитель славный». Слова «вычислитель», «счетчик» говорят о том, что Кассио — знаток военной теории, хотя «в бой никогда не вел он эскадрона».

Нужно думать, что именно этот, с точки зрения Яго, недостаток Кассио заставляет Отелло приблизить его к себе, сделать своим заместителем, своим лейтенантом. Дело не в том, что Кассио знатный венецианец, которому легко «по дружбе, по запискам» достичь своего высокого положения.

Кассио дорог Отелло, как человек науки. Он морально близок Отелло и Дездемоне тем, что он человек нового общества: ему чужды все те старые предрассудки, которыми еще живут знатные синьоры старой Венеции вроде Брабанцио. Поэтому Дездемона и Отелло так близки были с ним еще до своей женитьбы. Кассио проникнут к ним глубоким уважением, умест оценить их высокие качества. «Бла-

годарю всех кипрских храбрецов, что мавра оценили так», говорит Кассио.

Кассио высоко ценит подлинного человека в мавре. Именно в его уста Шекспир в момент гибели Отелло вкладывает слова: «Большое было сердце».

Наконец Кассио дан в его отношениях к женщине. Это та сторона, которая обыкновенно больше всего выделяется в театральных постановках и на основе которой Кассио показывают, как легкомысленного и блестящего жуира, жизнерадостного венецианца.

В отношениях Кассио и Бианки скандальность быт эпохи. Легкие отношения с женщинами легкого поведения в венецианском обществе вовсе не доказывают аморальности молодого человека. Но и в этих отношениях Кассио показывает себя с хорошей стороны. Он понимает, что внушил глубокое чувство этой женщине, он с уважением относится к этому чувству, хотя и находится еще всецело во власти того предрассудка, что женитьба на такой женщине — это поругание чести.

И в то же время его разговор с Яго о Дездемоне доказывает его глубокое целомудрие и чистоту в отношении женщины, которую он уважает. Все двусмысленные намеки Яго совершенно не воспринимаются Кассио. Яго видит в словах Дездемоны любовный призыв, в ее глазах «соблазнительные переговоры», для Кассио же Дездемона — «самое свежее и нежное создание», сама скромность, само совершенство.

Но не это противопоставление отношений к Бианке и Дездемоне определяет у Шекспира образ Кассио. Образ разворачивается, главным образом, в борьбе Кассио за свою честь, за потерянное доброе имя. Катастрофа Кассио происходит в начале трагедии. В дальнейшем идет борьба за то, чтобы уничтожить последствия этой катастрофы. Это значительно затрудняет игру актера. После того сильного напряжения, которое дано в сцене драки на Кипре, перед актером стоит опасность вести дальше конфликт в пониженных тонах или даже, как это часто бывает, дать Кассио вне всяких конфликтов и противоречий. Оттого Кассио превращается часто в статическую фигуру. Между тем драматический конфликт в сознании Кассио начинается как раз после этой катастрофы. Его формулирует сам Кассио, потрясенный гневом удалившего его от себя Отелло: «Доброе имя, доброе имя, доброе имя! О, я потерял свое доброе имя. Я по-

терял бессмертную часть своего существования, а осталась одна животная».

Противоречие между разумным человеком, между «бессмертным существом» и существом животным — вот в чем причина человеческих бед. Здесь остро формулирована вера человека, освобождающегося от средневековых норм и пут, в силу человеческого разума, в его абсолютную ценность.

Ужас перед животной природой человека чрезвычайно характерен для этого умственника, «вычислителя» и «счетчика». Здесь проявляется тонкий интеллектuaлизм этого характера, который не имеет ничего общего с изображаемым обычно образом светского кавалера. Об этом же свидетельствует и глубокая этичность Кассио.

Так развивается образ Кассио в сложных внутренних коллизиях, которые, конечно, не под силу ветреному повесе, как каким так часто изображают Кассио на нашей сцене.

Драматический конфликт человека, превратившегося «в безумца и, наконец, в скота», двигая судьбу самого Кассио, выявляет в нем те черты, которые делают его человеком нового общества, борющимся, подобно Отелло и рядом с Отелло, за жизнь, достойную человека и основанную на правде и человечности.

Раскрывая сущность второстепенных образов, театр тем самым углубляет идейное содержание трагедий Шекспира в целом и в то же время создает возможность подлинного ансамбля в шекспировском спектакле.

VI

Принципиальная новизна наших шекспировских постановок — это их историческая объективность, стремление показать людей и жизнь в шекспировских трагедиях и комедиях в их исторической подлинности.

В прошлом отношении многих театральных направлений к Шекспиру было лишено подлинного историзма.

Различными причинами было обусловлено необъективное, неисторическое отношение к Шекспиру, и различен был характер субъективизма в отношении Шекспира.

В неисторическом истолковании Шекспира просветителями сыграло известную роль то, что XVIII век вообще подменил вопрос об историческом развитии общества вопросом о том, каков человек по самой

своей природе. Этот нормативизм был между прочим одной из причин, почему в XVIII веке даже апологеты Шекспира не порывали с пормами классицизма.

Романтики, как известно, отстаивали принцип историчности. Отсюда их требование дать дух времени и характер местности. Но все же их сугубый субъективизм не давал им ни объективно воскресить в собственных созданиях дух и характер прошлого, ни раскрыть с должной объективностью историческое содержание драматургии Шекспира.

XIX век был веком расцвета исторической науки. В трактовке Шекспира это, однако, сказалось во внешнем историзме археологической школы или мейнингенцев. Внутреннее содержание образов и их конфликтов окрашивалось в тона индивидуалистического психологизма. Вслед за идеалистической философией театр XIX века находил в каждом произведении Шекспира вечные, неразрешимые философские проблемы, вечные непреодолимые психологические конфликты.

Шекспира превращали, по выражению покойного Веселовского, в философствующего немца XIX века.

Подобно были лишены историзма трактовки Шекспира на Западе в XX веке. Антиисторизм, внеисторизм для многих философов, публицистов, литературных критиков XX века проистекает из характерного для многих мыслителей этого периода убеждения, что история — музей человеческих глупостей. Этот цинизм в отношении истории заражал в свою очередь театральные мастера и сказывался в неисторической и антиисторической трактовке Шекспира.

Здесь опять-таки пройдет линия водораздела между нашим и старым театром. Социалистическая культура характеризуется своим историзмом, стремлением объективно познать историческое прошлое.

Мы ценим в гениях прошлого их огромное познавательное значение. Шекспир нам дает познание одной из наиболее волнующих, сложных и нам близких эпох прошлого.

Подлинное историческое истолкование Шекспира должно быть противопоставлено не только упрощенчеству, но и подмене историзма этнографией и бытовщиной. Порою наши режиссеры загромождали сцену картонными пышными дворцами, изящными балкончиками, головоломными мостиками, антикварной обстановкой. В облики бытовых деталей они видели театральный показ истории, сценическое раскрытие

шекспировской эпохи. По существу это было лишь демонстрацией эстетства, формализма, триюхачества, подражанием старому академизму, а не то весьма убогим натурализмом.

Давно прошли те времена, когда нам предлагали разыгрывать классиков на пустой сцене, затянутой серыми холстами. Прошли те времена, когда режиссеры одевали Гамлета в костюм XX века или в античную тогу для того, чтобы подчеркнуть, что перед ними не принц датский, а человек с его вечными страстями и мучками. Но как раз эти приемы, лишая Гамлета его исторической конкретности, искажали его внутреннее содержание.

Однако нельзя, с другой стороны, подменять конкретное историческое содержание упрощенной театрализованной социологией.

Не раз наши театры становились жертвой такого убогого социологизирования. Вот, например, постановщик «Укрощения строптивой» в Сталинском гортеатре тов. Зорин решил, что «идеология Шекспира, выражающая чаяния и стремления нового дворянства... нуждается без сомнения в весьма критическом подходе».

«В нашем толковании... заявляет он, — история укрощения приемами Домостроя получает пролическое звучание». С этой целью постановщик разрешает себе всяческую отсебятину, вроде создаваемой им антиклерикальной сцены венчания в церкви, которой нет в шекспировской комедии. Однако для советских постановок характерно не подобное упрощение, а стремление к историзму, хотя по пути к разрешению этой проблемы бывали известные срывы. Дань бытовизму отдал в свое время С. Э. Радлов в своей первой постановке «Ромео и Джульетты» в своем театре в Ленинграде.

Во втором варианте налет бытовизма снят. Быт включен в историю, вскрыта историческая необходимость и закономерность трагедии.

Подымается занавес. Друг против друга стоят старые, облупленные дома родовитых граждан Вероны. Они отделены друг от друга узенькой улочкой. Здесь царит атмосфера старого, косного, застойного.

Но вот дальше келья брата Лаврентия, с высоким огромным окном, через которое виден широкий ландшафт с утесом в центре. Это природа врывается в комнату мудрого естествоиспытателя. Углубившийся в ее тайны натуралист видит в ней

источник успокоения людей от их больших тревог.

Радлов усилил исторический колорит тем, что обострил показ враждебных отношений между двумя родами.

Фигуры их участников стали более четкими и более резкими. Старик Капулетти утратил значительную долю того добродушия, которое ему было присуще в первом варианте. Его самодурство предстает как мрачная сила. Трагизм — результат гнетущей атмосферы родовых предрассудков — в такой степени нарастает в сцене, когда старик грозит выгнать Джульетту из дома за ее отказ выйти за Париса, что уже ощущается близость катастрофы. Настроение приближающейся катастрофы подготовлено недавно отзвучавшим Реквиемом, под звуки которого вдоль занавеса пронесли мертвое тело Париса.

Эта новая сцена — похороны Париса, введенная Радловым в последний вариант постановки «Ромео и Джульетты», с одной стороны, усиливает напряженность действия: в красных отблесках, освещающих сцену, страшное предзнаменование катастрофы. С другой стороны, сцена похорон воссоздает атмосферу мрачности эпохи с ее кровавыми родовыми распрями, с ее косными предрассудками, отравляющими человеческое сознание.

Этот эпизод прекрасно дополняется вторым эпизодом оповещения граждан об изгнании Ромео. Шествие граждан Вероны, патеров, возглавляемое торжествующими стариками Капулетти, превращается в мрачную поступь надвигающейся катастрофы.

Во всех этих сценах иллюстративность вытесняется живым чувством истории.

Углубленный историзм привел также к благотворным изменениям в исполнении ролей Ромео и Джульетты.

Новое в этих ролях — это искрящее чувство молодости и свежесть непосредственности.

Элементы молодости и непосредственности особенно усилены в образе Ромео, каким в последнем варианте его играет Смирнов. Свежестью и непосредственностью молодости веет от образа Джульетты, созданного Яковлевым.

Трагедия Ромео и Джульетты вытекает из обстоятельств, из условий их жизни, их судьбы. Самы по себе они полны радости, молодости и жизни и лишены чувства трагизма. Они обречены обстоятельствами, но у них нет чувства трагизма, обреченности. Театр дает объективный трагизм их положения при отсутствии

субъективного сознания своего безысходного положения.

Тоска, чувство трагизма, душевные изломы и колебания — все это лежит за пределами их внутреннего мира.

Ромео — не Гамлет и не Вертер. Ромео — Мирнов — юный, жизнерадостный, любвеобильный веронец, который жаждет счастья и радости и верит в их возможность, но мрачными условиями эпохи приведен к своей трагической гибели.

Так театром найдено реалистически правдивое и исторически верное разрешение трагедии «Ромео и Джульетта». Здесь ключ к свежему, художественно-убедительному и правильному показу любовных переживаний Ромео и Джульетты.

VII

Творческая работа советского театра над трагедиями Шекспира дополнялась не менее творческой работой над комедиями. Лучшие комедии Шекспира идут на десятках сцен во всех концах нашего Союза, причем та или другая комедия, раз поставленная, остается в репертуаре данного театра в течение многих лет. Советский театр и в трактовке шекспировской комедии сказал свое новое слово.

Все советские постановки шекспировских комедий: «Много шума из ничего» в театре им. Вахтангова; «Двенадцатая ночь» в Ленинградском театре комедии; «Укрощение строптивой» в театре Красной Армии; «Как это вам понравится» в театре им. Ермоловой; «Два веронца» в театре Революции; «Комедия ошибок» в Бауманском театре, как многие другие постановки шекспировских комедий в национальных и периферийных театрах, отличаются своей исключительной жизнерадостностью, молодостью, оптимизмом. Каждая из них проникнута утверждением жизни и любовью к человеку. Но в то же время советский театр видел и показал те серьезные проблемы, которые у Шекспира всегда стоят за его веселыми сюжетами и в которых сказывается глубокое философское и творческое единство его трагедий и комедий.

Марке писал: «Современный старый порядок скорее лишь КОМЕДИАНТ миропорядка, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ которого вымерли»... «История действует основательно и проходит через множество фазисов, когда несет в могилу устарелую форму жизни. Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее КОМЕДИЯ... Зачем так движется история? Затем. что-

бы человечество СМЕЯСЬ расставалось со своим прошлым. Этого ВЕСЕЛОГО исторического назначения мы требуем для политических властей Германии» (К «Критике гегелевской философии права»).

Изумительным подтверждением глубокой мысли Маркса о комедийности является комедия Шекспира. Она в полной мере осуществляла то «веселое историческое назначение», о котором говорил Маркс.

В своих комедиях Шекспир смехом провожал в прошлое устарелые формы жизни. На переломе двух всемирно-исторических эпох Шекспир смехом боролся за чистоту новых форм жизни, смехом хоронил все то, что оставалось от средневекового варварства.

Вспомним один из основных комических образов Шекспира — сэра Джона Фальстафа. «Жирный рыцарь» отдан на посмеяние здравому смыслу простых горожанок именно потому, что он лишь комедиянт того миропорядка, который уже отложил свое время. Пушкин впоследствии его характеризует: «Крикун надменный, в пирах никем непобежденный, но рыцарь скромный средь мечей».

Может быть, в виде активного жизнелюбие не выражено с такой полнотой, как в комедийном творчестве Шекспира, величайшего художника Возрождения. Но жизнелюбие и жизнеутверждение мастеров Возрождения не исключали из их творческого кругозора всего темного, порочного, страшного, что так омрачало жизнь. Их жизнеутверждение предполагало изображение всей полноты жизни, где свет и тени всегда переплетаются. Оно означало борьбу с темными сторонами жизни и веру в победу и торжество прекрасного человека.

Творчество Шекспира включает и самое светлое и самое темное, их непрерывное взаимопроникновение, их постоянную трагическую борьбу. Вот почему смех и слезы, радость и отчаяние, любовь к жизни и сомнение в ее ценности неизменно сталкиваются в каждом произведении Шекспира. Комическое и трагическое не отделены непреходимой чертой. Великое дружно со смешным, и смешное переходит в великое.

Вне учета взаимодействия трагедийного и комического начала в каждом произведении Шекспира, вне учета единства и неразрывности этих начал нельзя понять и правильно оценить ни его трагедии, ни его комедии.

Смешное и великое, ничтожное и трагическое в различных сочетаниях, но в основе своей неотделимые друг от друга.

образуют сущность трагедии и комедии Шекспира. Нельзя поэтому в постановке трагедий Шекспира пренебречь комическими элементами, как нельзя в постановках его комедий «удариться в комедию», как этого порой требовали от наших режиссеров и актеров.

Недооценка единства трагедийного и комедийного начала в комедиях Шекспира снизила цепность талантливой постановки «Много шума из ничего» в театре им. Вахтангова. Внешняя красивость и установка на развлекательную игру не давали Мансуровой и Симонову развернуть во всей глубине образы Беатриче и Бенедикта.

Мансурова с самого начала ведет свою роль в тонах веселого и задорного балагурства, лишнего особого содержания и не связанного ни с каким особенным и значительным взглядом на жизнь. Это вытекает из общего замысла режиссуры — стремления сделать всю пьесу комедией веселых, занимательных положений.

Снижая все то значительное и глубокое, что стоит за остроумными выходками блестящей Беатриче, Мансурова неизбежно вынуждена была окрасить ее образ в тона манерности, подчас даже жеманства красивой женщины. Но этим Мансурова снижает образ освобожденной женщины Возрождения, которая почувствовала себя мыслящим человеком и которая своим умом, своею образованностью, выдержкой готова соревноваться с лучшими мужчинами. Но в следующих актах Мансурова, игнорируя задание режиссера, прибегает к подлинному Шекспиру. Она находит ту новую Беатриче, которая как бы неожиданно выступает перед нами, когда в ней зарождается прежде чуждое и презираемое ею чувство.

Смятение Беатриче, испуг перед новыми психическими ощущениями и за всем этим поднимающаяся из глубин ее женского инстинкта непосредственная радость любви, заставляющая забыть все прежние надуманные опасения, — вот та сложная гамма ощущений, которую Мансурова умно, тонко, с большим тактом раскрывает в тех немногих репликах, которыми Беатриче обменивается с сестрой и с подзадаривающей ее Маргаритой. Мансурова прекрасно передает весь комплекс переживаний женщины, которая силой своего ума смело состязалась с умнейшим мужчиной и, отдавши ему свое сердце, покорившись ему в любви, не стала от этого ни более беспомощной, ни зависимой. Она осталась той же остроумной Беатриче, все такой же

яркой индивидуальностью и самостоятельной личностью. Но острота ее ума уже больше не направлена на пустые словесные поединки, и лишь отзвуком прошлого звучат слова Бенедикта: «Мы с вами так умны, что не можем любезничать мирно».

Образу Бенедикта придана Симоновым некоторая внешняя чужаковатость. Правда, это умный и остроумный чудак. У Шекспира Бенедикт вызывает смех своим метким юмором в отношении окружающих. В исполнении Симонова зритель смеется над Бенедиктом. Он смешон всей своей персоной. Но, если прекрасно сыгранная чужаковатость Бенедикта затеняет у Симонова глубину и серьезность образа, если ему не удалось показать значительное в смешном, то он прекрасно показал смешное в значительном.

Симонов очень трогательно сделал сцену, как Бенедикт, не побоявшись стать мишенью насмешек, без ложного самолюбия и ложного стыда отказывается от своего прежнего пренебрежения к женщине и браку. Он прекрасно передает в заключительных сценах комедии юмор Бенедикта по отношению к самому себе, которого целая академия остряков не в состоянии разуверить в необходимости любви и счастья.

Единство комического и драматического начала в комедиях Шекспира полностью раскрыл А. Попов в постановке «Укрощение строптивой» в театре Красной Армии.

Вся постановка полна смеха, шуток, остроумного обыгрывания ситуаций, хотя Попов и не прибегает к тем отсебятинам, без которых не обошлись режиссеры ряда шекспировских спектаклей. Но этот смех идет не за счет драматических линий, а лишь содействует углублению этого драматизма. Попов с самого начала показывает нам, что строптивость Катарини, ее своеобразие и выходки — это не просто жеманская сварливость и неуживчивость. В ее строптивности — протест, полный глубокого смысла, и он отнюдь не смешон. Смешна только форма этого протеста. Строптивость Катарини (Добрянская), — утверждает Попов всем своим спектаклем, — является лишь формой ее борьбы за человеческое достоинство женщины.

Петруччио (Пестовский), который при всей своей грубости и отсутствии внешнего лоска умнее, выше, тоньше всех тех, кто окружает Катарину, прекрасно понимает истинный смысл ее строптивости. Поэтому Попов видит задачу Петруччио в том, чтобы привести Катарину к сознанию нелепости тех форм, в которых выражается ее

возмущение... Петруччио внушает Катарине, что человеческое достоинство нужно защищать, но другими способами.

Серьезный и значительный конфликт Катарини и Петруччио все время развивается в комедийном плане. Внешне — это бытовая история «укрощения» сварливой жены, и успеху этого «укрощения» общество обязано тем, что «нет больше жен сварливых и болтливых». Но комическая ткань действия не скрывает его драматической сущности.

Весь спектакль насыщен молодой жизне-радостностью. Публике кажется, что актеры веселятся вместе с нею, что им радостно участвовать во всех перипетиях шекспировской комедии. Глубокое проникновение в шекспировский замысел дало Попову возможность создать вместе с коллективом театра жизнерадостный, реалистический спектакль.

Чрезвычайно близко сошелся с А. Поповым в своей трактовке «Укрощения строптивой» Ю. А. Завадский, ставивший эту комедию в Ростовском драматическом театре им. Горького.

При общем едином понимании сущности комедии пути воплощения ее в обих наших театрах все же различны в соответствии со всем творческим своеобразием каждого из этих театров.

Так, Ю. А. Завадский по существу самое «укрощение» — перелом в сознании Катарини — дает уже в первой сцене ее встречи с Петруччио. Этот перелом приходит в результате того взаимного испытания, которому Катарина и Петруччио подвергают друг друга и которое с таким мастерством проводят Марецкая (Катарина) и Мордвинов (Петруччио).

Является новый человек, сильный, волевой, знающий, чего он желает, и умеющий добиваться того, что он желает. И Катарина сразу меняется. Этот человек, которого она с самого начала встречает с тем же недоверием, с тем же презрением, что и всех надоевших ей женихов, оказывается иным, новым и столь непохожим на все окружающее ее ничтожество, которые так прельщают Бианку.

Новый человек разбил тот панцирь сварливости, злобности, черствости, которыми Катарина защищается против всех этих жалких людей, как и против всех тех, кто так почитает эти ничтожества и жаждет их близости.

Петруччио поражен силой Катарини и ее великолепными дерзостями, ее темпераментом, задором, стремительностью ее

атак, он захвачен обаянием ее красоты и внутренней прелести. Он давно уже бросил гитару, игрой на которой он прикрывал свою взволнованность. Но и тут он всячески стремится показать, что наступает, а не обороняется. И как бы для того, чтобы опровергнуть эту претензию, Катарина, задетая его дерзостью, дает ему пощечину.

Марецкая улыбкой пытается доказать свое торжество неукротимой строптивой. Но Катарина уже побеждена. Она падает на пол. Вытянувшись на ступеньках лестницы, лежит Катарина, женственно слабая и обаятельная в своей слабости. Первое намерение Петруччио — ответить ударом на удар. Но «укротителя» подавляет в нем «укрощенный». Он не бьет Катарину, он тихо ласкает ее, нежит ее своим голосом, своими словами. «Укрощенный» — он укротил. Нет больше «строптивой». Борьба решена. Она уступила место любви, покорности.

VIII

Большие достижения советского театра в раскрытии Шекспира, как уже было сказано, связаны раньше всего с его историзмом, с его стремлением показать подлинного Шекспира. Однако этот историзм лишен объективистского беспристрастия.

Предшественники нашего театра, используя Шекспира в интересах своей эпохи, вынуждены были обходить одни его стороны, подкрашивать другие, акцентировать третьи и так далее. Для того, чтобы Шекспир служил нашей эпохе, нужно лишь заставить Шекспира говорить во весь свой голос.

Шекспир — это гений освобождающегося человечества. Поэтому столь трогательна и значительна непрерывная творческая переключка искусства освобожденных народов Советского Союза с Шекспиром.

Шекспир — великий гуманист Возрождения. Он выразил ненависть «народов к золоту».

В искусстве Шекспира — скорбь народов о загубленном человеке.

Мы творим свое искусство в великую историческую эпоху, когда завершилась предистория человечества и началась его история. Вместо хаоса, на который обрекает народы проклявший мир Тимон Афинский, мы устаналиваем гармонию труда и творчества. Наши народы освобождают человека от скорбного удела «двуногого»

животного» и создают для него удел, достойный «красы земной».

Благородный Нелю («Конец всему делу венец») говорит пустому и лживому придворному:

«Мое имя — человек, — до этого звания ты не доживешь никогда».

Не начало ли это того гордого гимна человеку, который через триста лет после Шекспира пропел первый гений социалистического искусства — Алексей Максимович Горький, для которого при слове Человек — «Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его, необъятный, как мир, медленно шествует — вперед и — выше, трагически прекрасный Человек».

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной».

Разум возвышает человека над природой; сила разума, помноженная на волю, дает возможность человеку покорить природу, стать творцом своей судьбы.

У Шекспира человек сам творец своей судьбы. Она зависит от его воли, энергии и настойчивости, а не от каких-либо случайных причин. В комедии «Конец всему делу венец» Шекспир открыто провозглашает этот принцип:

«Мы часто небесам приписываем то,
Что кроме нас самих не создает ни-
кто,

Нам волю полную судьба предостав-
ляет

И наши замыслы тогда лишь разру-
шает.

Когда лениво мы ведем свои дела».

Сознание этой силы и мощи человека, сознание, что жизнь прекрасна по своим возможностям, — вот источник оптимизма Шекспира, вот пафос его гуманизма, который столь роднит его с нами.

Шекспир, как и многие гении прошлого, сквозь случайное, внешнее и временное постигает сущность вещей. Плотные рамки истории раздвигались пред его взором, пред ним выступали очертания грядущего.

Это позволяло ему, провозжая в прошлое феодальный мир, увидеть то страшное, что несет с собой новал, буржуазная действительность. Но, предчувствуя, как новые времена, идущие на смену феодализму, готовят человеку испытания Лира, Тимона Афинского, Гамлета, он все же пронес в грядущее время великую мечту об освобождении человеческой личности.

Наша эпоха эту мечту осуществляет. осуществляет в боях, преодолевая огромное сопротивление пяти шестых мира, находящихся во власти золота, преодолевая внутри себя косность веков, пережитки старого мира.

Шекспир — наш великий союзник и соратник, когда мы раскрываем действительногероическую сущность его трагедий, то прекрасно, что дает его персонажам право сказать: «Мое имя человек».

Шекспир — наш великий союзник и соратник, когда мы показываем, как зло мира превращает для Гамлета землю в бесплодную скалу, превращает человека в Яго или Регану.

Шекспир — наш союзник и соратник, когда мы сценически воплощаем и выражаем его веру в победу человека и всего прекрасного.

Алексей Максимович Горький, а вслед за ним все творцы социалистического искусства, вел борьбу против эгоцентрического и своевольного индивидуалиста. В этой борьбе Шекспир является нашим союзником и соратником. Великий сердцевед вскрыл всю пропасть между личностью, достойной носить имя «человек», и эгоцентрическим, своевольным индивидуалистом. В этом глубокий смысл образов Яго, Эдгара, Клавдия, предающих отпад дочерей Лира, друзей Тимона Афинского, оставляющих его в беде. Во всех этих образах своевольный индивидуализм заглушает человечность.

В противоборстве человека и эгоцентрического индивидуалиста — основной стержень конфликтов всех трагедий Шекспира.

Таким образом историзм советских постановок, вскрывающий существенные проблемы шекспировской эпохи, находится в тесной связи со стремлением показать, чем близок Шекспир нашей эпохе, почему и в каком смысле он наш современник.

Философская и психологическая глубина шекспировских драм — результат того, что они концентрировали социальный опыт своей эпохи.

Основная проблема образов Шекспира сформулирована Гамлетом: «Распалась связь времен». В этом сознание им своей огромной исторической миссии. Вот первопричина всех конфликтов и переживаний, вот первоисточник всех проблем шекспировских героев, вынужденных в разные периоды своей жизни переоценить все то, что они до того считали несомненным и безусловным.

Гамлет осознал и сформулировал эту роковую и основную причину своей драмы. Ее не сознают многие другие герои Шекспира, но это не уменьшает трагизма их переживаний. Все они гибнут потому, что бессильны установить новую связь времен. Как Ромео и Джульетта, они гибнут вследствие того противоречия, которое образовалось между старой моралью феодализма и их новыми чувствами и мыслями, чувствами и мыслями людей Возрождения. Все герои Шекспира, каждый на свой лад, сызнова ставят вопрос: что есть истина?

И разве не потому погибает Отелло, что он беспомощен был познать истину о человеке? Разве не платит король Лир своей жизнью за то, что истина была признана слишком поздно?

Но каждый раз социальные обобщения, философско-психологическая проблема, порожденная социальными отношениями эпохи, даны у Шекспира в форме личного психологического конфликта.

Предметом сценического воплощения должны быть именно эти психологические конфликты. Театру нужно показать, как страдает, волнуется, надеется, как несчастен и унижен Шейлок или Тимон Афинский, и тогда перед зрителем выступит ужас власти золота. Нельзя подменить художественный образ, выросший из определенных социальных отношений, персонализацией этих отношений. Театру необходимо вскрыть психологические конфликты образа. И в той мере, в какой советский актер это делает правдиво и убедительно, он вскрывает во всей силе огромную и социально-историческую, культурно-философскую сущность трагедии изображаемых людей, показывает всю значимость их конфликтов и порожденных этими конфликтами переживаний для последующих веков, для нашего времени. Шекспир на советской сцене выступает тогда как наш великий современник и соратник.

О „Тихом Доне“

I

Обсуждение «Тихого Дона» и дискуссия в связи с «Тихим Доном» продолжаются. Литературные журналы выходят до сих пор с большим запозданием, и выступления диспутантов отрываются одно от другого чуть ли не на полугодие. У некоторых читателей может поэтому создаться впечатление, что дискуссия проходит с заторможенным интересом. Это не так. Споры, возникшие в связи с окончанием известного романа, не перестают живо интересоваться как литераторов, так и читателей. В дискуссии включаются новые участники и, хотя сумбура уже внесено немало, дискуссия эта несомненно будет иметь благотворное влияние на развитие нашей литературы.

Мы займемся здесь разбором статей двух авторов в двух журналах — И. Лежнева в «Молодой гвардии» (№ 10 за прошлый год) и Б. Емельянова в «Литературном критике» (№ 11—12).

Статья Лежнева отличается от всех других по общему тону и характеру. Оказывается, все то, что советская критика писала когда-либо о «Тихом Доне», все это «несправедливо» и «часто вздорно». «Широкое и действительное признание Шолохов получил от многомиллионного читателя через голову критики, часто наперекор ей» (стр. 121). Для того, чтобы осмыслить всю шолоховскую эпопею, нужна была «большая работа. Она требовала мысли и мысли, но прежде всего — мужества». Без излишних экивоков Лежнев режет правду-матку и дает понять, что ни того, ни другого у критиков не оказалось. Что ж там говорить о мысли, таблицей умножения — и то советская критика не овладела: «Скучно доказывать, что дважды два — четыре, а пе-

обходимо. Таблица умножения, правила четырех действий тоже, поди, скучны, но как же двигаться дальше, пока они не пройдены?» (стр. 141).

Что касается отдельных критиков. М. Чарного, например, то он, по заявлению Лежнева, даже «не выполнил элементарной своей обязанности», не прочел «заново внимательно от начала до конца все четыре тома...»

Откровенно говоря, даже оторопь берет, когда вникаешь в картину, нарисованную широкой мужественной кистью И. Лежнева. Что же это происходило все 23 года в советской литературе и советской критике! Что же это будет?

Презрение Лежнева к критике, к профессиональной критике связано, видимо, с тем, что он, Лежнев, выступает в качестве «не-критика», а, судя по общему тону статьи, в качестве уполномоченного от многомиллионных масс читателей. Письмами читателей Лежнев начинает свою статью, этими письмами он, не стесняясь местом и расстоянием, заполняет многие страницы. Таким образом, все же есть в нашей литературной жизни какой-то просвет.

Вот придет Лежнев, Лежнев нас рас судит...

II

Попробуем проявить мужество, к которому призывает И. Лежнев, и спокойно разобраться в его доводах и соображениях, если они имеются.

Как понять основной образ «Тихого Дона», образ Григория Мелехова? Кто это — герой или злодей? Выразитель больших общественных страстей или просто... несчастный человек? Каков социальный смысл этого образа, за которым

с исключительным вниманием следили на протяжении многих лет миллионы читателей? Как понимать трагический конец Мелехова?

Шолохов,— пишет Лежнев,— «изображает его (Григория) субъективные состояния, как состояния души крестьянина-братушки, колеблющегося середняка». Да, так оно, повидимому, и есть. Лежнев вполне согласен, что образ Мелехова — это образ казака-середняка. Но что же из этого следует? Если это образ середняка, то значит ли это, что мы должны ждать развития этого образа в соответствии с тем, как развивалась судьба среднего казачества? Здесь И. Лежнев обрушивается на М. Чарного. «Мысль о неизменном, всегда самому себе равном середняке, без собственного характера, индивидуальной особенности, вкуса и запаха прочно угнездилась в уме нашего критика. Всякое отклонение от этого застывшего и окостеневшего стандарта он рассматривает, как кощунственное посягательство на обобщающую силу художественного образа» (стр. 114—115).

Лежнев подробно доказывает, что стандарт с искусством ничего общего не имеет, что художественный образ предполагает индивидуальный характер, что живой образ лучше мертвой схемы, в общем проделывает всю ту работу, которую он сам довольно точно определил как демонстрацию своего твердого знания таблицы умножения. Но, повидимому, есть задачи, которые с помощью одной таблицы умножения не решить.

Ведь вот, рассуждает Лежнев, существовали в иные времена герои литературных произведений, неплохие герои: Онегин, Печорин, Обломов... «Кому из здравомыслящих людей придет на ум идея, будто каждый из этих образов представлял ВСЕ класс! А к образу Григория Мелехова кое-кто предъявляет такое ни с чем не сообразное требование».

Вывод, следовательно, такой: да, Григорий не во всем отображает судьбу среднего казачества, но что же из этого следует? Ведь и Онегин не во всем представлял свой класс. Однако же... каков бы ни был конец героя, Мелехов — образ среднего казачества.

Неосторожно обращается И. Лежнев с литературными героями классического прошлого. Этак, пожалуй, и таблица умножения будет поставлена под сомнение. Конечно, не весь класс представлен в каждом художественном образе, не все его черты и качества, склонности, тенденции

во всем их огромном многообразии и во всей его всесторонней конкретности. Один из принципов, лежащих в основе искусства,— это принцип отбора. Но надо же понимать, что отбор черт и особенностей, определяющих художественный образ, происходит не в результате случайной комбинации или каприза художника. И что характер этого образа имеет прямую связь с тем значением, которое он приобретает в литературе и во всей общественной жизни народа.

Если роман «Евгений Онегин» Белинский назвал «энциклопедией русской жизни», то Онегина он считал героем времени, и чувство превосходства этого героя, о котором несколько прописки сказано во французском эпигофе романа, насколько не было, по мнению Белинского, воображаемым. «Где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? — писал Достоевский.— Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни...»

Печорина же Белинский назвал «Онегиным нашего времени», хотя полагал, что в некотором отношении Печорин выше Онегина. Неумолчная тревога Печорина, сила его духа и воли, готовность ценою счастья и жизни заплатить за веру, которой у него не было,— эти черты были, по мнению Белинского, лучшим выражением лучших черт современников. Вот почему Белинский так охотно принял заголовок лермонтовского произведения и его мысль — «Герой нашего времени».

Так вот, действительно, не «весь класс», не все общество «представляли» эти классические литературные образы,— только отдельные черты, склонности, тенденции. Но какие?— в этом весь вопрос. Если бы это были черты второстепенные, то не было бы и не могло быть речи о «героях нашего времени». Художественное произведение может быть поистине великим, если в нем отразились важнейшие тенденции времени. Значение литературного героя может быть огромным, если он выражает основное, типическое, важнейшее для людей своего времени.

Лежнев исходит из того, что Григорий Мелехов — это образ среднего казачества. Если же в судьбе Мелехова не все совпадает с исторической судьбой этого казачества, то это не более как выражение «собственного характера, индивидуальной

особности, вкуса и запаха», отклонения от стандарта, необходимые для искусства, отражение известной склонности. Между тем речь идет вот о какой «детали»: проявляло ли среднее казачество в итоге опыта гражданской войны склонность к революции или к контрреволюции. Бесспорная история освобождает нас от необходимости спорить на этот счет. Судьба Григория резко разошлась с судьбой основной массы среднего казачества.

Но Лезнева это несколько не смущает. Факт расхождения пути Григория с путем основной массы казачества не является для Лезнева основанием для вопроса о типичности образа Григория. Наоборот, можно думать, что это даже достоинство. Ведь только критик-вульгаризатор воображает, что середняк «всегда сам себе равен», и не допускает никакого отклонения от «застывшего и окостеневшего стандарта». Лезнев, видите ли, защищает подлинное искусство, а тем, с кем он полемизирует, «за глаза достаточно, если писатель будет отражать не подлинную жизнь, как она есть, а только ее классовые категории в самом отвлеченном виде».

Удивительная претензия нашего «защитника» искусства: если герой с отклонением в сторону контрреволюции — это подлинная жизнь, собственный характер, индивидуальная особенность, вкус и запах. Если критик ставит вопрос о желательности героя с отклонением в сторону революции — это, следовательно, сторонник стандарта, отвлеченной классовой категории!

Как будто собственным характером, индивидуальной особенностью может обладать только контрреволюционный персонаж, а революционный лишен собственного характера.

Но герои революции, революционные крестьяне, революционные казаки — это не отвлеченная классовая категория, а классовая реальность. Та самая классовая реальность, без учета которой не может быть искусства, не может быть марксистской критики.

III

Очень скоро, однако, выясняется, что социальный смысл художественного образа имеет для И. Лезнева далеко не первостепенное значение. «Мелехов,— заявляет он,— есть образ не собирательного казачьего середняка. Это образ сам о й раз дво ен н о с т и, особенно остро обнаружившей себя в данной казачьей

среде и в данное время». Тут уже определение классового признака не существенно. Лезнева интересует прежде всего тема раздвоенности. Раздвоенность — она как бы существует сама по себе, и, если речь идет о конкретной социальной и исторической среде, то только потому, что здесь она себя «особенно остро обнаружила». Особенно ясной становится позиция нашего «не-критика» из примера, который он приводит.

«На феодальных предрассудках зиждилась вражда дворянских семейств Монтеки и Капулетти, препятствовавшая браку Ромео с Джульеттой. Вражда семейств может интересовать нас конкретностью выраженных в ней феодальных прав, но волнует эта вражда не сама по себе, а как условное препятствие на пути влюбленных. Интерес зрителя передвигался все больше от злободневности трагедии в направлении к ее костяку, к сокровечной сути обобщения. Злободневное отмирало, конкретное становилось условным. Что Ромео и Джульетта — дети двух феодальных классов — нас мало трогает. Для нас это образ высокой любви, вступившей в схватку на жизнь и на смерть с углованными ей испытаниями» (стр. 126—127).

Теперь действительно все ясно. Трагедия раздвоенности Мелехова произошла в определенных исторических социальных условиях, в обстановке ожесточенной борьбы между революцией и контрреволюцией. Но — «перенеситесь через тьму времен!» — используя слова Шекспира, призывает Лезнев. — Не это существенно, не это «костяк» романа, «сокровечная суть обобщения». Вся социально-политическая конкретность романа для Лезнева условна. Так же как в Ромео важен в первую очередь и прежде всего образ любви, так в «Тихом Доне» и Мелехове важен прежде всего, если не исключительно, образ раздвоенности.

Какая путаница! Путаница элементарных понятий! Пример с «Ромео и Джульеттой» как нельзя более неудачен. Идея «Ромео» — пафос любви и ее трагичность, трагедия влюбленных, которым мешают внешние препятствия. Неверно, что эти внешние препятствия воспринимаются, как нечто условное, мертвое и безразличное. Пьеса Шекспира возникла как гуманистический протест против предрассудков феодального общества. На расстоянии нескольких сот лет восприятие шекспировских образов, естественно, изменилось. Но и сегодня гениальная трагедия возбуждает в нас не только восторг не-

ред чистотой, силой и самоотверженностью любви, по и гнев против всякой формы общественного консерватизма, против классовых, расовых, религиозных оков, которые классовое общество накладывает на человека.

Идея «Тихого Дона» — отнюдь не раздвоенность, а пародная жажда новой жизни, без издевательства над человеком, как это было до революции, без эксплуатации, без варварства богачей и насильников. Пафос «Тихого Дона» — призыв к человечности. И поэтому совсем не безразлично, находит ли главный герой романа то, что он мучительно искал, или нет. И поэтому было бы очень хорошо, если в этом большом, выдающемся романе-эпосе образ революционной победы, преодоления колебаний и раздвоенности был бы показан с такой же силой, как образ раздвоенности и безысходности.

Позвольте, — торопится П. Лежнев. — Как же не тема раздвоенности? Как раз о мелком, о среднем крестьянине Ленин говорил, что в нем «две души»: пролетарская и «хозяйская». Лежнев даже статью свою назвал «Две души», чтобы подчеркнуть свое понимание «Тихого Дона» как романа о социальной раздвоенности. Но Ленин не ограничивался констатацией двух душ в мелком крестьянине. Боевой революционный смысл ленинского анализа заключался в доказательстве, что одна душа (именно трудовая, пролетарская) может и должна победить другую (собственническую, «хозяйскую»).

Впрочем, Лежнев в применении к данному случаю придерживается как будто другой точки зрения. Но крайней мере, если судить по следующей цитате: «Их (казаков) двойственное состояние души в данной исторической обстановке не могло породить никакого иного положительного идеала, кроме смутной утопии, сочетающей в себе реакционную старину, патриархальный быт, сословные привилегии с новыми, навеянными революцией демократическими нравами». Даже не могло породить никакого идеала, кроме контрреволюционного! Вопреки этому утверждению «не критика», среди казаков в это время были многочисленные Кошевые, Иваны Алексеевичи, тысячи революционных казаков, прошедших с Буденным весь великий путь революционных боев. Это были казаки другого идеала.

Опыт реальной жизни показал всю правоту гениального ленинского прогноза. Трудовая душа победила душу собственническую в среднем крестьянине и в

среднем казаке, несмотря на его отличающиеся от среднего русского крестьянства положение. Очень выразителен в «Тихом Доне» образ раздвоенности, но насколько было бы важно, если бы в романе была показана не только эта раздвоенность, но и процесс ее преодоления.

Против этого соображения Лежнев выдвинул поистине восхитительный аргумент: «...две души соседствовали и противоборствовали в сознании всего среднего крестьянства, всего трудового казачества. Что в этой схватке в последнем счете пролетарская душа победила буржуазную, мы знаем и без романа «Тихий Дон» (стр. 142). Но при высокой образованности П. Лежнева (таблица умножения...) он знает и о раздвоенности без «Тихого Дона». Зачем ему роман?

Читатель знает, что мы высоко ценим «Тихий Дон», одно из лучших произведений советской литературы. Мы говорили о его достоинствах («Октябрь», № 9 за 1940 г.), но признание замечательных достижений никогда не означало для большевика забвение недостатков. Литературно-исторические аналогии Лежнева и его комментарии к ним говорят о совершенно скопическом отношении к искусству. Ну, что вам до того, в каком лагере оказался в конце концов главный герой романа? Ведь вот же в «Ромео» интерес зрителя передвигался все больше от злободневности трагедии...»

Я не знаю, как будет восприниматься «Тихий Дон» через четыреста лет, и не имею никаких оснований верить догадкам на этот счет П. Лежнева. Но я знаю, что сейчас «Тихий Дон» читают, волнуясь и переживая, миллионы людей. И что в нашей жизни-борьбе нам нужны прежде всего образы искусства, обогащающие опытом мысли и чувства, вселяющие бодрость, укрепляющие веру в то, что сильные, смелые, благородные люди находят в борьбе путь к правде и счастью.

IV

Мы хотим революционного героя. На это предусмотрительный П. Лежнев отвечает: мало ли чего вам хочется... Среди многочисленных писем читателей Лежнев приводит с «воспитательной» целью и письмо Л. А. Барановой, заведующей школой взрослых. Баранова пишет: «Все симпатии приковываются Шолоховым к Григорию, а это, по-моему, не верно... вся та нежность, жалость, которыми окутывается образ Григория Мелехова, не по-

адресу... Читательница хочет, чтобы симпатии, нежность окутывали образ революционного героя, она хочет видеть в литературе героя нашего времени, с которым связаны и в жизни ее работа, ее тревоги и мечты. И. Лежнев осторожно разъясняет т. Барановой, что ее желанье носит... детский характер. «...беда в том,— пишет «не-критик»,— что действительность не сообразуется с нашими пожеланиями; ей, собственно, нет до них никакого дела. ...Чтобы судить о характере и судьбе Григория, а заодно и о творческом создании Шолохова, надо раньше всего освободиться от детской непосредственности, от смешения действительности с благопожеланием» (стр. 125).

Что это значит? Откуда сон сей? Маркс говорил, что с социалистической революцией человечество сделает скачок из царства необходимости в царство свободы. Весь смысл и величие нашей революции в том, что устраняется прежнее неискоренимое противоречие между мечтой и действительностью. Народ становится поистине кузнецом своей судьбы. Какое же глубоко-мыслие должен был проявить И. Лежнев, поучающий критику о необходимости «мысли и мысли», чтобы додуматься до действительности, которой «собственно нет никакого дела» до наших пожеланий. И почему же, разрешите «вульгарно» спросить, советская читательница не может хотеть, чтобы вся сила художественных красок, магия искусства, распоряжающаяся симпатиями читателей, были направлены на героя, ей близкого, на героя, не только созданного отвлеченной мечтой, но реально и действительно победившего очень сильных врагов?

Вижу, как морщится от недовольства наш оппонент: ну, разве он против революционного героя в литературе? Не в этом же дело. Мелехов только тут совершенно не при чем. Потому что Мелехов, так сказать, в общем и целом... бандит. Да, да. От начала до конца. Только потому, что критики не пожелали внимательно прочесть все четыре тома романа, могло возникнуть представление, будто Мелехов возбуждал какие-то симпатии. Лежнев — он все внимательно прочел и даже проконспектировал, и вот вам вывод: «Мелехов — вопиствующий идеолог сословного казачества». «Конец Григория закономерен. Естественно и вымирание семьи Мелеховых в обстановке гражданской войны. Это конец старого, зажиточного казачества, как привилегированного сословия, восставшего против революции».

Лежнев тщательно подбирает все эпизоды, фразы, цитаты, которые говорят о контрреволюционном в Григории Мелехове (Чарный, де, утаил это...). По уверению Лежнева, мысли Григория «очень близки к речам тестя, злогоного кулака Мирона Григорьевича Коршунова».

Позвольте, но если Мелехов — с самого начала определившийся бандит и контрреволюционер, то к чему же все разговоры о двух душах, о раздвоении? Если Григорий Мелехов на всем протяжении романа является «либо окончательно сложившимся врагом советской власти, либо «завтрашним врагом», то откуда могут быть симпатии к нему читателя, по крайней мере, в первых книгах; симпатии читателя и даже любовь самого автора, как заявляет Лежнев?

Концепция нашего «не-критика» при ближайшем же рассмотрении не выдерживает никакой критики. Используя полемические приемы Лежнева, можно бы сказать, что его логика заимствована у домашних хозяек, но зачем же обижать домашних хозяек?

«Конечно,— пишет Лежнев,— известные изменения в Григории произошли, но это закономерные изменения в пределах одной и той же сущности...» А сущность, по мнению Лежнева, — контрреволюционная.

Посмотрите, как он расписывает главного героя романа: «...когда личной жизни Григория грозит опасность со стороны советской власти, он сперва зверем прычет от нее в навозе, а затем, при первой возможности, с лютой ненавистью, с огромной радостью, с визгом и клокоцущим хрипом бросается на эту чуждую ему власть, норовит схватить ее за горло, удушить большими и узловатыми своими руками. Так высвобождаются ранее плененные, притаившиеся до поры до времени чувства и находят бурный выход» (стр. 118).

Хотя Лежнев усвоил себе такой тон, точно он давно уже зарегистрировал в мандатной комиссии полномочия от ста миллионов советских читателей, можно с уверенностью сказать, что никогда подавляющее большинство читателей не воспринимало Григория, как дикого контрреволюционного зверя, в котором только до поры до времени скрывались его звериные инстинкты. Такое истолкование образа Мелехова не только противоречит всему роману, оно просто уничтожает его смысл, сокровенную сущность, все его обаяние.

Не «притаившиеся до поры до времени» звериные чувства, а, наоборот, высокое благородство, чувство справедливости, подлинную человечность людей из парода, в том числе Григория Мелехова, их высокие душевные качества, скрытые часто под корой грубых, жестоких, воспитанных веками нравов, вскрывает Шолохов в своем романе. В этом его пленительность и большая моральная сила. И Григорий Мелехов привлекал глубоко и взволнованное внимание читателя прежде всего своей драмой человека, ищущего правду, чуткого и гордого человека, возненавидевшего подлость старого мира. Таков был Григорий до последней книги. Человек стремительных импульсов, больших страстных стихийных сил, но примитивного сознания, политически невежественный. Его социальное положение среднего казака и особо сложные условия гражданской войны на Дону обострили в нем колебания до крайней степени. В этих обстоятельствах он совершил тяжелые, кровавые ошибки. Он воевал против народа, он отрекался от вчерашних идей и товарищей, он безнадежно путал, чувствуя и даже сознавая иногда, что попал на ложный путь, хватался за обрывки чужих мыслей и лозунгов, чтобы как-нибудь найти оправдание самому себе. Но даже в это страшное время для Григория Мелехова характерно исключительное потрясение, которое он пережил у трупов порубленных им матросов: «— Кого же рубил...— И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: — Братцы, пет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать!.. Смерти... предайте!..»

Способный, сильный, глубоко правдивый человек из народа, заблудившийся в буряне гражданской войны, запутавшийся до того, что воюет против народа, против самого себя,— в этом трагичность образа Григория Мелехова.

Есть ли жизненная правда в этом образе? Реалистичен ли он, даже при том финале мелеховских терзаний, который мы узнали из четвертой книги романа? Лежневу угодно было представить дело так, что, по мнению критиков, против которых он выступает, образ Мелехова «лишается своей обобщающей силы», то есть выходит за пределы искусства, ибо без обобщения нет искусства. Емельянов уверяет, что «непримиримые критики» считают последнюю часть «Тихого Дона» созданием «вопреки всем законам типического». До чего же пужно быть неуверенным

в своей собственной позиции, чтобы до такой степени извращать и оглуплять точку зрения противника.

Я позволю себе привести цитату из своей статьи, напечатанной в «Лит. газете» и «Октябре», чтобы показать, насколько наши оппоненты... легко обращаются с фактами. В этой статье написано:

«Было бы фальшью и лицемерием сказать, что конец Григория неправдоподобен и ни в какой степени не типичен. ...Никто не скажет, что такие люди и такие судьбы находятся за пределами искусства. Никто этой нелепости не скажет, особенно после того, как Шолохов своей силой художника заставляет нас верить в реальность Григория Мелехова. ...Если судьба Григория Мелехова и типична для какого-то слоя людей, оказавшихся между двумя лагерями, то эта типичность опирается на сравнительно узкую общественную основу».

Да, дело именно в этом. Есть типичность и типичность. Есть типичность, в которой, выражаясь словами Достоевского, «вполне выразилась русская жизнь» целой эпохи; есть типы, образы, которые отражают какие-то частности, склонности, отдельные черты, может быть и существенные, но не имеющие значения всенародного, эпохального. Лучшие представители русской общественной мысли и критики всегда различали это в своей борьбе за литературу высокого общественного значения. Я уже ссылался на Чернышевского, который даже в применении к столь высоко ценным им «Мертвым душам» отмечал, что одни типы (Манилова и Плюшкина) не столь важны «для нашей жизни», как другие.

Если бы с такой же замечательной выразительностью, на какую способен Михаил Шолохов, в «Тихом Доне» был дан образ казака (среднего крестьянина), который, пройдя все круги колебаний и ошибок, все же нашел путь к новой жизни, как это было в действительности, то можно было бы сказать, что в мировой литературе дан один из важнейших образов великого народа в процессе величайшей из революций. Теперь этого сказать, к сожалению, нельзя. Ибо при том повороте судьбы Мелехова, который оказался в последней книге, образ Мелехова, сильный, впечатляющий, полный глубокого драматизма— это образ человека, в жесточайшей схватке оказавшегося между двумя лагерями, образ человека, окончательно запутавшегося и разочарованного

И пусть этот образ сохраняет, понимает-ся, известную силу обобщения и отражает какую-то часть действительности, он не может иметь такого значения ни для нашей жизни, ни для будущего, потому что не выражает основных, решающих тенденций эпохи, не воплощает подлинных героев нашего времени.

Лежневу все это глубоко безразлично. Его интересует «тема раздвоенности», а что касается остального, то что ему до... борьбы Монтеки и Капулетти.

V

И. Лежнев выступил в качестве защитника Шолохова от зловредной критики. Но попробуйте отыскать в его многолистной статье конкретный анализ шолоховских образов, идей, стиля. Лежнев так занят бранью против критики, что у него для этого совершенно не осталось места. Только несколько общих декларативных фраз о том, что Шолохов «воспитывает эстетические вкусы читателя, приучает его ценить красоту, повышает и облагораживает в нем культуру чувств» и т. д. Общих фраз, которые одинаково применимы к Шолохову и Рембрандту, к Ариосто и Берлиозу, к Жуковскому и Казакову, к любому большому художнику любого вида искусства любого времени. Действительно Шолохов имеет все основания вспомнить поговорку об избавлении от некоторого сорта защитников...

Между прочим Лежнев среди своих деклараций о Ромео и Джульетте заявляет, как бы невзначай, относительно образов революционеров в «Тихом Доне»: «художественная слабость, неполноценность этих образов — бесспорно один из самых существенных недостатков эпопеи. ...Большевики оказались редкими гостями в романе; они здесь — второстепенные персонажи... Это серьезная ошибка» (стр. 137).

Расчесав в пух и прах всех критиков, Лежнев с гордым видом повторил одно из основных положений почти всех, кто писал о «Тихом Доне». Он это сделал только в более грубой форме и к тому же совершенно бездоказательно.

Но Лежнев пошел дальше. В чем причина ошибки Шолохова? «Я думаю, что порок таится раньше всего в самой композиции романа. ...Явно недостаточно одной сюжетной линии, которая отчетливо выявилась уже в первом томе романа: все исходит и все возвращается к одному хутору и даже к одной семье».

Как видит читатель, Лежнев принадлежит к тем тонким диалектикам, которые на вопрос: почему стол деревянный, отвечают: потому что он из дерева. Почему Шолохов основное внимание уделил семье Мелеховых? — Потому, — разъясняет нам Лежнев, — что все возвращается в романе к мелеховской семье.

А между прочим, ведь совершенно неверно, что все в «Тихом Доне» сводится к одному хутору. В романе есть и рабочий-революционер Гаранжа, и Подтелков, к хутору Татарскому не имеющий никакого отношения, и фронты мировой и гражданской войны. К тому же в самом хуторе Татарском жили не только Мелеховы, но и Кошевой, и Валет, и Иван Алексеевич. До чего же он ловкий. И. Лежнев. Одну даст формулировочку и, глядишь, десяти опровержений на нее не хватит.

После столь неудачных историко-литературных экскурсов и аналогий (Мелехов и Ромео, Мелехов и Гамлет!) Лежнев решил пуститься в аналогии историко-политические. В своей работе «Марксизм и национально-колониальный вопрос» товарищ Сталин писал: «Не забудьте о таких резервах, как угнетенные народы, которые молчат, но своим молчанием дают и решают многое... Не забудьте, что если бы мы в тылу у Колчака, Деникина, Врангеля и Юденича не имели так называемых «инородцев», не имели ранее угнетенных народов, которые подрывали тыл этих генералов своим молчаливым сочувствием русским пролетариям, — товарищи, это особый фактор в нашем развитии: молчаливое сочувствие, его никто не видит и не слышит, но оно решает все, — если бы не это сочувствие, мы бы не сковырнули ни одного из этих генералов» (стр. 116).

Товарищ Сталин говорит о молчаливом сочувствии революции, своим освободителям, угнетенных народов, находящихся под пятой угнетателей. Лежнев, якобы, опираясь на эту цитату, пишет: «Та самая середняцкая казачья масса, которая в 1919 году подняла оружие против советской власти, а затем припрятывала это оружие в каждом курене и под каждой стрехой, поддерживала бандитов, молчала свое недружелюбие к советскому строю или все еще колебалась, — в 1922 году покончила с колебаниями, молча, но решительно перешла на советскую сторону, молча, но решительно повернулась спиной к бандитам» (стр. 146).

Но почему же «молча перешла на советскую сторону»? Откуда это? На каком

историческом или логическом основании? Ведь дело было в 1922 году, при советской власти, в условиях советской власти! Увлечшись своим красноречием, И. Лежнев не заметил, по меньшей мере... неловкости аналогии, которую он себе позволил.

VI

Статья Б. Емельянова в «Литературном критике» написана в другом тоне и на другом уровне. Объединяет обе статьи единодушное признание не только закономерности конца Мелехова, но и полное удовлетворение этим финалом романа и его основного героя. Любопытно, однако, что аргументация Емельянова почти полностью противоположна лежневской. Если у Лежнева Григорий Мелехов это контрреволюционер в самом своем существе, бандит, только до поры до времени затаивший свои звериные инстинкты, то Емельянов заявляет, что Мелехов возбуждает к себе участие «до последней строки», что «единственная личная вина его на протяжении всего романа» только в том, что он «боится ответственности, боится смерти».

О ложности лежневской позиции уже сказано. Но не кажется ли читателю достаточно удивительной, на первый взгляд, по крайней мере, эта точка зрения критика из «покойного» «Лит. критика», объявляющего абсолютную личную невинность Мелехова? Как дошел критик до жизни такой?

Дело в том, что самое основное в споре о «Тихом Доне» заключается, по мнению т. Емельянова, в решении вопроса: к какому жанру следует отнести роман Шолохова? «Центр спора, вокруг которого по самым причудливым кривым вращаются все предположения критиков, мимо которого пролетают, не возвращаясь, метеоры их догадок, есть несомненно вопрос: является ли «Тихий Дон» произведением трагическим, а Григорий Мелехов героем трагедии?»

Б. Емельянов пытается уверить нас, что это «ни в коем случае не проблема формы или жанра», но в действительности весь ход его мысли, вся аргументация сводятся к примерке: а подходит ли «Тихий Дон» к формуле трагедии, данной Гегелем или Белинским? По утверждению Емельянова — вполне подходит, и в романе все совершается «в полном согласии с законом эстетики трагического».

Такую критику Добролюбов называл «эстетично-аптекарскою», «со строгой

проверкою того, везде ли точно по эстетическому рецепту отпущено действующим лицам надлежащее количество таких и таких-то свойств, и всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте». Проведи эту строгую проверку и установив, что все «в полном согласии», Б. Емельянов обнаружил попутно бездну учености. Судите, например, по такому заключению: «Весь смысл романа Шолохова, все его значение состоит как раз в том, что Григорий — не замкнутая монада колебаний и страстей, трансцендентная миру».

Весь анализ в статье Емельянова исходит не от реальной действительности и опыта жизни, а от литературно-теоретических категорий и терминов. Следует, однако, отметить, что и в этих узких пределах Б. Емельянову удалось основательно напутать. По его определению классических признаков трагедии — «в трагедии герой искупает не свой проступок и не произвол других, а грех «рода». Вина не в нем»; трагический герой неизбежно должен стать жертвой «всемирно-исторического заблуждения», что с Мелеховым благополучно и происходит. «Трагическое лицо непременно должно возбуждать к себе участие, — писал Белинский. — Именно так». Поэтому Григорий Мелехов тоже должен возбуждать участие «до последней строки».

Прежде всего установим, что, по мнению Белинского, вовсе не всегда герой трагедии является жертвой искупительной за грехи «рода». «Предметом трагедии, — писал Белинский, — может быть и отрицательная сторона жизни, но являющаяся в силе и ужасе, а не в мелкости и смехе, в огромных размерах, а не в ограниченности, в страсти, а не в страстишках. в преступлении, а не в проступке, в злодействе, а не в плутнях». Что ни о каких грехах «рода» и «всемирно-историческом заблуждении» нет в данном случае речи, достаточно ясно из того, что в качестве примера подобной трагической личности Белинский приводит леди Макбет.

Такая трагедия тоже потрясает и даже, по словам Белинского, производит впечатление величия, ибо, как он говорил тогда на гегельянском языке, «всякая бесконечная сила духа, хотя бы проявляющая себя в одном зле, носит на себе характер величия, но величия чисто объективного, которое невольно хочешь созерцать, как невольно смотришь на удава или гремучего змея, но которого себе не пожелаешь».

Кстати, совершенно очевидно из этой цитаты, что обязательного участия к любому трагическому лицу Белинский вовсе не предполагал. Он, собственно, об этом прямо и пишет, говоря, что основа трагедии в трагической борьбе, «возбуждающей. смотря по ее характеру, ужас, сострадание или заставляющей гордиться достоинством человеческой природы и открывающей торжество нравственного закона...»

Если уж так обязательно представить Мелехова в качестве героя классической трагедии какого-нибудь вида, то, используя лежневскую концепцию о Мелехове, как звере-бандите, его легко провести «по графе» тех трагических героев, которые возбуждают ужас. Только. разумеется, вульгарные рассуждения Лежнева пришлось бы облагородить соответствующим научным обрамлением из цитат и монад.

Нет, Емельянова это не устроит. Он достаточно иронически относится к построениям Лежнева и полемизирует с ним, хотя до того осторожно, что даже не называет его. А главное — ведь Мелехов действительно возбуждает участие, если не до «последней строки», то до последней книги, во всяком случае. Потому что в образе Григория Мелехова нас волнует никак не «величие зла», а добро, которое хочет бороться со злом и трагически оказывается само злом. С гораздо большим основанием можно применить к шолоховскому герою другие слова Белинского. слова, сказанные о Макбете: «Макбет Шекспира — злодей, но злодей с душою глубокою и могучею, отчего он вместо отращения возбуждает участие: вы видите в нем человека, в котором заключалась такая же возможность победы, как и падения, и который при другом направлении мог бы быть другим человеком».

И еще одна проверка того, насколько правильно Б. Емельянов рассказал о составных частях «эстетического рецепта» трагического и насколько удачно применил их к «Тихому Дону». Хотя Белинский и говорил, что без роковой катастрофы нет трагедии, он полагал, однако, что в иных случаях герой трагедии может выйти из борьбы победителем. «Само собой разумеется, — писал Белинский, — что когда герой трагедии выходит из борьбы победителем, то развязка может обойтись без крови, но что драма от этого не теряет своего трагического величия. ...Равно величественное зрелище представляет собою человек, падший жертвой своей победы...»

Таким образом, Григорий Мелехов мог кончить вовсе не беспросветным отчаянием и безысходностью, мог к концу своего трагического пути увидеть, хоть в перспективе, свет истины, и от этого столь желанное т. Емельянову «полное согласие с законом эстетически трагического» несколько бы не нарушилось. Рухнула последняя колонна в схоластической постройке нашего критика, постройке, окрашенной в цвета довольно очевидного формалистского оттенка.

VII

Ну, хорошо, уже установлено Емельяновым, что Григорий Мелехов «не замкнутая монада», но... кто же все-таки Мелехов? Трудно советскому критику совершенно избежать вопроса о социальном качестве литературного персонажа. И. Емельянов вполне членораздельно устанавливает, что Мелехов «являет все противоречия пробуждающегося сознания масс среднего крестьянства во время гражданской войны и ее «Вандей» — восстания донского казачества». Отлично. Но в таком случае мы возвращаемся к вопросу, поставленному уже не в плане отвлеченном, литературно-теоретическом, а литературно-социальном: как же это Мелехов является «носителем «типического сознания» среднего казачества», если в решающем вопросе об отношении к революции, о новом строе жизни он разошелся с сознанием основной массы среднего казачества?

Емельянов дает следующий ответ: «Григорий Мелехов, носитель «типического сознания» среднего казачества, но одаренный величайшей восприимчивостью, мужеством и силой, повторил в своем пути от монархизма к большевизму, затем к автономизму и, наконец, снова к большевизму все колебания среднего казачества. Но совершал их с подчеркнутой амплитудой, сильнее других выражая сущность событий, интенсивнее остальных переживая противоречия мира. Поэтому его ошибки и преступления были столь тяжкими. Судьба Григория действительно резко отлична от подавляющей массы среднего казачества, но лишь тем, что Григорий Мелехов, так же ошибаясь и придя вместе с нею к ощущению истины, должен нести возмездие за свое прошлое» (стр. 193).

Дело не в возмездии. Самое существенное в том, что, как знают читатели из последней книги романа, Мелехов не пришел к ощущению истины. Ведь до чего может довести человека неумеренное упо-

требление гегелевских цитат! Читал роман, а видел одни только «законы эстетики трагического». Не заметил т. Емельянов пустяка: не заметил, что через всю четвертую книгу образ Мелехова проходит как образ человека совершенно опустошенного, усталого, разочарованного, для которого одинаковы и революция, и контрреволюция, а солнце почернело и остыло.

И не смешно ли говорить, что Мелехов боится смерти? Он же боится смерти, а не хочет смерти. Не хочет сражаться потому, что не знает, за что, потому что, вопреки утверждению Емельянова, он не приходит к ощущению истины. Если бы пришел! Тогда все повернулось бы по-другому. Пусть возмездие за страшные ошибки неизбежно, но зато все муки были бы оправданы истиной, которая все же найдена.

Мелехов действительно возбуждает чувство, в первых книгах несомненно. Потом, когда в романе началось неясности (что произошло с Григорием в буденновской армии?), когда судьба Мелехова свернула на путь, противоположный пути основной массы казачества,— читателя охватывало чувство, в котором волнение за давно знакомого и любимого героя смешивалось с тревогой и недоумением.

Трагедия остается. Любители литературно-портновских примерок по классическим образцам могут зарегистрировать еще один аргумент: совсем как в греческой трагедии, над Мелеховым повис «рок», страшный рок, от которого как будто не уйти и который предопределяет судьбу героя. Но действительная трагедия в том, что великолепный по своим задаткам человек мучительно ищет истину, ищет, совершая гору трагических ошибок и преступлений, начиная сознавать эти ошибки, и опять сбивается, и не находит.

Здесь-то и начало всех споров. Именно этот финал романа и его основного героя воспринимается многими как неожиданное нарушение логики развития образа. И, во всяком случае, заставляет пересмотреть прежние представления о Мелехове и не считать его «носителем типического сознания среднего казачества».

Совершенно запутавшись, Емельянов попадает непосредственно в объятия к И. Лежневу. Для М. Чарного и других критиков, видите ли, «одинаково характерно полное отождествление родового понятия — «среднее казачество» и индивидуальной, конкретной человеческой личности». Мы уже видели, что Лежнев (а отныне вкуче с ним и Емельянов) готов со-

гласиться с существованием «родового понятия» (!) среднее казачество, согласен и с тем, что «в судьбе среднего казачества в условиях пролетарской революции нет объективно неразрешимого противоречия», и с тем, что это казачество к концу гражданской войны пришло к советской власти, согласен со всем тем, что уже записано во всех учебниках. Но если вы считаете, что выразителем этого казачества в художественной литературе может быть только герой, являющийся носителем его наиболее характерных черт, то Лежнев вас объявит вульгаризатором и, потрепав по щечке, скажет, что не следует смешивать своих желаний с действительностью. Индивидуальная конкретная личность в искусстве мыслится неученым «критиком» Лежневым и заучившимся критиком Емельяновым только в противоречии с «родовым понятием» или, вернее, с основными чертами класса.

Емельянов с пренебрежением говорит о том, что «девять десятых споров о Григории Мелехове вращаются около вопроса о его «типичности». Напрасное пренебрежение. Проблема типичности имеет весьма существенное отношение к законам эстетики. Крупнейшие художники прошлого, когда сознательно, а когда и стихийно, приходили к тому пониманию реализма, которое Энгельс определил, как «типичные характеры в типичных обстоятельствах». Лев Толстой говорил: «Дело художника — схватить типичное».

Объявив Мелехова «носителем типического сознания» и посмеявшись над спорами о его типичности, всячески доказывая трагический характер Мелехова. Емельянов уверяет нас, что финал романа... оптимистичен. «Критики не понимают, что возвышенно-скорбный тон повествования Шолохова, грустно-величественный конец его эпопеи, чем более он трагичен, тем сильнее утверждает победу».

Если доводы Емельянова не кажутся сами по себе достаточно убедительными, то вот вам ссылка опять на классические образцы. Где уж там Лежневу с его Джульеттой! Пристыдив нас, Емельянов приводит в свидетели самого Эсхила, который две тысячи лет тому назад написал трагедию «Персы». «Действие трагедии разворачивалось в Малой Азии, в Сузах, столице персидского государства. Возможно ли? В накаленной событиями обстановке, среди свежих воспоминаний о недавней войне Эсхил на сцене показывал лагерь побежденных, плачущих по убитым матерей и жеп и самого персидского царя Ксеркса,

блага Афин, в трауре и несчастье. По Эсхил не думал о жалости или сострадании к побежденным, создавая свое произведение, ибо он вложил в него нечто гораздо большее: неслыханным утверждением мощи Афин, пламенным воспеванием победы греков дышала его трагедия, хотя на сцене не было ни одного афинянина».

Емельянов оговаривается, что из этого примера «ни в коем случае» не следует делать вывода об аналогии исторических ситуаций. Очень мило. Что касается искусства, то эсхилевский пример должен, повидимому, убедить нас в том, что утверждать мощь социализма вполне возможно без единого афинянина, сиречь... без советского героя. Так, что ли? Охотно верим, что Емельянов вовсе не желает такого вывода, но, щеголяя ссылками на античную литературу, не мешает подумать, о чем пишешь, и о смысле своих собственных слов.

Споры о «Тихом Доне» превращаются иногда в споры в связи с «Тихим Доном», а иногда и без прямой связи с ним. Это не беда. Разговор о проблеме советского героя, о типичности, об учебе у классиков будет тем более плодотворен, чем больше он будет опираться на конкретный литературный материал, на реальные явления нашей литературной практики.

«Тихий Дон» — бесспорно одно из значительнейших и талантливейших произведений советской литературы. Советский читатель бесконечно благодарен Шолохову: за Аксинью, за ее гордую голову и смелую любовь, за незабываемую Ильиничну, за Ивана Алексеевича, за ковыльный запах донского степного ветра, за весь красочный и волнующий мир, раскрытый писателем с изумительной щедростью, за поиски правды и человечность, за благородных героев «Тихого Дона».

Лев Толстой записал однажды в дневнике, что главная цель искусства «высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которых нельзя высказать простым словом». Умение Шолохова раскрыть эту тайну души, проследить за сложнейшим узором человеческого переживания иногда потрясает. Но, как под-

линный большой художник, Шолохов — не бесстрастный анатом, равнодушно препарирующий человека, его мысль и чувство. Шолохов любит и ненавидит. Писатель-коммунист, сын народа, он любит народ, его лучшие традиции, его славу и ненавидит все то, что народу мешало, что его душило, что коверкало все лучшие его задатки.

Глубоко гуманистические мотивы «Тихого Дона» непосредственно связаны с разоблачением социального зла, воплощенного в старом строе жизни, с надеждами, вызванными революцией. Революционная сила «Тихого Дона» — прежде всего во всестороннем отрицании старой дореволюционной жизни.

Четвертая книга романа вызвала споры. О ее конце, о судьбе Григория Мелехова, об относительной слабости образов последовательных большевиков. Кто бы ни был прав в этом споре, — то, чего нет в романе, не может никоим образом устранить то, что в нем есть. Критика отдельных недостатков и спорных мест не мешает тому, чтобы видеть и ценить огромные достоинства «Тихого Дона».

Присуждение Шолохову Сталинской премии вызовет большое удовлетворение у всей советской общественности, у миллионов читателей, для которых Михаил Шолохов давно стал родным любимым писателем. Присуждение Сталинских премий — это праздник всей нашей литературы, искусства, всей советской культуры. Нечего и говорить о том, что по-большевистски праздновать значит не почить на лаврах, а, радостно констатируя достигнутые успехи, направить все свои помыслы на решение новых, еще более сложных задач и на борьбу за новые, еще более значительные достижения.

Мы хотим видеть в литературе, как честность, благородство, отвага, сильное чувство и героическая мечта находят выход и реализацию в новом мире. Мы хотим видеть жизнь, борьбу и победу тех, кто этой победы достоин. И кто же может показать это лучше, чем Михаил Александрович Шолохов.

Герой справедливой войны

«Большевики не были против *всякой* войны. Они были только против захватнической, против империалистической войны. Большевики считали, что война бывает двух родов:

а) война *справедливая*, незахватническая, освободительная, имеющая целью либо защиту народа от внешнего нападения и попыток его порабощения, либо освобождение народа от рабства капитализма, либо, наконец, освобождение колоний и зависимых стран от гнета империалистов, и

б) война *несправедливая*, захватническая, имеющая целью захват и порабощение чужих стран, чужих народов.

Войну первого рода большевики поддерживали. Что касается войны второго рода, большевики считали, что против нее следует вести решительную борьбу вплоть до революции и свержения своего империалистического правительства»¹.

«Что было городом — дремучий лес,
И человек, услышав крик зловещий,
Зарылся в ночь от ярости небес,
Как червь слепой, томится и трепещет».

Так воспринимает войну обыватель, человек капиталистического мира, отбегивший от массы, живущий в себе и для себя, трепещущий лишь за свою личную единственную и неповторимую для него жизнь. Война в его глазах неумолимое слепое чудовище, грозящее раздавить маленького бессильного человека и его маленькое эфемерное благополучие. Угрожаемый с земли и с воздуха, город охвачен паникой.

«Уходят улицы, узлы, базары,
Танцоры, костыли и сталевары,
Уходят канарейки и матрацы,
Дома кричат: мы не хотим остаться».

Но чудовище надвигается неотвратимо, и человек гибнет. Где бы ни наступала его страшная напрасная смерть, он, подобно тому, как утопающий в океане держится

за жалкую дощечку, держится за веру в то, что именно его существование должно быть спасено.

«Он еще в последнюю минуту
Бредит берегом и тишиной».

Пучина войны равнодушно и неумолимо поглощает человека.

«И на ста языках человек,
Умирая, проклинает век».

С убедительной последовательностью и отчетливостью показывает Эренбург в своем цикле стихов «Война в Европе»¹ крушение мира людей, не объединенных никакими положительными идеалами, разрозненных и беспомощных перед лицом империалистической бойни.

Здесь пока еще нет народа как целого, есть растерявшиеся отдельные люди. Патриотизм, живущий в сердцах трудящегося люда капиталистических стран, двойственен: это любовь к родной земле и ненависть к эксплуататорам, владеющим этой землей и ее богатствами. Проявления подлинного народного патриотизма подавляются. Истинные патриоты загнаны в подполье. Но «будет день», говорит Эрен-

¹ История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Краткий курс, стр. 161.

¹ Журнал «Знамя», № 11—12, 1940 г.

бург, чаша терпения людей переполнится и «из костей, как всходят семена», прорастет всепроникающая народная ярость:

«От сетей, где пена и треска,
До Сахары праздного песка
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города,
Выплывут утопшие суда,
И на вахту станет без часов
Тень товарища и облаков.
Вспомнит старое крапивы злость,
Соком ярости нальется гроздь,
Кровь проступит сквозь земли тоску,
Кинется к разбитому древцу,
И труба поведает, крича,
Сны загубленного трубача.»

Так из разрозненных единиц воссоединятся вокруг красного знамени в одно неразрывное целое разбитые, измученные люди, насильно втравленные в губительную несправедливую войну. Не в силах выносить дольше груз бездонного горя и обид, народ восстанет для последней справедливой войны против своих угнетателей. Недаром стихотворение о народном гневе Эренбург назвал «Красное Знамя». Стихотворение это исполнено неподдельного чувства боли и гнева, пафоса восстания. В нем нет места традиционному эренбургскому скептицизму, обычной иронии Эренбурга. В цикле стихов «Война в Европе» нет и следа непротивленчества, пацифизма, которым в свое время болел Эренбург. Со страстной верой в силу народного гнева говорит поэт о грядущей справедливой войне, через которую должны неизбежно пройти народы земли. Но говоря о неизбежном воссоединении трудового народа как единого целого для справедливой войны, Эренбург не показывает, — и не может в пределах взятой им темы: крушения индивидуалистического мира и предчувствия грядущего пробуждения коллективизма — показать развернутый характер героя этой войны — ее полководца, ее бойца.

Этот характер следует искать в произведениях поэтов, изображающих войну, которую ведут люди другого мира — советские люди, подлинные революционеры, сознательные борцы за коммунизм.

Стихи о народной войне, написанные советскими поэтами, достойными участниками боевых походов Красной Армии, весьма различны по творческой манере, содержанию, интонации, но герои их

объединены одной родственной чертой: они далеки от индивидуалистического восприятия войны. И в этом их коренное отличие от «слепого червя», в ужасе мечущегося перед лицом наступающего врага, в бегстве спасающего с в о й матрац, с в о ю канарейку. Поэтическое изображение героя справедливой войны имеет свои традиции, идущие от боевого творчества Маяковского, руководившие Сурковым в его волнующих стихах о простом советском человеке, который «ходил в рядовых при большой революции, подпирая плечом боевую эпоху». Традиции, послужившие идейной основой лучших стихов Гусева, Светлова, Голодного и многих других.

Лирический герой стихотворения, равно как и эпический (там, где можно говорить о таковом), неизменно выступает как член единого коллектива — единица, неразрывно связанная с массой, со всем советским народом, ясно сознающим высокие цели своей борьбы. В его восприятии совершенно иначе, чем у эренбургского героя, окрашиваются события войны. Если у Эренбурга город, ожидающий нападения, — «дремучий лес», охваченный паникой, развороченный муравейник, то у Долматовского, например, он выглядит совершенно иначе:

«Вижу город боевой, надевший
На трамвай синие очки,
Растревоженный, помолодевший,
В шпихлях, засверкавших, как штыки.»

И понятно — в одном случае художник рисует покинутый армией город, в котором остаются лишь бессильные старики да памятники старины, в другом — неприступную твердыню, за безопасность которой грудью встал великий, непобедимый в своем патриотизме народ.

В войну вступают новые люди, воспитанные в традициях социализма, и их отношение к этой войне так же отлично от отношения к ней людей старого мира, как справедливая освободительная война советского народа отлична от войны несправедливой, империалистической.

О специфике справедливой войны говорят советские лирики:

«В саду, где веет тишиной,
Играла смерть с моей судьбою
Гранатой, пулей разрывной.
Мы отдыхаем после боя.
Плоды склонились надо мной.»

Не цвести, не созревать нельзя им, —
И мы броней кладем следы,

Чтоб над землей, где труд — хозяин,
Склонились мирные плоды».

(С. Щипачев.)

Это — война во имя уничтожения войны, война во имя торжества гуманизма. Понятно, что гуманизм конечной цели войны не может не сказаться на характере ее участников, специфика освободительной войны определяет черты характера ее героев, и поэты, пишущие об этой войне и ее героях, в разной мере и с разной силой (в зависимости от своего таланта и творческого направления) отражают их отличительные особенности. Воссоздавая отдельные черты характера героя справедливой войны, поэты неприметно для себя меняют свою поэтическую интонацию, растут идейно и художественно, обогащая свое творчество.

Весьма показательна в этом отношении творческая эволюция Долматовского.

Евгений Долматовский был, быть может, самым «мирным» из всех советских поэтов. Его поэзия характеризовалась облегчением и сглаживанием конфликта, стремлением героя к безмятежному покою, душевному комфорту, тишине. Поэтический мир Долматовского был удобен и приятен, слишком приятен для того, чтобы можно было принимать его «всерьез». Долматовский слишком долгое время оставался «молодым», зрелое мужество поэта не приходило к нему, и его таланту грозило увядание непосредственно вслед за слишком затянувшейся юностью. Но вот на его жизненном пути встала война, он увидел смерть бойца, товарища-пограничника. В стихотворении о недописанном письме (1938 г.) Долматовский, может быть, впервые заговорил о значительном событии всерьез, без расчета на поощрительную улыбку «взрослых», которые не могут не улыбнуться милому поэтическому лепету многообещающего «молодого». Перед лицом героической смерти в бою нельзя было с наивным видом лепетать приятные слова и, — к чести Долматовского, — он не стал этого делать. Он увидел серьезное и большое — смерть за родину, и сказал о ней по-своему, как умел, не пытаясь смягчить для читателя впечатление от этой смерти. Убитый оставил недописанное письмо к родным. Письмо допишут товарищи.

«О, лучше б вам, жена и мать,
Того письма не получать» —

говорит поэт, не пытаясь подыскать утешение. Стихотворение это не содержит

большого обобщения, но оно важно как перелом в творчестве Долматовского к более прямому, но вместе с тем, и более вдумчивому отношению к проблемам нашей современности. Энергичное и сжатое стихотворение «Истребитель» и ряд других говорят о том, что перелом этот действительно наступил. Но творческая эволюция поэта не идет неуклонно и прямо. Долматовский неоднократно еще будет пытаться задержаться на пути к суровой жизненной правде в своем уютном литературном мире, полном спокойствия и тишины. Он пытается принести этот мир и тишину на поля сражений. В стихотворении «Перед боем», написанном им в освободительном походе в бывшую Польшу, Долматовский говорит:

«О чем мы вспоминали перед боем,
Когда лежали на траве сырой?
Да обо всем, что связано с покоем,
С далекою осеннею Москвой.
Кого мы вспоминали перед боем?
Друзей, не побывавших под огнем,
И женщин тех, которых мы не стоим
И все еще девочками зovem»¹.

Быт на первых порах занимает слишком большое место в его военных стихах. Лирический герой идет в поход, как бы ежеминутно оглядываясь назад и больше думая об оставленном им мирном житье-бытье, чем о предстоящих боях. Вот он ночует в «старом замке родовом», почти по-детски радуясь тому, что проведет ночь в старинном здании с «башней, где живет сова». Ночью он слушает радио из Москвы и вспоминает любимую, Красную площадь, Москва-реку. И еще, еще стихи о том, что осталось за спиной, о тоске, «когда последний город отмерцал и за холмами скрылись огоньки», о новом чувстве к любимой, которое возникло в походе, с кленовом листке, летящем к далекому дому, как «кочок осеннего письма», о возвращении с войны. Все очень мягко, очень безмятежно, и рана описывается лишь для того, чтобы назвать перевязавшую ее девушку сестрой, и поход лишь для того, чтобы обновить свое чувство к любимой. Но уже тут, среди этих мирных и довольно вялых стихов, начинают выступать отдельные удачи, отдельные штрихи образа героя справедливой войны. Это черты гуманизма, черты общности с освобожденным от ига капиталистов народом. Особен-

¹ Это стихотворение, как и все дальнейшие стихи Долматовского, цитируется по сборнику его стихов «Три времени года».

но характерно в этом плане стихотворение «Свой». В глухом лесу Западной Белоруссии, под проливным осенним дождем красноармейцы стучатся в хижину лесника. Слово «свой» открывает им двери дома. Обогрившись у гостеприимного очага, бойцы снова выходят в дождь и мглау.

«Но пас обогривало и вело
Зачерпнутое пригоршней тепло.
Кто б мог, как мы, в лесах, где шли
бой,
Стучать в окно и говорить: «свой!»»

Первые стихи финского похода говорят в обычных для Долматовского мягких тонах о «мирных» достоинствах бойца. Любовь к родной стране, солнечной, ясной, связанной в памяти с первой любовью, почтительное отношение к культурному наследию («Дача Репина»), печаль о большом художнике, умершем «в такой близости, в такой дали» от милых его сердцу мест.

«Воспоминание о Тайпалеен-Иоки» ложится резкой гранью в поэзию Долматовского. Отсюда разговор пойдет уже совершенно всерьез. Мир и тишина остались на том берегу реки, Тайпалеен-Иоки. Здесь встает, может быть даже слишком обнаженная, тяжесть войны. Здесь нет места для «приятных» дачных реминисценций.

Перед бойцом и поэтом — переправа через реку под смертоносным огнем, и перейти эту реку нужно, ибо пришло время делом доказать свою преданность родине, неоднократно до сей поры декларированную в стихах.

«Я много видел рек — и узких, и
широких,

Запомнится не каждая река.
Но есть одна река — Тайпалеен-Иоки,
Не широка, не глубока.
А было перейти ее труднее,
Чем жизнь прожить. Но надо перейти.
Когда понтоны навели над нею,
Сплошной огонь открылся на пути.
Но люди шли — сурово, тихо, долго,
Домая ледяную синеву,
И волгарям не вспоминалась Волга,
И я забыл свою реку-Москву
И много рек, текущих на востоке.
Тяжелую волну несла в века
Одна, одна Тайпалеен-Иоки —
Холодная и быстрая река».

Теперь в стихах Долматовского показана война во всей ее неприкрашенной трудности. В ней нет тишины и покоя — об этом пишет Долматовский в стихотво-

рениях «Тишина» и «Новый год». Поэт не может даже вспомнить, какая она — эта тишина, которая живет «где-то, за старой границей». Здесь земля черна от взрывов, а «мороз такой, что откроешь рот — и губы затянута лед», здесь люди бьются с реальным опасным врагом, иные умирают, по товарищи их идут вперед и берут с боя трудную победу. Здесь каждую пядь земли берут в ожесточенном сражении, убивая и умирая. И поэт не пытается прикрасить жесткую правду. Отбросив розовую краску, он пишет черное черным, а белое белым, и, несмотря на это, картина, выходящая из-под его кисти, не имеет ничего общего с безысходным ужасом, который изображает Эренбург в своем цикле стихов о «Войне в Европе». Да, люди здесь умирают, если этого требует долг, но умирают они во имя высокой идеи. Вступая в бой, человек думает не о смерти, а о победе. Оставляя заявление о приеме в партию, бойцы в сражении доказывают свое право на партийность. Да, люди здесь убивают, но при этом они не теряют своего человеческого лица, ибо выступают они против кучки врагов во имя блага всего человечества.

«Когда на броневых автомобилях
Вернемся мы, изъездив полземли,
Не спрашивайте, скольких мы убили,
Спросите раньше, скольких мы спасли» —

пишет Долматовский в стихотворении «Гроза». И в самом деле, советские бойцы не убивают людей напрасно. Пленный солдат, взятый в бою, перестает быть врагом, которого нужно убить, он становится просто человеком, и, как таковой, заслуживает человеческого к себе отношения. После жаркого и победоносного боя усталые красноармейцы входят в случайно уцелевшее здание школы. Там, склонившись на парту, спит пленный. Часовой, охраняющий его, просит товарищей не шуметь. Первое чувство героя стихотворения — ненависть к врагу, первая мысль — «Зачем живет он, этот человек?» Но разум человека, воспитанного социализмом, восстает против напрасного убийства.

«Я сам колол штыком. Я видел, как
кололи.

В глазах еще от ярости рябит.
...Усталый пленный спит в холодной
школе.
Пусть будет тихо. В школе пленный
спит».

Среди бойцов справедливой войны живет хорошая боевая дружба. Политрук, вынесший из-под огня умирающего товарища, возвращается в бой, жертвуя последними минутами близости с умирающим. И умирающий сам просит друга-политрука не смотреть ему в лицо, чтобы вид его страданий не ослабил духа бойца, идущего в сражение. О погибшем бойце товарищи скорбят долго, но скрытно:

«Будут долго, насулив брови,
По-мужски без слез горевать.
Там, где пролито много крови,
Слезы незачем проливать».

На место убитого товарища встают новые бойцы и идут вперед, неизменно вперед. Война тяжела, обстановка суровая, но воодушевленные любовью к родине, мысль о которой не покидает их, спаянные крепкой боевой дружбой, люди не теряют бодрости духа. Товарищи, расставаясь перед тем, как разбегаться на позиции, обещают друг другу встретиться в «Шесть часов вечера после войны». Поход был тяжел, и не все из него вернулись.

«Тот, кто пройдет по нашему следу,
По минным полям, быть может, поймет,
Какой ценой мы взяли победу,
Штыком разбивая гранит и лед.
И все же нам страшно и весело было
У взорванной крепостной стены,
И мы не заметили, как пробило
Шесть часов вечера после войны».

Не все в военных стихах Долматовского дано на хорошем поэтическом уровне. Кое-что сказано митингово, в лоб, или дан факт, сырой, не обобщенный, небрежная зарисовка, несмотря на свою небрежность и необработанность все же говорящая сама за себя («Заявление»). Но все эти стихи, хорошие и плохие с поэтической точки зрения,— ценный материал для общения, для создания полноценного образа героя справедливой войны.

Если Евгений Долматовский в своих военных стихах воспроизводит в основном психологические черты героя справедливой войны, то Александр Твардовский делает другую весьма важную часть работы. Он с большой, почти документальной точностью воссоздает обстановку войны и обобщает настроение массы бойцов как целого, говорит языком хорошего агитатора о целях и значении справедливой войны. Если Долматовский выступает главным образом как лирик, то стихи Твардовского производят впечатление этюдов для большого эпического полотна.

В первом цикле его оборонных стихов, написанных во время похода в Западную Белоруссию, сказывается тот самый боец-агитатор, которому посвящено одноименное стихотворение Твардовского.

«Проклятому панству
Свой штык и свинец
Несешь ты навстречу,
Товарищ-боец.
А в нищие села,
А в темные хаты
Ты светлое слово
Несешь, агитатор».

Так понимает поэт роль передового бойца справедливой войны, и, следовательно, свою собственную в ней роль. Его стихи периода белорусского похода посвящены главным образом раскрытию освободительного характера этой войны. Таковы стихотворения: «Вдовый флаг», «Памяти лейтенанта Трубочкина», «Слово о земле», «Народное собрание»¹.

Стихи о военных подвигах бойцов и командиров, написанные Твардовским в этот период, несут характер сюжетных зарисовок, сделанных паспех. Они впечатляют, но в основном силою фактов, а не силою художественного показа. На основе их может быть создан образ героя справедливой войны, ибо в них зафиксированы его действия и поступки, но сами эти зарисовки еще не дают характера, так как внутренний мир их героев не показан.

Второй этап оборонного творчества Твардовского характеризуется поисками темы, поисками интонаций для военного стиха. Этот период совпадает с началом финского похода. Поэт целиком поглощен интересами армии. Рассматривая себя как бойца-агитатора, поэт ищет наиболее нужный для армии, наиболее доходчивый поэтический жанр. Может быть, это — прикладное стихотворение, популяризирующее отдельные стороны военного искусства? И Твардовский пишет стихотворение «Про лопату»², говорящее о том, какое значение в бою имеет лопата. Может быть, бойцу нужна хорошая зарисовка, веселая и ясная картинка военного быта? И Твардовский пишет «На привале»³, исполненную добродушного мягкого юмора и бодрости картину отдыха бойцов.

Но темперамент бойца-агитатора берет верх, сказывается и в этом периоде боевого творчества Твардовского; поэт пишет

¹ Журнал «Звезда», № 12, 1939 г.

² Журнал «Знамя», № 1, 1940 г.

³ Там же.

стихотворение «Героям»¹, в котором отчетливо формулирует мысль о неразрывной связи бойца справедливой войны с родиной, во имя которой он идет на свой подвиг, с народом, плотью от плоти которого он является, с партией, под знаменами которой он сражается. Стихотворение «Героям» написано в приподнятом тоне, в четком, бодром ритме, и интонация этого стихотворения перекликается с интонациями стихов поэта-партизана Дениса Давыдова:

«Люди рати легендарной,
Знайте:
Каждый день и час,
Неизменно, благодарно
Помнит родина о вас.
Помнит родина и Сталин
И не только тех, кто жив,
Но и тех, что в схватках пали,
С честью головы сложив...
Знайте, можно лишь добавить,
Что страна богатырей,
Как никто, умеет славить
Храбрых, честных, верных ей».

Если Долматовский, при всем том большом идейно-тематическом сдвиге, который произошел в его поэзии под влиянием войны, формально оставался в своей обычной манере, в своем словаре, в своем интимном тоне разговора по душам, то Твардовский в своих военных стихах ищет не только новое содержание, но и иную форму. Правда, он остается в пределах традиции классического стиха, но это уже не некрасовский стих, который в свое время оказывал столь большое влияние на автора «Страны Муравьи». В стихах Твардовского ощущаются пушкинские интонации, звучание стиха становится более наполненным, веским, ровным.

Третий период военного творчества Твардовского совпадает с разгаром и концом финской войны. Теперь стиль Твардовского выравнивается — поэт находит свой жанр военного стихотворения. Это эпическая зарисовка, изображающая настроение и действие масс и со скрупулезной точностью передающая обстановку войны. Особенно характерным для Твардовского этого периода является стихотворение «Наступление»², одно из лучших военных произведений советской поэзии последних лет. Написано оно ясным, точным языком; все детали, рисующие затишье перед наступлением, начало боя,

его разгар воссоздают картину наступления с такой живостью и отчетливостью, что кажется — видишь все своими собственными глазами. И происходит это вследствие того, что Твардовский всегда, о чем бы он ни писал, а здесь особенно, дает событие изнутри, целиком поглощенный событием, живущий в нем и только им.

Сто двадцать третья орден Ленина дивизия занимает исходные позиции в заснеженном зимнем лесу:

«В лесу, не стукнув, сняли лыжи,
Исходный заняли рубеж.
Был воздух сух, морозом выжат
И необычно детски свеж.
А тишина была такая,
Как будто все, что есть вокруг,
Весь мир от края и до края
Прислушивался...
Щелкнет сук,
Сорвется с ветки снег давнишний,
Простонет дерево во сне,—
Казалось, так же это слышно
И там, на вражьей стороне...»

Повествование, казалось бы, ведется в спокойном тоне, но тревожное ожидание пронизывает каждую строчку стиха. Пейзаж для Твардовского не статический фон для героев, а действенный органический компонент общего целого. Бойцы залегли и ждут, командиры то и дело смотрят на часы.

«И вот последняя минута
Накрыта стрелкой часовой.
И вдруг — из-под земли, как будто —
Толчок глухой.
Земля — вперед. Качнулись сосны.
А иней — точно дым — с ветвей.
Огонь рванулся смертоносный
С укрытых наших батарей.
И шепелявый визг металла
Повис над самой головой.
Неотвратимо ясно стало,
Что началось, что это бой».

И дальше, без риторики, нажима и крика, все в том же эпическом тоне Твардовский раскрывает основную идею стихотворения — идею монолитной целостности советского войска, его беззаветной храбрости, преданности родине. Поэт раскрывает все эти понятия без единого слова о целостности, храбрости, преданности, — в динамике наступления, в правдивой картине движения боевой части.

«Под канонаду со стоянки
В снегу, как в мельничной пыли,
С разгона вздыбленные танки,
Почти неслышны, прошли.

¹ Журнал «Знамя», № 1, 1940 г.

² Там же, № 6—7, 1940 г.

И вслед за огненным налетом,
К высотам, где укрылся враг,
Пошла, пошла, пошла пехота,
Пошла, родимая!
Да как!
Бегом, броском, ползком, где надо,
Чтоб поскорей врага достать,
Чтоб на хвосте своих снарядов
К нему ворваться, жизни дать...»

С большим лирическим волнением пишет Александр Твардовский свои эпические этюды. Он уже создал великолепный, высокохудожественный фон, больше чем фон — живую динамичную обстановку войны, зарисовки движения и чувств действующих в ней масс. Но центральная фигура, фигура героя справедливой войны, долженствующая связать эти хорошо написанные этюды в единое эпическое полотно, — еще не появилась. Ее нет еще, но она пужна, ее ждет читатель, и мы верим, что она появится.

По самому характеру своего творчества Константин Симонов является, быть может, наиболее подготовленным к созданию характера героя современной нам справедливой войны. Еще в 1937 году Симонов создал поэму, оказавшую влияние на развитие оборонной поэзии последующих лет — «Ледовое побоище»¹. Ее пафос, ее образы, ее интонации нет-нет да и скажутся в военных стихах даже таких не похожих на Симонова поэтов, как Долматовский, Твардовский. Симоновская интонация сказалась и в некоторых стихах старшего поколения поэтов (см. «Пулемет» Суркова), и происходит это не в силу творческого превосходства Симонова как поэта, а в силу того, что он с первых дней своей литературной работы стал певцом героического деяния и сурового мужества. Это дало поэту возможность найти наиболее адекватные действительные средства для изображения войны и военного подвига. Черты характера героя справедливой войны были найдены Симоновым еще задолго до той войны (событий на Халхин-Голе), в которой поэту довелось принять непосредственное участие. Испанские революционеры («Рассказ о спрятанном оружии», «Рассказ о глотке воды»), генерал Лукач, Онцыфор Туча — герои различных эпох, образы различной идейной и эмоциональной полноты, но все они являются несомненными носителями черт характера идейного бойца за родину и справедливость, и актуальность

этих образов будет жива до тех пор, пока будет актуальным вопрос о войне.

Военные события, участником которых стал Константин Симонов, вдохновили поэта не только на стихи, показывающие людей в боях за Халхин-Гол, — с войны Симонов привез цикл стихов, углубляющих и расширяющих то понятие мужества, которое составляет идейную основу его поэзии¹.

Поэт в свете философии мужества пересматривает понятие трагического. Гибель мужественного человека, наступающая его за любимым делом, — это естественный и достойный конец героя. Симонов отрицает трагизм этой гибели:

«Никак не можем примириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.
Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы.»

Отрицание трагизма смерти на посту проходит красной нитью через ряд сильнейших стихотворений Симонова («Мальчик», «Старик», «Изгнанник»). Для мужественного героя трагично бездельное существование человека, отрешенного от служения обществу, от любимого дела. С особенной яркостью раскрыта эта мысль в прекрасном стихотворении «Поручик». В нем изображена трагедия безвестного командира крепости Петропавловск-на-Камчатке, патриота, отразившего со своим маленьким жалким гарнизоном нападение британской боевой эскадры и «в награду» отставленного от должности бездушным начальством. Этика солдата, защитника родины, разрабатывается в стихотворении «Английское военное кладбище в Севастополе». Мужественный и беспощадный в бою, герой далек от бесцельной жестокости или глумления над поверженным врагом. Свою мысль Симонов передает через тревожные надписи на надгробиях убитых англичан, покоящихся на кладбище в Севастополе, и через описание обстановки этого кладбища. Родные, прилавившие памятники из Англии, зывают: «Ради бога, с почтением склонись на этот крест». Родные боятся, что их мертвецов могут «обидеть» в чужом краю, «и землю распахать и гроб сломать». Но кладбище содержится в об-

¹ Сборник стихов К. Симонова, «Стихи 1939 года».

¹ Сборник стихов «Настоящие люди».

разцовом порядке, и даже сирень, осеняющая могилы убитых, подстрижена на «английский манер».

«Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.»

Эти стихи, написанные в период войны, современниками которой мы являемся, но говорящие о далеких днях Севастопольской эпопеи, как бы связывают прошлое и настоящее.

Этика героя справедливой войны имеет свои традиции, сложившиеся в отечественных войнах русского народа. Военная поэзия Симонова характерна тем, что он, одним из первых в советской поэзии, указал на связь боевых традиций Красной Армии с героическим прошлым русского народа.

Переходя к современности, Симонов подтверждает свой взгляд на этику солдата в стихотворениях «Мы сняли куклу с боевой машины», «Самый храбрый», «Сверчок». В этих стихах поэт говорит о неизбежной жестокости к сопротивляющемуся врагу, не исключаяющей ни в какой мере человеческого отношения к пленному солдату, ко всякому беззащитному существу. В стихотворении «Сверчок» эта мысль даже несколько утрирована контрастом между почти равнодушным убийством в бою и тем волнением, которое вызвал в бойцах случайно раздавленный сверчок. Здесь мы наблюдаем случай потери чувства меры, а это весьма опасная для поэзии вещь, и именно ее следует страшиться Симонову.

Понятие родины впервые конкретизировалось у героя Симонова в цикле монгольских стихов. В этом плане война также расширила творческий диапазон поэта. Родина перестала быть отвлеченным, само собой разумеющимся понятием — она воплотилась в конкретном пейзаже («Деревья»), по которому тоскуют вдалеке, — в близких родных, которым пишут письма и которых так недостает за много тысяч километров от дома. Но, совершенно неожиданно, — эта родина оказалась слишком домашней, интимной, внеобщественной. Мужественный человек не привык болтать о самом главном и самом дорогом — о своей большой родине, — однако в изображении законной сдержанности героя поэтом также было потеряно чувство меры, и это нанесло любимому образу Симонова несомненный ущерб. И это весьма досадно, ибо образ этот правдив, убедите-

лен и весьма близок к искомому нами идеалу.

Герой Симонова беззаветно отдается избранному им общепольному делу. Он беспощаден в бою и трогательно предан друзьям («Механик»). Он, не колеблясь, отдает свою жизнь за родину, без пышных фраз, не требуя почестей, удивления и похвал. Об этом убедительно говорит стихотворение «Орлы». Еще вчера художники-баталисты писали поле битвы, покрытое трупами, над которым кружат хищные птицы. Но поле сегодняшнего сражения столь страшно, что даже орлы не смеют подлетать к нему. Орлы теперь сидят лишь «у пыльных юрт второго эшелона». В тылу, в обозе.

«Восточный ветер, вешками колыша,
У них ерошит перья на спине,
И кажется, орлы дрожат, заслыша
Одно напоминанье о войне.
А мимо них, спеша на поле боя,
Фуражки лихо заломив с утра,
На всякий случай взяв гранат с собою,
С горячей пищей едут повара.»

Вот они, настоящие «орлы», даже не подозревающие своего героизма.

Наиболее сильное, художественно-законченное обобщение военной доблести дано Симоновым в стихотворении «Танк». Наутро после жестокого боя танкисты решают зарыть в землю останки разбитого в схватке с неприятелем танка, героически сражавшегося и рухнувшего «от ран», после того, как он «добыл пехоте трудную победу». Исковерканный остов танка красноречиво говорит о своем подвиге:

«Он словно не закапывать просил,
Еще сквозь сон он видел бой вчерашний,
Он упирался, он, что было сил,
Еще грозил своей разбитой башней.»

Здесь звучит лейтмотив симоновской поэзии, лейтмотив упорного мужества, не желающего сдаваться.

«Когда бы монумент велел б мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь в
пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазами пустыми:
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа
рваных,—

Невянушая воинская честь
Есть в этих шрамах,
В обгорелых ранах.
На постамент взобравшись высоко,
Пусть, как свидетель, подтвердит по
праву:

Да, нам далась победа не легко.
Да, враг был храбр. Тем больше наша
слава».

Подлинный герой не нуждается в приукрашивании обстоятельств войны, в сглаживании конфликтов, в «шанкозакаидательных» «теориях», в искусственном подбадривании. Он идет в бой не потому, что это кажется ему легким приключением, а потому, что этого требует родина, интересам которой принадлежит его жизнь. Твердый, волевой, преданный родине, энтузиаст своего дела, герой Симонова несет в себе многие из важнейших черт героя советской справедливой войны. Быть может, лишь органическое раскрытие понятия родины, излишняя сдержанность в показе социальных эмоций героя помешали Симонову написать этот образ вполне адекватным своему жизненному прототипу. Но весь творческий путь поэта мужества говорит о том, что он с каждым годом приближается к разрешению органичной и обязательной для его творчества проблемы изображения этого характера. Симонов неустанно работает в этом направлении. О своей работе Симонов говорит в иноказательном стихотворении о поисках глубокой воды в солончаковой степи. Томимый жаждой человек идет раскаленной степью в поисках глотка воды, но солончаковые озера, издали манящие путника своей обманчивой поверхностью, дают ему лишь «соленые кристаллы, волн затвердевшие ряды», или «над грязью воды в два пальца мутный слой».

«А до глубокой, хоть по пояс,
Так много верст еще пути,
Что можно век, не беспокоясь,
Все по колено к ней брести.
Кто раз пошел, себя жестоко
Лишил покоя на земле,
Где все так близко и далеко,
Почти как в нашем ремесле».

Симонов «пошел», и, упорный в своих исканиях, мы верим, он придет к поставленной им цели, и придет не один. Немало талантливых советских поэтов — Шипачев, Безыменский, Прокофьев, Твардовский, Сурков, Долматовский и другие — работают над образом героя современной нам справедливой войны, и мы верим, что образ этот будет создан.

Однако есть поэты, находящие возможным «век брести» и даже не по колено, а лишь по щиколотку в этой важной проблеме. Таков Владимир Лифшиц, автор единственной пока поэмы о войне с белофиннами «Следы на снегу»¹. Лифшиц едва ли не один из советских поэтов осмелился говорить о героическом походе Красной Армии в веселеньких тонах «розового» лжеоптимизма. В этой поэме есть все, что относится к дурному, «розовому» штампу. И пресловутая «смерть с удовольствием», и лжепростота, а на самом деле пустота героев, и «счастливый конец» с легкой заменой убитого сына и жениха его товарищем (кстати получающим тут же необходимую ему жилплощадь). При всем том поэма Лифшица написана весьма небогатыми красками, монотонным пятистопным ямбом, разбитым, «чтобы не угадал», на короткие строчки.

К счастью, поэма Лифшица является единичным случаем безответственного отношения поэта к ответственнейшей теме справедливой войны. И, если здесь придется упоминать о ней, то лишь потому, что она, увы, пока единственная поэма о военных событиях последних лет.

Но, как мы уже видели, эпическое полотно картины о справедливой войне подготовлено, многие существенные черты характера героя справедливой войны найдены. Час его рождения недалек.

¹ Журнал «Литературный современник», № 1, 1941 г.

Книги о Ломоносове

О М. В. Ломоносове написано много книг и статей. В 1940 году не было в нашей стране почти ни одного органа печати, в котором не было бы статей о Ломоносове. Кроме того, в 1940 вышло несколько книг о нем. Литература о Ломоносове велика и обильна, но порядка не видно в ней. До сего времени нет ни популярной, ни научной биографии гениального сына великого русского народа. Лучшей биографией считается «Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова», написанное Меншуткиным Б. П. Но эта книга не лишена существенных недостатков.

После столетней годовщины со дня смерти Ломоносова (1865 г.) о жизни и деятельности Михаила Васильевича был собран материал Билярским П. С., Куником А. А. и другими. Затем были составлены биографические очерки, из которых наиболее обстоятельным оказался очерк Пекарского П. П. Потом густо пошла «популярные» биографии. Почти каждый биограф считал своим неперенным долгом пересказать все анекдоты и слухи о каких-то теневых сторонах жизни Ломоносова и хоть немощечко усомниться в гениальности архангельского мужика. Выпаращав несколько строчек из писем Х. Вольфа о жизни Михаила Васильевича за границей, биографы один за другим повторяют, что Ломоносов вел в Марбурге пьяную, разгульную жизнь, растратил зря деньги, залезал в долги. Некоторые биографы выдвигали на первый план несущественные, мелкие факты и затуманивали главное, извращали образ Ломоносова.

Действительно, Х. Вольф писал о кутежах и долгах русских студентов, обучающихся за границей. Но меньше всего Вольф жаловался на Ломоносова и больше всего хвалил его за успехи. Русские сту-

денты испытывали нужду в деньгах главным образом потому, что не получали в установленные сроки своей стипендии. Не имея денег, они делали долги. Лавочники обирали своих должников. О долгах Вольф писал: «Там, где можно было, я кое-что списывал со счетов в присутствии гг. студентов с тем, чтобы они сами видели, что можно было выторговать...» Для некоторых заграничных дельцов русские студенты были доходной статьей. Ломоносов рассказывал в одном из писем к Шувалову, что горный советник Генкель брал за обучение с русских больше, чем с немцев. Когда у Генкеля спросили, почему так делается, он отвечал: «Царица богата и может платить сколько угодно».

Хорошо известно, что Генкель на деньги русских студентов покупал пап в рудниках и барышничал. А что до курса химии касается, «то,— по словам Ломоносова,— он в первые 4 месяца едва учение о солях пройти успел, на что одного месяца довольно было..., но при оном большая часть опытов ради его неловкости не удавалась. Описанием таковых несчастных происшествий (которые он диктовал нам с примесью разных пошлых шуток и пустой болтовни) тетради нашего дневника наполнены».

Толкуют еще о том, что Ломоносов, будучи во Фрейберге, переписывался с одной марбургской девушкой. Немецкий горный советник Генкель, у которого Ломоносов обучался горному делу и от которого Ломоносов убежал, писал в Петербургскую академию, что он от кого-то слышал, что Ломоносов в разных местах вел себя неприлично, ужасно буянил, колотил людей, пьянствовал, поддерживал подозрительную переписку с какой-то марбургской девушкой.

И эти слова Генкеля выдаются за на-

учный первоисточник и разносятся по биографиям, а действительные факты во внимание не принимаются. Известно, что Ломоносов во время пребывания в Марбурге полюбил девушку. Переехав в Фрейбург, он мог с ней перешсываться. А по возвращении в Марбург он женился. Сохранился такой документ местной реформатской церкви: «6 июня 1740 г. обвенчаны: Михаил Ломоносов, кандидат медицины, сын Василия Ломоносова, архангельского торговца, и Елизавета-Христиана Цильха, дочь Генриха Цильха, покойного члена городской думы и церковного старосты». Ну, казалось бы, все в порядке. Конец всем кривотолкам. Но нет! В книжках даются новые измышления. Один сказал: а Ломоносов-то женился ради того, «чтобы спастись от грозившей ему нужды». Другой написал: Ломоносов скрыл свой брак и забыл жену.

Однако хорошо было известно, что после женитьбы материальное положение Ломоносова не улучшилось. Он продолжал бедствовать. У него не было денег на дорогу в Россию. Действительно Ломоносов около двух лет жил в разлуке с женой. А между тем, с давних пор хранится запись следующих слов Ломоносова о жене: «Я никогда не покидал ее и никогда не покину; обстоятельства мешали мне писать ей и тем более вызывать к себе». Так и было. Михаил Васильевич никогда не покидал своей жены. всю жизнь он жил с нею и никогда не забывал.

Извращался образ Ломоносова и с другой стороны. Пекарский писал: «Сын чернососного крестьянина, который не далее, как 6 лет назад еще показывался по ревизским сказкам своей волости в бегах, почему за него платили подушные деньги несколько неповинные в том односельцы его, Ломоносов, достигнув известности и случая, воспользовался ею, считая себя вправе добиваться закрепощения для своих выгод 200 свободных людей из того самого сословия, из которого вышел он сам». Это было написано Пекарским во втором томе Истории Академии наук в Петербурге в 1873 году и повторялось даже в наше время. В 1933 году в книге Шторма «Ломоносов» не только повторена эта цитата, но и дополнена некоторыми «подробностями». Это сделано вопреки фактам и документам. Это противоречит всему, что делал и к чему стремился Михаил Васильевич. Усть-Радичкая фабрика построена Ломоносовым как научное и экономическое предприятие с целью развить отечественную промышленность, избавить

ся от заграничной зависимости. Наука для Ломоносова была непосредственно связана с практикой, с развитием производительных сил страны, ее культуры. Все научные достижения Ломоносова направляла на благо родины. Так, например, он решил на научной основе организовать стекольное дело — стекольные изделия в России не изготовлялись, они привозились из-за границы «на многие тысячи». Ломоносов рассчитывал поставить производству так, чтобы не только «удовольствовать» всю потребность внутреннего рынка, но и отпустить товары за море. Успех в конкуренции с заморскими товарами обеспечивался более низкой ценой изделий русской фабрики. Ломоносов был далек даже от мысли рассматривать фабрику как частное предприятие. Из проекта постройки фабрики, написанного Ломоносовым, можно понять, что хозяином предприятия должна быть казна, а на долю самого Ломоносова остается передача своих знаний и опыта. Для Ломоносова важно было осуществить свою идею, имеющую государственное значение, а не обогатиться. Он всю жизнь прожил в нужде и заботился только о науке и народе. Он заговаривал о деньгах только тогда, когда денежные затруднения становились преградой на пути к научным изысканиям. Ему никто ни в чем не помогал. Приходилось бороться за каждую мелочь. 15 августа 1751 года Ломоносов просил И. И. Шувалова: «Постарайся о моем нижайшем прошении, чтобы мне, имея случай и способы, удобнее было производить в действие мои в науках предприятия. Ибо хотя голова моя и много заучает, да руки одни, и хотя во многих случаях можно бы употребить чужое, да применять не имею власти. За безделицею принужден много раз в Канцелярию бегать и подъячим кланяться»¹.

Фабрика ухудшала материальное положение Ломоносова. Последние десять лет жизни омрачены большой нуждой. Фабрика поглощала все его средства, отнимала много сил и времени, но он не хотел ее бросить. Когда Ломоносов умер, то дома не оказалось средств на похороны. Вот какие «выгоды» извлек он из фабрики.

В книге «Ломоносов» Шторм занял неправильную позицию в оценке исторических работ Ломоносова, тов. Шторм забыл, что Ломоносов любил свой русский народ и верил в его великое будущее. Эта любовь к народу и побудила его к занятиям

¹ Билярский, Материалы для биографии Ломоносова, 1865, стр. 154.

по русской истории. Тогда не было серьезных научных исследований по истории России. Ломоносов решил восполнить этот пробел, написать историю своей страны и одновременно опровергнуть преувеличения, клеветнические выдумки о дикости России.

«Не мало имеем свидетельств,— писал Ломоносов,— что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели»¹.

Между Ломоносовым и иностранными историками Миллером и Шлецером происходили ожесточенные споры. Ломоносов ревниво охранял документы русской истории, всеми силами старался не допускать к историческим первоисточникам иностранцев, не внушающих доверия. Он ознакомился с планом использования историком Шлецером архива по русской истории и потребовал, чтобы у Шлецера все исторические документы отобрали, так как «заклЮчить можно, каких гнусных пакостей не наколОбродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина».

Ломоносов боролся с иностранными реакционными учеными, клеветавшими на русский народ, так же решительно и смело, как боролся он и с русскими реакционерами. Ломоносов неутомимо боролся со всеми врагами народа. Патриотизм, любовь к народу — вот что характерно для Ломоносова. И это проявилось в самых различных областях деятельности Михаила Васильевича.

Книга Шторма вышла в 1933 году. Теперь о ней, может быть, и вспоминать не следовало бы. Но вся беда заключается в том, что это — самая подробная биография Ломоносова и после нее ничего другого не вышло. Кроме того, почти во всех книжках-указателях основной литературы о Ломоносове, вышедших в 1940 году, числится книга Шторма. Ленинградская публичная библиотека в своей книге «М. В. Ломоносов» рекомендует своим читателям книжку Шторма. Коллектор детских и юношеских библиотек Лепкогиза — тоже ее рекомендует. Новосибирская областная библиотека — рекомендует, Архангельская областная библиотека им. Добролюбова — рекомендует, рекомендуют и другие.

Необходимо написать новую книгу о жизни Ломоносова, которую действительно следовало бы рекомендовать советскому читателю.

Хорошую книгу дала советскому читателю в 1940 году Академия наук СССР. Она выпустила к 175-летней годовщине его смерти сборник «Ломоносов» с новыми материалами о деятельности великого ученого. Этот коллективный труд превосходит все, что напечатано за последние годы о Ломоносове. В сборнике впервые напечатан химический журнал Ломоносова, показывающий огромную экспериментальную работу Ломоносова. Выше 3000 опытов сделал Михаил Васильевич в поисках способа выделки цветных стекол и достиг своей цели. Он мог готовить стекла всевозможных цветов. В своей химической лаборатории он делал самые разнообразные опыты: отыскивал способ изготовления окрашенных стекол, фарфора, производил анализы и экспертизы разных продуктов, делал физико-химические опыты, связанные с курсом лекций по физической химии. Ломоносов создавал новую химию.

В сборнике напечатан «Лабораторный журнал» первого периода деятельности Ломоносова в химической лаборатории. В этот период Ломоносов был поглощен практическими целями, изготовлением цветного стекла и т. п. Журнал, в котором отражена деятельность второго периода, не пайден. «Лабораторный журнал» и некоторые другие записи опытов воспроизведены точно так, как они были написаны М. В. Ломоносовым. Недостаёт только одного и очень существенного — комментариев. Без них химические знаки и лакокрасочные записи выглядят сиротливо. Они требуют рассказа о себе. Расширенных комментариев требуют и другие материалы и документы, опубликованные в сборнике.

Достоинство сборника заключается в том, что в нем показано, как Ломоносов, отталкиваясь от общих предпосылок научной мысли своей эпохи, перерабатывал накопленные человечеством знания, вносил в науку свое новое, великое слово.

Сборник Академии наук неоспоримо доказывает, что изучение трудов Ломоносова имеет большое, актуальное значение. В статье «Теория Ломоносова о строении комет» Н. И. Идельсон задает вопрос: «Имеет ли смысл разбирать, с точки зрения современной науки, был ли прав или ошибался Ломоносов в своих гипотезах?» И отвечает: «Казалось бы, нет,— просто потому, что в эпоху Ломоносова не существовало еще тех основных методов наблюдений, с помощью которых наука, спустя 100—150 лет, смогла подойти к правильной постановке проблемы»... Однако

¹ Ломоносов, Набранные философские сочинения, 1940 г., стр. 298.

дело обстоит совершенно иначе. Тов. Идельсон пишет: «Изучая современную литературу, можно, напротив, прийти к выводу, что Ломоносов в своих смелых, новаторских построенных подходах, если не к истине, то, во всяком случае, к грани некоторой новой истины». Это мнение тов. Идельсона подтверждается доказательством С. В. Орлова. В монографии о кометах тов. Орлов, виднейший советский специалист по кометной астрономии, говорит: «Ломоносову принадлежит первое серьезное исследование по физической теории кометных хвостов... заключительные слова работы Ломоносова: «комет бледного свечения и хвостов причина не довольно еще исследована, которую я без сомнения в электрической силе полагаю... сие явление с северным сиянием сродно», — могут быть повторены и сейчас: они по существу не расходятся с современными нашими взглядами»¹.

После ряда доказательств тов. Идельсон приходит к такому выводу: «Следовательно, хотя вся структура и содержание астрофизического знания изменились со времен Ломоносова до неузнаваемости, — его мысли, его основные концепции, во всяком случае, не встали вразрез с содержанием теории новейшего времени. Все, что в них было наивного — все рассуждения об «атмосферах» комет, — отпали, но характер явлений, или, лучше сказать, общий класс явлений, с которыми мы в данном случае имеем дело, был им предугадан правильно; это едва ли не лучший триумф его смелого и передового подхода к природе, удивительного в его силе и ясности»².

Это — одно из доказательств актуальности изучения наследства Ломоносова. В. В. Данилевский в статье «Ломоносов как техник»³ отмечает: «Много тысяч выступлений в печати на русском, немецком, шведском, английском, французском и других языках посвящено жизни и творчеству великого русского гения Михаила Васильевича Ломоносова. Тем не менее его замечательные труды все еще остаются далеко неполно освещенными. Наиболее недостаточно изучена практическая и те-

оретическая деятельность Ломоносова в области техники... До настоящего времени не вышло из печати ни одной монографии, посвященной трудам кого-либо из великих русских техников XVIII века. Нет и монографий, посвященных творчеству Ломоносова в области техники». А между тем, — говорит тов. Данилевский, — каждый из работающих в области техники каждый день пользуется результатами трудов Ломоносова. Ломоносов помог русской технике заговорить свободным, простым, понятным, точным языком — тем языком, которым пользуется теперь каждый русский инженер.

Ломоносов ввел в обращение такие русские термины: трение тел, удельный вес, упругость, давление воздуха, законы движения, влажность воздуха, равновесие тел и другие. Он изгнал из русского языка всякие «эризонты», «квадратумы», «препэрдии» и многие другие слова, не свойственные русскому языку. Очищая русский язык от чужих слов, Ломоносов не выбрасывал все иностранные слова единым махом. Тов. Данилевский справедливо замечает, что «в тех случаях, когда перевод чужого слова был почему-либо нецелесообразен или когда данное чужое слово изучило всеобщее распространение и обоснованно утвердилось в обращении, — Ломоносов сохранял и чужое слово, критически пересмотрев самую форму его»¹. Ломоносов ввел такие общепринятые теперь иностранные термины, как: горизонт, квадрат, пропорция, диаметр, сфера, парабол, горизонтальный, вертикальный, атмосфера, барометр и многие другие. Ломоносов заложил основы русского научного языка.

А. А. Елисеев в статье «Физический кабинет Академии наук в первой половине XVIII в. и Ломоносов» отмечает, что, несмотря на сравнительно большую литературу о научном творчестве Ломоносова, деятельность Ломоносова как физика-экспериментатора, замечательного конструктора новых приборов, организатора и руководителя первой в России и в Европе лаборатории-мастерской по прикладной оптике до сего времени не изучена, не изучена также та аппаратура и инструменты, которыми пользовался Ломоносов. не изучены условия, в которых он проводил исследования по физике, не последовал вопрос о связи научных взглядов Ломоносова, его тем и методов в области физики

¹ С. В. Орлов, *Кометы*. ОНТИ. 1935. Предисловие.

² «Физическое строение кометных хвостов». Русский астрономический календарь. Нижний-Новгород, 1927 г., вып. XXX, стр. 144.

³ «Ломоносов», Сборник Академии наук СССР, 1940 г., стр. 71.

¹ «Ломоносов», Сборник Академии наук СССР, 1940 г., стр. 223.

с работами его ближайших предшественников и современников.

В статье «Русское естествознание второй половины XVIII в. и Ломоносов» Г. И. Райнов пишет, то нельзя считать законченным изучение естественно-научного наследия Ломоносова, несмотря на значительные достижения в этой области.

Литературное наследство Ломоносова до сих пор не приведено в порядок и точно не установлено. А. И. Андреев в статье «Неизвестные труды Ломоносова по географии, этнографии и истории России» говорит, что рукописи Ломоносова хранятся в разных местах: в Архиве Академии наук СССР, в Рукописном отделении Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, в Отделе архива Государственного Исторического Музея в Москве, в Отделении рукописей Государственной Публичной библиотеки им. Е. М. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и др. Нет до сего времени полного учета автографов Ломоносова — его трудов, записок, писем и т. п.

В 1940 году в государственном социально-экономическом издательстве вышла книжка Г. Васецкого «М. В. Ломоносов, его философские и социально-политические взгляды». Этой теме касались многие исследователи. Но в отличие от многих тов. Васецкий сумел написать на эту весьма сложную, трудную тему наиболее правильно, ясно и просто. Г. Васецкий дал научно-популярный очерк философских и социально-политических взглядов Михаила Васильевича Ломоносова. Книга рассчитана на широкий круг советской интеллигенции. И расчет этот, по видимому, оправдался.

Первая глава книги «Основные вехи жизни и деятельности Ломоносова» кажется слишком краткой и схематичной, но необходима для правильного восприятия последующего. Вторая глава «Социально-политические воззрения Ломоносова» затрагивает очень много весьма существенных вопросов, но выделяет один главный вопрос — борьбу Ломоносова за экономическую и культурную самостоятельность России, борьбу за честь и процветание своей страны. Написана вторая глава скупо и бегло, но дает ясное представление об одной из наиболее существенных сторон деятельности гениального сына русского народа. Автор не задерживает читателя на двух первых главах. Он стремится поскорей развернуть перед читателем философию Ломоносова.

Ломоносов был великим ученым-энциклопедистом. Он знал почти все существовавшие тогда науки. Он на столетия опередил науку своего времени. Он был физиком, химиком, математиком, механиком, геологом, металлургом, астрономом, историком, педагогом, поэтом, философом, основателем русского литературного и научного языка, основоположником естественно-научного материализма в России. Ломоносов, по выражению А. С. Пушкина, «создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Работал Ломоносов в то время, когда в России господствовали феодальные отношения, когда в недрах крепостнического строя только начинали возникать капиталистические формы хозяйства. Человек был вооружен далеко не совершенными орудиями производства. Техника была развита слабо.

Ломоносов и его эпоха... Тяжелое, мрачное время крепостничества и гениальный человек, опередивший свое время на столетия. Появление Ломоносова в такое время Белинский сравнивал с северным сиянием. Он писал: «Но вдруг... на берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате. что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставит ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному» («Литературные мечтания»).

Задача исследователя в том и заключается, чтобы показать ослепительное и прекрасное — явление Ломоносова, торжество гения над всеми препятствиями.

Тов. Васецкий, хотя не в полной мере, но в пределах своего очерка показывает Ломоносова как титана мысли и борца преодолевающего преграды на своем пути.

В главе «Философские взгляды Ломоносова» рассказано об эрудиции Михаила Васильевича и об его умении полнее и шире передовых ученых того времени исследовать явления природы, глубже объяснять сущность явлений. Ломоносов рассматривал мир с материалистической точки зрения.

В XVII—XVIII веках в естествознании и философии господствовал метафизический взгляд на мир. «Согласно этому взгляду, — по определению Маркса и Энгельса, — природа каким бы путем она ни возникала, раз она уже имеется налицо,

остаётся всегда неизменной, пока она существует»¹.

Механистичность, отсутствие исторического взгляда на природу, идеализм в понимании общественных явлений — вот главные черты домарковского материализма и метафизического естествознания XVII и XVIII веков. Это же самое определяет философские и естественно-научные воззрения Ломоносова. Основной вопрос философии при объяснении явлений природы Ломоносов решил материалистически. Материальный мир для него существует вне и независимо от сознания. Для доказательства этого взгляда Ломоносова тов. Васецкий приводит закон сохранения материи и энергии, изложенный Ломоносовым.

Ломоносов не повторял учения крупнейших представителей механистического естествознания и материалистической философии того времени. Он вносил в философию свое, новое. Он по-новому поставил вопрос о движении материи, о разнообразии ее свойств, о весомости материи. Наиболее сильными сторонами мировоззрения Ломоносова являются: учение о единстве теории и опыта, о единстве живого созерцания и теоретического мышления. Это тов. Васецкий отметил, но маловато об этом написал.

Хотелось бы также побольше узнать об элементах диалектики в мировоззрении Ломоносова. Тов. Васецкий пишет: «Хотя Ломоносов в основном был метафизическим, механистическим материалистом, но в его учении о материи и ее свойствах теории познания, единстве теории и практики содержатся элементы диалектики.

В отличие от многих философов и естествоиспытателей XVII и XVIII веков Ломоносов считал, что как природа в целом, так и отдельные материальные предметы не являются абсолютно неизменными» (стр. 48).

Для доказательства тов. Васецкий приводит следующую цитату из сочинений Ломоносова: «...твердо помнить должно, что видимые телесные на земли вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим, но великия происходили в нем перемены, что показывает История и древняя География, с внешнею смесенная, и случающиеся в паше веки перемены земной поверхности. Когда и главные величайшия тела мира, планеты, и самыя неподвижныя звезды изменяются, теряются в небе, показыва-

ются вновь; то в рассуждении оных малаго нашего шара земного малейшия частицы, то есть горы (ужасные в глазах наших громады) могут ли от перемен быть свободны?»¹. Эта формулировка принципа изменчивости земли является классической. Жаль, что тов. Васецкий не привел до конца всей этой формулировки. А конец весьма интересен. Необходимо его привести: «Итак, напрасно многие думают, что все, как видим, сначала творцом создано; будто не только горы, доли и воды, но и разные роды минералов произошли вместе со всем светом; и потому де ненужно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно и натуральному знанию шара земного, а особливо искусству рудного дела, хотя оным умникам и легко быть философами, научась панзусть три слова: бог так сотворил; и сие дав в ответ вместо всех причин»².

Это — удар по метафизическому представлению мира. Идея изменчивости мира положена Ломоносовым в основу многих произведений. Тов. Васецкий затронул весьма существенный вопрос, недостаточное разработанный в нашей литературе. Вопрос об отношении Ломоносова к религии. Верил ли Ломоносов в бога или не верил? Был ли он атеистом или не был? Известно, что Ломоносов боролся с религией, считая, что духовенство приносит величайший вред народу, строит свое благополучие на его несчастии, причиняет ему большие бедствия. Ломоносов требовал, чтобы попы не мешали науке. Тов. Васецкий отмечает, что «борьба Ломоносова с религией носила прогрессивный характер, подрывала устой церкви, порождала неверие, отрицательное отношение к духовенству у лучших представителей народа».

Господство религии накладывало своеобразный отпечаток на умы прогрессивных деятелей эпохи Ломоносова. Некоторые ученые того времени боролись с религией, прикрываясь формой деизма. Отмечая все это, тов. Васецкий пишет: «В условиях господства феодально-крепостнических общественных отношений деизм Ломоносова являлся в основном скрытой формой атеизма. «Деизм, — писал Маркс, — не более чем удобный и легкий способ отделаться от религии — по крайней мере для материалиста».

¹ Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 478.

¹ Ломоносов, Соч., т. VII, стр. 212.

² Там же.

«Ломоносов отстаивал, — пишет тов. Васецкий, — и дальше развивал точку зрения тех корифеев передовой науки, которые хотя и не отрицали бога, рассматривая его как безличную первопричину мира, но при объяснении явлений природы исходили из ее законов» (стр. 50). Так дан ответ на вопрос об отношении Ломоносова к религии.

В четвертой главе тов. Васецкий ясно и просто рассказал о естественно-научном материализме Ломоносова. Эта трудная задача разрешена на 24 страницах небольшого формата книги. Затронуты многие области деятельности великого ученого, упомянуто о множестве научных проблем, теорий, гипотез, фактов. Но получается не беглый обзор, а очерк, создающий представление о гениальном русском человеке.

Принято считать, что филологическое наследие Ломоносова изучено достаточно. На самом деле это далеко не так. Написано о поэзии Ломоносова много. Сказано много хорошего, ценного. Но многое еще не договорено, не дописано. Литературная деятельность Ломоносова настолько значительна, его роль в истории русской литературы настолько велика, что ни одному исследователю не удалось до сего времени дать полного, глубокого анализа его творчества.

В конце XVIII века и в пушкинские времена о Ломоносове писали главным образом как о поэте, его чтили как художника слова, видели в нем только «витию, что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию». Со второй половины XIX века внимание исследователей сосредоточено преимущественно на научно-исследовательской деятельности Ломоносова. Литературное наследие отодвинуто на второй план. Ломоносов как основоположник русской литературы, как преобразователь литературного языка и как основатель научного литературоведения не изучен в должной мере. Поэтому не случайно, что в многочисленных справочниках, указателях основной литературы о Ломоносове, вышедших в 1940 году, приведено очень мало названий. В разделе «Ломоносов как писатель» упоминаются работы: Беркова П. Н. «Ломоносов и литературная полемика его времени», изд. 1936 г., Гукковского Г. «Русская литература XVIII века» (учебник, в котором есть глава «Ломоносов»), затем указывается небольшое количество статей, помещенных в газетах, журналах и сборниках. Исследования филологического наследия Ломоносова, сделанные до советского времени, кажутся

настолько устаревшими, что ни один библиограф не решился включить ни единой работы.

Ломоносов изучен недостаточно. Литературное наследие Ломоносова разработано далеко не полно.

Среди представителей передовой науки и передового искусства прошлого одно из первых мест занимает Ломоносов. А между тем еще многие стороны деятельности великого ученого и поэта падают в тени. Так, например, почти незамеченной осталась статья Ломоносова «О должности журналистов». Она касается некоторых вопросов литературной критики, и потому необходимо сейчас к ней особенно пристально присмотреться. В ней Ломоносов говорит о величайшей роли справедливой критики в распространении науки. Журналисты, добросовестные критики, могут «способствовать к приращению человеческих знаний». Для этого, по мнению Ломоносова, требуется: «способность и воля. «Способность нужна для того, чтобы основательно и со знанием дела обсуждать ту массу разнородных предметов, которая входит в их план; воли — чтобы, не имея в виду ничего, кроме истины, ни к чему не поддаваться предрассудкам и страстям». Но большая часть, — говорит Ломоносов, — пишущих смотрит на свое авторство, как на ремесло и на средство к пропитанию, вместо того, чтоб иметь в виду точное и основательное исследование истины.

«Дело дошло до того, — пишет Ломоносов, — что нет столь дурного сочинения: которого бы не расхвалил и не превознес какой-нибудь журнал, и, наоборот, как бы превосходен ни был труд, его непременно очернит и растерзает какой-нибудь ничего не знающий или несправедливый критик... Журналист сведущий, провинциальный, справедливый и скромный сделался чем-то вроде феникса».

Далее Михаил Васильевич пишет:

«Кто берется сообщать публике содержание новых сочинений, должен наперед взвесить свои силы, ибо он предпринимает труд тяжелый и весьма сложный, которого цель не в том, чтобы передавать вещи известные и истины общие, но чтобы уметь схватить новое и существенное в сочинениях, принадлежащих иногда людям самым гениальным. Говорить о них неверно и нерассудительно — значит, полагать себя презрению и посмеянию, значит уподобляться Карлу, который захотел бы поднять на своих плечах горы».

Ломоносов предупреждает журналистов от поспешных, опрометчивых суждений. Он требует тщательности, точности. Он пишет: «малейшие пропуски или неточности могут подать повод к опрометчивым суждениям, которые уже и сами по себе постыдны, но становятся такими еще более, когда в них ясно выказываются небрежность, невежество, поспешность» и т. п.

Ломоносов предостерегает журналистов от порицания гипотез.

Гипотезы, по его мнению, это единственный путь, которым величайшие люди открывали истины самые важные. «Это как бы порывы, доставляющие им возможность достигнуть знаний, до которых умы низкие и пресмыкающиеся в пыли никогда добраться не могут».

Ломоносов говорит, что журналист может опровергать то, что по его мнению заслуживает опровержения. Но кто берется за это дело, должен вполне ознакомиться с мыслями автора, разобрать все доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные доводы. «Одни сомнения и произвольные вопросы не дают этого права, ибо лет такого невежды, который не мог бы предложить гораздо более вопросов, нежели сколько самый сведущий человек в состоянии разрешить».

Основная мысль статей Ломоносова о литературе сводится к тому, что необходимо бороться за содержательность, идейность литературы, за совершенную форму. Ломоносов выступал против дилетантства и полуграмотного, рабского подражательства. Он говорил, что литература — дело трудное, сложное, что литератору нужно знать очень многое. Поэтому-то он и предложил «рассуждение о том, сколь трудна наука стихотворческая и сколь великое знание во всем тому человеку иметь надлежит, который стихотворцем быть хочет...» («О качествах стихотворца рассуждение»). Ломоносов предъявлял к писателям высокие требования. Он говорил, что писатель должен быть многосторонне образованным, «...чтоб автором быть, должно ученическим порядком от малых погтей всему перво учиться, в науках пребывать до возрастных лет». «Отчего бывает,— писал Ломоносов,— что новый автор, написавши малое число поэм, станет тотчас ослабевать? Не оттого ли, что сочиняя его от одного чтения и подражания украшаются? Он сам себе хотя и рождает мысли, но ежели бы не имел оригинала, то бы целого составить не мог. Сие то самое

есть, что я говорю: без наук человеку две или три пиесы сочинить удастся, потому, что писко или не знает, или не поверяет, кого автор за оригинал себе представляет. По ежели бы таковой счастливый разум исполнен был литературы, то бы не подражанием только, но и своим собственным вымыслом всегда нечто новое и небывалое рождать мог» («О качествах стихотворца рассуждение»). Ломоносов предупреждал писателей от искажения родной речи иноязычными влияниями. Он предостерегал от увлечения языковыми замечательностями. Ломоносов писал: «Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собою разнятся. И для того береги свойства собственного своего языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смею достойно иногда бывает в русском» («О качествах стихотворца рассуждение»).

Ломоносов предупреждал также и от упрощенчества и вульгаризации. Он писал:

«Не вовсе себя порабощай, однакож, употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить. Не будь притом и дерзостен сочинитель новых. Хотя и свой собственный составишь стиль, однакож был бы он чист в правописании и этимологии, плодоносен в изображении слов и речений приличных, исправен в точности их разума, в ясном мыслей изображении, в непринужденной краткости, в удалении от пустаго веле-речия, в падении по просодии, в периодах, пезаплетенных союзах, наречиями и междометиями, мысль твою затемняющими» («О качествах стихотворца рассуждение»).

Ломоносов настойчиво добивался в языке популярности, простоты, ясности. Он говорил: стараться должно, чтобы при важности и великолелии своем слово было каждому понятно и вразумительно.

Ломоносов как художник слова изучен недостаточно. Почти ничего не сказано о том, что Ломоносов как художник выступает и в своей научной работе. Тов. Вавилов в предисловии к сборнику статей и материалов о Ломоносове (изд. 1940 г.) справедливо заметил, что «научная проза Ломоносова и в особенности его «Слова» являются иногда такими же классическими примерами художественной прозы, как и Saggiatore Галилея». Поэзия Ломоносова во многих случаях — поэзия естествознания. Науке Ломоносов посвящал целые оды. Наука была любимой темой его поэзии. В оде «Вечернее размышление о бо-

жем величестве» (1743 г.) он изложил целую научную гипотезу о северном сиянии. Сам Ломоносов говорил, что его ода о северном сиянии, сочиненная в 1743 году, содержит его давнишнее мнение, что северное сияние является результатом движения эфира. Ломоносов умел сочетать в своей деятельности горячее вдохновение поэта и энтузиазм ученого.

Ломоносов страстно любил науку и был блестящим пропагандистом ее. В своем «Слове о пользе химии», произнесенном на заседании Академии наук 6 сентября 1751 года, он, как художник и ученый, показал то прекрасное будущее, которое создаст человечество с помощью химии.

«Желал бы я вас ввести в великолепный храм сего человеческого благополучия...— говорил Ломоносов.— Прошу, последуйте за мною мыслями вашими в один токмо внутренний чертог сего великого здания, в котором потицусь вам кратко показать некоторые сокровища богатые природы, и объявить употребление и пользу тех перемен и явлений, которые в них химия производит».

В другом публичном выступлении, в «Слове о происхождении света», Ломоносов еще с большей силой говорил о науке и об ученых, ведущих человечество к лучшей жизни.

Чем больше таинства ее (природы) разум постигает, тем вянше увеселение

чувствует сердце... Много препятствий неутомимые испытатели преодолели и следующие по себе труды облегчили, разогнали мрачные тучи, и в чистое небо далеке проникли... Посмотрим коль великую громаду материй на сле дело они собрали; или, как о древних сказывают исполниках, геру великую воздвигли, дерзая приближаться к источнику толкого сияния, толкого цветов великолетия. Взойдет на высоту за нами без страха: наступим на сильные их плечи и, подявшись выше всякого мрака предупрежденных (предвзятых) мыслей, устремим еколко возможно остроумия и рассуждения очи, для испытания причин происхождения света и разделения его на разные цвета»...

Таких примеров у Ломоносова не мало. Изучение их покажет, как художественное слово помогает науке и принесет нам не малую пользу для современной пропаганды.

В 1940 году вышло много ценных статей о Ломоносове. Из них о литературной деятельности Михаила Васильевича выделяются две статьи. Одна — профессора Тимофеева Л. П., помещенная в журнале «Литература в школе» № 2, а другая — профессора Благого Д. Д. — в журнале «Литературный критик» № 5—6. Подобного рода статьи следовало бы издать отдельным сборником. Такой сборник будет ценным пособием, он заполнит, в какой-то мере, существующий пробел.

МАЯКОВСКОМУ

Под таким заголовком в Ленинграде вышел сборник воспоминаний и статей о лучшем, талантливейшем поэте нашего времени. В объемистом томе участвуют двадцать два автора. Однако наиболее интересное и ценное в рецензируемой книге уже было напечатано не только в газетах и журналах, но кое-что вошло в другие сборники и книги о Маяковском. Так, например, Сергей Спасский, представленный в сборнике воспоминаниями о Маяковском периода кафе футуристов в Москве на Настасьинском, публиковал их в журнале «Литературный современник», затем в своей книге «Маяковский и его спутники»; В. Катанян статьи: «В них что-то есть», «Они свое — а мы свое» и «Отношение к лошадям» публиковал в журнале, а затем в своей книге «Рассказы о Маяковском»; В. Азаров статью «Переулоч, мощный славой» публиковал в журнале, затем в ленинградском сборнике издательства «Советский писатель», посвященном Маяковскому. Перечисления подобного рода можно было бы продолжать, пока список участников рецензируемого сборника не был бы исчерпан почти полностью.

Что же в книге новое и насколько оно представляет интерес? Из двадцати двух статей только статьи В. Богданова-Березовского «Музыкальные встречи с Маяковским»; И. Оксенова «Маяковский среди поэтов 1915 года»; В. Десницкого, «Памяти поэта» и Осипа Брика «ИМО — Искусство молодых» — публикуются впервые.

Воспоминания И. Оксенова «Маяковский среди поэтов 1915 года» — свидетельство современника о том, как принимали и понимали Маяковского молодые поэты того времени. Воспоминания В. Десницкого представляют несомненный интерес для выяснения отношений Маяковского и Горького. В. Десницкий приводит следующие слова, сказанные Горьким о Маяковском: «В этом что-то есть. Не все я понимаю, но чувствую, что у него свой голос. И дьявольски громкий. Стихи не читает, а орет».

Любопытно также свидетельство В. Десницкого, помогающее выяснить историю создания стихотворения Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» и очерка Горького на ту же тему — «В большом городе», появившихся почти одновременно в газете «Новая жизнь».

«Не помню, обоим вместе или скорее каждому из них отдельно, — пишет В. Десницкий, — я описал уличную сцену: на мостовой у самого тротуара, без запряжки лежит на боку лошадь. Никаких видимых повреждений. От тяжелого дыхания бугрится и без того вздутый живот. С большими усилиями приподнимает с мостовой голову. Кажется, с недоумением и упреком смотрит на проходящих. Проходят люди, взглядывают на лошадь, на секунду другую останавливаются и идут дальше. Один мальчик, лет десяти, надергал пыльную траву и, опустившись на корточки, сует ее лошади. Лошадь тяжело вздыхает, травы не берет. Мальчик упрямится: «Ешь, лошадка».

...Алексей Максимович написал свой очерк непосредственно под впечатлением моего рассказа. Для Маяковского возможно возникновение данной темы и не зависело от моего сообщения. Но важно отметить, что мой рассказ с его возможностями социально-бытовых выводов потом был использован, правда, без конкретных деталей (лето, начинающийся голод и т. д.). Это свидетельствует как бы подкрепляет исследование В. Катаняна, посвященное этой же теме (см. его статью «Отношение к лошадям»).

«ИМО — Искусство молодых» — статья О. Брика ценна новыми материалами о наименее разработанном биографами периоде жизни Маяковского — с начала 1918 года по сентябрь 1919 года, т. е. до момента, когда Маяковский пошел работать в Роста. Брик говорит главным образом об издательской работе сотрудничества «Искусство молодых».

Он подробно описывает издательский путь хрестоматии футуристов «Ржаное слово», составленной Маяковским, характеризует взаимоотношения коллеги Наркомпроса и сотрудничества «Искусство молодых», а также выясняет отношение Луначарского, тогдашнего наркома просвещения, к ИМО и к творчеству Маяковского. Автор приводит несколько докладных записок ИМО, адресованных Луначарскому. Они подписаны членами коллеги ИМО — В. Маяковским и О. Бриком.

«Музыкальные встречи с Маяковским» — статья Богданова-Березовского, композитора, создающего музыку на тексты Маяковского. Появление такой статьи очень уместно. Как известно, переложение стихов Маяковского на музыку — задача ни в какой мере не разрешенная еще компо-

риторам. Богданов-Березовский объясняет это так: «технологические трудности» «омузыкаления» Маяковского играют существенную роль. Но основная причина, как мне кажется, заключается все же не в этом. Ведь если взять область программной музыки, не оперирующей словом, все эти трудности отпадают. Дело заключается в трудностях другого порядка — в трудностях нахождения музыкального стиля, соответствующего литературному стилю Маяковского. Здесь неизбежно во всей остроте и глубине встает проблема новаторства языка и новаторства формы. На темы Маяковского в музыке нельзя говорить теми же интонациями, что на темы Блока, Тютчева или Пушкина. Обычные приемы должны быть смещены».

Богданов-Березовский безусловно прав. Но, к сожалению, и он не дает ответа на вопрос, почему же все-таки композиторы мало работают над новой музыкальной формой, которая бы передавала содержание революционной поэзии Маяковского. То обстоятельство, что Богданов-Березовский делится с читателями своим опытом музыкальной работы над произведениями Маяковского, помогает привлечению внимания композиторов к творчеству поэта-агитатора.

Из материалов сборника следует еще отметить некоторые воспоминания о Маяковском, печатавшиеся в журналах, но не нашедшие еще оценки в нашей прессе. Из этих материалов следует выделить воспоминания Риты Райт и Л. Равича, интересные, прежде всего, тем, что в них характеризуется Маяковский со стороны его отношения к начинающим литераторам. В журнале «Новый Леф» Маяковский напечатал стихотворение молодого поэта Равича — студента Ленинградского Педагогического института имени Герцена. О своих встречах с Маяковским и рассказывает Равич. В его воспоминаниях вырисовывается образ Маяковского, необычайно чуткого старшего товарища и высокотребовательного учителя поэтической молодежи.

Воспоминания Риты Райт посвящены работе Маяковского в «Роста» и описанию подготовки к постановке и самой постановки «Мистерии Буфф» в Московском госцирке в 1921 году для делегатов III Конгресса Коминтерна. «Мистерия Буфф» была поставлена на немецком языке. Переводила Рита Райт. Маяковский не знал в совершенстве немецкий язык. Но, подчеркивает Рита Райт, у Владимира Владимировича было исключительное чувство специфики чужого ему языка.

«Мистерия Буфф» и на чужом языке стала революционным народным спектаклем. Маяковского долго вызывали. Наконец он вышел на середину арены, с какой-то совершенно несвойственной ему человечностью сдернул кепку и поклонился представителям всего земного шара, о судьбе которого он только что рассказал. Простое описание того, как появился Маяковский на арене перед делегатами III Конгресса Коминтерна, интересно и еще какой-то новой черточкой дополняет образ поэта.

Следует еще отметить работу Эвентова «Маяковский в «Новом Сатириконе» и Гофмана «Поэт-языкотворец».

Сборник «Маяковскому» сделан с любовью и хорошо оформлен. Но следует поставить вопрос перед редакторами и издателями: нужно ли, пользуясь огромным интересом читателя к Маяковскому, включать в новые издания статьи и воспоминания, которые уже известны по другим книгам, и не слишком ли расточительно издавать новый сборник, который состоит большей частью из перепечаток?

Н. Плиско

■ ■ ■

«ИНЖЕНЕР» ЮРИЯ КРЫМОВА

Два года назад Юрий Крымов выступил со своей первой книгой — повестью «Танкер «Дербент». Книга эта, фактически первая о заре стахановского движения, была тепло встречена нашим читателем и критикой.

Большое организующее значение этой книги представляется нам несомненным. Написав произведение о новаторах социалистического труда, Крымов сам выступил в качестве новатора, впервые осваивающего чрезвычайно важную, ответственную тему в литературе. Тем не менее, нам кажется, что, проявив законное чувство радости за писателя, неуклонно работающего на материале современности, внимательным взглядом подмечающего ростки нового, наша критика не обратила серьезного внимания на недостатки литературного мастерства Крымова: некоторый схематизм образов. Особенности сюжета «Танкера «Дербент» заслонили от глаз критики отмеченный нами недостаток. Особенности же эти заключаются в следующем.

Тема первой повести Крымова, трактуемой о новых, невиданных еще в истории людях, во многом перекликалась с традиционной и не раз встречавшейся в литературе темой: конфликт новатора с косностью.

Читая «Танкер», мы видим в нем все атрибуты этой темы, в том виде, как они не раз встречались в литературе: новатор стремится ко благу окружающих его людей, но они, в большинстве своем, не понимают новатора и мешают ему. Новатор обычно бывает одинок, не понят даже самыми близкими людьми, и часто даже самый дорогой человек покидает его... Но силой своей воли, силой фактов новатор доказывает свою правоту — и этим самым многих из своих недоброжелателей обращает в сторонников. Все это мы и встречаем в «Танкере», с поправками, разумеется, на специфику стахановского новаторства.

Конфликт новатора с косностью есть, по существу своему, один из напряженнейших социальных конфликтов и как таковой представляет благодарнейший материал для всякого писателя. Весь сюжет «Танкера «Дербент» есть, по существу,

динамическое развитие конфликта. И эта стремительная драматическая динамика да еще на новом, впервые использованном в литературе материале и заслонила ст критики некоторый схематизм образов.

Скажем больше: в «Танкере» развитием конфликта заменяется развитие характеров. В самом деле; попробуйте вообразить себе героев «Танкера» вышедшими из «рамок» данной повести, представить их поступки, облик, привычки, быт вне данной, конкретной ситуации. И вы увидите, как потускнеют краски.

Рассказывают, что Балзак считал высшей похвалой для себя услышать от друга что-нибудь вроде: «А я только что встретил в магазине Евгению Гранде. Она покупала себе шляпу».

Рассмотрим с этой точки зрения даже наиболее удавшийся автору образ героя повести — Басова.

Много ли дают нам для уяснения его характера, темперамента, вкусов характеристики, которые Крымов вкладывает в уста самому Басову и встречающихся с ним людей?

Муся о Басове: «Он такой... странный» (стр. 17).

Та же Муся о Басове: «Я говорю... он такой странный» (стр. 18).

Басов о себе: «Поломалась жизнь,— сказал он вслух,— неудачная жизнь... Неудачник» (стр. 43).

Это, так сказать, «характер Басова».

А вот характеристика его «необычайности»:

«Точатся на станке поршневые кольца — и Басову кажется, что можно сделать быстрее и сэкономить материал, если поставишь на станок два резца.

Заливают монтеры кабельную муфту — и опять ему кажется, что можно придумать, как заливать скорее и проще» (стр. 49—50).

Басов о себе: «Не знаю, что и рассказывать,— сказал Басов.— Правда, я самый обыкновенный человек. Но у нас есть чудесные ребята. Вот, например, Закирия Эйбат, азербайджанец...» (стр. 58).

Итак — «странный... обыкновенный... скромный» — и только. Нет, нельзя представить человека по этим характеристикам.

Но, возражая нам, дело не в характеристиках, а в том, как проявляет себя Басов в той борьбе, которую он ведет.

Но в том-то и дело, что в борьбе этой Басов показан односторонне. Это герой романтический, одна страсть показана в нем, страсть к новаторству.

Мы видим Басова, громящего предельщиков, Басова — организатора масс, но за рамками конкретных событий образ Басова тускнеет. И это — Басов, являющийся центром конфликта, фокусом, в котором переkreшиваются все линии событий! Что же сказать о его жене Мусе, Касацком, Истомине, Бредисе? Схематичность этих образов настолько очевидна, что даже не нуждается в доказательствах.

О недостатках «Танкера «Дербент» мы вспоминаем потому, что они, кажется нам, повторились и в новой повести Крымова — «Инженер».

В своем новом произведении Крымов остается верным своей теме: изображению новых людей, новых форм борьбы за социалистическое производство. Он поставил своей целью показать людей на производстве, людей различных характеров и устремлений, людей нетерпеливых, страстных, волевых и людей трусливых, равнодушных, эгоистичных.

Крымов понимает, что не только прямые враги стахановского движения мешают нашему делу, но и люди, зараженные равнодушием, трусостью.

Поставив все эти вопросы в своем новом произведении, Крымов сделал нужное и полезное дело. Но, повторяем, повесть Крымова не лишена серьезных недостатков.

Содержание повести, вкратце, заключается в следующем: студенты-нефтяники окончили вуз. Предстоит распределение на работу. Среди них Аня Мельникова, Григорий Емчинов и Сергей Стамов, по прозвищу «Большой».

Аня любит Емчинова. Стамов ей также нравится. Она выходит замуж за Емчинова и, когда его вызывают на работу в Москву, в главк, едет с ним. Стамов же направляется на нефтяные промыслы в Рамбеково.

Шесть лет Аня и Григорий живут в Москве. Затем Емчинова назначают директором Рамбековнефти, и он едет туда вместе с Аней.

Там, в Рамбеково, Аня убеждается, что ее муж — в прошлом боец и партизан — стал теперь черствым, равнодушным человеком, мешающим стахановскому движению. Она уходит от него. Приказ наркома о снятии Емчинова с работы лишь «организационно оформляет» фактический крах Емчинова. По существу это все.

В своей новой повести Крымов идет по линии наибольшего сопротивления. Тема его попржежнему сложна и значительна: он хочет показать будни стахановского труда, хочет показать, как в отношениях к этому труду и к самим стахановцам проявляются характеры людей, какую опасность для живого дела представляет равнодушие, как пагубно отзывается это равнодушие на самих его носителях. Но не только в выборе темы выразилась эта линия наибольшего сопротивления. Она сказалась и в построении сюжета. Сюжет «Инженера» лишен внешне эффектных остро-драматических ситуаций «Танкера «Дербент». В нем нет центрального сюжетного конфликта, двигающего сюжет. И поэтому Крымов обязан идти, так сказать, вглубь материала, ибо, если нет конфликта, помогающего автору обнажить характеры своих персонажей, сюжет должны двигать особенно тщательно, глубоко продуманные, логически обоснованные изменения человеческих чувств и отношений.

Но, как это было и в «Танкере», именно это изображение характеров людей, движений человеческой души и не является пока еще сильной стороной автора.

Обратим внимание на развитие человеческих отношений в повести и на их мотивировку.

Вначале дан «треугольник»: Аня — Григорий — Стамов. Мы уже говорили, что Аня любит Григория, но в то же время весьма равнодушна к Сергею, который любит ее. Аня выходит замуж за Григория. Почему? Это неизвестно. Очевидно (это не показано), потому что она больше любила Емчинова. Но, читая повесть, мы убеждаемся, что Крымов поставил Аню и Григория в, так сказать, «заранее данную» ситуацию, которая соответствует намеченной им сюжетной канве. Более того, из характеров Ани и Григория, в какой-то мере проявляемых на первых же страницах, явствует, что Аня по духу гораздо более подходит к Стамову, нежели Емчинову, да и любит-то она Сергея больше. Но Крымов заставляет свою героиню совершить ошибку для того, чтобы через сорок страниц заставить ее эту ошибку исправить.

Характер Емчинова кажется нам нелогичным. В самом деле, из слов автора мы узнаем, что это бывший партизан, участник гражданской войны, «человек бывалый». То, что (и как) говорит Емчинов в начале повести, аттестует его с неплохой стороны. Но чем ближе подходит дело к переезду в Рамбеково — арену, на которой предстоит развернуться основному действию, — характер Емчинова начинает симптоматически изменяться. Вернее, Крымов своей авторской волей изменяет его.

Чем ближе к Рамбекову, тем более торопится Крымов наделять своего героя неприятными чертами. Вот на вечер в главе у Григория обнаруживаются черты подхалимства, а вот уже Анна Львовна (кстати, возраст Ани Крымов подчеркивает прибавлением к ее имени отчества, но, увы, Аня от этого не стареет) элегически замечает:

«Ведь он когда-то был на фронте, рубился в конном строю и до хрипоты кричал на митингах. Как жалко, что я не знала его тогда... Как жалко, что мы не работаем вместе. Наша жизнь была бы полнее и ярче, как у героев этой пьесы, которые так красиво любят и страстно враждуют друг с другом». И она украдкой взглядывала на своего мужа. Виски его заметно поседели, походка отяжелела, и появилась привычка устало щурить глаза. Но в лице его сохранилось еще что-то юное, пожалуй, вот в этой насмешливой складке рта да в розовых щеках; глаза если не щурятся, смотрят совсем по-моллоду, и он попрежнему толкует о своей дряхлости, — значит, еще не чувствует себя постаревшим».

Итак, мы уже предупреждены против Григория Емчинова, несмотря на то, что Крымов, верный чеховской традиции, не акцентирует ни его положительные, ни его отрицательные качества. Но незаконное развитие характера Емчинова мстит само за себя, и к моменту приезда Емчинова в Рамбеково мы «предугадываем» по крайней мере, что:

1. Емчинов проявит себя как отрицательный персонаж.
2. Аня сделает из этого выводы, тем более, что —
3. здесь Стамов.

И действительно, Емчинов, этот, с обывательской точки зрения, неплохой (по крайней мере он искренне любит Аню и искренне убежден в том, что он хороший хозяйственный) человек, начинает проявлять себя как персонаж явно отрицательный.

Вот его первое знакомство с мастером-стахановцем Шеином. Шеин рассказывает Емчинову о неполадках на производстве, и вот как реагирует на это Емчинов:

«Утвердительно кивая головой, Емчинов зорко вглядывался в собеседника. Маленький, рябоватый, одетый в ватный пиджак, со складным метром, торчащим из кармана, он походил на расторопного сезонника-плотника или землекопа. Из всего, что говорил этот человек, Емчинов понял одно: Шеин хочет, чтобы его рекорды стали обычной нормой для всех бурильщиков, а значит — перестали быть исключительной заслугой его, Шеина. Выходило, что Шеин из знаменитости хотел превратиться в обыкновенного человека. За этим, несомненно, скрывалась какая-то другая цель, и ее старался разгадать Емчинов.

Может быть, Шеин добивался контроля над цехами? Или он хочет выжить начальника трубной базы? Пока это оставалось неясным. Не следует торопиться и обещать Шеину поддержку, но ссориться со знатным бурильщиком тоже не с руки.

— Что же, кое-кого придется потревожить, — сказал он неопределенно. — Если понадобится, пойдем и на это».

Что же происходит далее? А далее все разыгрывается, как по нотам. Емчинов проявив себя в беседе с Шеином как подозрительный, нечуткий человек, несколькими страницами позже «добывает» техника Петина, скромного, робкого изобретателя, потерпевшего неудачу.

Что хотел сказать Крымов образом Емчинова? Повидимому, нижеследующее: вот, смотрите, существует такой, на первый взгляд, неплохой человек Емчинов. Он наделен многими качествами, которые, с так называемой «общечеловеческой» точки зрения, выглядят даже привлекательными. Но в сердце его завелся червь равнодушия. Человек черствеет. По-прежнему по инерции, произносит он правильные слова, но все это работа «на холостом ходу», ибо человек этот объективно вреден стахановскому делу.

Мысль эта чрезвычайно правильна и актуальна, и поэтому иллюстративная сторона повести действует на читателя положительно. Но это не спасает центральный образ Емчинова — он все же недостаточно убедителен. Отношение Емчинова к стахановцам чисто декларативно. Остается непонятным, почему человек этот оказывается таким гнильем. Непонятно это потому, что поступки Емчинова не связаны органически с характером образа. Ни происхождение, ни прошлая деятельность, ни какие-либо факты настоящего не объясняют отношения члена партии, участника гражданской войны, к стахановскому движению.

Но, возразят нам, Крымов вовсе не обязан давать предисторию своего Емчинова

Этот человек таков, как он показан в «Инженере». Но от этого страдает, прежде всего, правдоподобие образа, а значит и сила воздействия на читателя. Кареннина трудно представить себе хотя бы и в начале жизни либералом и чутким семьянином. Гамлета — прожигающим жизнь жуиrom, Фигаро — скучным меланхоликом.

Равнодушие, особенно в наших условиях, — качество социальное. Не показав причины возникновения этого качества, показав его как «данное», Крымов изобразил своего рода «физиологию» равнодушия, а надо было показать «социологию» его.

Но помимо Емчинова существуют еще Аня, Стамов, Шени.

Аня — это целиком положительный персонаж (к достоинствам Крымова надо отнести его умение всюду, где речь идет о положительном герое, избегать безвкусыного пафоса) — естественно, не может ужиться с отрицательным Емчиновым, что, кстати, читателю было ясно уже с первых страниц. Это тем более понятно, что существует еще Стамов — фигура схематическая, выполняющая роль антипода Емчинова, влюбленный в Аню, но как это полагается крымскому герою, неловко смущающийся при встречах с ней, «не ищущий сближения, а, наоборот, избегающий его».

Последим, как разворачивается характер Ани — этой симпатичной, честной и умной женщины. Вот она начинает чувствовать в Емчинове что-то неладное. Она убеждается в этом на одном примере, другом, третьем. Она возмущена травлей Петина, но надеется еще, что муж поможет молодому изобретателю реабилитировать себя.

«Анна Львовна наклонилась к нему, опираясь рукой о его плечо. Она хотела бесечно улыбнуться и произнести заранее приготовленную фразу, но взгляд ее упал на бумагу, и она прочла последние слова: «Передано следственным органам...» Она присела на ручку кресла, заглянула через плечо Григория. Да, так и есть, фамилия Петина стояла в сторонке, повыше».

Объяснение мужа не приводит ни к чему; Аня лишь окончательно убеждается в том, что Емчинов черствый и трусливый человек. Теперь для читателя уже все ясно — они разойдутся. Так оно и происходит.

Поступки Ани на протяжении всей повести — это, по существу, этапы разочарования в своем муже. Этого могло бы быть и достаточно, если бы образ Ани не оказался лишенным какой-либо самостоятельности. Аня — это совесть Емчинова. Дав этому образу такую «нагрузку», Крымов, по существу, связал себе руки и не использовал возможностей, которые таит в себе этот интересный, но заранее «суженный» образ.

Образ Шенна — мастера-стахановца — только намечен. Два-три интересных и умных «высказывания», — вот, по существу, все, что характеризует эту фигуру. А жаль! Судя по началу, Шени мог бы быть одним из наиболее привлекательных персонажей.

Если в «Танкере «Дербент» развитие конфликта подменяет собою развитие характеров, то здесь, в «Инженере», их заменяет развитие «идей», тенденции. «Равнодушие, черствость, трусливость — вот враги стахановского движения. Они губят людей, губят живое дело». И все в «Инженере» посвящено доказательству этого основного тезиса, все персонажи «работают» только на него, в повести нет ничего «сверхсюжетного». И это снижает качество повести.

В письме И. Тэна к Золя по поводу «Терезы Ракаэ», французский искусствовед следующим образом говорит о необходимости наличия в произведении «сверхсюжетного»:

«...Книга всегда должна более или менее охватывать целое, она должна быть ограждением всего общества. Нужны различные биографии, нужны персонажи, признаки, указывающие на законченность всякого рода противопоставления, возмущения — словом, нечто сверхсюжетное. Когда затыкают все отверстия, когда, закрыв окна, оставляют читателя в пределах повествования... читатель начинает ругать авторов».

Справедливость тэновских рассуждений несомненна. Человеческому характеру трудно всесторонне проявить себя на чем-либо одном. Он должен проявиться в многообразии, и писатель должен дать ему эту возможность. Иначе, как бы он ни назвал свое произведение — роман ли, повесть или рассказ, это все же будет доведенный до тех или иных размеров очерк. В художественном произведении должен быть «воздух». В «Инженере» же нет «воздуха», нет «сверхсюжетного».

Крымов, очевидно, понимая необходимость расширения произведения «за пределы сюжета», вводит дополнительные ситуации: такова история с беременностью Ани (а также вся сцена в бане, кстати, представляющаяся нам первым «грехопадением» Крымова, преступлением против литературного вкуса), не имеющая органического отношения к повествованию.

Любовный треугольник также не выполняет здесь своей основной роли «сверхсюжетного», ибо, как мы уже говорили выше, является заранее данной схемой.

Автор всегда должен стремиться к тому, чтобы конфликты его героев выражались в форме, якобы единственно возможной для них, — это залог правдоподобия, и этого нет в «Инженере».

Повесть Крымова, кажется нам, очень коротка. Шестидесяти страниц ее — явно мало для глубокого и всестороннего разрешения всех поднятых в повести вопросов. Автор торопится, срывается на «скороговорку», на «тезисы»... И это тоже один из крупнейших недостатков повести.

И... все-таки сила нового произведения Крымова — несомненна. Эта сила заключается прежде всего — в авторской искренности, в убежденности Крымова и положительных героев его повести в том, что они защищают нужное и полезное де-

ло, в том, что их интересы (героев «Инженера», как и героев «Танкера») являются интересами тысяч советских людей. В том, что события и конфликты (назовем все так: этим словом противоречия между героями повести) по содержанию своему не надуманные, а действительно жизненные противоречия. В том, наконец, чувстве нового, которым проникнута вся книга, в том, что проблемы, которыми она занимается, являются актуальнейшими жизненными проблемами нашей страны.

В «Инженере» Крымов пошел по трудному пути. Откинув внешне эффектные «повороты», решив показать стахановские будни, вскрыть то, что мешает социалистическому новаторству, Крымов взял на себя трудную и почетную обязанность. Но тем большие требования должны мы предъявить к нему, требования совершенствовать свое мастерство, ибо для него, Крымова, человека «живой действительности» и богатого наблюдениями, — это важнейшее.

«...У вас есть те особенности, которые нужны писателю, — писал Л. Н. Толстой Ф. Ф. Тищенко. — Одно главное, что я, судя по этой повести, думаю, что у вас есть это — внутреннее содержание. Писателю нужны две вещи: знать то, что должно быть в людях и между людьми, и так верить в то, что должно быть, и любить это, чтобы как будто видеть перед собою то, что должно быть, и то, что отступает от этого».

Нам кажется, что Крымов один из тех писателей, которым смело может быть адресовано это письмо.

А. Чаковский

■ ■ ■

НОВОЕ ИЗДАНИЕ «ЦУСИМЫ»¹

1

Новое издание «Цусимы» не просто очередное переиздание книги. Главы «Кто страшен Рождественскому?» и «Необходимая глава», а также эпилог значительно расширены. Роман дополнен десятью новыми главами. Всего введено в «Цусиму» до 120 страниц нового текста.

До 1940 года «Цусима» имела три основных редакции (в издании «Федерация», 1932 год; «Гослитиздата», 1935 год; «Художественная литература», 1937 год). Каждое новое издание писатель дополнял многочисленными вставками как отдельных эпизодов, так и законченных новых глав.

Уже в первой редакции автор «Цусимы» ставил перед собой задачу не только изобразить судьбу баталера Новикова и броненосца «Орел», на котором он участвовал в бою с японцами, не только показать основные, решающие моменты сражения, но и детально осветить участие в нем моряков всех кораблей эскадры Рождественского. Однако автор столкнулся с трудностями, которые казались непреодолимыми. В самом деле, пользуясь лишь рапортом командира о прорыве

крейсера «Изумруд» сквозь строй японских судов и о последующем его затоплении, нарисовать исторически верно картину операции было невозможно. Ничего, кроме факта гибели кораблей и спасения части команды, нельзя было почерпнуть из реляций о броненосце «Ушакове» и миноносце «Громком». Новиков-Прибой в первой редакции вынужден был поэтому удовлетвориться простым пересказом официальных документов. Но он вскоре нашел выход. Как советский писатель, ежедневно ощущающий дружескую связь с читателем, он обратился через газеты с призывом ко всем цусимцам прислать ему свои воспоминания, дневники, записные книжки. Из всех уголков Советского Союза хлынул обильный материал. Это дало Новикову-Прибою возможность продолжать упорно, шаг за шагом воссоздавать картину героизма русских матросов и офицеров.

Нельзя сказать, что новый вариант «Цусимы» завершает творческий замысел автора. К судьбе моряков транспортов — «Корея», «Анадырь» и «Иртыш» — придется еще вернуться. Но в этом издании завершено описание действий моряков всех кораблей, принимавших участие в бою (за исключением миноносца «Безупречного»). Это — шаг вперед по сравнению с третьей редакцией романа. В новом издании, кроме того, подробно освещена экспедиция крейсеров «Риона», «Терека», «Кубани» и «Днепра», посланных Рождественским обнаружить военную контрабанду, направившуюся в Японию и тем произвести внушительную военную демонстрацию в тыловых водах у берегов противника.

Пафосом героической борьбы русских моряков проникнуты все дополнительные главы романа. Все новые и новые детали выводит Новиков-Прибой из лет забвения. «Чем это они стреляют?» — спросил матросов старший офицер Паскин на миноносце «Громком». Зная, что оба патронных погреба затоплены, он вправе был задать такой вопрос. «Но то, что он там увидел, превзошло все его ожидания. Люди по очереди опускались в затопленный погреб, как в плавательный бассейн, и выныривали (?) с патронами. Никто не давал такого распоряжения, и вообще это было неслыханное дело, едва ли когда-либо практиковавшееся в истории морских сражений... Эта подача снарядов из воды по инициативе самих матросов продлила огонь артиллерии и препятствовала неприятелю подойти ближе к «Громкому». Новиков-Прибой в дополнительных главах стремился к яркому изображению героизма отдельных матросов, к углубленному раскрытию характеров своих героев, как типических представителей великого русского народа.

Минный квартирмейстер Галкин с миноносца «Быстрый» — один из наиболее ярких образов матросов. До цусимского сражения он ничем не выделялся из среды своих товарищей. Галкин, как пишет о нем автор «Цусимы», «принадлежал к категории тех людей, которые любое поручение, важное и пустяковое, выполняли с одинаковой добросовестностью».

¹ Военмориздат. 1940 г., стр. 800.

15 мая 1905 года за миноносцем погнались японский крейсер «Нийтака» и миноносец «Муракумо». Русский корабль израсходовал весь уголь, и командир «Быстрого» оставался выбор — либо сдаться в плен, либо взорвать корабль. Только случайность могла спасти того, кому надо будет прозвонить взрыв. Выполнить поручение командира вызвался квартирмейстер Галкин, который не умел даже плавать. Он сказал командиру: «У меня на уме одно, чтобы наш корабль не достался врагу». Галкин показал не только отвагу, но и прекрасное знание своего дела. Точно рассчитав, что отрезок шнура от подожженного конца до подрывного патрона прогорит восемь минут, он сумел выбрать прикрытия за бортом, чтобы предохранить себя от осколков, и остался жив.

Новиков-Прибой обращал особенное внимание на изображение политического роста матросов, на обрисовку того, как ненависть к самодержавию и его слугам проникала в их сознание. Это писателю удалось убедительно показать в образах боцмана Воеводина, Васи Дрозда и особенно минера Бакланова. Среди дополнений к роману одно является, пожалуй, весьма яркой иллюстрацией рождения нового человека, революционера в матросской среде. В нем рассказано о строевом квартирмейстере Кузнецове, который до войны и в начале ее был исполнительным и «надежным» унтер-офицером. «На него не действовали ни речи агитаторов, ни запрещенная литература, распространяемая среди матросов подпольщиками. Его сделали революционером бездарные адмиралы и генералы, виновники поражения наших войск и флота». Возвращаясь с Рождественским на родину на одном корабле и не стерпев его надругательства над матросами, Кузнецов явился в каюту к адмиралу во главе делегации пленных и сказал ему: «Но какому праву вы били людей на палубе? Или здесь на пароходе легче бить своих, чем в бою японцев. Трус! Опоганили весь флот, опозорили родину и до сих пор не бросились от стыда за борт. Я пришел сказать вам, чтоб вы убрались с «Воронежа!» Этого требует весь эшелон». И струсившему адмиралу, почувствовавшему, что за Кузнецовым стоит негодующая матросская масса, осталось только жаловаться на революционно настроенных русских солдат и матросов... японцам, и просить у своих врагов охрану, в чем те, конечно, не отказали.

В новых главах писатель к галлерее героев-офицеров — Лебедева, Шамова, Колосейцева и других — прибавил еще два ярких образа — командира миноносца «Громкий» Керна и Миклухи-Маклая, командира броненосца «Ушаков».

Образ Керна, пожалуй, наиболее сильный из всех образов офицеров «Цусимы». Керн заботится не только о судьбе своего корабля, он болеет душой за всю эскадру. Когда в крейсер «Владимир Мономах» была выпущена неприятельская мина и ее заметили с «Громкого», миноносец по приказанию командира ринулся наперерез страшному самодвижущемуся снаряду. Очевидно, у командира был такой план:

пусть лучше он сам взлетит на воздух со своим судном водоизмещением только в 350 тонн и с командой в 73 человека, чем погибнет крейсер, водоизмещением в 5 593 тонны, с командой более 600 человек. До последней минуты своей жизни Керн открыто стоял на мостике своего миноносца. Перед его глазами развертывалась цусимская трагедия. «Что творилось в этот момент в его душе? Об этом никто никогда не узнает. Одно только можно сказать, что даже нависшая смерть не смогла смутить воли и разума командира».

Миклуха-Маклай изображен офицером школы знаменитого русского флотоводца Ушакова, знавшего один закон — побеждать. Миклуха отлично понимал слабость эскадры Рождественского. Накануне боя он считал долгом сказать правду офицерам броненосца: «Все вы знаете, что представляет собой наша эскадра и как она снаряжалась. В помощь второй эскадре нас послали под давлением общественного мнения, и наш корабль, которым я имею честь командовать, никогда не предназначался в столь дальнее плавание». Указав на портрет адмирала Ушакова, висевший в кают-компании, Миклуха-Маклай продолжал: «Взгляните, как пристально смотрит на нас Федор Федорович. Всем нам нужно брать пример с этого замечательного человека. Каждый из нас должен быть храбрым в бою, чтобы иметь честь прямо без смущения глядеть ему в глаза. Сколько раз и с каким блистательным успехом Федор Федорович в боях командовал русскими эскадрами. Господа, дадим же здесь Федору Федоровичу честное слово русских воинов, что при встрече с японцами будем «биться до последней возможности». Офицеры и матросы «Ушакова» сдержали свое обещание: в неравных условиях схватки с двумя неприятельскими крейсерами поврежденный броненосец «Ушаков» причинил им серьезное повреждение. Он не был сдан в плен, а затоплен.

2

В дополнительных главах и страницах «Цусимы» композиционное и стилистическое единство с основным текстом романа безусловно выдержано.

Большая часть новых глав представляет собой развитие той части второй книги «Цусимы», которая названа «Осколки эскадры».

Каждая дополнительная глава изображает человека с железной волей, бесстрашного в бою, каждая новая глава имеет своего героя. И хотя герои показаны только на протяжении нескольких часов сражения, их образы вырастают перед читателем во весь рост, со всей глубиной и сложностью их переживаний. Квартирмейстер Галкин честно сделал свое дело — взорвал миноносец «Быстрый». «Врагу теперь могут достаться только груды развороченного лома». И он встречает японцев, которые спешат овладеть кораблем, «сидя на носовом кнехте, кура папиросу и скромно улыбаясь». Эта «скромная улыбка» сильнее подробного описания раскрывает настроения и пере-

живания героя: гордую удовлетворенность собой, сознание хорошо выполненного долга и насмешку над врагом.

Исключительным бесстрашием в бою выделяется старший офицер «Светланы» Зуров. Его отношение к смерти, которая в течение многих часов сражения реяла над его головой, нельзя охарактеризовать иначе, как полное пренебрежение к ней. В этом пренебрежении нет ни позерства, ни легкомысленного отношения к жизни. Под огнем японских пушек Зуров руководит заделкой пробоин. Когда же судьба корабля была решена, — «у него остался один курс — на морское дно», — Зуров отправляет в море матросов, ревностно наблюдая, правильно ли они обвязали вокруг себя спасательные пояса и матрацы. Он твердо решил свою судьбу — потонуть вместе со «Светланой». Но в лазарет попал снаряд, тело Зурова оказалось под обломками.

В число новых глав, повествующих об «осколках эскадры», входит «Необходимая глава», рассказывающая о выполнении четырьмя русскими крейсерами специального приказа Ржевского — бороться с контрабандой, шедшей в Японию. В руках у писателя были, главным образом, официальные документы, но ему удалось — и здесь, конечно, помог прежде всего личный опыт цусимца — ярко показать в действиях вспомогательного отряда крейсеров характерные черты, которыми отличалась эта «великая армада», — такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как и вся Российская империя (Ленин)¹.

Командир «Терека» Панферов, командир «Днепра» Скальский оказались типичными выучениками адмирала Ржевского, заботившимися лишь о личной карьере. Это особенно сказалось в столкновении Панферова с офицерами своего крейсера по поводу захваченного с контрабандой датского парохода «Принцесса Мария». Улики были налицо, «датчанин вез вагонные рессоры, болты, гвозди, колеса. Все это могло служить для военных вооружений». Но когда командир «Терека» узнал от капитана «Принцессы Марии», что пароход принадлежит акционерной компании, членом которой состоит вдовствующая императрица Мария Федоровна, он струсил. Панферов, быстро сообразив, что Мария Федоровна — урожденная датчанка, что, возможно, капитан «Принцессы Марии» говорит правду, и решил на всякий случай отпустить «Принцессу Марию». Но призовой комиссией был уже составлен акт о необходимости затопления парохода. Среди команды «Терека» начались разговоры: «Императрица помогает в войне Японии»; «Жаль, что ее самой нет на пароходе. А то бы вместе с ней потопили судно». Панферову ничего не оставалось сделать, как согласиться с постановлением призовой комиссии о затоплении.

В новом издании «Цусимы» Новиков-Прибой, сохранив ставшее уже каноническим деление романа на две книги и восемь частей с прологом и эпилогом, раз-

бил текст на 87 глав и дал им заглавия. Композиционно безусловно роман от этого выиграл. Большинство заглавий представляет краткую формулировку идеи главы: «Один против трех»; «Правда, которой не хотелось верить»; «Мы все умрем, но не сдадимся» и так далее. Однако несколько заглавий приходится признать неудачными. Они как бы предупреждают читателя о том, что будет в них рассказываться («Тягостная глава»; «Природа улыбается, а душа скорбит»). Читателю вряд ли нужна такая авторская предупредительность.

Советский читатель давно прочел и оценил «Цусиму» как выдающееся патристическое произведение. Новое издание он прочтет с не меньшим интересом. В нем он встретится с новыми яркими примерами героизма цусимцев. В новом своем варианте «Цусима» еще лучше исполняет функцию такого произведения художественной литературы, которое достойно «состоять на вооружении» нашей Красной Армии и Военно-Морского Флота.

В. Красильников

СТИХИ ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Сибирский поэт Леонид Мартынов знаком широкому советскому читателю. Его поэзии был посвящен ряд статей в московской и ленинградской печати; издательством «Советский писатель» выпущена в свет книга его поэм. Сейчас в омском областном издательстве вышла в свет новая книга Л. Мартынова.

Внимание читателя привлекают как содержание, так и форма стихотворений Мартынова. Его поэмы построены почти исключительно на краевом материале, на материале прошлого Сибири, своеобразно и остроумно разработанным поэтом. Герои Мартынова — это безымянные патристы, романтические мечтатели, борцы с рутинной и косностью окружающей их среды.

Такова поэма о тобольском ямщике-летописце, крамольные мемуары которого уничтожает жена, боящаяся расправы царских чиновников. В поэме «Искатель рая» дан образ мечтателя-книгоноши Лецина, открывшего в Сибири богатейшие залежи руд, но не сумевшего реализовать свою находку — месторождение сдается в эксплуатацию англичанам. В поэме «Расказ о русском инженере» безымянный строитель деревянного храма пытается повести борьбу с казнокрадами-интендантами, но гибнет, отравленный ими.

Необычна и форма этих поэм: их своеобразны, наполнены архаизмами, подчеркнута стилизованный стих, манера поэта то и дело переходить как бы на прозаическое повествование, печатая стихи прозаической строкой, сохраняя при этом стихотворный ритм и точную рифмовку.

И, читая поэмы Мартынова, говорящие о прошлом, мы видим, как прием стилиза-

¹ Сочинения, III изд., VII т., стр. 335.

¹ Леонид Мартынов. Поэмы. Омск, 1940 г., стр. 106.

ции и широкого использования полузабытых, уже почти вышедших из живого разговорного языка выражений и слов очень своеобразно усиливает впечатление, производимое тем или другим произведением. Действие поэмы «Домотканная Венера» протекает во второй половине восемнадцатого века. Поэт остроумно стилизует весь языковой материал под тяжеловесное, торжественное стихосложение того времени, достигая определенного художественного эффекта.

...Любители ковров! Платите, не скупясь!
Княгиня Дашкова и вы, великий князь,
Сим рукоделием обейте хладны стены!
Но не в Европе те добыты гобелены.
Есть баня. Тут, в лесу, на берегу

речном,
Есть баня, говорю, со слюдяным окном!
Поверьте! Вот она таится за заплотом!
Не топлена она, но истекают потом
Здесь девы пленные. И в карцере

таким
Висят тринадцать люстр под низким
потолком.

Ах, множество свечей струят потоки
света,

Чтоб девы пленные трудились до
рассвета.

В такой манере автор развертывает повествование о том, как некий живописец Антон, приехавший в Сибирь из-за Карпата, создает под Тобольском производством поддельных гобеленов на каторжном труде крепостных искусниц.

В подобных же приемах стилизации написана «Правдивая история об Увенкае, воспитанике азиатской школы толмачей в г. Омске». Читая эту, пожалуй, наиболее мастерски написанную поэму Мартынова, мы видим, как поэт частично стилизует ее под поэзию раешника, частично же под ранние пушкинские поэмы, одна из которых — «Кавказский пленник» — органически введена автором в ткань повествования. И опять-таки стилизация здесь способствует большей впечатляемости рассказа о мальчике-киргизе, купленном русским полковником у торговца рабами за три с полтиной серебром и отданном им в омскую школу толмачей — будущих шпионов царского правительства на Востоке.

Это романтическая история о том, как мальчик, современник Пушкина и первый ученик школы толмачей, случайно достает поэму «Кавказский пленник», как терпит истязанья от молодой жены полковника, как растет в нем внутренний протест против царских колонизаторов и как, наконец, бежит он в лагерь повстанцев, унося с собой типографский шрифт, который восставшие кочевники переливают в пули.

В этом произведении Мартынов демонстрирует местами большое умение владеть стихом. Вот как, с помощью поэтической инструментовки, воссоздает он шум ветра на крепостной стене:

Чертополох прильнул к полыни, лопух
обнялся с беленой.
Бушует зелень на вершине стены
старинной крепостной.

Бушует зелень. Ветер жарок. Он южный,
он жужжит и жжет.
Врывается под своды арок старинных
крепостных ворот.
Его гуденье, шелестенье заполнило
ночную мглу.
Шумя, колыхнутся растения на старом
крепостном валу.
Такие ночи лишь в июле случаются в
краю степном.
Казак стоит на карауле на баштоне
крепостном.

Внутренняя рифмовка здесь совершенно оправдана, она усиливает весомость отрывка, средствами стиха поэт добивается большой эмоциональной выразительности. Но сплошь и рядом Мартынов злоупотребляет внутренней рифмовкой. Приведем отрывок из той же поэмы, где подчеркнутая аллитерация, упорно пропагандируемая Мартыновым, не оправдывает себя, наоборот, расслабляет строку, делает ее малоестественной:

Из Петербурга в Омск венок казенный
летит в сопровождении охраны конной.
Трубит над степью ветер неумолчный,
метет он снег со степи, сухой и колкий.
В оврагах завывают степные волки и
съежился в кибитке чиновник желчный,
Весь тонет в шубе волчьей, до трех
уголки.

Такие неуклюжие места иногда нарушают стройный музыкальный ход повествования. Тем не менее, в основном и «Домотканная Венера», и «Повесть об Увенкае», и построенная на остроумном использовании фольклора «Сказка об атамане Василии Тюменце» производят хорошее впечатление, воспринимаются как своеобразные, полные интересного материала поэтические произведения.

Этого, к сожалению, нельзя сказать о двух вещах, которыми открывается сборник, — о поэмах «Встреча» и «Сестра». В этих произведениях, посвященных годам гражданской войны, поэтическое мастерство Мартынова блекнет, сюжетная выдумка изменяет ему, на первый план начинают выступать те недостатки, которые в вещах исторического порядка воспринимались вскользя, а здесь уже резко снижают поэтическое качество.

Поэма (а вернее, растянутое стихотворение) «Встреча» рассказывает о том, как в годы гражданской войны некий батрак (образ которого очень нечеток) повстречал на одном из сибирских полустанков вождя революции, возвращающегося из сибирской ссылки в революционный Петроград. Батрак и вождь не обменялись ни словом, они только увидели друг друга сквозь оконное стекло, но эта встреча произвела незабываемое впечатление на крестьянина, который через много лет прикрепил к стене сельского совета портрет вождя.

Быть может из окна в вагоне
Глядел тогда совсем не он,
Но некто на него похожий,
Его соратник может быть!
И так быть может. Ну так что же!
О том, что было, не забыть.
Ты прав. Он друг и вождь народов!

Таким серым, бескрасочным и вялым ямбом написана вся поэма. В пей масса прозаизмов:

На рыхлых черноземных почвах
Осело крепко кулачье,
У рямов, на болотных кочках
Искал ты счастье свое...
...Чалдона, латыша и эста
И белоруса шел там спор,—
Тот спор был за сухое место
Среди болотец и озер.

Попадаютя просто неграмотные строги: «Там встречный поезд в сумрак вросся», «Скрещались редко поезда». Несколько удачно схваченных строк народного диалога не скрашивают общего впечатления от этой явно неудавшейся автору вещи.

В поэме «Сестра» мы видим то же злоупотребление прозаизмами, то же снижение поэтического вкуса Мартынова. Сюжет взят динамичный, драматический, но правильного развития его автор не нашел, не сумел уйти от шаблонной, сентиментальной и в то же время малоубедительной развязки. Стихи здесь воспринимаются как малокалфицированная, сероватая проза. Поэма начинается с описания ощущений большевика-подпольщика, которого белогвардейцы везут из тюрьмы на расстрел:

...Знобило. Одеться не дали ему. Он
Знал: не вернется обратно в тюрьму,
Где стоны, тяжелые вздохи,
Где весят полпуда замки у дверей,
Где тощие крохи гнилых сухарей, где
жирные блохи.
В тюрьму не вернется. Навстречу летят
избушки, заплоты косые,
Мелькнул перекресток. Витрина.
Плакат-призыв к возрождению России.

Ни одной свежей, запоминающейся детали, идущей от непосредственного авторского восприятия жизни! Топорная навязчивая рифмовка в середине строк еще не делает их поэтическими. Здесь она кажется особенно притянутой за волосы, малоуместной; и в то же время слишком напоминает поэтический первоисточник — «Двенадцать» Блока:

Снег хрустит,
Дым из труб.
Дам толстит пышность шуб
Руки в муфту, нос в горжет...
Ну, а если шубы нет? Только драповый
.. жакет?
Было очень хорошо б, чтобы ветер сек
не в лоб, и т. д.

Бедно и содержание поэмы. Сестра из белогвардейского госпиталя, возвращаясь с работы домой, видит автомобильную катастрофу и встречается с бежавшим большевиком.

Спрятав подпольщика на несколько часов у себя в доме, дав ему возможность скрыться, она молниеносно влюбляется в человека, с которым едва успела обменяться десятком шаблонных фраз. Она страстно ждет его возвращения и вот

уже,— неизвестно, во сне или наяву,— видит его, победно входящего к ней.

Здесь нет ни языковой свежести, ни своеобразно разработанного содержания, радующих нас в исторических поэмах Мартынова.

Приходится констатировать, что поэт увлеченный стилизаторством, в лучших своих вещах говорящий как бы чужим голосом, голосом поэтов прошлых поколений, при отказе от этой манеры терпит здесь поражение, ему плохо удается передача современного сюжета современным языком.

Более удачно справляется он с задачей показа современности в поэме «Волшебные сады».

Это рассказ о школьном учителе, энтузиасте-садовод, вырастившем на Урале чудесный сад морозоустойчивых, растущих наклонно плодовых деревьев. Показав своего героя в атмосфере дореволюционного консерватизма, душащего его прогрессивные замыслы (магистральная тема большинства произведений Мартынова), поэт доводит своего садовода до наших дней, до расцвета его работы в условиях советской действительности.

В этой поэме, уже почти не употребляя архаизмов, поэт сохраняет стиль своеобразного романтического сказа. Некоторая выспренняя условность языка гармонирует здесь со сказочностью самого сюжета.

Я был в том саду за угрюмым Уралом.
Уже с октября меховым покрывалом
Зима прикрывает тот сад благоклонно.
Деревья не прямо стоят, а наклонно
В том дивном саду. И, как алая пена
Идущего с юга на север прибоа,
Шумят там цветы. И, в плодах по
колена,
Стояли мы осенью вместе с тобою!
Мы видели яблоню. Нежилась лежа,
На спящую деву из сказки похожа...

Поэта увлекает, естественно, не только историческая тематика, но и современность. Хочется думать, что, работая над произведениями о сегодняшнем дне Сибири, он добьется сохранения своеобразия своей поэтической манеры, в то же время уйдя от неуместной здесь стилизации. Кроме того, необходимо пожелать ему избавиться от излишнего многословия, которым характеризуются даже наиболее удачные из опубликованных им поэм.

Ник. Панов

■ ■ ■

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. ПОДЪЯЧЕВА¹

Семидесятипятилетие со дня рождения С. П. Подъячева Государственное издательство «Художественная литература» отметило выпуском однотомника избранных повестей и рассказов писателя.

Однотомник подобран тщательно. В него вошло все лучшее, наиболее типичное для дореволюционного и пореволю-

¹ С. Подъячев. Избранные произведения. М. Гослитиздат. 1940.

ционного творчества Подъячева. Небольшой критико-библиографический очерк Ан. Котова, которым открывается книга, дает основные сведения о жизни и творческом пути писателя.

М. Горький, высоко ценивший творчество Подъячева, назвал его правдивым, бесстрашным другом людей, художником, имя которого «останется в истории русской литературы, как имя человека, изобразившего деревню во всей ее жути». Талантливые произведения Подъячева, изображающие быт и нравы русского крестьянства, проникнуты духом подлинного демократизма. Он был летописцем крестьянской жизни, хорошо знал и понимал русскую деревню, людей из народа, их характер, страсти, их жажду социальной справедливости.

Реалистическое, правдивое, неприкрашенное изображение жизни характерно для произведений Подъячева. Нарисованная им «Русь» ничего общего не имеет с сентиментальной картиной позднероднической беллетристики, воспевующей патриархальную деревню. Он не идеализирует ее быт и нравы, в то же время далек от скептического изображения крестьянина, которое было так характерно, например, для Бунина. Произведения Подъячева периода нарастания буржуазно-демократической революции отражают рост революционного сознания крестьянства.

Центральной темой творчества Подъячева является народ, жизнь пауперизованных крестьян, батраков и бедняков. Писатель ввел в русскую литературу новый персонаж — крестьянина, лишенного родного крова, полубатрака, полурабочего, — человека, поднявшегося до классовой ненависти буржуазного порядка и его носителей.

После победы Октября Подъячев целиком отдает себя делу служения новой, советской литературе. В своих рассказах он защищает интересы бедноты, разоблачает замаскировавшихся врагов трудового народа.

С 1918 года писатель — член ВКП(б), активный общественник.

Первый свой рассказ «Осечка» Подъячев напечатал в 1888 году в небольшом журнале «Россия». В 1902 году В. Г. Короленко опубликовал в «Русском богатстве» повесть Подъячева «Мытарства», которая, собственно, и положила начало его литературной известности. Другая повесть, «По этапу» (1903 г.), представляет собой уже значительное явление в литературе того времени. В дальнейшем писатель переходит к более сложной форме повествования. Он пишет рассказы «Зло», «Карьера Дрыкалина» и другие. В центре внимания автора — социальные отношения в деревне во всех их противоречиях, — жуткая нищета обездоленных крестьянских масс, классовая борьба.

С. П. Подъячев как-то сказал о себе:

— Я изображаю только виденное и слышанное...

Видеть же и испытать писателю пришлось очень многое. «Дорога, по которой я нес и сейчас несу свой писательский крест, — говорит он в своей автобиогра-

фии, — тяжелая, грязная, и мне страшно оглянуться назад. Если писать о том, как я шел этой дорогой, получится книга, которую можно озаглавить одним словом «жуть».

Испытав весь ужас русской дореволюционной жизни, Подъячев ярко запечатлел его в повести «Среди рабочих». В ней развернута потрясающая картина полуголодных скитаний крестьянина, который, попав в город, доходит до крайней нищеты. Правдиво рассказав о деревне кануна революции 1905 года, избравшись страшные сцены из жизни «людской» в усадьбе помещика, Подъячев создал яркие образы протестантов, наделив их высокими моральными качествами. Он дает представление о том, как растет чувство классовой ненависти деревенских рабочих к эксплуататорам.

Правдивый бытописатель, Подъячев показывает и рабскую покорность части обитателей людской, об этом он пишет, как о чем-то отвратительном, гадком и жалком. Автор симпатизирует протестантам, воплощающим в себе силу человеческого достоинства, отвергающим «свинцовые мерзости» русской жизни. Отсюда и жизнеутверждающий тон его рассказа, который был так характерен для прогрессивно-демократической литературы.

К повести «Среди рабочих» примыкают и помещенные в рецензируемом сборнике рассказы «Зло», «Жизнь и смерть». Здесь страшная социальная правда дореволюционной русской деревни показана особенно убедительно. В рассказе «Жизнь и смерть» изображена беспросветная тоскливая жизнь талантливого писателя-крестьянина, который не может прокормиться ни своим литературным трудом, ни принадлежащим ему клочком земли, и в конце концов, задавленный нуждой, кончает жизнь мученической смертью. «У Семена Павловича Подъячева, — писал Горький, — тоже были все условия для того, чтобы погибнуть. Но он выдержал суровый экзамен на крупного и полезного стране своей человека и рассказал нам о жизни деревенской много такого, чего другие не могли рассказать».

Из помещенных в рецензируемой книге рассказов Подъячева стоит отметить рассказ «Карьера Дрыкалина», в котором изображен деревенский богатей-лавочник. С ненавистью рисует писатель отвратительные черты характера Дрыкалина — его ханжество, лицемерие, скупость, готовность совершить любую мерзость ради наживы.

«— Я вот не гнушался псов в рыло лизать, а господь меня и превознес... Н-да! Умный человек, куда ты его ни сунь, выплывает!...» (стр. 415).

Образ «чумазого» Дрыкалина обрисован писателем очень убедительно.

Из послереволюционного творчества Подъячева в рецензируемый том включены рассказы «Праздник труда в деревне», «Герой дня», «Сон Калистрата Ивановича», «Претворил», автобиографическая повесть «Мои записки». Рассказы эти посвящены новой, советской деревне — в них писатель взволнованно рассказал о тех

грандиозных переменах, которые принесла революция.

Сатирический рассказ «Претворил» об алчущих наживы служителях церкви, пожалуй, один из интереснейших рассказов.

Помещенная в одном номере повесть «Мои записки» — значительное литературное произведение и по объему, и по той художественной силе, с которой она написана. Повесть, по словам автора, автобиографическая. Герой повести — сам автор, сотрудник еженедельного журнальчика «Россия».

Это книга о нравах журналистов — халтурщиков и стяжателей, характерных персонажей журнального и газетного мира восьмидесятых годов. Это в то же время книга мытарств, книга о том, как писатель начинал свою литературную работу в качестве «сочинителя» статей о всевозможных невероятных событиях и путешествиях. Автор рассказывает в этой книге и о своей работе редакционного курьера. Он вспоминает, как его однажды послали в Ясную Поляну к Л. Толстому с просьбой написать рассказ для журна-

ла. Толстой рассказа не дал. Подъячев, наученный хозяином, не хотел уйти с пустыми руками. Для оправдания себя перед редакцией он попросил у Толстого записку, что он дать рассказа не может. Эта записка, как газетный «гвоздь» с триумфом, была опубликована с факсимиле Толстого.

В очень небольшой сценке, описывающей встречу с Чеховым, Подъячев сумел необычайно ярко и тепло показать великого писателя.

В «Записках» дан типический образ купца-самодура, ставшего издателем журнала для того, чтобы печатать собственные литературные опусы и рисунки — ярлыки к водочным бутылкам.

«Мои записки» так же, как и следующая повесть «Моя жизнь», не только художественный рассказ о страданиях, которые пришлось пережить писателю в годы молодости, но и яркое повествование о том, в каких тяжелых условиях складывалось и сложилось его литературное дарование.

Игорь Макаров

НОВЫЕ КНИГИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ленинский сборник. XXXIII.—(Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б)). Политиздат. М. 1940. 548 стр. 25 000 экз. 8 р. в пер.

XXXIII Ленинский сборник «содержит подготовительные материалы В. И. Ленина к его книге «Развитие капитализма в России», являющейся важнейшей научной работой, в которой Ленин завершил идейный разгром народничества». (Из предисловия.)

Ленин и Сталин о труде. Изд. 2-е, доп.—Профиздат. М. 1941. 656 стр. 10 000 экз. 12 р. в пер.

Собраны статьи и речи Ленина и Сталина, дающие в исторической последовательности характеристику труда и освещающие положение трудящихся в Советском Союзе и за рубежом. Леонтьев А. О ленинских «Тетрадах по империализму».—Академия наук СССР. М.—Л. 1941. 184 стр. 10 000 экз. 8 р. в пер.

Архипов С. Н. Наблюдение и связь на военном корабле.—Военмориздат. М.—Л. 1940. 76 стр. 75 к.

Документы по истории гражданской войны в СССР. Том I. Первый этап гражданской войны. Под ред. П. Минца и В. Городецкого.—Политиздат. М. 1941. 544 стр. 100 000 экз. 5 р. в пер.

Этот сборник является первым томом трехтомного издания «Документов по истории гражданской войны в СССР», охватывает период от Великой Октябрьской социалистической революции до VI Всероссийского съезда Советов (1917—1918 гг.).

Журавлев, М. Р. Чистота и порядок на производстве.—«Московский рабочий». М. 1941. 84 стр. с рис. 10 000 экз. 1 р. 50 к.

На опыте московских предприятий автор показывает значение чистоты и порядка для выполнения производственных планов и рекомендует ряд практических мероприятий в этой области.

История дипломатии. Том I. Под ред. В. П. Потемкина. В составлении первого тома приняли участие профессора: С. В. Вахрушин, А. В. Ефимов, Е. А. Косминский и другие.—(Библиотека внешней политики.) Соцэкгиз. М. 1941. 566 стр. 500 000 экз. 7 р. 50 к. в пер.

История философии. Под ред. Г. Ф. Александрова, В. Э. Выховского, М. В. Митина и П. Ф. Юдина. Том I. Философия античного и феодального общества.—Политиздат. М. 1941. 492 стр. с портр. и карт. 50 000 экз. 10 р. в пер.

Семи томная «История философии» охватывает историю науки об общих законах природы, человеческого общества и мышления с древнейших времен до нашего времени. Во II томе будет освещена история философии XV—XVIII вв., в III томе — философии первой половины XIX в., в IV томе — философии марксизма; V том будет посвящен истории философии народов СССР; т. VI — современной буржуазной философии, т. VII — развитию философии марксизма Лениным и Сталиным.

Надание подписное. Козлов, С. Крейсер.—Военмориздат. М.—Л. 1940. 44 стр. 35 к.

Предназначенная для молодежи, эта брошюра рассказывает об устройстве крейсера, условиях службы и плавания на нем, а также дает историю развития крейсеров.

Курс источниковедения истории СССР. Том I. М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Утверждено ВКВШ в качестве учебника для исторических факультетов университетов и пединститутов.—(Глав. архив. упр. НКВД СССР. Ист.-архив. ин-т.) Соцэкгиз. М. 1940. 236 стр. 20 000 экз. 5 р. в пер.

В хронологическом порядке рассматриваются важнейшие письменные источники по истории СССР.

Переклоп. Сборник воспоминаний.—Соцэкгиз. М.—Л. 1941. 238 стр. 50 000 экз. 4 р. в пер.

Собраны воспоминания О. Городовикова, И. Пананина, П. Спиротинского и других участников борьбы с врагетевщиной. Частично материал составлен на основе воспоминаний и архивных документов.

Программа по истории международных отношений в эпоху империализма и внешней политики СССР. Для самообразования партийно-политических работников и пропагандистов Красной Армии.—Воениздат. М. 1941. 62 стр. 40 к.

Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского. Сборник статей. Часть вторая.—(Ин-т истории.) Академия наук СССР. М.—Л. 1940. 506 стр. 15 000 экз. 20 р. в пер.

Серебряков, А. Г. Брунетская операция республиканской армии Испании. Оперативно-тактический очерк.—Воениздат. М. 1941. 104 стр. с карт. 2 р. 50 к. в пер.

Книга предназначена для начальствующего состава Красной Армии. Дан разбор крупной наступательной операции, совершенной республиканцами в июле 1937 года на центральном фронте.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. ПУТЕШЕСТВИЯ

Ваксель, С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. Пер. с рукописи на нем. языке Ю. И. Бронштейна. Под ред. и с предисл. А. И. Андреева.—Изд-во Главсевморпути. Л.—М. 1940. 176 стр. с илл. и карт. 10 000 экз. 10 р. в пер.

Описание экспедиции, отправленной русским правительством в 1733 г. для изучения побережья Северного Ледовитого океана и ряда островов, лежащих между Камчаткой и Аляской.

Лейкин, Л. П. Африка. Географическая хрестоматия. Для учителей неполной средней школы.—Учпедгиз. М. 1940. 961 стр. с илл. 10 000 экз. 4 р. в пер.

На основе 40 русских и иностранных литературных источников собраны в этой хрестоматии интересные материалы о Египте, Алжире, Тунисе, пустынях Сахаре, песках Центральной Африки, Абиссинии, Судане и др.

Лысенко, Т. Д. Энгельс и некоторые вопросы дарвинизма. Новые достижения в управлении природой растений.—Соцэкгиз. М. 1941. 44 стр. 100 000 экз. 30 к.

Обручев, В. А. От Кыяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай.—Академия наук СССР. М.—Л. 1940. 236 стр. с рис. и карт. 10 000 экз. 12 р. в пер.

В научно-популярной форме автор рассказывает о своем путешествии в конце прошлого века в Монголию и Китай, аналогичит читателей с природой и населением этих стран.

Щербак, Д. П. В поисках радия.—Госгиздат. М. 1941. 136 стр. с илл. и портр. 10 000 экз. 4 р. 50 к.

Описана минералогическая экспедиция автора в 1925 году в Среднюю Азию на Тюямуонский радиевый рудник.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ИСКУССТВО

Арконада, Сесар М. Река Тахо. Пер. с исп. И. Лейтнер.—Гослитиздат. М. 1941. 434 стр. 10 000 экз. 6 р. в пер.

Роман о революционной Испании.

Браун, Н. Открытые песни.—Гослитиздат. Л. 1940. 184 стр. с илл. 10 000 экз. 6 р. 50 к. в пер.

Собраны стихотворения и переводы из украинских поэтов: Т. Шевченко, П. Франко, Л. Украинки, М. Вазана, П. Тычины и др.

Вагнер, Н. Голубые земли.—Гослитиздат. Л. 1940. 160 стр. с илл. 6 000 экз. 4 р. в пер.

Книжка рассказов: «Голубые земли», «Рыбаки», «Старик Скырбмет» и «Терберские повести».

Воробьев, Б. Пюлковский.—(Жизнь замечательных людей. Вып. 5/161.) «Молодая Гвардия». М. 1940. 264 стр. 50 000 экз. 4 р. в пер.

Голубов, С. Солдатская слава. Предисл. С. К. Бушуева. Примечания А. Л. Вейнрауб.—(Исторические романы. № 1.) Гослитиздат. М. 1941. 366 стр. 50 000 экз. 6 р. 50 к. в пер.

Роман о многолетней и кровавой войне русского царя с кавказскими народами в первой половине XIX в.

Донские рассказы. А. П. Чехов. А. С. Серафимович. К. А. Тренев.—Росгиздат. Ростов н/Дону. 1941. 456 стр., 11 вкл. л. илл. 5 000 экз. 17 р. 50 к. в пер.

Залка, Матэ. Избранное. Пер. с венгер.—«Советский писатель». М. 1941. 592 стр. 10 000 экз. 14 р. 50 к. в пер.

Кроме романа «Добердо», помещены рассказы («Маленький барабанщик», «Анекдот», «Янош-солдат» и др.) и «Повесть о вечном мире».

Зоценко, М. Рассказы о Ленине. (Из книги для детей.)—(Библиотека «Огонек». № 4.) Изд-во «Правда». М. 1941. 48 стр. 50 000 экз. 20 к.

Исаковский, М. Стихи и песни.—(Библиотека «Огонек». № 3.) Изд-во «Правда». М. 1941. 48 стр. 50 000 экз. 20 к.

Популярные песни и стихи М. Исаковского, а также его переводы украинских и белорусских народных песен («Два сокола», «Расскажи Сталину про меня», «Будьте здоровы» и др.

Кальма, П. Джон Браун.—(Жизнь замечательных людей. Вып. 6/162.) «Молодая Гвардия». М. 1940. 240 стр. 50 000 экз. 4 р. в пер.

Книга представляет собой биографию участника гражданской войны в Северной Америке в середине XIX в., борца против рабства.

Канторович, Л. Пограничники идут вперед. Иллюстрации автора.—Гослитиздат. Л. 1940. 200 стр. с илл. 10 000 экз. 4 р. 25 к. в пер.

В книге много бытовых картин из жизни местечек и городов в момент их освобождения Красной Армией от власти польских панов в сентябре 1939 г.

Карнаухова, П. Сказки.—«Советский писатель». Л. 1940. 112 стр. 10 000 экз. 5 р. в пер.

Собраны сказки, записанные автором от сказителей, переработанные на основе старинных сказок и оригинальные.

Лебедев, А. Лирика моря. Вторая книга стихов.—Гослитиздат. Л. 1940. 96 стр. 5 000 экз. 3 р. 50 к. в пер.

Мамонтов, Я. Фата-моргана. (Мужичи.) Драма в 4 актах, 10 карт. По повести М. Коцюбинского. Пер. с укр. В. Радыша.—«Искусство». М.—Л. 1941. 70 стр. 3 000 экз. 2 р. 50 к.

Крестьянское восстание 1905 г. на Черниговщине.

Марвич, С. Сыновья идут дальше.—Гослитиздат. Л. 1940. 508 стр. 10 000 экз. 10 р. 50 к. в пер.

Маяковский, В. В. Стихотворения. Том I. Стихи и поэмы 1912—1924 гг. Вступ. статья, ред. и прим. Н. Л. Степанова.—(Библиотека поэта. «Малая серия». № 60.) «Советский писатель». Л. 1940. 280 стр., 4 вкл. л. илл. и портр. 10 000 экз. 7 р. в пер.

Мугуев, Хаджи-Мурат. Линия фронта. Рассказы.—«Советский писатель». М. 1940. 272 стр. 8 000 экз. 8 р. в пер.

Рассказы из времен гражданской войны и борьбы с бандами басмачей.

Песни и сказки Воронежской области. Сборник составили А. М. Новикова, И. А. Ососовский, Ф. И. Мухина и В. А. Тонков. Под ред. акад. Ю. М. Соколова и С. И. Милда. Вступ. статья П. П. Гринковой.—Воронежское обл. книгоиздательство. Воронеж. 1940. 244 стр. 5 000 экз. 15 р. в пер.

Собраны сказки, песни и частушки обрядовые, свадебные, об Октябрьской революции, о Ленине и Сталине.

Решетов, А. Избранные стихи.—Гослитиздат. Л. 1940. 174 стр. с портр. 10 000 экз. 5 р. в пер.

Рыклин, Г. Эстрадный сборник. Рассказы.—«Искусство». М.—Л. 1941. 100 стр. 10 000 экз. 2 р. 20 к.

Самуйленок, Э. Будущность. Роман. Ред. и пер. с белорус. С. Родова.—Гослитиздат. М. 1941. 340 стр. с илл. 10 000 экз. 7 р. 50 к. в пер.

Роман о борьбе грузинского народа против меньшевистского правительства.

Саянов, В. Небо и земля. Часть III.—Гослитиздат. Л. 1940. 220 стр. 10 000 экз. 5 р. 75 к. в пер.

Это — третья часть романа В. Саянова о жизни советских летчиков.

Смирнов, В. Тартарен из Тараскона. Комедия в 3 действиях, 7 карт. По А. Додэ.—«Искусство». М.—Л. 1941. 48 стр. 3 000 экз. 1 р. 50 к.

Инциденты отдельных эпизодов из известного романа А. Додэ.

Соловьев, В. Воспитание характера.—«Советский писатель». Л. 1940. 2 р. 20 к.

Роман о гражданской войне в СССР.

Суинглер, Р. Пет выбора. Пер. с англ. Н. Арбенева.—Гослитиздат. Л. 1940. 360 стр. 10 000 экз. 6 р. в пер.

«...Новый тип лирического романа, пронзающего живыми символами революционной английской поэзии наших дней». (Из предисл. Г. Хмельницкой.)

Толстой, Л. Н. Воскресенье. Роман.—Гослитиздат. Л. 1940. 476 стр., 1 вкл. л. портр. 50 000 экз. 8 р. 50 к. в пер.

Фиш, Г. Клятва. История одного отряда. Роман.—Гослитиздат. М. 1941. 376 стр. 50 000 экз. 5 р. в пер.

Описывается финляндская революция 1917—1918 гг., жестоко подавленная финской белогвардейщиной.

Фроман, М. Избранные переводы.—Гослитиздат. Л. 1940. 174 стр. 5 000 экз. 3 р. 50 к. в пер.

Даны переводы из Г. Гейне, Р. Киплинг, Т. Шевченко, К. Хетагурова, а также переводы грузинских и казахских поэтов и произведений чувашского и карельского фольклора.

Чумадрин, М. Год рождения 1905. Изд. 2-е.—Гослитиздат. Л. 1940. 312 стр. 10 000 экз. 8 р. в пер.

Шолохов, М. Тихий Дон. Роман.—Гослитиздат. М. 1941. 708 стр. с илл. 100 000 экз. 14 р. в пер.

Впервые напечатаны вместе все четыре книги романа «Тихий Дон». Вступительная статья о творчестве М. Шолохова написана Ю. Лукиным. Деревянные гравюры исполнены по рисункам Королькова.

Шолохов-Синяевский, Г. Далекie огни. Роман. Вторая книга.—Ростоблиздат. Ростов н/Дону. 1941. 194 стр. 10 000 экз. 8 р. в пер.

Веселовский, А. П. Историческая поэтика. Ред., вступ. статья и прим. В. М. Жирмунского.—Гослитиздат. Л. 1940. 648 стр. с портр. 10 000 экз. 12 р. в пер.

Горький об искусстве. Сборник статей и отрывков. Составитель Е. Э. Лейтнер.—«Искусство». М.—Л. 1940. 280 стр. 5 000 экз. 18 р. в пер.

Десницкий, В. М. Горький. Очерки жизни и творчества.—Гослитиздат. Л. 1940. 364 стр. с илл. 10 000 экз. 8 р. в пер.

Представлены очерки: «М. Горький нижегородских лет», «М. Горький на Капри», «В. И. Ленин и М. Горький», «М. Горький и Л. Андреев в их переломе», «Заготовки М. Горького к роману о каторжнике» и др.

Пиксанов, Н. Горький-поэт.—Гослитиздат. Л. 1940. 200 стр., 1 вкл. л. портр. 10 000 экз. 4 р. в пер.

Шагинян, М. Шевченко. Гослитиздат. М. 1941. 272 стр. с 200 илл. 10 000 экз. 8 р. 50 к. в пер.

Некоторые главы построены целиком на впервые использованном архивном материале. М. Шагинян рассматривает вопросы поэтики, драма-

тургии, музика, живопись, прозы замечательного поэта.

Артоболовский, Г. В. Как читать Пушкина. Изд. 3-е, испр.—(Восп. дом народ. творчества им. Н. К. Крупской.) М. 1940. 88 стр. с илл. 3 000 экз. 4 р. 25 к.

В книге собраны отдельные произведения А. С. Пушкина, указано, как следует исполнять эти произведения при чтении с эстрады.

Варнеке, В. История античного театра, Утв. ВКВШ в качестве учебника для театральных ин-тов.—«Искусство». М.—Л. 1940. 312 стр. с рис. 5 000 экз. 7 р. в пер.

Поляновский, Г. Барсова.—«Искусство». М.—Л. 1941. 222 стр. 5 000 экз. 7 р. 50 к.

Описана творческая жизнь народной артистки СССР, депутата Верховного Совета РСФСР — Валерии Владимировны Барсовой.

Рылов, А. А. Воспоминания. Под ред. М. А. Сергеева.—«Искусство». М.—Л. 1940. 232 стр. с илл. 3 000 экз. 29 р. в пер.

А. А. Рылов — художник, автор известной картины «Ленин в Разливе» — в своих «Воспоминаниях», охватывающих период с 70-х годов XIX в. по 1936 г., описывает свои встречи с А. И. Куйбиджи, П. Е. Репниным, П. Э. Грабарем и другими художниками своего времени и свою творческую работу.

Старк, Э. (Зигфрид). Петербургская опера и ее мастера. 1890—1910 г.—«Искусство». Л.—М. 1940. 270 стр. с илл. 4 000 экз. 10 р. в пер.

Автор воссоздает облики Л. В. Собирова, И. В. Ершова, Ф. П. Стравинского, Мравинной и др. певцов оперной сцены б. Мариинского театра, ныне Государственного Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

(для старшего возраста)

Баранов, С. С. Железнодорожный транспорт в моделях-самodelках.—Трансжелдориздат. М. 1941. 121 стр. с рис. 10 000 экз. 3 р. в пер.

Брам, А. Жизнь животных в рассказах и картинах. Под ред. проф. Б. М. Житкова и Н. С. Дороватовского. Том I. Млекопитающие. В переработке В. И. Явинского.—(Школьная биб-ка.) Детиздат. М.—Л. 1941. 408 стр. 50 000 экз. 11 р. в пер.

Дюма, А. (отец). Три мушкетера. Рис. М. Ледуара. 2-е изд.—(Биб-ка приключений.) Детиздат. М.—Л. 1941. 784 стр. с илл. 25 000 экз. 12 р. в пер.

Первенцов, А. Над Кубанью. Роман. Рис. А. Ермолаева.—Детиздат. М.—Л. 1941. 382 стр. 25 000 экз. 6 р. в папке.

Поход через страну смерчей. Воспоминания генерал-полковника О. Городовикова.

В обработке П. Всеволожского. Рис. В. Копылова.—Детиздат. М.—Л. 1941. 68 стр. 50 000 экз. 1 р. 25 к.

Автор рассказывает о своей работе в Таджикистане, где ему пришлось бороться с бандами басмачей — наймитами вражеской разведки — и возглавить доставку транспорта хлеба через непроходимые горные вершины Памира в город Мургаба, обреченный на голод вредителями.

Сафонов, В. Власть над землей.—Детиздат. М.—Л. 1941. 288 стр. с рис. и портр. 25 000 экз. 5 р. 25 к. в пер.

Книга, рассчитанная на юннатов, рассказывает об опытах Ч. Дарвина, Г. Менделя, Бербанка, Мичурина, Лысенко и других ученых.

Слонимский, А. Черниговцы. Повесть о востании Черниговского полка. 1826. Гравюры на дереве Ю. Мезерницкого.—(Школьная биб-ка.) Детиздат. М.—Л. 1941. 248 стр. с илл. 50 000 экз. 3 р. 75 к. в пер.

ФИЗИКУЛЬТУРА И СПОРТ

Богачев, С. А. Лыжные соревнования.—«Физкультура и спорт». М. 1941. 48 стр. с рис. 3 000 экз. 70 к.

Собран материал, рассчитанный на инструкторов лыжного спорта, по организации лыжных соревнований в низовых физкультурных коллективах: на заводах, фабриках, колхозах и т. п.

Длугач, В., Миллер, П., Романов, С. Подмосковье.—«Московский рабочий». М. 1941. 160 стр. с илл. и карт. 10 000 экз. 4 р. 75 к. в пер.

Подробно описаны также такие примечательные места, находящиеся близ Москвы, как Куское, Горки-Ленинские, Абрамцево и другие, интересные по своему культурно-познавательному значению и природным богатствам.

Игры и развлечения. Выпуск 1.—(Центр. дом культуры железнодорожников.) М. 1941. 82 стр. с рис. 2 000 экз. 3 р. 50 к.

Лалтев, Н. Г. Лыжные мази.—«Физкультура и спорт». М. 1941. 68 стр. 3 000 экз. 55 к.

Книжка дает материал по технике ухода за лыжами. Собрана рецептура, описан способ изготовления мазей.

Селезнев, А. С. 100 шахматных этюдов.—«Физкультура и спорт». 1940. 68 стр. с рис. 3 000 экз. 3 р. 70 к. в пер.

Черепов, П. А. Горно-лыжный спорт. Изд. 2-е, испр. и доп.—«Физкультура и спорт». М.—Л. 1940. 280 стр. с рис. 2 000 экз. 8 р. 75 к.

Специальные главы посвящены отдельным вопросам горно-лыжного спорта: техника движения на лыжах, горно-лыжному инвентарю, скоростному спуску, методике прыжков на лыжах и др.

ИСПРАВЛЕНИЕ

«Октябрь» № 2

Стр. 120. Заголовок стихотворения следует читать: Девушка из Комсомольска.

Содержание

Стр.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ

М. Р. ГОЛУБКОВА — Два века в полвека, <i>повесть</i> (продолжение)	3
И. БОГДАНОВ — Рассказы о летчиках: Подвиг летчика Летучего, «Ничего особенного»	47
ВАН-ЯННИ — Обрванная дождевая шляпа, <i>стихи</i> (перевод с китайского С. Левмана)	54
ЦЮ-ЦИНЬ — Река Цинь, <i>стихи</i> (перевод с китайского С. Левмана)	59
МЭНЬ-ЦЗЮНЬ — Сигнал тревоги, <i>стихи</i> (перевод с китайского С. Левмана)	59
Александр ИЛЬЧЕНКО — Петербургская осень, <i>повесть</i>	60
Август ЯВИЧ — Инженер Миронов, <i>рассказ</i>	148

ПУБЛИЦИСТИКА

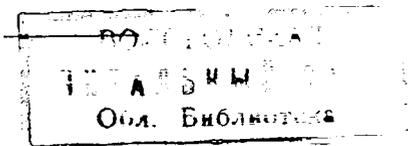
Б. ГАЛЛИН — Элита, <i>очерк</i>	159
Иван ЖИГА — Якутия, <i>очерк</i>	164

КРИТИКА

С. НЕЛЬС — Шекспир и советский театр	186
М. ЧАРНЫЙ — О «Тихом Доне»	204
З. КЕДРИНА — Герой справедливой войны	215
И. ШАМОРИКОВ — Книжки о Ломоносове	224

БИБЛИОГРАФИЯ

И. ЛИСКО — Маяковскому	233
А. ФАКОВСКИЙ — «Инженер» Юрия Крымова	234
В. КРАСИЛЬНИКОВ — Новое издание «Цусимы»	238
Ник. ПАНОВ — Стихи Леонида Мартынова	240
Игорь МАКАРОВ — Избранные произведения С. Подъячева	242
Новые книги	245



Отв. секретарь — И. В. ШАМОРИКОВ

Редакция: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ

Адрес редакции: Москва, ул. Горького, 15. Телефон: К-5-42-40.

17-й год издания. Тираж 30 000 экз. Подписано к печати 1/IV 1941 г. А33769
Печ. листов 15,5. Авт. листов 30,4. В печ. листе 80 000 зн. Цена 5 руб. Зак. типографии 293

18-я типография треста «Полиграфкинг», Москва, Шубинский пер., д. 10